1 р. 80 к.

Индекс 73276

ВНИМАНИЮ
администрации советских и зарубежных производственных, общественных, кооперативных и иных предприятий и организаций!

Журнал «Нева», имеющий распространение как в СССР, так и во многих других странах, принимает к публикации рекламу по договорным ценам.

С предложениями и за справками обращаться в редакцию «Невы» (191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3) и по телефонам: 312-65-37, 312-70-35.



«Нева», 1991, № 4, 1—208

НЕВА 4/1991

4/1991

ISSN 0130—741X

В. ДРУЖИНИН
Именем Ея Величества
Роман

Хорхе Луис БОРХЕС
Два рассказа

Нева

С. ЛАСКИН
Вечности заложник
Роман-воспоминание

ИСПОВЕДЬ СЫНА ВЕКА
Письма погибшего солдата

ПИСЬМА ИЗ ЭМИГРАЦИИ
А. ТЕРЦ
Отечество. Блатная песня...

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

В. ЛИНЕЦКИЙ. Абрам Терц: лицо на мишени 175

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Е. СКУЛЬСКАЯ. Евгений Рейн. Береговая полоса.— И. ПРУССАКОВА. Карабчиевский Ю. Незабвенный Мишуня.— Р. АРБИТМАН. Борис Хазанов. Час короля.— Н. ПОПОВА. Бейтс Г. Э. В разрыве облаков. 181

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Изыскания

А. М. ЭТКИНД. Лев Троцкий и психоанализ 183

Совсем недавно. Совсем давно

А. КРЕЙЦЕР. Из дома на Малой Морской . . 191

Мемуары

Ив. ТХОРЖЕВСКИЙ. Последний Петербург. *Из воспоминаний камергера* 192

Вернисаж «Седьмой тетради»

А. КОНОНОВА. Пластическое выражение мысли 201

Дом, в котором я живу

М. БЛОК. О чем рассказывают вещи . . . 204

Эхо

М. КАБАНОВА. Без вины ли виноватый? . . 207

Старший технический редактор Г. И. Огородник
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

К сведению уважаемых авторов!

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи объемом менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Михаил
ДУДИН

Дорогой крови по дороге к Богу

> *...Жизнь — к будущему.*
> *Будущее — к страданию.*
> *Страдание — к Богу...*
> ***Эдгар Ли Мастерс***

◆◆◆

Я сбился с собственной тропы,
Мне не найти другой отныне
Среди бессмысленной толпы
В ее бессмысленной пустыне.

У той пустыни нет границ,
Ее тревоги злы и зыбки.
И на экранах смутных лиц
Не видно ни одной улыбки.

В глазах толпы слепая страсть
И дикий отсвет дикой воли,
Которой в пропасти пропасть
Свобода крика не позволит.

Все рты в один отверстый рот
Соединяя, иль тиранство,
Мне в душу скорбную орет
Остроугольное пространство.

Я сбился с собственной тропы,
Я — на распутье, на распятье.
А там — в безумии толпы
Мое спасенье и проклятье.

◆◆◆

В седой пыли изношенной Земли
Со всеми вместе и с приказом в ногу
Меня слова спасения вели
Дорогой крови по дороге к Богу.

И о погибших пересохшим ртом
С какою-то неведомою силой
«О мертвых мы поговорим потом»,—
Я говорил над свежею могилой.

И снова — шел. И — падал.
И — вставал.
И принимал, как должное, подмогу.
И оживал, убитый наповал,
В дороге крови по дороге к Богу.

Но не уходит ненависть на слом.
И слава слав забвением чревата.
И не заснуть солдату вечным сном
В могиле Неизвестного солдата.

Ты — Человек. Погибельные дни
Сулят тебе смятенье и тревогу.
Будь Богом сам себе и — отмени
Дорогу крови по дороге к Богу.

◆◆◆

Движение не терпит постоянства,
Клубка времен разматывая нить,
Самопреображение пространства
В развитии не приостановить.

И строгий ум размеренную полость
В полете заменяет на иглу,
И лазера немыслимая скорость
Космическую рассекает мглу.

Чего хотим? Куда летим? — Не знаем.
Но, улетая от своей весны,
До умопомраченья бредим раем
Как неким средоточьем новизны.

Что ждет душа? Что разум разумеет?
Куда бы нас желанье ни вело,—
Нам, в дальний путь благословляя, веет
Архангела лазурное крыло.

И все, чем жизнь сняла и грешила,
И то, чего мы были лишены,
И бездна бездн, и всех вершин вершина —
Все в нас живет и просит тишины.

◆◆◆

Через высокие заборы,
Колонии и лагеря
На все российские просторы
Смердят, закон боготворя.

Доколе им смердеть? Доколе
Продлится страха страшный век?
Иль правит жизнью ветер в поле,
А не разумный человек?

Что это? — Грех! А кто виновник
Тоски Свободы под замком?
Плодит чиновника чиновник
И беззаконие — закон.

Кто был забит, кто был послушен,
В самой столице и в глуши,—
Дыши сегодня без отдушин
На полный вздох живой души.

На робком празднике природы
Будь откровенен с нею сам.
Учись азам своей свободы
И верь доверчивым глазам.

◆◆◆

На что мы в нашей жизни ропщем?
Как жить по-разному двоим?
Мы вместе все владеем общим,
А для себя живем — своим.

И в этой непонятной доле
При обстоятельствах тугих —
Живем, как перекати-поле,
Ни для себя, ни для других.

А поле то, что пахарь пашет
Во имя будущего дня,
По всем законам — вроде наше.
Да, наше! Но не для меня.

Мы счастье в общей доле ищем
На общей нашей полосе,
Где каждый снова будет нищим,
Какими, в общем, будут все.

Я жить хочу на вольной воле,
Хоть что-то в жизни изменя,
И добывать на личном поле
Мой хлеб и лично для меня.

◆◆◆

Воронья стая между облаков
Мотается на горизонте рваном,
Как наша жизнь в сумятице веков
Над вечности пустынным океаном.

Воронья стая падает с небес,
Роняя в вихре маховые перья,
Потом взмывает, огибает лес
И лепится на голые деревья.

Деревья оживают. В разнобой
Чужими машут крыльями. Теснятся
Вершинами, но над своей судьбой
Деревьям тоже не дано подняться.

Подходит ночь. И совы на лету
В ночи, как свечи, зажигают очи.
Деревья отступают в темноту
И замолкают на границе ночи.

Деревья спят. И наступает ночь —
Великая загадка мирозданья,—
В которой мы не в силах превозмочь
Гармонию всеобщего страданья.

◆◆◆

Армейский исповедуя устав,
По четко обусловленному знаку
Я, по-солдатски смертью смерть
поправ,
Глаза в глаза шел на нее в атаку.

Но ненависть бесплодна и тупа.
Я понял это в тихий час рассвета,
Когда моя солдатская тропа
Сошлась с необходимостью поэта.

В моей душе запели соловьи
Над легким вздохом фронтового
братства
И помогли твоей святой любви
К моей любви сквозь дикий бред
пробраться.

И пули улетели в никуда,
И смерть ушла из сектора обстрела,
И рыжая болотная вода
Живой водой на солнце запестрела.

Я встану рядом, только позови,
Когда на то появится причина.
Сегодня утром ласточка любви
Меня во сне от смерти отлучила.

◆◆◆

Находит наважденье на людей,
В отчаянье не знающее страха.
И с каждым днем коварней и лютей
Идет война под небом Карабаха.

Идет война. И нет конца войне,
Война засад из-за угла без крика.
Идет война не по-людски и не
По-божески — по-сатанински дико.

И ненависть не знает берегов.
Идет война. Покой и сон гоните.
Война людей, война людских богов
С кровавою резнею в Сумгаите.

И дьявол наставляет дьяволят,
Как делать людям козни и подвохи.
И мудрые философы галдят
О непременной гибели эпохи.

И не отрубишь ненависть с плеча,
И мир души не восстановишь битвой.
...Все войны начинаются с меча
И все они кончаются молитвой.

◆◆◆

Есть у игры высокой страсти цели.
И жизнь игрой и страстью хороша.
Прекрасно тело и прекрасна в теле
Играющая радостью душа.

Божественна гармония природы,
И тишина ее и непокой,
И радуги распахнутые своды
Над вечности играющей рекой.

Под ветром волны спеющего хлеба,
Над ними в светлой синеве с утра
Трепещущего жаворонка с неба
Самозабвенно звонкая игра.

Поля бескрайны и моря бездонны.
Жизнь любит жизнь — куда ни погляди.
Прекрасен взгляд из-под ресниц
Мадонны
В глаза младенца на ее груди.

Он материнским крестником играет
В гостях у жизни, на ее пиру,
И ничего пока еще не знает
Про дьявола кровавую игру.

◆◆◆

Россия! Все твои законы
Пропахли кровью скорбных дат.
И безымянны легионы
Твоих обманутых солдат.

Все ненадежнее и тоньше
Веков связующая нить.
И нерожденное потомство
Для жизни не восстановить.

Его взяла иная сфера
Иной, нездешней, темноты.
Подземный хохот Люцифера
Колеблет горные хребты.

Гляди в себя! В свои пучины,
Духовным голодом морись.
Ищи всему в себе причины.
Склоняйся. Кайся. И — молись.

Придет иль нет к тебе удача
Твоя по твоему плечу?..
Я, над твоей судьбою плача,
За все судьбой своей плачу.

Владимир
ДРУЖИНИН

ИМЕНЕМ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА

Роман

> Сии птенцы гнезда Петрова —
> В пременах жребия земного,
> В трудах державства и войны
> Его товарищи, сыны:
> И Шереметев благородный,
> И Брюс, и Боур, и Репнин,
> И, счастья баловень безродный,
> Полудержавный властелин.
>
> *А. С. Пушкин. «Полтава»*

НАСЛЕДНИКИ

16 января 1725 года, в пятом часу утра, дом князя Меншикова был внезапно разбужен.

Рожок верещал нетерпеливо.

Дежурный офицер выскочил из тепла и захлебнулся на морозе. Нарочный спешил, с коня не слез.

— Светлейшего к государю...

Стук подков замер во тьме. А по дому пошло, повторяясь:

— Светлейшего к государю... Светлейшего к государю...

Рота солдат сбежала на лед, запалила факелы.

Зарево встало над Невой.

Сотни окон зарделись ответно. Отчего сей фейерверк неурочный? Гадают жители. Пожар? Но колокола молчат. Губернатор выехал — известно, кому так светят.

Дорога елками обозначена — чего же еще! Мало ему... Форсу не убавилось. Ишь, как полыхает золоченый возок! К Зимнему мчится — знайте, люди! Другой бы присмирел — рассердил ведь царя Данилыч, шибко рассердил.

Царь занемог недавно, слыхать — поправляется. Вот и затребовал дружка своего, обвиненного в лихоимстве.

Неужто конец Меншикову?

Александр Данилович сам не знает, что его ждет сегодня — милость или кара. Одеваясь, успокаивает жену:

— Зовет — значит, нужен я.

— Ох, ноет сердце! Спаси, Господы!

Металась княгиня Дарья — пугливая, скорая на слезу,— стонала, крестилась.

— Накличешь... Здравствует отец наш — вот главное. Заскучал без меня.

— Ночь ведь на дворе-то.

— Царь первый на ногах. У нас так повелось... Он меня поднимает, я генерала, а генерал солдата.

Хохотнул, подставил щеку для поцелуя, одарил улыбкой камердинера, часовых у крыльца. Унынье чуждо его натуре.

В возке жарко, раскаленные пушечные ядра, закатанные в железную грелку, глухо громыхают. Пуховые подушки нежат. Скинул с плеч епанчу, подбитую соболем, сел прямо, вскинул голову — похоже, мчится в атаку. На нем старая армейская униформа, потрепанная в походах. Выбрал с умыслом... Зеленое суконце стало почти черным, позумент выцвел, дымом сражений напитана одежда. Обрати взор на камрата, великий государь! Чай, не забыл Азов, не забыл абордаж в устье Невы, не забыл Полтаву...

Улыбка притушена, но не стерта, тлеет в прищуре цепких голубовато-серых глаз, в изгибе твердых, бескровных губ. Только пальцы выдают волнение. Длинные, нервные, они теребят галстук.

Обуза на шее...

И тогда не слушались пальцы... Путался, пóтом обливался Алексашка, рекрут потешного полка, облачаясь в немецкое. Бесстыдно короткие штаны, чулки, башмаки

Журнальный вариант.

с пряжками — все чужое, все противилось, особенно галстук. Эвон где пояс! Православные ниже носят. Недавно бегал по Москве босой, в отцовой рубахе, с лотком, выкликал товар — пироги горячие с требушиной, с капустой, с кашей... Свершилось чудо, сам Господь указал на него царю. Выхвачен мальчишка из толпы, поднят... Более странно ему, чем радостно. Поди, для смеха взят... Холстина жесткая, а ты приладь ее под подбородком, узел сооруди! И забавлялся же царь-одногодок. Засунул длань, дернул — дыханье пресеклось.

Круто взмыла планида Алексашки, в скорости получил офицерский чин и шляхетство. Галстук выдали нарядный, из белого полотна. И все равно — не смог привыкнуть.

Тесен узел, душит...

Царь, будучи во гневе, стягивал горло сильно, с намеком. Есть, мол, другой галстук, пеньковый.

Гагарину, вон, достался...

До сей поры болтается на площади губернатор Сибири — иссохший, промерзший. Караульщики отгоняют ворон. Убрать бы висельника, сжечь, пепел развеять... Не велено — урок казнокрадам.

Пылают факелы, кровавая бушует круговерть. Возникает исклеванная рожа Гагарина без ушей, без носа, две дыры зияют.

Прочь, мерзкое индене!

О себе надо думать... Васька Долгорукий, пакостник, обхаживает царя, разложил счета. Миллионы там, на бумаге... Смеет равнять его — первого вельможу у трона — с грабителем сибирским. Недруги, боярское отродье, злобой исходят — в петлю Меншикова, в петлю пирожника... Выкусьте! Разберется государь мудрый, ведает он, чья судьба дороже.

Сказал однажды тому же Долгорукову — только Бог рассудит меня с Данилычем. Только Бог...

Драгоценные слова. Они помогают Александру Даниловичу переносить невзгоды. Был президентом военной коллегии, членом Сената — Петр, распалившись, уволил. Но в губернаторском кресле Данилыч усидел, полки не отняты — Ингерманландский, гвардии Преображенский. Солдаты, офицеры горой за своего начальника. Князь, губернатор, фельдмаршал — не отнято это, не отнято.

Схлынули факелы, кони взбираются на берег. Загудела под копытами дощатая мостовая, сплошняк вельможных фасадов вытянулся и пропал. Монарший дворец в ряду последний, у Царицына луга,— позднее назовут его Марсовым полем. Дверца открылась. Светлейший вылез, крякнул:

— Морозец-то!

И лакей, иззябший на запятках, не увидит его оробевшим, растерянным.

Зимний хоть и расширен, но уступает хоромам Меншикова. Приземист, всего два этажа, крупная лепная корона, венчающая здание, не возвысила — пуще придавила. В спальне царицы темно, мерцает квартира царя — «конторка» его, где он привык трудиться и спать, да камора соседняя.

У подъезда три экипажа, чьи — не различить, понеже фонари на столбах, питаемые конопляным маслом скупо, едва теплятся.

Лестница крута необычно, узел галстука снова железный, пальцы бессильны. Потом светлейший будет уверять — сразу впилось предчувствие. Пронзило пулей... Раньше, чем лекарственный дух коснулся ноздрей. Раньше, чем Екатерина — простоволосая, в пантофлях, отчего стала ниже ростом — подалась к нему.

— Александр... Плохо...

Бледна смертельно, брови черноты страшной... Согнутая спина Блументроста в углу — эскулап не обернулся, размешивает что-то, кивая седой головой.

Ночью случилось... Никогда так не мучился — криком кричал, рвал простыню. Теперь, проглотив чрезвычайную дозу успокоительного, дремлет. Надолго ли? Лекарь утешает — кризис, последняя вспышка болезни. Расстроен немец, обвислые щеки студенисто дрожат.

— Урина... Спазм...

Тянуло бранью шарахнуть, оборвать непонятную латынь, но не моги! Обомлеет ученый человек, опрокинет посудину, прольет целительный декохт.

За дверью раздался стон. Вошли, слуга внес свечи. Петр лежал на спине, огромное тело содрогалось, кулаки утюжили одеяло.

Многажды бывал тут губернатор, но ни разу не заставал царя в постели. Екнуло сердце... Письменный стол заставлен докторскими скляницами и посреди них, подмяв какое-то прерванное писанье, большой кувшин с водой, должно олонецкой марциальной. Средством от всех недугов считает ее государь и пьет без меры.

Камрат встал во фрунт.

— Здравствуй, фатер!

Царь смотрит и молчит. Кажется, удивил пехотинец, явившийся будто прямо из бои.

— Подойди! — услышал князь наконец.

Слабая улыбка смягчила лицо, напрягшееся от боли. Зовет без гнева, ласково даже...

Знать, нужен камрат.

Хуже день ото дня больному.

Медики сыплют латынью ободряюще, сулят скорую поправку. Люди не верят им — верят Петру. Он то принимает посудину со снадобьем, то оземь бьет и пользует себя водой олонецкого источника. О смерти не говорит, запрещает и думать о ней — приказ в воздухе дворца, напоенном его волей.

Чуть отпустит боль — требует новостей. Устремляясь в будущее, кладет перед собой карту, вместе с капитаном Берингом бросает якорь у берегов Нового Света. Экспедиция готова? Скоро тронется в путь? К чести российской узнать, точно ли Азия соединяется с Америкой.

Лабазники, алтынные души, обманывают народ. Губернатору проверять, наказывать ослушников строго.

Рука Петра еще держит перо, да будет ведомо пекарям, какой полагается припек — «из пуда ржаной муки хлебов пуд двадцать фунтов, из пшеничной муки саек пуд восемь фунтов, кренделей пуд четыре фунта».

Данилыч выслушал, необъятная его память надежна. Подлетает к рынку в пароконных санях внезапно, щупает хлебы, пробует, выспрашивает жалобщиков, смотрителей. Потом у постели Петра с нарочитой бойкостью докладывает:

— Фатер родной... Булочник, ирод, калачом потчует... Шалишь, говорю, этот для ревизора приготовил. Подай тот, с полки!

Может, вернулись прежние времена теснейшего приятельства? Нет, отеческим «херценскинд», сиречь дитя сердца, император не осчастливил. Этого не вымолишь. Бессильна и царица — неизменный ходатай. Ожесточился Петр в последние годы, повторял все чаще: «всяк человек ложь». Преступникам, вон, объявлена амнистия во здравие Его Величества, а ему — первому вельможе, вернейшему из верных, ему, подследственному, прощенья нет.

Тяжко царю, боли мешают спать. Князь проводит ночи возле него, с Екатериной, с ближними вельможами, но редко один. А хочется... Все мешают ему. Лекарей он бы выгнал. Где снадобье из желудка сороки, которое государь ценил когда-то? Почему не испробуют?

Однажды после жестокого приступа, исторгавшего стоны, крик, страдалец произнес:

— Вот что есть человек... Несчастное животное.

Обида звучала — на Создателя, на хрупкость телесного вещества. Александр Данилович сам стонал порой, сам ощущал недуг, разрывавший внутренности.

Царицу он понимает — страшно ей. Но бродит зареванная, неубранная. Нельзя же хоронить мужа заживо. Сердят и царевны — утром они прибегают, одетые кое-как, Елизавета никак не упрячет прелести свои. Вечером нафуфырена девка сверх меры. Данилыч ткнул пальцем в щедрое декольте — бал здесь нешто! Ветер в голове у нее. Впрочем, эта огорчена искренне, любит отца.

Анна бывает реже. Несет прическу французскую, башню чуть не до потолка.

Жених ее, Карл Фридрих, дарои что герцог Голштинии — ни стати, ни обхожденья. Развязен, оттирает старших, прет вперед кабаном. Пьян, что ли? Князь осадил.

— Негоже этак.

И сквозь зубы Анне:

— Переведи стоеросу!

Силком выдают царевну. Ох, кудахчут вокруг него придворные и первая — Екатерина! Еще бы — наследник шведского престола, добыча для русской державы важная.

Взойдет ли — вот вопрос...

Чужие троны далеки сейчас — о российском помышлять надо. И если, паче чаяния...

Русь без Петра? Немыслимо...

Есть прямой наследник, девятилетний Петр, сын казненного Алексея. Царь не жалует внука, но Голицын то и дело приводит его — авось смягчится монарх, забудет в преддверии вечности гнев свой. Противен светлейшему толстый, раскормленный малец. Нрава угрюмого, капризен, учиться ленив — этакому царство! А родовитые смотрят с надеждой, Голицын — главарь ихний — властно стучит тростью, подталкивая Петрушку к деду.

22 января Петр исповедался — обряд, подобающий православному, выполнил как бы на всякий случай. Отчаяния, готовности к смерти не обнаружил. Отобьется, встанет — твердил князь себе. Укрепляло надежду и то, что царь, истерзанный болезнью, не начинал речи о завещании. Верно, одолеет костлявую, зря машет она косой.

Извиваясь на постели, охрипший от крика, царь словно исторгает горячее лезвие боли. Вытащи, фатер, откинь! Данилыч не спит ночами, слушает вопли, бред. Судьба его, судьба дел Петровых зависит от того, кто получит престол. Скажи, фатер, должен ты сказать! Но речи царя на потном ложе бессвязны — ни намека не выловишь. Спросить ужо, когда жар спадет, прояснится разум? Посмеешь — считай, признал костлявую, уступил ей царя!

Вопрос затаенный, жгучий — у каждого. Вельможи выпытывают у князя. Он-то сиделец у болящего частый, его-то царица не прогонит. Ягужинский сманил Александра Даниловича в сторонку, обнял, клюнув длинным носом в щеку. Фаворит из молодых, лукавый друг... Оба повязаны, оба состояли в судилище, оба подписались под приговором Алексею. Не дай, Господи, воссядет Петр Второй.

— История не упомнит суверена,— шептал оберпрокурор,— не пожелавшего назвать преемника.

Тянет Пашку щегольнуть образованностью.

— Шут с ней, с историей,— отрезал князь уязвленно.— Она не спасет.

Спасенье — Екатерина, владычица законная — Петр сам, в прошлом мае возложил корону, объявил императрицей. По всем правилам, в Москве, в Успенском соборе. Не зря же... Но после этого осерчал на нее крепко из-за Монса, и супруги с осени вместе не спят. Сие пищу подает сомнениям, а противников царицы куражит.

— Гляди, князюшка! Войско тебя слушает.

— Кабы меня одного... Ох, Паша, что есть прочного в этом здешнем мире бренном!

Далее распространяться не стал. Болтлив Павел, а напьется — мелет без удержу.

Ночью светлейший проснулся словно от толчка. Ставни тряслись от ветра. Вдруг, в темноте, озарилось неотвратимое. Петр не встанет. Причастие — рубеж жизни. Призовет его Бог — отлучиться из дворца будет невозможно. Кто поднимет гвардию? Бутурлин — другого не найти. Испытанный друг государя и супруги его.

Зимний обширен, но для секретного межсобоя неудобен — вечно ты на людях, под одной крышей с их величествами Сенат, царевны, царевич, дворцовый штат.

Данилыч решился. Утром велел запрягать.

Воинская сила в Петербурге внушительная, раскинулась слободами — серый навес печных дымов загустел над мазанковыми домиками, схожими, как близнецы. Огород при каждом, курятник — усадебки. Солдатам одна на троих, офицеру отдельная, а заиграет труба — мигом выбегут на линейку. Адъютанты светлейшего навещают командиров, упреждают...

На Васильевском острове полк Ингерманландский — создание Меншикова, по сути — собственное его войско. Третья часть офицеров из подлого звания, заслугами и милостью шефа удостоены чинами и дворянством. Репнин, заменивший князя на посту президента Военной коллегии, пытался навязать им другого начальника, да дулю съел. Александр Данилович, памятуя указ о выборности офицеров, изловчился, скоренько устроил баллотировку. Отстояли единогласно.

Ингерманландцы верны князю, но гвардейцы на сей раз нужнее.

То цвет русской армии, выпестованный Петром. Квартируют в соседстве с монархом, за Мойкой, в обоих полках семь тысяч штыков, слободы опрятны, украшены вензелями, мундиры сукна наилучшего, зеленые с красными отворотами, воротники у преображенцев красные, у семеновцев синие. Маршируют солдаты с музыкой — на улице праздник, зрелище народом любимое. Высокие шефы гвардии — царь и царица, командиры полков — Меншиков и Бутурлин.

Короткий путь казался Данилычу длинным. Захочет ли полковник? Если в кусты отпрянет — как быть?

Мела поземка, снег рекой обтекал возок. Кучер осадил коней у штабного дома преображенцев, отличавшегося размерами, пучками флагов, красно-белым командирским вымпелом.

Бутурлин встретил на пороге. Провел в кабинет, под сень трофейных знамен, полез в поставец за водкой.

Князь остановил.

— Плох отец наш,— начал он.— Опечалит всевышний, что тогда?

Помолчали. Суть сказанного подполковник разумеет. Покраснел от волненья, ярче стала седина.

— Умысел есть против царицы. Знаешь, чай... Она на тебя уповает, Иван Иваныч.

— Да я за нее...

Голос старого воина дрогнул. Живот он положит и молодцы его. Скорее падут, чем покинут матушку.

— Клянись, рыцарь! По-русски...

Бутурлин расстегнул ворот сорочки, извлек крест, повертел, прижал к груди.

— Грех, все же... При живом-то...

— Мы рабы его,— ответил князь.— Он сам надоумил.

Ложь во спасение.

— Целуй, Иван Иваныч! Присягай самодержице Екатерине Алексеевне!

— Ну, коли сам велит...

Пожевал дряблыми губами, поднял крест, истово чмокнул. Затем, спохватившись:

— А твоя светлость?

— Сей момент,— откликнулся Данилыч почти весело. Пальцы ткнулись в толстый шелковый узел. Несносный галстук... Нащупал цепочку, рванул в сердцах. Золотой, в искорках алмазов крест облобызал отважно.

— Доложу государю, рыцарь. Худо ему, спазмы одолевают. Послано в Берлин, в Гаагу, там врачи не чета здешним. Может, пронесет... Он могуч, меня и тебя проводит в вечную обитель.

— Дай-то Бог!

Опасается воин. Репнин — начальник его, не вмешался бы... Предприятие рискованное. Князь подшучивал, обнадеживал. Заключил беседу обещаньем. Выпадет жребий, защитит Бутурлин царицу — служба его не пропадет, быть ему генералом. Слово императрицы.

Царь о сговоре не узнал.

Екатерина днюет и ночует у постели супруга. Заплакана, едва держится на ногах, твердит вперемежку молитвы — русские и лютерские, а то взывает к Петру — неужели не простит амуры ее с Монсом? Изредка уходит в свою спальню. Данилыч постучался туда, застал ее в дезабилье, дремавшую в кресле. Кувшин сладкого венгерского на столике, источник краткого забытья. Литое тело обескровлено и словно прозрачно.

— Эй! — встрепенулась она.

Пристало же это «эй», подхваченное царем на голландской верфи, совпавшее с разудалым возгласом русских. А исторгла с испугом.

— Поклялся Бутурлин,— сказал Данилыч.— Однако он на острие ножа. Не подвел бы!..

— Гвардия меня любит.

Молвила, твердо вжимая латышские согласные. Глянула вопросительно — разве не правда? Князь улыбнулся. Вспомнилось — Екатерина на фронте, за ней денщики с набитыми корзинами. Спускается в траншементы, пьет с солдатами за государя, за викторию, угощает икрой и семгой.

— Ихнее дело военное,— вздохнул он.— Коли Иван Иваныч скомандует — хорошо. А если Репнин?

Тешить обещаньями незачем. Необходима светлейшему царица, угнетаемая не токмо горем, но и страхом.

— Бояре пророчат — тебя в монастырь, на место Евдокии, а то и подальше, в Соловки, либо в Сибирь. Погребенье заживо... Кто и царевен метит упрятать — мол, рождены до свадьбы, бастарды, стало быть. Мои люди слышали...

Смутилась. Румянец проступил на опавшем лице. Теперь открыть ей план, заручиться согласьем. Попытаться надо именем монаршим вабрать полковые сундуки с казной, отвезти в крепость, сдать комендашту. Жалованье гвардейцам не плачено шестнадцать месяцев — выдать долг. Милость царицы личная...

— Чертов Репнин не вмешался бы, гнида...

Затем, потрогав галстук, прибавил:

— Коли доберутся они до меня... Помолись, матушка, за раба твоего Алексашку!

27 января болящему полегчало. Кабинет-секретарь Макаров сел на край постели, подался к царю напряженно. Петр будто и впрямь поборол хворь — озаботился морской коммерцией. Мало иноземных флагов у пристаней Петербурга. Адмиралтейств-коллегия нерадива, так содержать чиновных за счет сбыта икры и клея.

— И для того,— диктовал царь,— в приготовлении тех товаров иметь той Коллегии старание...

Но голос слабел. Не к месту помянул капитана Беринга. Макаров горестно заморгал.

Во втором часу пополудни царь опять в сознании, требует перо, бумагу. Спазмы утихли. Теперь боль истязает присутствующих, боль ожидания. Петр умирает, он примирился, сдался. Царапанье пера подобно нарастающему грому.

Все кончено, это завещанье.

Живет воля самодержца и будет жить, отделившись от бренной оболочки. Всяк покорен ей. Исхудавшая рука, мертвенно белая, движется с усилием. Дрожь сотрясает ее.

Перо выпало.

Меншиков ринулся вперед, хотя читать быстро не умеет. Ломкие, веером разбежавшиеся строки. Он задыхался. Кто-то выхватил листок.

«Отдайте все...»

Только это и удалось понять. Кому, кому отдает? Спросить по-прежнему боязно, да и будет ли толк? Осмелилась царевна Анна. В духоте «конторки», в дурмане лекарств, копоти светильников, лампад звенели ее мольбы, обращенные то к родителю, то к иконе. Слышит ли он? Через короткое время, отвечая дочери или некоему видению, молвил отчетливо:

— После...

Отрешенно умолк. Заснул? Что — после? Вспышка надежды... Досказать обещал? Встать с одра болезни? Царевны, Екатерина, вельможи долго стояли в оцепенении.

Минула еще одна ночь — последняя ночь Петра. Он не кричал больше, погружался в покой. Люди, придавленные наступившей тишиной, не отходили. В шестом часу утра он перестал дышать.

Эпоха Петра кончилась.

Застывшее лицо на подушке, словно чужое... Страшная непохожесть ошеломила Меншикова. Горенье Петра, неустанное его поспешанье отлетели — с душой его... Умер тот, кто, мнилось, неподвластен смерти. Из всех смертных...

Екатерина рыдала, князь просил всевышнего взять и его. Забыл огорченья, шептал слезно... Царица обхватила за плечи, повисла.

— Нам конец, Александр, конец...

Усопший повелевал действовать, но не было сил. Пускай конец... Одинок теперь... Ату его, пирожника!

Привольно было мальчишке, таскавшему лоток со снедью. Возиес царь и вот — покинул. Сейчас не лоток — петля маячит. Бутурлин обманет, сам боярского корня. Всяк человек ложь,— говорил государь.

Феофилакт дочитал отходную, ушел в залу. Там собрались вельможи, шумят... Свою волю почуяли.

Пламя свечей колыхалось, и некое веяние коснулось щеки. Витает душа его... Лик Петра суров в набегающих тенях. Вспомнилось: «Ей служи!». Померещилось? Нет — вроде внятно сказал... Плач царицы несносен. Князь двинулся с места, налил ей капель, заставил выпить.

Увидел себя в зеркале, ужаснулся — пришиблен, два дня небрит. Устыдило безучастное стекло. Завесил его покрывалом с кровати, шагнул к иконе, перекрестился — помоги, Господи! Три небожителя, три головы, склоненные в печали.

— Троица святая... Троица... И мы тут... Трое нас, матушка... Все равно...

Слетело кощунственное. А если подумать — трое и на земле российской. Он, умолкший, бессмертен. Петр Великий, Отец отечества, неразлучный, отныне и навсегда.

Поправил галстук, парик.

Между тем в зале творится небывалое. Макаров ухнул как в пещеру со львами, прижат к стене, лопочет.

— Нет, ничего нету... Смутные знаки...

Никогда не терпел такого — с тех пор как его, сирого вологодского писца, Петр вытащил в Петербург.

— Врешь, дай сюда!

С кулаками лезут именитые. Развязал папку кабинет-секретарь, да толкнули под локоть, содержимое высыпалось. Подбирают бумаги, топчут их. Нашли, убедились — два слова различимы и то приблизительно. Почерк странный.

— Фальшь это... Не его рука...

— Где подлинное?

— У царицы, где же еще!

— Пошли сыщем!

— Меншиков захватил.

Врезался бас Феофилакта — он свидетель, император начертал собственноручно. Нет и устного завещанья. Феофан Прокопович поддержал — грех порочить царицу. Преосвященные заглушили назревавший бунт. Макаров сложил бумаги, хмыкнул и протянул, по-северному окая:

— Чего надоть от покойника?

Кинул оравшим вельможам, съежился виновато — застенчивый, невидный собой. Многих отрезвило. Император мертв, вопрошать его бессмысленно. Так как же быть?

— Сами решим...

Прозвучало несмело. Сами? Новизна ошеломляющая. Грозный владыка решал за всех, держал Россию в горсти. Москвичам повелел заколотить боярские дворы, поколениями обжитые, переселиться в Петербург, к студеному морю, ходить под парусом над

пучиной, в утлой лодчонке, чего ни дедам, ни прадедам не снилось. И вот, нежданно — воля собственная, будто чаша с пьяным напитком, поднесенная к губам.

Хлебнули, пошло по жилам, ударило в голову. Подобно кулачным бойцам о масленице разделились — стенка на стенку. Голицын, стуча посохом, возгласил:

— Царевича сюда... Наследника...

И снова буйство.

— Царская кровь!

— Богом дан!.. Перст Божий.

— Опомнитесь! — нараспев, как с амвона, грянул Феофан, киевский книгочей и златоуст.— Всуе поминаете имя Божье. Младенца на трон? Смуты хотите?

Духовного пастыря не перебили.

— Огорчеваем душу почившего. Бесчинство кажем вместо сыновнего благодарения, послушания. Он же премудрый законодатель нас от смуты избавил.

Намек на указ о престолонаследии, согласно которому наследник прямой, но править неспособный, трон уступает. Монарх вправе назначить преемника из своей фамилии, наиболее достойного. Отец отечества сей случай предвидел.

— Супруга его, коронованная и помазанная, не токмо ложа, но всех трудов его сообщница — она есть наследница, она есть самодержица наша. Тужимся решать, что решено уже... Волю свою подтверждал неоднократно, чему есть свидетели.

— Я свидетель,— откликнулся Толстой.

Гвоздя посохом наборный пол, двинулся на него Голицын, наливаясь возмущеньем.

— Ты-то, Петр Андреич... Ты рад бы в рай, да грехи не пускают. Дешево твое слово.

— Тебе судить, что ли?

Толстой, правдами и неправдами выманивший Алексея из Италии, слывет у бояр отщепенцем. Заговорил, рубя ладонью воздух, Ягужинский. Был в гостях у английского негоцианта, вместе с государем, недавно.

— Царицу почитал наследницей... И сказал — женщины над русскими не было, так привыкнут. Женское естество не помеха... Не я, господа, Его Величество нам глаголет.

Данилыч в это время томился в спальне, возле покойника, в груди теснило прежуасно, скорбь мешалась со страхом и злостью. Чу, гвардейцы! Нет, из зала гомон...

Наведался Толстой с вестями оттуда. Обнаглели бояре. Прямо польский сейм учредили — кто кого перекричит. Пожалуй, кровь брызнет... Князь сжал эфес шпаги — если ворвутся, проткнуть напоследок одного, другого... Пощады не жди... Воцарится Петрушка — пирожника враз под замок, сегодня же... Спать на пуховой постели не придется. Все прахом... Петербургу быть пусту — сулил же предатель Алексей.

Пол под ногами раскален. Царица припала к постели, всхлипывает, стонет. Маятник взахлеб отбивает секунды, и Янус кривится в зареве свечей — медный Янус над циферблатом, двуликий, обращенный в былое и грядущее, бог входов и выходов, ключей и замков, начал и окончаний.

Где же Бутурлин? Перебежал, иуда... А недруги злорадствуют — прячется пирожник, трусит.

— Ты побудь пока...

Бросил Екатерине, безучастной ко всему, кроме своей потери. Потянул шпагу, со стуком погрузил в ножны. Жест успокаивающий.

Пошел к дверям.

Зал оглушил, не вдруг заметили князя — Голицын сцепился с Феофаном. Протопоп зычно увещевает — коронация малолетки вызовет раздоры.

Князь тер платком щеки, притворяясь плачущим. Исподлобья глядя, оценивал шансы сторон. У бояр согласия меж собою нет. Хотят регентства, покуда мал наследник, а кому оное доверить — вопят розно. Голицын и Репнин долбят — Екатерине с Сенатом, другие кличут Анну в регентши, даже вон младшую — Елизавету. Кто в лес, кто по дрова... Зато в своей партии Меншиков видит единство полное, да и числом она превосходит.

Не придут гвардейцы, управимся... Но с ними все же дело вернее. Острастка нужна.

Так где же они?

Ох, и голосище Бог дал Феофану! Святую правду темяшит — ни регентства, ни парламентов не должно быть у нас. Вредны они для России. Верно! Так и мыслил государь.

— Самодержавием сотворена Россия. Самодержавием живот свой и славу продлит. Токмо самодержавием...

А вон Ягужинский рот раскрыл.

— На Францию оборотимся — чего доброго имела от регентства? Свары и разоренье...

Молодец Пашка! Дельно вставил.

— Хуже бывает,— молвил Толстой, старше всех годами, и заставил многих придержать язык.— Многоначалие злобу рождает, братоубийственную войну. Упаси, Господи!

Степенно перекрестился. Заморгал подслеповато, ища глазами князя, нашел и, сдается, зовет в свидетели.

— Разумные слова, Петр Андреич,— молвил светлейший жестко.— Да что мы есть? Дети Петра, дети малые... Кто воле его противник, тот худого хочет... Худого нашей державе.

И громче, ухватив шпагу:

— Отомстим тому... Самодержавие если порушить, значит, обезглавить Россию — наше отечество. От сего все напасти — глад и мор...

С какой стати они — глад и мор? Сболтнул ненароком, заодно с напастями, сцепилось в памяти.

Замер, дара речи лишился, услышав рокот барабанов. Гвардейцы! Идут родимые, идут сыночки... Обмяк от счастья.

И вот Бутурлин, картуз набок, несся во весь опор. А снаружи громыханье солдатских башмаков. Барабаны громче, громче, треск оглушающий. Картечь будто стены дырявит...

Нервный смех трясет князя — ух, взбеленился Репнин, петухом наскакивает:

— Ты привел? Ты?.. Кто приказал?

Забавен коротышка.

— Я это сделал, господин фельдмаршал.

Достойно ответил полковник... Генерал будущий... По-генеральски ответил.

— По воле императрицы, господин фельдмаршал... Ты тоже слуга ее... Мы все...

Срезал коротышку.

Торжествуя наблюдает князь, как заметались его недруги, рука на эфесе шпаги, отстраненную величавость придал себе.

— Откроем окошко... Народ там... Объявим...

Это Долгорукий. Что на уме? Толпа вмешается, захочет царевича? Глупость брякнул ревизор, шибко растерян — до помраченья рассудка.

— На дворе не лето,— произнес светлейший с усмешкой, с долей презрения.

Рассвет еще не брезжил, кстати оказались фонари и гладкие немецкие стекла — ринулся ревизор к окошку и приуныл. Семеновцы, преображенцы шеренгами по набережной, голый булат штыков. Кучки ротозеев, завороженных воинской силой.

Дверь распахнута, мундиры и треуголки вторглись в узорочье кафтанов, в сонм напудренных париков. Топочут, дерзят старым боярам, партию царевича грозят погубить, пиками издырявить. Коротким кивком привечает князь офицеров — всех он знает по именам, обучал, детей их крестил.

— Поздравим матушку нашу.

— Виват! Виват!

Как один отозвались гвардейцы, глядевшие на него в упор, заголосили сановные — Ягужинский, канцлер Головкин, вице-канцлер Остерман.

— Слава царице,— прокричал Толстой, багровея от усердия.— Многая лета ей!

— Поздравим матушку нашу, поздравим,— повторял князь, вамахивая шарфом. На посрамленных взирал наставительно, запоминал. Долгорукий онемел, Голицын долбил тростью паркет, бубнил невнятное, Репнин сдавленно просипел:

— Виват, императрикс!

В крепость бы их, в каменные мешки и наперво его, пузатого. «Икс», взятое зачем-то из латыни, щелкнуло неприятно. Убрать его, коротышку, огарыша из Петербурга...

Оборвалась дробь барабанов, затих строевой шаг. Дворец оцеплен. Ждут гвардейцы. Бутурлин, протолкавшись к светлейшему, застыл в готовности.

— Скажи им, Иван Ильич... Скажи, генерал... Ура Ея Величеству... Да чтоб дружно...

И тут слез не сдержал.

— Кетхен, не надо...

Эльза Глюк, первая статс-дама, силится отнять стакан. Вино пролилось.

Когда Меншиков ушел в залу, Екатерина ощутила вдруг злейшую безысходность. Стены конторки будто сдвинулись, узорочье шпалер слиняло, узилище каменное сжалось, пробрало сибирским холодом.

Вторглись чужие люди, появились сосуды с какой-то жидкостью, тазы, режущие, пилящие инструменты. Она застонала, левия полоснули словно по ней. Будут бальзамировать. Поцеловала Петра в отвердевшие губы, простилась. От склянок пахло тошнотворно. Ноги подкашивались, она едва доплелась до своей спальни. Никого не впускать! С нею Эльза — и довольно.

Никого!

Они росли вместе — немка, дочь пастора и Марта, сирота из латышского селенья, взятая на воспитанье. Глюк — счастье... Оно было безоблачным в Мариенбурге, в семье пастора, доброй и веселой, среди книг и цветов. В милом Мариенбурге, спаленном русскими калеными ядрами...

— К черту всех! Цум сатан!

Царица редко впадает в истерику, зато бурно. Тщедушная Эльза, девочка рядом с великаншей, гладит ее, сует нюхательную соль.

— Штилль, пупхен, штилль!

Зачем ей трон! Супруга царя — при нем она была госпожой, без него в осаде, одна, одна...

— Отчего я не умерла раньше? Отчего?

— Ах, можем ли мы знать! Так Богу угодно.

— Проклята я, проклята Богом.

Ласкает Эльза, мягко зажимает рот. Грех роптать, создатель милостив. Вбежал Меншиков, без стука, запыхавшийся, поглядел с укоризной.

— Матушка! Оденься!

Зачем? Угрюмое ожесточение вселилось в нее. Ветерок освежил щеку, тяжела, хрусткая ткань опустилась рядом, на кровать.

— Ты слышала, пупхен?

Фу, пристала! Глупая Эльза... Ах, гвардия, бравые бурши, наша опора! Глупая, глупая... О, они глазеют с обожанием, когда пьешь с ними на брудершафт! И царь тут же, на позициях, кумир солдатни... А без него... Кто приведет их? Бутурлин, старый спесивец — вчера он друг, сегодня продаст. Кому можно верить?

— Нас убьют, Лизхен. Рано или поздно...

Где-то в недрах ночи пробудилась труба. Идут? Царица упрямо закрыла ладонями уши.

— Раус! К черту!

Царица комкает, швыряет платье, орденскую ленту. Да, идут... Она примет министров такая, как есть. Подлые лицемеры... Грохнутся на колени, а потом, за ее спиной... Пленница, ливонская пленница, из трущоб на престол, из лохмотьев в парчу... Грязная девка, безродная, а чьих только постелях не валялась! Да, валялась, пленница не могла отказать. Но великий царь не погнушался. Свиньи! Они мизинца его не стоят, ногтя на мизинце, обрезков ногтя.

— Эльза! Мне бы Ливонию... Одну Ливонию... Как нам было бы прекрасно с тобой! Согласятся они? Нет...

Барабаны уже под окнами. И тишина, само время затаило дух. Кто-то командует. Кричат... Виват ей, императрице...

— Готова, матушка?

Опять Александр. И выскочил, не заметил, в чем она... Дурак! Зеркала черны. Чего он хочет от женщины, лишенной зеркала. Пусть войдут министры. Пусть кланяются. Ниже, ниже!

Да, императрица... Так было угодно царю. Он взял безродную, не им судить. Делила радости его, утоляла приступы гнева. Отреклась от веры отцов. Всегда отвечавшая на его страсть, была шестнадцать раз беременна, колесила в армейской повозке вместе с мужем, ночевала в придорожной корчме, кишевшей клопами, или в опустошенном, выстуженном замке, хоронила своих младенцев, тратила здоровье, старилась и дочери не узнавали ее, приезжавшую на краткий срок. Из Польши, с Прута, из Персии...

Вы дрожали перед царем, господа,— повинуйтесь его наследнице!

Жалкие рабы...

Вошли, теснясь, стыдливо. Повалились на колени. Сейчас она скажет им... Но что? Слова, накипевшие в ней, рассеялись, забылись. Женщина, раздираемая скорбью и страхом, надеждой и отчаянием, ощущает внезапно упадок сил.

Согбенные спины, слитные пряди париков. Кто-то зарыдал. Она поднесла платок к лицу, выдавить слезу не смогла.

Парики, седые и черные... Они издавна, с детства, напоминают ей барашков. Гроза была, сбились в кучку... Смеяться нельзя. Но ведь бараны, в самом деле... Александр говорит что-то. Надо ответить.

Она вымолвила несколько фраз, очень тихо, с усилием. Благодарна, дело его обещает продолжать. Вельможи подходили, прикладывались к руке, поникшей безвольно, к сухому измятому платку.

Уже светало.

Именитые вернулись в зал. Макаров раздал листы с присягой Ея Величеству — да соизволят господа подписать. Феофан, неугомонный проповедник, гудел:

— Примеры в христианских государствах есть. Женщины правили. Отцы церкви сие не порицают. На скрижалях гистории преславные имена есть.

Крикуны осоловели, пером водят криво и косо. Светлейший отобрал листы, самолично проверил — откачиков не оказалось. Галстук затиснут в карман, камзол пропотел насквозь.

Победа, победа...

Долгорукий настырный ревизор, и тот глядит на подследственного дремотно. Посох Голицына под креслом, князь подал учтиво, разбудил старца. Не до сна, господа, надлежит приготовить манифест, известить народ.

Рассвело совсем, когда князь возвращался домой. Морозный туман окутывал бастионы крепости, шпиль повис над ней золотым клинком. Первый день без Петра... Солнце свой совершает путь, что ему до нас. «Державнейший Петр Великий,— повторялось в памяти,— от сего временного в вечное блаженство отыде»... Торжественное красноречие Манифеста как бы отдаляет безжизненный лик на подушке. «А понеже удостоил короною и помазанием любезнейшую свою супругу»...

Требовали выборов... Выкусили! По завещанию сталось, по воле государя. Зато и злы на пирожника, пуще злы теперь за то, что он волю монарха исполнил, верность ему доказал более всех.

«...Короною и помазанием... великую государыню нашу Екатерину Алексеевну за ея к российскому государству мужественные труды...» Складно пишет Макаров. Мужественные... Плоть женская, однако...

Разумеет ли помазанная, кто должен быть рядом с ней... Кто есть истинный трудов государя наследник.

Скользит возок, наплывает Васильевский остров. Врастают в небо статуи на карнизе трехэтажного дворца, величайшего в столице, шпиль собственной его светлости церкви. Дом маршала двора, дом канцелярии, избы челядинцев, разные службы, беседки и оранжереи сада... Через весь остров до Малой Невы протянулась усадьба, город в городе, а по немецкой мерке бург венценосца. Отрада, обитель отдохновения, гордость Александра Даниловича. Честно ведь добыто — награда за верность и ревность.

Печальная весть обогнала князя — часовые на крыльце, под черными флагами, скорбно отдали честь, черным обвязаны рукава, ружейные стволы, черным оплетены колонны сеней. Наверху меняют шторы, обрамляют крепом портреты царя. В приемных покрывают и стены. Пахнет деревянным маслом, которое кто-то разлил, наполняя лампады. Княгиня Дарья, зареванная, шлепает в оленьих унтах, простоволосая, суетится бестолково. Обняла мужа и пуще размокла.

— Причешись,— сказал Данилыч.

Взяла бы пример с сестры... Ходит распустехой, а в доме люди, небось. Варвара — та в аккурате, командует, хаос был бы в доме, кабы не приехала пособить.

Бог наказал бояр Арсеньевых — Варвара уродилась кособокой, зато и умна же девка-перестарок, и расторопна. Советчица в семье, в хозяйстве, наставница детей и хорошо, что загнала их во флигель, нечего им тут путаться. Купанье вакханок, Венера обнаженная со стены сняты — догадалась Варвара. Князь похвалил, сказал, что надо будет две-три комнаты обтянуть траурно сплошь, как принято в Европе.

Вышел из женской половины и через площадку лестницы — вечно холодную — к себе в мужскую, где ждут посетители. Варвара послала им водку, закуску — сидят горестно, не притронулись. Скорняков-Писарев, комендант столицы, вскочил, князь притянул его к себе. Ладный молодец, исполнительный, из гвардейцев... Пришлось обнять и Девьера.

Помянули царя, осушив чарки, есть отказались. Князь слушал доклады, кивал — да, траур чрезвычайный, в церквах на молебствиях быть всему обывательству, подлым и знатным, облачиться в темное, а у кого нет, надеть повязку. В жилье именитого по крайней мере одну камору управить подобающе.

Затем Девьеру:

— Ты, Антон Мануилыч, навостри уши! Мелют грязные языки... Про царицу.

На смуглом лице полицмейстера застывшая настороженность. Не забыл, как сватался к Анне Даниловне и пересчитал ступени. Вспылил тогда князь. Отдать сестру за царского денщика, за иудея? Ни за что! Государь заставил обвенчать, иудея сделал графом, чему иностранные дворы дивятся.

— Уши у нас не заложены.

Ответил чеканно, карие глаза, опасные для женского пола, прикрыты длинными ресницами. Чешет по-русски, будто в России рожден. Всего два слова знал бродяга, юнга с голландского корабля — «царь» и «Петербург».

Губернатор астал, подвел итог.

Манифест печатают. Попы прочтут, но и ваша забота тоже... Втемяшить народу: матушка наша — наследница законная, волей государя. Он помазал, он вручил корону и скипетр. Дурные языки прищемить.

Вернулся на женскую половину. Дарья умоляла откушать, лечь. Сна ни в одном глазу, кусок в горло нейдет.

До вечера объезжал губернатор столицу, уже окропленную черным. Народ в печали, в смятении. Гвардейцы в слободах плачут, вздевая на избах флаги.

Скорбит и камрат царский, но слез нет, дышит грудь необычайно легко. То дух царя, воля царя — в каждой жилке, в целом существе, точно свежая кровь.

Об этом не крикнешь. А жаль... Сие бы друзьям и недругам внушить. Наперво царице... Ну, она сама понимать должна, кому обязана...

Императрикс...

Репнина прогнать, здесь он неудобен. А может, коротышка, обрубок, в Зимнем сейчас, к царице ластится... Нет, из него плохой утешитель. Вот Ягужинский... Вот Девьер, кавалер-галант... Эти без мыла влезут.

Кто с ней там?

Нашептывают, злословят... Больнее, больнее покалывало нетерпение. Помчался к Зимнему.

Топот, гром во дворце — ровно полк солдат занял, да с артиллерией. Двигают мебель, скатывают ковры, сшибли гладиатора венецианской работы. В зале, где препирались утром, орудуют плотники, мастерят помост для гроба. Камергер сказал, что прощанье с покойным начнется завтра же.

— Гладиатора разбили,— попенял князь по-хозяйски.— Пятьсот ливров плачено.

Встретился Растрелли — он снял гипсовую маску с лица Его Величества.

— Вечна мемория... Вечна...

Захлебнулся и мешаным наречием, скороговоркой, подсобляя себе жестами, почал хвалиться — сочиняет фигуру, точную копию императора, восковую. Сидет в кресло, в кабинете, совершенно как живой. Сможет встать, руку протянуть — на то педаль имеется.

Топает, нажимая незримую педаль, трясет черными бантами на одежде,— игривый у итальянца траур. Царь посмеялся бы...

— Я делать... Под Ваша протекция...

Что ж, кукла, радость толпе... Государь одобрил, улыбнулся губами камрата. Растрелли просиял, отвесил церемонный поклон, затем понизил голос. Ему известно — чужеземцы укладывают багаж, нанимают лошадей, чтобы бежать из России. Мелкие трусы, конечно... Боятся черни, переворота.

— Скатертью дорога.

Произнес по-царски решительно, по-царски вскинул ладонь — прочь малодушных! Потрепал скульптора по плечу.

— Делай, маэстро!

В лиловых сумерках мельтешили люди — сановники, придворные, послы чужих суверенов, все в испуге, словно дети брошенные, не ведают, как им жить без монарха, кого слушать.

Узнают, узнают...

Аудиенции отменены.

Ягужинский входил без доклада — видать, и ему отказ. Тоскует у двери.

— Сунься! Церберы там.

Прищемили нос утешителю.

— Тяжко ей, бедной,— отозвался князь.— Вдовья доля, Павел Иваныч.

Стучать или явить скромность. Пощадить женщину, дать ей побыть со своими... Отступить?

Постучал.

Отперла Вильбоа, рыжая ворчунья. Лизхен толчет что-то в миске медным пестиком. Царица лежит, накрывшись с головой.

— О-о! — выдохнула рыжая с укором.— Мсье Меншикоф!

Та, пигалица, подбежала на подмогу, сделала книксен, но пестик наставила дерзко му в грудь.

— Шлафт, шлафт...

Одолели шипеньем... А она шевельнулась, открыла лицо, отуманенное сном. Большая голая рука выпросталась из-под одеяла.

— Разбудил и? Прости! Зайду опосля. Дело есть, да ладно... Насчет Репнина...

Приподнялась. Сорочка сползла, выпучилось плечо. Налитое, лоснится, ровно ядро пушечное. Сна в помине нет. Глаза — черные, блестящие, под густой чернотой бровей — впились.

— Р-репнин?

Сказала гневно. Статс-дамы охнули, отступили.

— Говори, Александр!

Разумеет, кто ей заклятый противник. Наслышана... Сжала кулак. Эта крепкая, белая рука когда-то посрамила мужчин — удержала навытяжку, над столом с яствами гетманскую булаву. Виденье, вспыхнувшее внезапно, резануло.

— Опасаюсь, матушка... Смущает он гвардейцев, бесчестит тебя. Мала, гадюка, а яду много. Убрать бы его из Петербурга.

АМАЗОНКА

Ехал домой без факелов. Мог бы кликнуть, дежурная рота наготове, да шут с ними, не до того.

Амазонка...

Кто-то обронил тогда за столом, млея от восторга. А ему неприятна была булава, нависшая над блюдами, над хрусталем. Сам он и не пытался. Воистину богатырша, вроде тех воспетых, из века героического. Женский пол слаб — сие натурой определено. Амазонка, однако, трусит.

Испугом и держать ее...

Решено — Репнин будет отправлен в Ригу, там ждет его кресло губернатора. Место в военной коллегии освобождает — президентство в оной светлейшему князю возвращается. Пуганая-то милостива. Бутурлин, конечно, генерал. Другими надобностями Данилыч не докучал — успеется.

Что — худо без мужа?

Бывало, за государем в огонь и в воду. На Пруте уж как кисло пришлось, близко к турецкому полону было — храбрилась. Сказывал фатер — золото, каменья содрала с себя и гордо — визирю... Откупилась, не согнув стан. А в персидском походе... Жара, засады... Обстреляна богатырша.

Война и здесь, матушка. Может, пострашней еще... Так помни, кто защитник твой ныне!

Проносятся елки, вмерзшие в лед, машут колючими лапами. Позади возка сани-розвальни со скарбом князя. Покои в монаршем дворце отняты вновь. Толкнулся туда — пожитки уложены, скатаны, увязаны по приказу Ее Величества. Бери и выметайся! Сладкая улыбка у камергера Юрова, приторная.

Зимний погружался во тьму, холодный пустырь Невы раздвигал берега — левый царский и правый, в просторечьи Меншиков берег. Там словно фейерверк искрится — зажег огни княжеский дом. Отрада хозяина... Было два жилья — теперь одно.

За царицей гляди в оба... Заюлит кавалер-галант, хамелеон, она и растаяла. И обняла лютого врага. Без мужика-то не выдюжит, вон сколько сдобы женской!

Литое плечо, грудь почти оголившаяся, вечно бунтующая против корсажей... Нет, не волнует это мощное естество, претит даже, ибо напоминает о конфузии. Дернул же бес, забрался в светелку к пленнице... Шереметев притомился с ней, уступил молодому. И ведь не так, чтобы тянуло очень,— просто думал подавить природную робость. Не удалось... Впрочем к лучшему. Сообразил вскоре, на что годится стряпуха-ливонка. Кому она по масти...

Мелькают картины той зимы. Царь вывез всю ораву Глюкоа в Москву, ученому пастору повелел открыть гимназию, Марту поместил под надзор царевны Натальи и боярышень ее Арсеньевых — Дарьи и Варвары. Трещал, колебался по вечерам хилый дворец Лефорта на Яузе. Вваливались Петр и камрат его в одежде, провонявшей дымом костров, лошадью, оружейной смазкой. Денщики втаскивали короба. Женские наряды, брошенные бароншами в Дерпте, в Нарве, чекулат из шведского обоза и кофий, заморские вина... Ивашка Хмельницкий, выпущенный из фляжек, приручал боярышен, выросших в тереме. Чур не убегать — топает князь. Здесь меряйте! Хохот, полымя на щеках девиц...

С Дарьюшкой осмелел — чарка помогла — и стала она женой, стала женщиной единственной. Зато в распутстве не уличат, от сего пристрастия независим.

А с Мартой и далее с царицей — чисто брат и сестра. Подарки, заботы взаимные, просьбы в ее письмах — «не оставь меня безвестной о тебе!» Осерчает царь на камрата — она заступница. Сердобольна, мужу покорна — иной Екатерины не знал никто. Что переживет царя, и не мыслилось.

Мужика залучит она. Тело свое отдаст — на здоровье, натура требует. Если и волю впридачу — тогда несчастье. Тому всеми мерами препятствовать. А как уследить?

Еще и Нева разлучает...

Мелкая, зябкая дрожь донимает светлейшего, хотя в возке тепло. Ни крошки во рту целые сутки, а есть неохота. Не ослабла пружина некая, туго закрученная изнутри, в грудной клетке. Скорее в мыльню... Вот средство сильнейшее от лихорадки нервической. Догадались ли затопить?

Отчего колонны в сенях, обычно огорчавшие толщиной, старомодные, показались тонкими, хрупкими, а черные ленты, обвившие их, словно и шею стянули, сдавили дыханье? Траур гнетет Александра Даниловича, он терпит обычай, как болезнь, как уродство. Шаг бодрый, шаг победителя.

— Мамушки! Баньку!

И в ответ на немые расспросы жены, Варвары бросает, подмигнув задорно, весело:

— Бабье царство у нас.

Из века заведено — новое царствование дарует льготы, дабы сердца подданных воспылали признательностью. Война со Швецией, длившаяся двадцать один год, разорила деревню, а затем постигли неурожаи.

Генерал-прокурор Ягужинский, наибольший чин в Сенате, мужика жалеет. Испытал и голод и холод в Москве, куда прибрела семья бедного литовского органиста, искавшая удачи.

Из Орла ему доносили: «Крестьяне пришли в совершенную скудость, дня по два и по три не едят, ходят по миру и питаются травою и ореховыми шишками, мешая с мякинами».

Рапорт из Углича гласил: «Не токмо у средних, но у лутчих многих крестьян на семяна ярового хлеба ничего нети осеменить тяглых своих жеребьев нечем, а у которых как скотинишко, так и хлеб был и то все распродали, а деньги роздали во всякие подати и ныне не токмо засеять землю, но и питаютца многие травою и от того много крестьян помирают гладом».

Павел Иваныч читал с содроганьем. Земли, зарастающие лебедой, брошенные, прохудившиеся избы, несчастные люди, кинувшиеся в бега... Кто посильнее, тот пробивается на Дон, где непаханые степи, где нет помещиков. Отчаяние толкает к буйству. Пишут из провинций — воровские люди, собравшись шайками, грабят проезжих, жгут дворянские усадьбы.

Покойный государь велел беречь земледельца. В крайности раздавать господский хлеб, чтобы спасти от голодной смерти, скосившей, например, в Пошехонье пять с половиной тысяч сельских жителей. Но местные власти о народе радеют мало, охотнее утесняют сирого мужика. Подати выколачивают, невзирая ни на что, беглых разыскивают, лупят кнутом — закон на этот счет строгий. Однако деревни пустеют.

Сколько подушных недодано? Счета в канцеляриях, по неумелости или нарочно запутаны. Лишь приблизительно удается суммировать — не меньше миллиона.

Семьдесят четыре копейки в год обязана платить каждая душа, учтенная в переписи населения,— младенческая, стариковская. Антихристом мечены все,— вопят кликуши,— его богопротивные незримые печати на лбу! Грех переписывать людей... Суть в том,— рассуждает генерал-прокурор,— что непосильна эта жертва, семьдесят четыре копейки, хотя одна пуговица на парадном кафтане сановника стоит дороже.

Несколько раз переиначивал Ягужинский проект благодетельного указа. Скостить двадцать копеек? Подсчитал — нет, урон для тощей казны. Десять? Меншиков заспорит. Президент военной коллегии, а главное фаворит Ее Величества.

Она без него не решает.

— Вызову обоих,— сказала царица Эльзе.— Подерутся при мне, петухи. Ничего, разниму.

Взор Петра случайно пал на молодого приказного и задержался на нем. Юноша был пригож, в отличие от соседей за длинным столом чернилами не измазался. Смотрел на царя смело — ничего рабского, манеры непринужденные. Переводит с польского, но может и с немецкого. Такие нужны.

Денщик Петра, любимый денщик. В скорости — капитан гвардии. Еще тогда, в 1710 году, датский посол Юст Юль писал о нем проницательно: «Милость к нему царя так велика, что сам князь Меншиков от души ненавидит его за это; но положение Ягужинского в смысле милости к нему царя уже настолько утвердилось, что, по-видимому, со временем последнему быть может удастся лишить Меншикова царской любви и милости, тем более что у князя и без того немало врагов».

На десять лет моложе соперник. Храбрости, расторопности не занимать. И что дорого Петру особо — отличается образованием, в сношениях с иностранцами ловок. Князь же, известно, выводит свое имя жирными, почти печатными буквами, грамоте не учился.

Царь дарит Ягужинскому остров на Яузе, сватает невесту с громадным приданым. В Петербурге вырос дом Ягужинского — просторный, трехэтажный, с графским гербом.

На Аландском конгрессе, состязаясь со шведами по поводу условий мира, писал царю умно, хлестко, не унывая. Упрямый министр «горькое яблоко дал укусить», претензии той стороны таковы, что «хуже одна пропасть». В Вене готовил почву для брака царевны Анны и герцога Голштинии — надо было заручиться одобрением, поддержкой цесарского двора. Англия воспротивилась, Ягужинский, действуя дарами и риторикой, происки сии расстроил.

Карла Фридриха Россия ужасала — царь, говорили ему, лупит дубиной кого попало, в Петербурге летом наводнения, зимой феноменальные морозы, птицы коченеют на лету, падают замертво. Примирял портрет Анны, поднесенный Ягужинским, а больше того — выгоды от союза с могущественной державой. Герцог приехал, влюбленный заочно.

Портрет не солгал, «прекрасна, как ангел»,— занес в дневник, из уст повесы камер-юнкер Берхгольц, голштинец млел от восторга, обручаясь с Анной, послушной отцу, Ягужинский ходил гордо, обласканный обоими дворами щедро.

И вот уже третий год он генерал-прокурор, «помощник царя, заменяющий его в Сенате» с решающим голосом.

Урон для светлейшего болезненный. Сам он заменял царя, его именем судил и рядил. Если бы не следствие... Начатое, по мнению князя, из-за сущего пустяка, оно-то и отвратило лик монарха.

Скрепя сердце диктовал князь секретарю то, что лучше бы доверить бумаге келейно. Граф уехал, не простясь, дурной знак... Не посеяны ли какие плевелы? Просьба содержать в неотменной любви. Читай между строк — замолвить царю словечко. Лебезил светлейший, посылал апельсины, а после мучился стыдом, злостью. Доносили ему — генерал-прокурор, во хмелю развязный, кричал:

— Говорят, я ненавижу Меншикова. Да, ненавижу, потому что я честный человек.

— Покуда не пойман,— откликался князь в компании, зная что противник услышит, молва передаст.— Изворотлив, по мелочам таскает.

Все ведь воруют.

Столкнулись открыто накануне коронации. Царь приказал почтить императрицу пышностью чрезвычайной. В России не было кавалергардов, парадного эскорта королевы — теперь должны быть. Набрали роту рослых, видных собой солдат, сшили мундиры — во всю грудь двуглавые орлы, загляденье. Репнин назначил командиром Ягужинского, князь кинулся к царю, плакался, умолял — не помогло.

Пахло дуэлью...

И теперь, при самодержице, генерал-прокурор в числе самых близких к престолу. Вхож без доклада. Палац его на левом берегу, от дворца всего за три дома. В глазах Александра Даниловича длинноносый Пашка уродлив, как дьявол, а вот поди ж ты, покоритель женского пола! Щеголяет в самом модном, любую церемонию управит, слывет душою всех застолий, всех балов. В танцах неподражаем — далеко обставил князя, способного один полонез откаблучивать, не вызывая смешков.

Видятся соперники, что ни день, у царицы или по службе в Сенате, обязаны держаться в пределах политеса. Легко ли! Российский двор, наблюдающий двух птенцов Петрова гнезда, ожидает взрыва.

Екатерина приняла вельмож полулежа в кровати, гладила пушистого белого котенка. Жестом велела придвинуть стулья. Ягужинский был трезв, изобразил мужицкие нужды с жаром, ему присущим. Владычица кивала растроганно и, косясь на Александра, ждала сочувствия.

Князь слушал Пашку с улыбкой превосходства. Худо крестьянам, воистину худо, но десять копеек — уступка для государства разорительная.

— А солдату сладко? Армия в Персии, почитай, второй год без жалованья. На подножном корму, яко скотина... А персияне сами нищие. Болеет войско, лечить некому, лекарство не на что купить. Четыре копейки, больше никак не скинуть.

— Заплата на зипун,— поморщился Ягужинский.

— Великий государь копейки не вычел бы. По́дать мужик снесет и сыт будет, ему бы от худшего избавиться. От волков кровожадных.

Пашке следует знать — волками царь называл ненасытную рать чиновников. Помещику губить мужика не резон, это они измышляют неправедные поборы, всячески утесняют. Собирая недоимки, копейки возвращают казне, рубль в карман.

— На твоей совести, Паша. Мне, что ли, жалобы шлют? Тебе в Сенат. Проучи живодеров!

— Павел,— строго произнесла Екатерина.

Котенка, вцепившегося в плечо, нежно сняла и перекинула на колени князю. Ягужинского задела свойская доверительность жеста — больнее, чем насмешливая снисходительность соперника. Отозвался в тоне запальчивом.

— Жалобы есть и на твой адрес, президент. Доколе полки будут стоять по дворам? Когда уберутся?

— То особ статья.

— Не все сразу,— сказала царица.

— Обмыслим,— отрезал князь и генерал-прокурор замолчал. Похоже, его из размышлений исключат.

— Государь нам завещал, Паша, мужика и солдата беречь равно. Гвардейцам кое-как наскребли, еще и матушка наша из своего кошелька добавила. А на грядущий год? Опять им репу жевать? А коль не уродится у них овощ? А при нас, при столице войско надо держать!

И начал, защищая четырехкопеечную поблажку, сыпать цифирью. К папке с бумагами не прикоснулся, да и не умеет он читать быстро, выручает память, прочно отпеча-

тались в ней столбцы расходов. На прокорм и снаряжение армии, флота, на починку и строение кораблей.

— Учил нас Отец отечества, ежели потентат токмо сухопутное воинство имеет, он однорукий.

И, обратясь к царице:

— Вели, матушка, Сенату частым гребнем чесать, а миллион раздобыть. Без этого не обойдемся.

Царица соглашалась — ущемлять военных, особенно гвардию — недопустимо. Поступать, как заповедано. Ягужинский ерзал, терял терпение. Афоризмы Петра и ему известны, упреки и наставления излишни — он ведь не подчинен князю, служебным рангом выше его.

— Ваша светлость... Должок за вами, я слыхал, именно миллион. Вы бы и внесли...

Данилыч побледнел.

— Видишь, матушка... Позорят раба твоего... Горазды считать в чужой мошне. Я, Павел, в твою не лезу.

Вскочили оба.

— Штилль!

Хлестнула окриком, усмирила. Послушно открыли поставец, налили себе вина, подали стакан и ей.

— Мир, господа! Прозит!

Выпили, поцеловались троекратно. Губы у Ягужинского пухлые, влажные — мазнул по щекам, обслюнявил. Утереть платком князь, однако, не посмел, царица следила пристально.

Отпустила генерал-прокурора в Сенат, готовить указ. Данилыч ждал этого, пылая негодованием.

Варваре скажет больше.

Ход к ней из предспальни князя, покои во флигеле, примыкают к детским. Без спроса — ни-ни! Блюдет этикет боярышня Арсеньева. Постучал. Попугай за дверью крикнул:

— Хальт!

Камеристка в белом передничке сделала книксен — душистая, сдобная плоть. Ущипнул пониже спины, охнула девка и объявила сумбурно:

— Либер князь.

Наборный пол скользок, как лед, изразцы вымыты мылом — помешана свояченица на чистоте. Всечасно тут скребут и трут, палят ароматное — понеже, считает она, болезни происходят от грязи и вони.

Комочком приютилась в кресле свояченица. Поджав ноги под себя, читает иноземную книжку.

— Устала я. Невмоготу с вами.

Сразу в атаку...

— С копыт собьешь этак, милая,— молвил Данилыч.— Заикаться буду.

— Собьешь тебя, Гог-магог! Ну вас всех!

— Полно, Варенька!

Омрачился притворно. Пустая угроза. Покинет она на день — на три и заскучает. Повторялось... Шествует взад и вперед, благо собственный дом рядом, на острове.

— Обламываю сыночка твоего, мочи нет. Басурман растет. Одно занятье — саблей махать. Спать кличешь — брыкается.

— Глуп еще.

— Кавалер уже... Одиннадцатый год.

Отец хмурит брови, но внутренне умилен. Прочит наследнику карьеру военную. Второй Александр Меншиков, второй тезка великого македонца. Отношение к именам у Данилыча суеверное. В походах прославит Сашка княжеский род.

— Он говорит — батюшка разве укладывался спать, когда шведов колотил?

Потеплела лицом и возникла прежняя Варвара, молодая, бойкая невеста в тайном ожидании суженого. Ладила паклю под платье, да зря, все равно выпирал телесный изъян. Жених беспоместный взял бы горбатую, только ефимками позвякай, так ведь ерепенилась Арсеньева.

— Марья учит французский?

Цель визита не выложит сразу. Спешит он, что ли, нуждается позарез в совете? Просто так приходит, душу отвести и заодно получить подтвержденье собственным мыслям.

— Учит. Дерзкая стала.

Старшей тринадцать, собой недурна. Немецкий осилила уже. Отец наметил жениха — польского графа Сапегу. Нос дерет девка, будто краше ее на свете нет. Санька на год младше, егоза, звонок в доме, все еще в детстве пребывает.

— Дура Санька. Дразнит брата. Царапаются...

— Златая пора,— вздохнул Данилыч.— Вот царица наша... Зрелые лета, а ума у нее...

— Не совладал?

Выронила книжку, развеселилась. Верхняя губка уголком вперед, арсеньевская губка вздрагивает от любопытства, открывает мелкие беличьи зубы.

— Вожжа под хвост... Забылась. Что она без меня!

— А ты без нее?

Беспощадна Варвара. Не сумел совладать — куснула в больное место. Усмешка чуть свысока, боярская, и все-таки терпит безродный князь, терпит безропотно, с неким сладострастьем даже. Не потому ли, что винит себя — настоять надо было, купить ей мужа, да привести, благословить...

Рассказал о случившемся во дворце подробно. Царица удивила его и расстроила. Пашке наглость с рук сошла. Стало быть, он в авантаже... Ей бы опереться на друга испытанного и власти ему прибавить — отменой следствия, высоким градусом.

— Накось, помирила... Бояться ей нечего. Коли я с ней да гвардия, любого обломаем.

— Ишь ты, Аника-воин!

— Разве не так?

— Ой, пресветлый! Царскую палку норовишь поднять.

— Дай срок!

Вспоминая неудачу, Данилыч пришел в неистовство. С Пашкой мир невозможен, он козни строит, задирает первый, ядом брызжет.

— Вижу,— Варвара покачала головой с грустью.— Вижу, какой мир у вас. До первой драки. А Катрина... Каково бедной между двух огней! Умна ведь баба-то... Она и тебя выручает, а то прешь напролом. Надорвешься... Нынче другое требуется.

— Чего другое?

— Рафинэ.

Сощурилась, будто нитку в иголку вдела. Искорки в темно-серых запавших глазах. Спросила, знает ли пресветлый, что значит рафина. Он отмахнулся. Солдат он, груб, прощенья просит — не рафинирован.

— Самодержица... Миротворица... Решила быть доброй со всеми, блаженная Екатерина.

— Дай-то Бог!

— Возомнила о себе...

Гвардейцы в то утро под окнами дворца голосили — отец наш умер, мать наша жива. Вот и смутили бабу... Забыла, как супруг ее, великий царь поступал.

— Палку кто-то должен взять, милая. Без палки нельзя, слабого правителя в грош не ставят. Речено ведь — презренье подданных опаснее, чем ненависть.

Мудрость этой сентенции, услышанной давно, в пьяной компании, поражает князя. Участник трудов и борений Петра, он вынес убеждение — доброе, справедливое достигается лишь понужденьем. Люди, ведомые твердо, грозно, славят монарха, лобызают палку, которая бьет их и учит.

— Кабы мы с государем разлюбезно, да рафинэ... Где бы мы были? В сырой земле, миленькая... Стрельцы бунтовали, ты еще сопливая была... Как с ними, скажи! Может, рафинэ?

Данилыч вскочил. Пожалуй, довольно.

— Сажай Марью за французский,— напомнил он, уходя.

Царь и камрат словно мясники — сапоги в крови, штаны, рубахи... Лужи кровищи. Два десятка злодеев прикончил Алексашка, рубя наперегонки с царем. И бояр бы этих — бородами отделались...

Отчего вспыхнуло вдруг зрелище стрелецкой казни, стародавнее? Пашка распалил. И он на плахе, ничком, в ряду приговоренных.

Дождется Пашка...

«Его светлость в ореховой бавялся в шахматы».

Да будет и это известно потомкам — дежурный секретарь извещает, заполняя дневник, неукоснительно, раз или два в неделю. Приучил играть царь, любитель всяческих головоломок и когда камрат поддавался, впадал во гнев.

Царская игра...

Проникшись уважением к ней, Данилыч воспылал и страстью. Янтарный набор в ореховой стал еще при жизни Петра как бы реликвией — быть допущенным означает близость к хозяину. Впрочем, партию редко доигрывают, отвлекаются на другое.

— Зеваешь, Горошек!

Адъютант Горохов двигал фигуры вяло. Его королева была минуту назад в опасности. Князь, оторвавшись от доски, произнес длинное наставление. Шах королеве —

маневр весьма важный, ибо он сковывает эту весьма мощную фигуру. Истина общеизвестна, но князь многословным объяснением заставляет предполагать заднюю мысль. Не раз уже речь о шахматах заканчивалась поручением.

Как Петр избрал себе камрата, так и Данилыч из сонма убогих, униженных вырвал мальчишку. Степка лоток не таскал, пирогов и не нюхал, живился подаяньем. Залез однажды, на счастье свое, в меншиков огород, сторож вытащил за ухо, тут подвернулся сам господин. Чем-то приглянулся пострел... Оказался круглым сиротой, отец и мать, пригнанные в Питер из-под Углича, умерли.

Со дня основания столицы шел второй год, резиденцией царя была бревенчатая пятистенка, раскрашенная под кирпич, а губернатора дом побольше, тоже деревянный, с золочеными наличниками, быстро обраставший сараями, амбарами, стойлами, конюшнями, избами для челяди, для солдат. Одетый в короткий кафтанчик с кистями, по-польски, Степка состоял сперва на побегушках. Найденный с горстью лакомых стрючков в кулаке, получил фамилию — Горохов.

По царскому веленью, губернатор открывал школы — мастеровые, осевшие в Санкт-Петербурге, сели за буквари, за цифирь. Завел обученье и у себя, с некоторыми беседовал особо. Степке было внушено, что родители его, бесcомненно, в небесах со святыми, ибо положили живот за царя, помазанника Божьего, за Россию. Погибнуть с ружьем в руке или с лопатой на сих великих работах, под носом у шведов — доблесть равная.

Помазанник заходил в дом запросто. Веселый, приветливый, он покорил сердце найденыша. Хозяин объяснял — царю неважно, кто кем рожден, он любит того, кто хорошо служит. Сделал же вот худородного другом своим, самым близким. Наградил чинами, именьями... Впрочем, все это — строение, богатство — по сути царское. Люди России, имущество их — в руке монарха.

Степка ощутил гордость. И он, стало быть, царский. Служить стремился, зло брало на шведов и на врагов царя отечественных. Отчего бояр в Москве — кичливых, толстопузых — не истребил под корень? Пожалел, воевать заставляет. Да годятся ли? В седло, небось, не влезут...

Познал Горохов грамоту, счет, кратко геометрию. Назначенный в амбар, записывал привозимый из деревень провиант, пеньку, холсты, овчины. Семнадцати лет зачислен в собственную его светлости домовую роту и год спустя он, властью княжеской, офицер, дворянин.

В военном мундире, куда ни пошлют, престижно. Езжай, поручик, в вотчину князя,— точно ли тамошний управитель лихоимец? Если виновен — арестовать. Обеспечь участок земли под мельницу, под завод, угомони канительщиков в губернской канцелярии, вяткой действуй или законом стращай! Разыщи мастеров делать хрусталь, ножи, кареты, замки, а нет таковых — вербуй охочих, определи учиться!

Война отдалялась, князь покидал столицу надолго. Адъютант скучал, просился на фронт. Мечтал о подвигах, а еще жарче — быть ближе к благодетелю, исполнять его приказы, похвалу от него услышать. Очутился в Померании, где русская армия теснила шведов, сбрасывала с материка Европы.

В бой князь не пустил, удержал в штабе и тут обнаружилась способность Степана к языкам. Заговорил по-немецки, затем с помощью пленного офицера по-шведски. Еще нужнее стал Горохов — допрашивает «языка», пойманного шпиона, переводит речь парламентария, либо дипломата союзной державы — Пруссии, Мекленбурга, Дании. Поднаторев в этикете, в танцах, в карточной игре, в комплиментах женскому полу, вступил в бомонд. Поручения имел деликатные...

Доверие к адъютанту — ныне капитану — полное. Должность, которую он занимает при Александре Даниловиче, нигде не обозначена, вслух не упоминается. Полицмейстер Девьер разнюхал, конечно, и негодует. Но как быть светлейшему, если на зятя положиться нельзя — навсегда ведь обижен.

— Зеваешь, батя,— сказал Горохов и съел пешку.

Играет князь рассеянно. Солнце опускается в залив, в серую пустоту, полоска левого берега истончилась в дымке, рвется, сумерки отъединяют княжеский бург — враждебные тени кругом...

— Весна скоро, Горошек. Совсем отрежет нас...

Тронется Нева — берега на неделю, а то и дольше будут разобщены. Репнин пока еще в городе, тянет с отъездом... Подумывал светлейший загодя перебраться, чтобы присматривать за царицей неусыпно. Нет — чересчур явное выкажет беспокойство. Но глаза и ушей там, за Невой, надобно вдвое больше, втрое...

— Квартиру подобрал себе?

Месяц-другой поживет капитан в доходном доме князя, что возле Адмиралтейства. Задача гласная — надзор за Галерной верфью, негласная — наставлять тайных доносителей и число их увеличить.

— Есть камора, батя.

— Соседи кто?

— Трубач царицы, Корнелий, австриец. И плотник с верфи, Леонтий, оброчный графа Шереметева.

— Ноев ковчег. Добро. Стерпишь трубача?

— Чай, не оглохну.

Сколько же денег выделить на расходы? Прикидывает. Мелюзге — мелкие подачки, персонам более значительным — лучше подарки, чем чистоганом. Например, статс-даме ее величества...

— Подкатись, Горошек!

Мужчина ладен, плечист, морда лопается — какая девка прогонит! Уши вот оттопырены, а то — Аполлона лепи с него.

— Примять бы тебе уши утюгом, что ли... Действуй, Степушок! Степушок-петушок... Атакуй курочку!

Прозвищ для него — ласковых, шутливых, а то и с издевкой — не меньше, чем некогда у царя для друга Алексашки. Так, со смешком и как бы потешаясь, обсудили секретную кампанию. Горохов внимает, преисполненный восторга. Ради князя-благодетеля улестит и обманет, полюбит и разлюбит. Женат кавалер, но супруга пребывает безотлучно в поместьи под Калугой, ибо сырость питерская ей вредна.

Исчезло светило в море, темнеет в ореховой, а Петр на портрете до странности долго сопротивляется тьме. Рыцарские латы неразличимы уже, рука, сжимающая жезл, едва мерцает, а лицо, пышущее молодостью, сияет будто живое.

— Благослови, государь!

И Горохов поднял глаза — с обожанием, молитвенно.

Девочку обидели.

Она плачет навзрыд, орошая слезами кукол. Их отбирают, кладут в сундук. Значит, правда — ее увезут. Почему? Король рассердился?

За что? За что?

Ей около семи, но на вид меньше. Рыжеватая, хрупкая, с веснушками на хлюпающем носу, она разжалобила придворных. Пытаются утешить. В Мадриде соскучились, зовут домой. Но Мадрида она не помнит. Дом ее здесь, в Париже.

— Так я не буду королевой?

— Будете, ваше высочество... Потом...

Прячут глаза, обманывают. Где же король? Не идет, даже проститься не хочет.

Впоследствии ей расскажут, каким громким событием был ее отъезд, какое волнение вызвал в столицах Европы. Людовик нарушил помолвку. Испанская инфанта Мария Виктория де Бурбон, которую две дюжины нянек, наставниц воспитывали для трона, отправляется на родину. Девочка плохо выросла за четыре года во Франции, узка в бедрах, вряд ли подарит здоровое потомство.

Король свободен.

Покамест юноша увлечен фрейлиной двора, девицей де Санс. Ему пятнадцать лет. Политика его не трогает — задача регента объясниться с Испанией, уладить досадное кви про кво.

В Мадриде взрыв возмущения. Толпы требуют отомстить за поруганную честь династии, страны. Объявлена война, к Пиренеям двинуты полки.

Известия достигли Петербурга через месяц — в середине марта. Кампредон примчался в Зимний, испросил срочную аудиенцию. Его провели в конторку Петра, холодную, мрачную. Истекли три недели траура глубокого, три недели чрезвычайного — Екатерина еще скорбит, лиловые шторы затеняют комнату. Самодержица вошла, одетая по-домашнему, в меховой душегрее, села в кресло покойного супруга, за широкий, запыленный письменный стол. Гнетущая лиловость легла на ее страдальческое лицо.

Заговорили по-шведски. Первые же слова посла сняли эту маску — появилось удивление, затем радость.

— Война с Испанией неминуема, Ваше Величество. Англичане на данном фронте не выступят,— уточнил Кампредон.— Надежда исключительно на вас. Франция счастлива будет вступить в дружбу с вашей великой страной. И принять воинов славной армии, победившей Карла Двенадцатого.

Грудь царицы поднималась бурно.

— Куракин пишет мне... Пишет, что помолвка короля аннулирована. Инфанты нет в Париже.

Дипломат вздохнул.

— Да, наконец-то... Разделяю ваши чувства. Редкие качества принцессы Елизаветы, ее ум, образование делают ее достойной во всех отношениях.

— Давно слышу, маркиз.

— Его величество уклонялся от женитьбы. Теперь, придя в возраст... Избавленный от стеснительного обязательства...

Царица нетерпеливо топнула.

— Портрет принцессы Елизаветы в спальне короля, у изголовья. Его величество в восторге.

— Счастлив должен быть,— изрекла самодержица.— Где еще в мире такая невеста!

Сочиняя, дипломат отдавал себе отчет — сердце Екатерины, воспитанницы пастора, провинциалки живо не только политикой, начертанной царем. Знойной страсти в чертогах Франции желает она для своей дочери.

— Восхитительная пара... Мечтаю, ваше величество, искренне мечтаю поздравить новобрачных.

Невольно увлекся. Царица рывком запахнула душегрею, молнию метнула в посла.

— Попробую вам поверить. Но если обманете... Мои солдаты обожают царевну. Вы поняли?

Детали договора, отправки войск министры обсудят, она поручит сегодня же. Уверена совершенно — препятствий не будет.

«Нева против дома Его Светлости вскрылась, из пушки с крепости Петра и Павла стреляно три раза и штандарт поднят».

Секретарь, заполнявший дневник, мог бы добавить — потеплело разом. И весьма для Александра Даниловича кстати, ибо ответ Кампредону задержался. Вмешалась Нева, разобщила высших сановников, движение дел государственных остановилось.

Очистился путь через неделю с лишним. Сперва вышли челны рыбаков, перевозчиков, потом — с опаской — отчалили длинные, грузные ладьи именитых господ. Борта красные, синие, зеленые, ковровые балдахины — зычно расцвела серая поверхность реки.

Пристань помята льдами, настил покатый, скользкий. Гребцы проворно вылезают, чтобы привязать посудину и услужить вельможе — двое хватают под руки, двое держат полы епанчи, ниспадающей до пят, подбитой мехом. С береженьем ведут вельможу по мокрым ступеням на набережную, к новопостроенному зданию Двенадцати коллегий.

Иностранная — от реки вторая, вслед за Сенатом и убранством отлична. Камин чуть не во всю стену, мраморный, на нем Нептун, вырезанный из кости — дар некоего дипломата. Морской бог, пузатый, гневный, поражает трезубцем дракона. Гостями завезены и портреты коронованных особ, из коих многие полотна от сырости пошли волдырями. Топят в зале редко, а сегодня служитель опоздал разжечь огонь, сосновые кругляши едва разгорелись. Епанчи не сбросить, кафтаны, блистающие шитьем и орденами, не выказать.

Сановные бурчат, рассаживаясь, желают лентяю, прощелыге, извергу батогов, розог, кнута. Сел на президентское место, во главе длинного дубового стола Гаврила Головкин. Некогда захудалый рязанский дворянин, владевший пятью крестьянскими душами, он, избранник Петра, канцлер державы российской. Обтянул епанчу, ссутулился, пряди огромного рыжего парика свесились, закрыли бескровное костистое лицо. Потянулся к звонку. Тоже иноземный кунштюк — литое, фигурное серебро. Сухая старческая рука обняла нагую нимфу, изогнувшуюся сладострастно, затем отпустила.

Нет светлейшего...

Молодой секретарь уже приволок папки, петушком выпятил грудь. Из певчих он, Ферапонт, читает — заслушаешься. Вывел заглавие на листе — 31 марта. Консилия. Головкин еще раз оглядел залу.

Светлейший опаздывает...

По регламенту если — ждать не обязаны. Вопрос, который многим знаком, а Меншикову подавно, и не терять бы время, велеть бы Ферапошке пропеть договор пункт за пунктом...

Ягужинский этого и хочет, шепот его, в ухо соседу, громок. Несдержан генерал-прокурор! Гаврила Иваныч невозмутим. Отыскал чистый листок, отрывает кусочки и комкает, отрывает и комкает — обычное занятие от нечего делать.

Минуло без малого полчаса — зафыркали в переулке княжеские кони. Александр Данилович влетел бойко, с улыбочкой, торопливо кивнул — ни намека на извинение.

— Ух, посыпало!

Снял треуголку, сбил мокрый снег. Улыбнулся задорно, будто узнал нечто забавное и сейчас выложит.

— Вешняя пороша, сладкая...

Кто-то фыркнул досадливо. Ишь, мол, весну почуял! А люди продрогли на воде да здесь сидючи. Хорошо ему — живет рядом, езды всего сотня сажен. Вырядился...

Хламиду Меншиков скинул в коляске. Полдня он пробыл у царицы и мог бы дома сменить одежду, но не изволил, предстал в полном параде. Дразнит вельмож, закутанных в серое, тусклое, дразнит богатым узорочьем кафтана, а паче редким обилием наград.

Широкая голубая лента через плечо, орел святого Андрея, висящий слева, под сердцем — память о славной битве, о государе, присудившем лично. Справа почесть от союзника, датский слон — белый, толстый, глянцевый, унизанный самоцветом. Иных орденов при нем быть не должно, а ленты носить вперекрест и вовсе запретно, но князь нарушил статут, ввинтил прямо в сукно кафтана. Польский Белый орел и прусский Черный уместились на груди — лент им благо не положено. Все четыре ордена пылают источая огонь, режут глаза завистникам.

Кто заслужил столько?

Печатая шаг, прошел перед собранием Александр Данилович, выбирая себе место. Усмехнулся, перехватив ненавидящий взгляд Репнина. Медлит фельдмаршал с отъездом. Но уж недолго терпеть его... Голицын прикрыл веки, непроницаем. Василий Нарышкин полирует подушечкой ногти — ух, старательно! Вся тут боярская троица, главари супротивного стаиа.

— Матушка наша милостива... Ришпект нам оказывает... А мне приказано наши суждения нижайше донести.

Пока все идет, как надо. Без него не начали. Головкин смотрит вопросительно — не уступает президентство на консилии. Нет, излишняя жертва. Князь сел рядом, подвинул канцлеру звонок. Ферапошка откашлялся, разгладил пачку листов, обмусоленных за годы — память господ надобно освежить.

Запел Ферапошка.

— Отныне и впредь навсегда между Ея Императорским величеством Всероссийским, Его католическим Французским величеством, Его Британским величеством будет существовать искренняя и неизменная дружба и тесный союз...

Сановные зевают, чешутся, спорят — нарастает гул. Лишь Голицын, кажется, безучастен, дремотно прикрыл веки и все чаще притягивает взгляд светлейшего. Противник скрытный, наружно приветливый — оттого и опаснейший. Что скажет сейчас?

— Петр Алексеич, отец наш,— задребезжал фальцет,— искал консенса с Францией, искал же... Ноне оттоль длань просящая... Неужто отринем?

Ошеломил боярин. Был сторонником Вены, царевича звал на трон.

— А цесарь-то! — крикнул Репнин.— Вконец рассердим.

— Дмитрий Михайлыч, полно тебе,— запричитал Долгорукий.— Цезарю изменять? Этого не искал покойник... Не приказывал... Хоть бы и свадьба... Турок навалится, только и ждет...

— Тогда не до свадьбы,— просипел Головкин.

Пункт о браке Елизаветы в договоре отсутствует, суждение о сем деликатном предмете в протокол не вносят. Умолчал и Голицын, продолжая речь.

— Что ж, цесарь... Прозывается алеат... Рать какую нам посылал разве — роту хотя бы? Алексея же прятал, прятал... Что на уме было? Государыню нашу обидел. Пошто не величает, как надлежит? Она титул императрицы законно носит. Я Кампредону говорил — благословен грядущий с миром. А кондисьоны его...

Заковыристая у Голицына речь — церковность мешает с иностранщиной. А человек просвещенный. Будучи губернатором в Киеве, привечал у себя живописцев, пиитов, поощрял печатанье книг и обученье разным наукам. По царскому веленью разорил Запорожскую сечь, как очаг бунта, но в час смерти Петра бунтовал сам, требуя регентства при малолетнем наследнике. Отчего же он, заядлый противник монаршего своевольства, вдруг узрел мудрость в женском капризе? Явный же совершил вольт-фас... Светлейший спросил мысленно и ответил себе — дальний прицел у боярина. Доверие царицы добывает себе.

— Кондисьоны француза...— и Голицын обратился к Остерману.— Ты, Андрей Иваныч, востер. Что француз нам намолотил, ты перелопатишь да просеешь, где мило, где гнило...

Говорок деревенский, врастяжку, московский — мужичок-простачок да и только. Вице-канцлер кивнул два раза — слышу, дескать — и не ответил. Вабил воротник епанчи, трется щекой об него, постанывает. Зубы болят? Уловка обычная — выжидает лукавец.

Умен, бескорыстен, дипломат величайший,— так аттестует Европа безродного вестфальца.

Без тени стеснения рассказывает он о себе — сыне пастора, в юности причетник в кирке, скопив гроши, поступил в университет, бедствовал, считался студентом способнейшим. А стороной про него доходило — ученье не кончил, подрался на дуэли, убил соперника и бежал из Иены, укрылся в Амстердаме. Случай свел с Крюйсом — бывалый мореход, старший такелажник порта нанялся к царю и взял Андреаса с собой.

Россия, неведомая Россия, манившая прежде единственно мехами соболей, горностаев, куниц, стала при Петре страной удивительных карьер. Крюйс достиг звания вице-адмирала, порадела Фортуна и его секретарю. Однажды царю подали бумагу, составленную складно, красиво, убедительно. Кто писал?

— Я смог испробовать себя.— О, благодетель! Царь умел отличать талант!

«Пробовать» — первое русское слово, усвоенное Остерманом, такое похожее на немецкое «пробирен» и произносит он его, облизывая сухие, аскетически бледные губы. Его пробуют, он пробует себя и других.

— Когда ты лезешь на дерево,— учит он,— ты не сразу опираешься на ветку.

Сперва переводчик Посольского приказа, а вскорости его секретарь, затем член русской миссии в Ништадте, на мирной конференции. Блеснул ловкостью, тонким обхождением, затмив многих высокородных, старался немало, дабы с вящей выгодой заключить с Швецией трактат. Ни разу не треснула ветка под ним... Царь произвел в бароны, сосватал красавицу из благородной русской фамилии. В долгу не остался вестфалец — второй родиной признал Россию, трону верен беззаветно. Иностранцы пытались подкупить — отступали с конфузом.

Почти без ошибок говорит по-русски Генрих Иоганн, в просторечьи Андрей Иваныч, ныне вице-канцлер государства. Доволен ли? Стремится ли выше по древу карьеры? Петербург гадает.

— Чем выше, тем тоньше ствол,— философствует он.— И ветки слабее. Свалишься — шею сломаешь.

Поучает пространно, себя же открывает скупо. Живет скромно, тихо, гостей на пиршество, на карточную баталию не зовет. Зато поглощен страстно игрой амбиций, бурлящей у трона. Не денежного выигрыша ищет — наслаждается успехом умственным, строит прогнозы и проверяет, взвешивает шансы того или иного царедворца. Персона сильнейшая при царице — Меншиков. Стало быть, его и опорой избрать. Но доверять не слишком.

Пробовать, пробовать...

Прими он православие, достиг бы большего. Намекали ему... Нет, изменять вере отцов бесчестно, царь сие осуждал. Молодым придворным смешно. Странен вице-канцлер, одетый старомодно, небрежно, пуговицы на поношенном кафтане оловянные — этакий скряга. Вино покупает, слыхать, самое дешевое... Издеваются франты за спиной, и барон знает это. Как-то раз напустился — извольте, мол, уважать сподвижников Петра! Они создавали империю могущественную, а пустоголовые чада легкомыслием, жаждой наслаждений разрушат.

И сейчас, на консилии, Остерман выглядит убогим канцеляристом — епанча из года в год та же, воротник простой, без меха. Сидит прямо, окостенело, только пальцы в движении, сплетаются, бегают, чешут колени, будто сами по себе.

— Обманет маркиз.

— Турок враз ополчится.

Репнин и Долгорукий твердят свое, но растерянно, с жалобой. Потеряли Голицына... Светлейший подсчитывал противоборствующие силы, дал зарок до голосования помалкивать, не выдержал, вскочил.

— Оробели, господа... Кабы мы с великим государем робели да оглядывались...

И жестом вызвал Остермана.

Тот встал нехотя, с миной мученика, кряхтя — снова, вишь, хексеншус, то есть пуля ведьмы, прострел. Францию он уподобил барашку, Англию волку. В прошлую войну досталось барашку от британских зубов, альянс между ними неравный. Есть шанс его подорвать. Ослабленная Англия будет безопасна.

— Искунство дипломатии,— возглашал вице-канцлер с достоинством, а пальцы, проворные, ищущие, носились, перебирали пуговицы.— Искунство дипломатии.

Колет, тычет немецким «кунст» — совпало по смыслу с русским словом и въелось. Мастер искусства сего всеконечно он — Остерман. Берется Кампредона перехитрить. А солдат обещать и готовить.

— На кой ляд! — вскипел Ягужинский.— Прости, Андрей Иваныч! В Персии увязли, так мало... Испанцев бить... Хуже турок мы... Султан солдатами не торгует.

— Грубишь ты, граф,— вступился генерал-адмирал Апраксин.— А сообразил бы... Наш флот словно лебедь в корыте. В океан плыть несвободно, англичане командуют в Зунде, заставили Данию держать армию, восемьдесят тысяч. Хозяева морей... Титул не вечный, однако.

Войско он отправит во Францию на судах, из Ростока, понеже порт этот, по секретной статье договора с герцогом Мекленбурга, предоставлен России в полное распоряжение.

Лакеи разносят чай, кофий, чекулат, печатные пряники, изюм, маковые украинские коржи — они, выпекаемые казацкой вдовой Маремьяной, в Питере нарасхват. Но

почитай половина угощенья пролилась, просыпалась в пылу спора, разгалделись гуси, забыт порядок цивилизованный, предписанный Петром — соблюдать очередь, оратору не мешать. Голоса разделились поровну, итог недурен,— думает светлейший,— царицу опечалит не слишком.

Он вмешивается редко, с миной снисходительной. Его усмешка, его балагурство многих раздражают. И то, что он, перенив привычку Петра, дергает свой ус, жалкий, ежиком торчащий хохолок, будто общипанный...

— Пиренеи, океаны,— нервно хохочет Ягужинский.— О чем еще попеченье? Свадьбы справлять.

Сдается князю — длинный нос генерал-прокурора, гусиный нос вот-вот достанет, клюнет пребольно. Фу, Павел Иваныч, видел бы ты себя! Урод ты сегодня — предводитель танцев, кумир женского пола.

— В поход нам неймется... Отвоевались, так опять... В казне-то шиш, военным где жалованье? Мужик кору гложет, деревни обезлюдели.

— Ее Величество изволила...

— Заплатка на лохмотья,— выпалил Ягужинский, вытягивая шею рывками, клюет, клюет, наглец.

Царица велела убавить налог, скостить четыре копейки с души. Непочтительно говорит о высочайшей милости генерал-прокурор.

— Хлопочешь ты, светлость... Хлопочешь за Кампредона... Сколько он тебе отвалил?

Неслыханно!

— Так я куплен? — произнес князь, бледнея.

— Обезумел ты, Павел Иваныч,— вмешался Апраксин.

Лицо светлейшего онемело, будто и впрямь ударил поганый нос.

— За это твое непотребство... За гнусные речи... Шпагу мне вручишь.

— Тебе? Кто ты такой, чтоб меня?..

— Вы свидетели, господа,— улыбка князя то леденела, то источала скорбь.— Шпагу, Павел Иваныч!

— Убьешь раньше...

Взаправду дуэль. Ягужинский сделал шаг вперед, непослушная рука шарила, натыкаясь на эфес, на перевязь. Епанча свалилась с плеч, ее уже топтали. Блеснула голая сталь, но Апраксин подоспел сзади, обхватил. Тот расцепил медвежью хватку и, скверно бранясь, опрометью к двери...

Секретарь подобрал епанчу, выскочил. Из окна видно было, как генерал-прокурор, взяв ее машинально, волочил за собой по земле.

— Государь великий! Услышь меня!

Мольба отчаянная, слезная гулко раздалась под сводами храма. Толпа колыхнулась и застыла, бормотанье протоиерея, склонившегося над аналоем, стихло.

— Государь! Отец родной...

Пастырь обернулся, угрожающе поднял руку и вяло опустил. Пухлые, розовые щеки его багровели. А человек, посмевший нарушить богослужение, поднялся на помост к гробу Петра и стал виден всем. Пробежал шепот.

— Ягужинской...

— Вроде, в беспамятстве...

— Из кареты, да в лужу угодил.

Брусничного цвета кафтан, богато расшитый, распахнут, забрызган, камзол и сорочка расстегнуты, генерал-прокурор бьет себя в волосатую грудь, приник к гробу, стучит по крышке.

— Нет моей вины, нет ни в чем... Петр Алексеич, заступись перед Богом!

Умолк, переведя дух, и вдруг из толпы раздался истошный женский вопль.

— Вижу, вижу... Батюшка царь... Гляди, батюшка... Помилуй нас, помилуй, спаси нас, рабов твоих... Воскресе из мертвых, батюшка...

Упала на пол, забилась. Служки подбежали, вынесли ее на паперть. Ягужинский не заметил бесноватую, жалобу свою не прервал.

— Заступись, благодетель наш... Нет моей вины, нет... Меншиков, злодей, бесчестье сделал...

Прихожане опускались на колени, крестились. Кликуша подействовала сильнее, чем литания обиженного сановника. Дуновение ветра, впущенного служками, всколебало огоньки свечей, в наплывах света и тени оживали лики иконостаса, святая Екатерина, которой живописец придал черты царицы, будто обрела движение, ликовала, встречая явившегося. Ягужинский, должно быть, тоже увидел... Медленно выпрямился, глаза устремились в одну точку.

— Защити, Господи! Защити, государь! Меншиков шпагу хотел отнять, арестовать хотел... Ругал мерзко...

Люди затаили дыхание. Меншиков, всесильный губернатор, ближе всех у трона... Подобно выстрелу прозвучало имя. И тут спохватился протоиерей, запел славу Всевышнему, дабы заглушить непристойную речь. Грянул хор. Вельможа наклонился, поцеловал гроб и затих, судорожно царапая ногтями накладное серебро. Всенощная скоро окончилась, генерал-прокурор встал, мутным взглядом обвел окружающих, размазал рукавом слезы и вымолвил сокрушенно:

— Нет, не услышит.

Потрясенные расходились петербуржцы, холодный ветер освежал их, сгонял наваждение. Происшествие небывалое... А может, чем лукавый не шутит — померещилось? Нет, вон Ягужинский, бредет к пристани, да нетверд на ногах, шатается, хватил спиртного. Вестимо же — был не в себе... Но что у трезвого на уме...

— Трезвый посмел бы разве? Где там... На самого светлейшего взъелся.

— Ох, не к добру!

Языки развязывались.

— Большие дерутся, у малых кости трещат.

— Мы-то завсегда виновные.

Два месяца минуло с той ночи, как опочил царь. Множество горожан побывало в церкви Петра и Павла, что в санктпетербургской крепости, и поток сей не иссяк, тянется из ближних улиц, дворянских, замощенных, каменных и из убогих слобод — Прядильной, Кузнечной, Бочарной, Матросской, Смоляной, Каретной. Ветераны битв, одолевшие под петровым знаменем шведа, работные, построившие град Петра, жены и вдовы... Прощаются с умершим, шепчут слова благодарности либо раскаяния, просят быть ходатаем за сирых и голодных, хотя не причислен монарх к сонму святых. Уж верно с почетом принят он — самодержец, помазанник — в чертоге владыки небесного.

Преосвященный Феофан Прокопович с амвона возглашал:

— Сыны российские! Верностью и повиновением утешайте государыню нашу. Петр не весь отошел от нас, оставляя нас, не оставил нас, ибо в ней, матери нашей, видим дух Петра, Отца отечества.

Внушает складно, а на деле что? Кто правит — царица или вельможи? По восшествии своем убавила подать, скостила четыре копейки с души. Облегчение, однако, малое. Голодных, раздетых в государстве тьма. Правда, Ея Величество все еще в трауре, скорбит безмерно. Это похвально... Худо, что чересчур мирволит немцам, налетело их на русские хлеба... Ровно саранча. А среди начальствующих персон согласия нет. Ягужинский вовсе стыд потерял, кинулся тревожить покойника.

Смущенье в народе...

Губернатор и обер-прокурор, два главнейших лица, в смертельной вражде. Чего не поделили? Слыхать, давно они в контрах, а в этот день Ягужинский был в австерии «Три фрегата» и больше пил, нежели ел — распалял сердце. Пришел из Коллегии, где будто бы и случилось... Говорят, ругался даже с Апраксиным, генерал-адмиралом.

Унять-то некому...

Царь всех держал в строгости — не стало его и началась шалость. Где-то объявился возмутитель, именует себя царевичем Алексеем и многие верят.

Господи, что же будет?

«31-го вечером Ягужинский вошел к императрице сильно пьяный и никто не мог удержать его от этого. Он хотя во всех отношениях благородный и почтенный человек, но в нетрезвом виде решительно не помнит сам себя».

Записал голштинского двора камер-юнкер Берхгольц. Сын генерала, служившего в русской армии, он вхож во дворец, но свидетелем сцены быть не мог. Только статс-дамы Екатерины, Анна Крамер и бессменная Эльза Глюк наблюдали жалкое зрелище. С плачем ворвался генерал-прокурор, рухнул на пол, пополз, пытаясь поцеловать ноги монархини — она же брезгливо отступала, затыкала уши перстами, ибо ругань непотребную на Меншикова изрыгал невежа.

Статс-дамы выпроводили его. Берхгольц — проныра, любезник дамский выведал у них и занес в дневник, хранящийся тайно, предназначенный детям и внукам. Узнал и Горохов — глаза и уши светлейшего на левом берегу.

Доложил в тот же вечер.

— Государыня сердита — страсть. Ягужинский ушел, словно побитый пес.

Так и надо ему. Дошумелся! Хватило же наглости напиться, тревожить царицу...

— Потом куда делся?

— К голштинцу побежал. Отрезвел верно, да струсил, теперь пороги начнет обивать.

Зорок Горохов.

— Ходатаев ищет. Канючить будет. Добра наша матушка, а то бы... Сибирь заслужил паскудник. Ты примечай...

— Знамо, батя.

— Нам паче вреден теперь. Ничего, шпагу выбьем у него. Завтра скажу государыне.

Адъютант усмехнулся понимающе, глянул на гравюру. Три шпаги схлестнулись... Лестница в некоем замке, высокий усатый кавалер, пятясь, отражает двух атакующих. Спины, пригнувшиеся коварно, перья на шляпах жирными рыжими мазками — типографщик переложил краски.

Секретов от Горошка нет — знает он, что написано латынью под этой схваткой. Изречение, которое князь сделал своим девизом — ОТБИВАЯСЬ, ВОЗВЫШАЕТСЯ.

Нижний край гравюры, вправленный в рамку, подогнут — Варвара велела спрятать от посторонних глаз, урон для чести усмотрела боярская дочь. Герой дуэли поднимается над врагами, отступая, исход же ясен, втупик загоняют его. В резиденции князя священной Римской империи подобает славить победы. Но борьба длится...

Спать лег поздно, приняв успокоительное. Очнулся до рассвета, в ужасе. Кругом гудело, грохотало, рушился дом. Вспомнил — первое апреля... Трезвонит княжеская церковь, дубасит Троицкий собор. Волей царицы все храмы столичные бьют в набат.

— Чуть с постели не скинула, матушка,— ворчал Данилыч, ополаскивая лицо.— Просвещаешь нас, дикарей. Бух — и мы европейцы! Народ-то перебулгачила...

В Зимнем сюрприз этот у всех на устах — забава шаркунам, смех. Светлейшего натужное веселье, в угоду августейшей хозяйке, удручало. Полагается и ему аплодировать сему ночному дивертисменту. Нет, владычица, уволь!

— С Пашкой что делать будем?

Спросил с ходу. Отнял праздник у Екатерины, улыбка ее, поначалу приветливая, охладевала.

— Мало спал, Александр? Ах, майн кинд! Много спать нехорошо. Морген штунде..

Утренний час золотой, известна пословица. Государь за правило взял. Трудов ради, не забавы...

— Тебе потешки... Я вовсе не спал, матушка. Распустила ты вожжи. При государе посмел бы разве...

Подтянула одеяло, села прямее. Показала на подушки — поправь, мол. Повинуясь жестам самодержицы, он налил в стакан венгерского — ей и себе.

— Вы два петуха.

— Он и Апраксина обидел, пес бешеный. Избавь нас, мать моя! Тебя, должно, не боится, вот и бросается на преданных слуг твоих.

Последнее задело, посуровела.

— Арестовать вели,— наступал князь.— Посадить на хлеб, на воду. И прочь из Питера.

Ответила со скукой в голосе — вызовет она Ягужинского, наказанье определит сама. В советах более не нуждается. Поблажки никто не получит.

Данилыч пригубил вино, стакан опустил со стуком. Екатерина тряслась от беззвучного смеха, полуприкрытая грудь колыхалась, выпирала из корсажа.

— Допей!

Как царь, бывало... Осушил покорно, единым духом. Царица смотрела ласково. Новое что-то в ней сегодня, конец траура, что ли?

Шторы не сменила, однако... Та же лиловая грусть осенила князя и в пятый день апреля, когда явился поздравить ее величество с днем рождения. Одета была в черное, но траур менее строг, огни рубинов на груди, на запястьях, на пальцах. Вступали в спальню вереницей, каждого, выслушав, потчевала чаркой любимого венгерского. Потом учинила при закрытых дверях разбирательство.

Истцы жаловались сбивчиво, царица притопывала, торопила — извещена о скандале предовольно. Ягужинский был лишен угощенья и вид имел приговоренного. Приказала подойти поближе, еще ближе и сильно щелкнула по лбу.

— Проси прощенья!

Пробормотал, поклонился Апраксину, светлейшему — и снова щелчок, аккурат в то же место.

— Еще! Говори!

И так несколько раз. Генерал-прокурор стонал, вскрикивал — поначалу притворно, затем от боли. Взмолился, прижал ладони ко лбу, пал на колени. В заключение, к досаде Данилыча, приказала мириться.

Прощен Пашка, но условно. Взяла письменное обещание — не напиваться. «Если ему случится оскорбить кого-либо в пьяном состоянии, то он согласен считать себя виновным за все свои проступки»,— записал Берхгольц. А дружбы нет и не будет у князя и Ягужинского, «потому что с давних пор между ними существует такая антипатия и такое скрытое озлобление, что полное и чистосердечное примирение их весьма и весьма сомнительно».

Дешево отделался Пашка. Одно утешенье — высочайше обещано отправить в Польшу. Должность пока занята — месяц-другой проволынит тут. Ногтями будет цепляться за генерал-прокурорское кресло, а женский нрав непредсказуем.

Следить за Пашкой, следить...

На кого надеяться можно? Только на преданных слуг, выращенных в доме, обязанных благодетелю.

Скинул маску и Апраксин. Прорвало лицемера. Эльза свидетельница — на коленях, слезно жаловался на князя.

— Молим, Ваше Величество... Укороти, матушка, Александра. Экую силу обрел! Измывается над нами...

— Глуп же ты,— сказала царица.— Глуп, если думаешь, что я уступлю ему власть. Ни капли не уступлю, никому! Ты его преследуешь. И товарищи твои... Я его жалею и потому поддерживаю. И гордо закончила:

— Я справедливая.

Огорченный Апраксин поделился неудачей с вельможами. Двор взбудоражен. Кампредон внес ответ Екатерины в донесение, слово в слово. Очевидно — полагает он — монархиня, не стесненная более строгим трауром, намерена править самодержавно и, стало быть, Запад от этого в выигрыше.

Вечером приняла в спальне молодого камер-юнкера. Облегченный траур дозволяет... Давно заприметила она красивого. Карл Рейнгольд Левенвольде, земляк, родом из Ливонии.

— Богиня, что вы сделали с Меншиковым? Он бежал от вас сам не свой. Он задыхался. Рванул ворот. Смотрите!

Разжал кулак. Крючок с камзола, новый трофей для коллекции, барон собирает разные мелочи, подобранные, а то и сорванные исподтишка.

— Шалун... А что украл у меня?

— Ах, Диана... Смею ли я...

Притянула к себе и, расстегивая на нем рубашку, медленно, толстыми мужскими пальцами — вынудила признаться. Мушка, две шпильки, хранит как святыню...

Губы, липкие от сладкого вина, не дали ему договорить, вжались до боли. И вдруг гневно оттолкнулась.

— Хвастаешь, негодяй! Грязным твоим девкам...

Удар пришелся по челюсти, впрочем, вялый, а то бы своротила. Он повернулся — ничком в подушки, привычно захныкал. Про девок ей ничего не известно, Карл Рейнгольд осторожен, шалит редко и за пределами дворца.

Она раздевает его, просит прощенья, как у ребенка, обиженного невзначай. Женщина, любившая властелина, теперь наслаждается мужской покорностью.

Вспышки ревности — пусть наигранной — льстят Карлу Рейнгольду. Он гордится собой. Его одного из сонма кавалеров избрала сорокалетняя императрица, пылкая, знавшая объятия великана-Петра.

Утомившись, она ласково слушает юношу. Очень мило звучит в устах барона деревенская речь его няни-латышки. Легко с этим мальчиком. Правда, он картежник, волокита, поглощен светскими развлечениями, зато равнодушен к политике, к высоким чинам, что весьма удобно.

— Твой брат, верно, мечтает женить тебя, повесу. Подыскал девушку. Как ее зовут?

— Богиня! Не мучьте меня!

— Я благословлю вас. Скоро, скоро отпущу тебя... Ведь я уже старуха.

— О, лучше убейте! Сейчас же...

— Да? Ты готов?

— Богиня...— бормочет он, целуя упругое плечо.— Вы не верите мне? О, как вы терзаете мое сердце! Сомнения — мой удел, только мой... Достоин ли я счастья, ничтожный ваш раб?

Он в самом деле чувствует себя маленьким и слабым, телесный жар нагоняет дремоту и слова, вычитанные из романа, он роняет бездумно. «Астрея» француза д'Юрфе, растрогавшего Европу, его настольная книга.

— Я был наивен, я не ведал подлинного блаженства. Оно не бывает без боли. Это страх потерять вас. Страх неотвязный...

Плечо напряглось, отвердело.

— Потерять? Что за фантазия, малыш?

— О, если бы!.. Боюсь, суровая истина. Меня хотят отослать. В Азию, воевать с персиянами.

— Фантазия, дурачок. Кто хочет?

— Его сиятельство Меншиков.

— Глупости, милый,— отозвалась она с ноткой раздражения.— Мир полон слухов.

— Персияне сдирают с пленных кожу. Сдирают заживо и... делают перчатки для султана. Иля это турки? Все равно — магометане. Они бесчеловечны.

— Испугался, бедненький... Ах, трусишка! Успокойся! Ай-я жу-жу лача берне...[1]

[1] Баю-бай, маленький медвежонок... *(латышск.)*

Малыш ложится спать, стережет его мохнатый, смирный медвежонок. Колыбельная рокотала глубоко под ухом Карла Рейнгольда, его и впрямь сморило. И вдруг:

— Глупый ты... При чем тут Меншиков! Я приказываю, я тебя пошлю воевать. Нет, не в Персию — во Францию. Боишься, душа в пятках?

— Обожаемая! За вас?

— Да, за меня, за мою дочь. Ты вернешься со славой. Что — трусишь?

Привстала, наполнила стаканы. Виват герою, будущему генералу! Камер-юнкер пьет крепкое красное вино, приторное до отвращения. Поле брани его не влечет. Надо ответить... Снова выручает французский роман — клятв и пылких заверений на все оказии там множество.

После ночной аудиенции Карл Рейнгольд дома, на берегу Малой Невы. Кофе, пышные горячие цукерброды — жена старшего брата хозяйка рачительная. Камер-юнкер болтает с набитым ртом:

— Ея Величество настроена воинственно. Меня в армию... Угадайте, куда! Во Францию...

Брат выспрашивает. Интимностей он не касается. Старшие помешаны на политике. Потом перескажет Остерману. Вице-канцлеру важно знать настроение царицы — даже мимолетные ее причуды и вспышки.

Крупный сановник, а пуговицы на кафтане оловянные... Одну удалось стащить — висела на ниточке. Особняк его похож на сарай, есть комнаты почти пустые, запыленное зеркало, парики на гвоздях.

Надо было вести дневник, клеймить современников жалом сатиры. Камер-юнкер принимался, мешала лень. Потомкам достанется его коллекция. Пуговицы, платки, крючки, булавки,— сувениры минувшего величия.

Уникальный этот музей долго будет храниться в фамильном прибалтийском имении. И тетрадь с отрывочными записями. Столбики цифр — карточные долги, афоризмы, отдельные фразы и восклицания.

«Проигрался впух».

«На коня и в Париж... Когда же!»

«Деньги — прах, сладок азарт. Свободен тот, кто не ищет ни богатства, ни власти».

«Человек — существо смешное».

Платить долги необходимо. Горохов встретил однажды Карла Рейнгольда и не узнал бонвивана — бредет, словно в воду опущенный.

— Сочувствую, друг.

Крепко взял под руку. Причина известна. Проигрыш на этот раз тяжелый.

— Удачу нельзя приручить,— и ливонец слабо улыбнулся.— Было бы скучно, правда?

— И много?

— Сто пятьдесят. Хуже всего то, что данный господин мне неприятен. Просить отсрочки не могу.

— Вызволить вас?

В тетради Карла Рейнгольда цифра обведена жирно и затем перечеркнута. А в списке лиц, получающих пособия от князя Меншикова, отныне значится Левенвольде.

Встревожен Петербург — весной будет война. Тысячи уст твердят... Чинят, снаряжают корабли, муштруют пехоту. Кого бить? Слышно — испанцев. Или датчан.

Царица, ни с кем не советуясь, подарила будущему зятю двести тысяч на войско. Формировать в России, цель — отбирать у Дании Шлезвиг. Секрета в том нет, напротив — самодержица признала публично, удивив сим актом двор и дипломатов.

Датский посол Вестфален, придя в совершенный ужас, предупредил об угрозе короля Фредерика и прибавил:

«Екатерина располагает государством, как изношенными туфлями».

Светлейший глотал валериану. Новый кунштюк! Голштинец отступался уже, готов был компенсацию взять за Шлезвиг. Вожжа под хвост... Если добывать этот клочок земли для герцога, то путем дипломатическим — так заповедал покойный царь.

Изволь, матушка, объясниться!

— Француз забегал тут,— сказала царица самодовольно.— Я задала моцион.

— Поди, на аркане приведет жениха,— ответил князь, потешаясь.

— Забегал,— повторила упрямо.

Усмешка князя погасла.

— Воля твоя, мать. И я подтолкну.

За дверь выйдя, рассмеялся. К Кампредону отправился сам. Острастка, пожалуй, на пользу. Авось, скорее конец канители, а то ведь обрыдло — он туманит насчет жениха, мы договор мусолим, Катрин бушует. Данилыч нашарил в кармане часы — с компасом и странами света, подарок Петра. Маркиз отобедал, пьет чекулат.

И точно — в нос шибануло от душистого напитка, сдобренного ванилью. Кампредон ютился в кресле, накрытый по шею лисьей шкурой,— простужен, устал, изнемогает от пустых словопрений.

— Ваши вельможи... Остерман скользок, как угорь, сочиняет фальшивые болезни. Ваша подозрительность... Я подам в отставку, мой принц.

Вот бы славно...

— Зачем же... Солдаты ждут сигнала. Что на Пиренеях? Не все зависит от нас. Франция в одиночку, без Англии, не ввяжется в драку. Из-за безделицы... Остерман тоже считает — тревога напрасная. Похоже, трубят отбой.

— Была почта вчера,— и француз выпростал руки, смущенно развел.

— Ничего, маркиз? Не стреляют? Живите мирно! Ея Величество подпишет договор немедленно, если... Вы поняли меня? Я буду счастлив вместе с вами поздравить новобрачных.

— Взаимно, мой принц, но... Его Величество пока не изъявил намерение... Я уже осмеливался предложить молодого человека из его семьи, который, в случае бездетности монарха...

— Займет престол,— вставил князь.— Гадательно... Короля, дорогой маркиз, короля!

— Вправе ли я обещать, мой принц? В моем положении... Я могу лишь надеяться.

— У меня нет надежды, маркиз.

Зря трудился царь, вырезая на кости личико маленького Людовика, зря послал ему токарный станок — создание искусника Нартова. В яму, небось, скинули подарок. Царицу до сей поры манит несбыточное. Время покажет ей... А пока, наружно подчиняясь, затягивать переговоры, исправлять пункты трактата, спорить. Тактика, объединившая почти всех вельмож, старых и младших.

Данилыч, ярый защитник самодержавия, с болью в душе участвует в сей безмолвной обструкции, немыслимой при великом Петре.

Нет, не посватался Людовик. Стороной выясняется — ему подыскали невесту в Англии, для упрочения альянса. Но строгие нравы у британцев, щелкнули по носу — за иноверного принцесса Уэльская не выйдет.

Французские министры совещаются. Дочь Петра неудобна. Королева нужна скромная, безвольная, от государственных дел далекая — Елизавета такой не будет. Лучше взять из малых княжеств. Итальянку, немку? Придворные в ажитации, держат пари.

В том же апреле — Куракин уже отписал в Петербург — жених ускользнул окончательно. Обвенчают, будто назло, с полькой. Мария Лещинская, дочь бывшего короля Станислава. Посажен был на трон Карлом Двенадцатым, изгнан из Польши, с почетом принят во Франции.

— Не прощу французам,— гневается Екатерина.

Данилыч ликует.

— Говорил я, матушка...

— Кампредон разбойник, разбойник... Прочь его, смотреть не хочу. Раус!

— Горячишься ты, от этого кровь густеет. Пускай живет, мы с ним по-хорошему... Чтобы австриец не задавался. Сговорчивей станет. Титул твой заставим же признать.

Цесарь — давний друг, лучше двух западных. Россия в том утверждается. Утихла бы царица, о мире пеклась бы, а ее все в поход влечет. Теперь — помогать голштинцу. Австрия его претензии на Шлезвиг подпирает.

Репнину, отбывающему в Ригу, высочайше указано запасти в «магазейнах» продовольствия, для нужды военной, на два года. Апраксину комплектовать команды линейных кораблей и харч иметь на месяцы плавания, очевидно — дальнего.

— Считают, что правление женщины непременно слабое. Я докажу, что это не так.

Слова Екатерины обращены ко всей Европе. Их разносит посольская почта, из досье министерств они попадают в газеты.

На Балтике пахнет войной.

Герцог голштинский, драгоценный жених, союзник, наконец осчастливлен — 20 мая грянула, салютами сотрясая Питер, высочайшая свадьба. Данилыч охрип, по обязанности горланя тосты, на Анну не смотрел — взгляд царевны был укором.

«Теперь нам лучшее время есть, чтобы шведы свои потерянные земли паки возвратили...»

Канцелярист, близоруко водя носом по бумаге, читал проект Бассевича. Доставлено курьером из Копенгагена. Раздобыл и перевел русский посол Михаил Бестужев. В датском министерстве есть у него наймит, снабжает секретами.

Очень кстати присылка.

Светлейший и Остерман, слушая чтение, кивали понимающе и мрачнели. Стало быть, заговор против России. Бассевич, первый министр голштинца, стакнулся с Данией. К тому шло. Писал же Бестужев — отступного просит Карл Фридрих, у противников. Денег — датских, английских, взамен Шлезвига. Боится воевать.

— Двурушники,— бросил князь и выбранился длинно, смачно.

Из остывшего камина пахнет золой. Пятна пролитых чернил на полу. В окне нет стекла, чиновники подрались, выбили — нанесло комаров. Тоскливо у Остермана — что дома, то и здесь, в Иностранной Коллегии. Президент оцепенел в кресле, будто забылся. Данилыча подмывает гаркнуть в ухо, завешенное толстой завесой парика, растолкать.

— Козырь у нас, экселенц.

Политесы прочь — огласить цидулу Бассевича перед царицей и сенаторами. Изобличить голштинцев, показать, какова их политика...

Мнется Остерман. Шевелит губами, приник к столу, царапает ногтем шершавое сукно. Захрипели часы, прерывая свой бег, намерены бить. Торопится время. И словно рубеж некий одолевают под звон иноземного механизма, после чего надо принять решение. Немедленно.

У вице-канцлера тоже сипело и клокотало внутри, прежде чем изрек с горькой гримасой:

— Это нельзя так... Катастроф.

Поднял руки с ужасом, словно чудище стоглавое.

— Андрей Иваныч,— сказал князь с нервным смешком.— Потолок, что ли обрушится во дворце? Откроем правду царице.

— Правду... Пра-вду...

Начертил что-то ногтем на шершавом сукне, разгладил и снова начертил.

— Сколько есть человек, столько правда. Правда, как порох, бывает. Пуф!

Ох, бережет себя! Его-то порохом не опалит — за версту обойдет лукавец. Боязно — вдруг рассердит самодержицу. Зарывчатое известие.

— Не пойдешь со мной, Андрей Иваныч, я пойду к ней. Скажу — хоронится Остерман. Сама позовет тебя.

Заспорили.

Стонал вице-канцлер, остерегал — прогневается Ее Величество, да не на голштинцев — на нас. Поверить в изменнический их поступок ей трудно. Письмо Бассевича поберечь пока, пригодится. Имеется прожект шведского посла — с ним же переговоры, ему и ответ обдумать.

— Мало, Андрей Иваныч! Ударить, чтобы всю машинацию искромсать. Не прутиком...

— Саблей, фельдмаршал?

— Воля твоя... Пойду один.

Сдался вестфалец с видом мученика. Данилыч вскочил, в порыве благодарности обещал ему ящик венгерского вина. Поехал к царице, известил сенаторов — собраться завтра, в четыре пополудни. Выбрал для консилии кафтан гвардейских цветов, зеленый с красным.

Предстоит сражение.

Задачу оного светлейший определил двойную — шведские условия отвергнуть, голштинцев привесть в конфуз. Зловредное их влияние на царицу если не снять, то умалить хотя бы, изобличив Бассевича. Оказия драгоценная. Покарает Неразлучный, если он — камрат его — не убережет государство от врага.

Деревья перед Летним дворцом разрослись, ветви гнулись от гнезд, пернатые любимцы Екатерины кормили птенцов. Птичья музыка вторглась в зеленую гостиную, где расселись вельможи, и кабинет-секретарь Макаров, силясь перекричать ее, срывался на крик. Императрица появилась в черном, с тонкой ниткой жемчуга, взгляд ее блуждал среди раритетов на полках — окаменелостей, раковин, древней посуды. Казалось, слушает птиц. Сперва недоумение обозначилось на ее лице, затем неудовольствие. Макаров дочитал шведский прожект договора.

— Эй, что они думают? — спросила она резко, схватила нитку, натянула ее.— Мы дураки? Моя Рига... Митау, Курланд... Думают, я слабая женщина, я согласна... Нет, нет,— и крепкое царское словцо слетело с ее уст.— Император проклянет нас...

Затем, под нескончаемый птичий грай, раскрылись козни Бассевича. Данилыч, не спускавший глаз с владычицы, увидел боль, обиду и пожалел ее. Она протянула руку.

— Дай сюда!

Взяла бумагу, впилась в нее, зачем-то посмотрела на свет, вернула Макарову.

— Враки это... Англичане это, против герцога...

Остерман собрался что-то сказать, закашлялся, светлейший опередил его.

— Бестужев честно служит твоему Величеству.

Вниманием не удостоила, обернулась к вице-канцлеру. Тот отдышался, зашамкал наигранно старчески, болезненно.

— Можно предполагать и так, кх-кхе... Фальшивка... Как вы изволили заметить, Ваше Величество.

Утешил, хитрец.

— Конечно... Аглицкая проделка,— решила она и бросила светлейшему безмолвный упрек. Удалилась высокомерно, едва кивнув.

ВОСКОВАЯ ФИГУРА

— Белло... беллисимо...

Взахлеб тараторит седой, черноглазый живчик, давится словами, восхищаясь собой, изделием своим. Персона готова. Исполнено обещание, данное императрице, ее фамилии, светлейшему принчипе, всей России.

— Маэста... этернита...

Переводчик не требуется. Величество, вечность... Настолько-то князь понимает итальянский язык. Что незнакомо или проглочено — изъясняют ужимки, жесты, сама фигура. Растрелли нажимает ногой педаль — она встает с кресла, стоит деревянно-прямо, выбрасывает вперед руку. Настроиться надо торжественно. Что-то сбивает... Скрип рычага, шарниров? Скороговорка ваятели?.. С курицей схож, которая снесла яичко и кудахчет, оповещает окрестность. Нет, что-то еще мешает Данилычу увидеть подобие великого Петра.

Мастер не виноват. Вот иноземец, достойный лишь похвалы! Потрудился честно... Данилыч захаживал в мастерскую, Растрелли при нем скреплял дубовый остов, делал из воска, насаживал голову, руки, ноги, одевал.

Костюм предписала Ее Величество — тот, в коем царь был в Москве, в Успенском соборе, на прошлогоднем торжестве коронации. Пусть памятен будет день, когда она стала императрицей.

Ведь сам подал мысль...

Эх, не догадался искусник поместить фигуру в тень! Солнце затопило мастерскую, ручейками течет серебро по голубому сукну — гродетуру кафтана, по пунцовым шелковым носкам. Дерзко течет... Одежду эту, парадную, царь только раз и надел, поди. Вроде чужая... А башмаки с маленькими пряжками, серебряными же — старые, прибыл он в них из Персии и ни за что не хотел сменить — даже ради церемонии. Во всем облачении больше жизни, чем в кукольном лице. Воск, слегка подрумяненный, стеклянные, немигающие, безучастные глаза. Что ж, душу ведь не вдохнешь.

— Ну, спасибо, мастер!

Вытащил кошелек. Растрелли будто не заметил, извинился, выпалив «скузи» раз десять подряд, обхватил князя за виски, повернул к свету, потом отпрянул к фигуре. Блеснули ножницы, два-три волоска царских усов отсек.

Скорректировал, уловив образец. Тронутый сим актом сердечно, Данилыч смущенно потупился.

— Я, выходит, модель...

Одарил скульптора, не считая, выгреб почти все содержимое кошелька. Обещал милость Ее Величества — она ждет фигуру с нетерпеньем, намерена показывать почетным гостям. Скоро профессора съедутся из-за границы для открываемой Академии наук.

— Мио гранде оноре!

Еще бы не честь! Князь прошелся по мастерской, погладил ляжку коня, грудь молодой женской особы — России. Аллегория... Петр, увенчанный венком лавров, молотком и зубилом формирует свою отчизну, покоряет ее неподатливую, грубую натуру. Заказ государя, его же и замысел... О свершениях его подробнее расскажет колонна, унизанная лепкой, подобная Траяновой, в Риме. То, что покамест глина, гипс, предстанет в металле, вечное, как украшение улиц, площадей, на обозрение всем.

Начато много. Наброски карандашом, брошенные на стол, портретные — Апраксин, Лефорт... Мастер смотрит вопросительно.

— Это не к спеху,— бросил Данилыч.

Его первого вылепил итальянец, бюст водружен в большом зале княжеского дома. И довольно... Фатер не торопил.

— Ея Величеству угодно...

Прежде всего установить конные памятники императору — в Петербурге и в Москве. Обождут, фатер, твои сановные, здравствующие и мертвые. Аллегорию тоже отложить — ошалеет простолюдин, не дорос еще до тонкого понимания.

Подмастерья внесли ящик, Растрелли кинулся, влез в него, присел — вот так поместится восковая фигура, вместе с креслом, так обвяжут ее, чтобы не растрясло. Ехать осторожно, шагом — принчипе соизволит приказать. Данилыч ощупал ящик, постучал кулаком. Не оборачивался на фигуру, избегал ее стеклянных глаз.

— Радость матушке нашей...

Говорил, испытывая странную досаду, ревность некую к царице. Раздражает парадный кафтан на фигуре, нарочитый, на один день, для коронации. А ведь сам присоветовал, когда выбирали наряд. Побуждали к тому обстоятельства.

В апреле было... Падал мокрый снег, арестованный кутался в соболью шубу, сквернословил, грозил властям, изрыгал проклятья.

«Архимандрит новгородский, первое духовное лицо в государстве, человек высокомерный и весьма богатый, но недалекого ума, подвергнут опасному следствию и, по слухам, совершил государственную измену».

Ничего, кроме слухов...

Мардефельд, посол Пруссии, погрешил против точности. Первым священником — если не по должности, то по значению — Феодосий был при царе.

Та же фортуна, которая выхватила, подвела к Петру уличного мальчишку-пирожника, порадела и послушнику московского Симеонова монастыря. Сыя солдата, ничтожного шляхтича, владевшего двумя крестьянскими дворами, рад был укрыться от бедности за стенами обители, в сытости. Пристрастился к чтению. Царь повсюду выискивал помощников, новых людей для небывалых дел.

— У низших,— говорил он тогда,— я нахожу больше добрых качеств, нежели у высших.

Грамотей, представленный настоятелем, оказался сведущ в строительном ремесле. Тем выше ему цена. Нет более послушника — в Петербурге, у вырастающих зданий Александро-Невской лавры, управляет работами отец Феодосий, шумливый, вспыльчивый, к лентяям беспощадный. Понукать его, проверять излишне, губернатор Меншиков не нахвалится. Храм воздвигнут, освящен и вскоре снята поповская ряса — Феодосий быстро, шагая через ступени, восходит по иерархической лестнице. Настоитель, затем архимандрит в лавре и еще в Новгороде, член Синода...

Внезапно, ночью зазвонили колокола новгородских храмов, будто сами собой. Дошло до царя. Феодосий тщетно пытался найти виновных.

— Ежели не натурально,— доложил он,— и не от злохитрого человека, то не от Бога.

— От дьявола, что ли?

Петр потешался.

— Дьявол во образе людском,— уточнил архипастырь.— Злы на меня большие бороды.

Так презрительно и гневно прозвал самодержец бояр церковных. Лютуют, подкармливают кликуш, странников, дабы сеяли недовольство. Феодосий ишь ведь что завел — греко-славянскую школу, приобщает не токмо к христианству, но и к язычеству, свирепо ревизует приходские школы — неугодны ему наставники, неугодны некоторые иконы.

А царь одобрительно слушал, что новобранец его вооружил знаниями сотни учителей взамен невежд, пьяниц, воров, печатает грамматику российскую — тысяча двести оттисков.

Задумана коронация Екатерины. С кем, как не с Феодосием, верным другом, обсудить подробно обряд, подходящие словеса, указания священнослужителям всей обширной державы? Зван митрополит на беседы келейные, зван и к столу их величеств. Во время болезни царя он в спальне почти ежедневно совершает молебны, провожает Петра до небесных врат.

Не стало Петра — и Феодосия как подменили. Мало ему трех должностей, достоин лучшего — быть главой церкви. Сан патриарха упразднен — о сем сожалеет — что ж, согласен и на президентство в Синоде. Потребовал на собрании прямо, с руганью. Поддержки не встретил, взбеленился пуще — пеняйте, мол, на себя, поеду к царице, добьюсь.

Екатерина встает поздно, нарушать ее сон настрого запрещено. Стража остановила предерзкого. Офицер урезонивал — пропуска нет никому, даже его светлости князю Меншикову.

— Плевал я,— распалился Феодосий.— Тьфу! Ваш светлейший мне в ноги повалится. Я выше его... Не ведаешь? Дураки вы, свиньи безмозглые, овцы шелудивые.

Поворотил назад.

Через неделю царица позвала озорника к обеду, рассчитывая пожурить и утихомирить. Отказался письменно.

«Мне в доме Ея Величества быть не можно, понеже я обесчещен».

Вдругорядь попросила.

— Не пойду,— ответил он нарочному.— Вот коли изволит прислать провожатого...

Не дождался. Меншиков сказал царице твердо — хватит терпеть бесчинства. К Феодосию явились в холодный, слякотный апрельский день гвардейцы. Бесновался преосвященный, драться лез — скрутили.

Обнаружилось то, о чем прежде, из страха перед ним, люди молчали. Архипастырь брал иконы в церквах, обдирал оклады, серебро плавил и хранил в слитках. Образ Николая-чудотворца зачем-то еще и распилил. Прихожан сбил с толку — клял ико-

земцев, лютеранские обычаи, однако он же осквернил мощи святые — дал подержать лютеранину, голштинскому гостю. Уважение к Феодосию в народе истощилось, в просторечии он Федос, под этим именем значится в бумагах тайной канцелярии, где ему выворачивали суставы.

В поборах, хищениях он признался, но есть и горше вины. Покойного государя, милостивца своего, хулил гнусно. Царь-де тираном был над церковью. Штаты церковные переделал, отменил патриаршество, оттого не дал Бог веку — умер рано. Воевал-де он из тщеславия, жаждал крови. Духовенство утеснял, и стало так, что овцы над пастырями власть забрали. Русские, как были, так и теперь идолопоклонники, нехристи, хуже турок даже.

«Скоро гнев Божий снидет на Россию и как начнется междоусобие, тут-то и увидят все, от первого до последнего».

Меншикову два раза перечитали это — почуял нечто недосказанное. Ушакову, начальнику тайной канцелярии, сказал:

— Что увидят? Прощупай!

Имеются и другие странности в речах Федоса. Угрожал Ее Величеству, есть свидетели. «Трусит она и еще будет трусить, малость только подождать...» Донес Феофан Прокопович, свидетель надежный.

Как понять?

Ополоснутый водой из ушата Федос выдавил — нагрянут-де к нам австрийцы, прорва денег у них, то цесарское жалованье для партии царевича. Откуда ему, Федосу, сие известно? Стало быть, сам в той партии состоит. Кто же сообщники? Что против Ее Величества умышляли? Жечь его, кнутом лупить, терзать до полусмерти, покуда не скажет.

И еще вопрос... Колет язык светлейшему, будто самого пытают. Может, умирающий царь нечто Федосу изрек — на исповеди, либо в иной момент, наедине... Другое решение насчет передачи престола. Чем он, Федос, и пугать намеревался царицу, шантажировать, дабы церковь святую подмять.

Вопрос обоюдоострый, страшный... Стены толстые глушат и вопли, но слишком много ушей. Генерал тут, палач, подручный его, истопник. Да что бы ни ответил арестант — раз ты спросил, значит, имеешь сомнения. Нельзя, нельзя...

Можно выгнать всех. Отвязать Федоса, освежить. Нет, это бес нашептывает. Толку-то что? Грех любопытства. Ну, судил фатер так и этак, обронил ненароком... Нет, незачем ворошить. Вдруг ослушались его — как жить тогда? Обманываем... Федос палачом обернется, взглядом сразит.

Нет, нет...

А сам молчит. И ладно, пускай молчит об этом... Сболтнет, не записывать. Слаб он, рассудок мутится, несет нелепицу.

Прямо из застенка, смыв копоть с лица и рук, светлейший поехал к царице. Застал ее в хлопотах — шерстила царский гардероб, Растрелли восковую фигуру сделал, надо одеть.

— Матушка! — воскликнул Данилыч.— Вспомни дорогой твой день! В чем он был тогда?

Князь еще гарью застенка дышал, вонью его и запахом крови. Еще дым жаровни, в которой раскалялась пытошная снасть, ел глаза. И томило невысказанное...

— Федос признался. Пригрели мы, матушка, змею. Враждебен аспид, яд брызжет из него. Да кабы один, а то компания...

Всеконечно смерть заслужил. Угодно ли матушке утвердить? Узрел страх на лице самодержицы. Это и нужно.

— Круто, Александр.

— Так мы не здесь. По-тихому...

Кивнула, перевела дух, рука вяло бродила по груди, ловила бусы — янтарь в золоте.

— Большие бороды, матушка. Федос атаманом у них. На государя-то, на благодетеля, как взъелся, ирод.

Заговора, в сущности, нет. Под следствием духовные, виноватые тем, что дружили с митрополитом, знали кое-какие его проступки и не донесли. Их бы не тронули или, на худой конец, сместили — при обычной оказии. Но сия — необычная. Все ли вызнано пыткой у Федоса? Он-то теперь безвреден, катит под конвоем в ссылку. Приятелям, может, запало что от него...

Корельский монастырь далеко от столицы, за Архангельском, у Белого моря. Туда Федоса в темницу, на хлеб и воду, разговаривать с ним не сметь. Между тем секретарь его Герасим Семенов допрошен с пристрастием и казнен. Под арестом вице-президент Синода Иван Болтин, архиерей Варлаам Овсянников. Расспросные речи, пытошные речи... Если по ним судить, ничего нового, сильно отягчающего вину Федоса не открылось, но... Сломя голову помчался на север граф Мусин-Пушкин с инструкцией из высочайших уст. Проживание бывшего архипастыря, государственного преступника, даже на хлебе и воде, в зловонном подвале сочтено излишним. Исполнено по-тихому, без ведома монастырской братии.

Потомки будут гадать — что за секрет унесли обвиненные и покаравшие. И был ли секрет? Тело Федоса велено зачем-то везти в Петербург, с дороги вернули, наскоро похоронили. По-тихому же...

Восковая фигура помещена в Зеленом кабинете, где царь часто отдыхал, разглядывая раритеты — раковины из полуденных стран, засохшие либо окаменелые монстры, сотворенные в начале веков.

Иногда Ее Величество прерывает аудиенцию и, вадох испустив печальный, говорит:

— Зовет меня.

Фигура покоится перед письменным столом, в кресле с прямой спинкой, изготовленном специально. Императрица садится напротив, как просительница. Если долго созерцать, глаза супруга теплеют. Щека начинает вздрагивать, будто сгоняет муху.

Много налетает мух. Хочется встать, согнать самой. Но некое оцепенение лишает сил, приковывает к стулу. Это наваждение, оно дурманит так же, как кружка венгерского. Оно исчезнет, если нажать рычаг и фигура заскрипит слегка, поднимаясь.

Нет сил.

Фигура рукотворна — дерево, стекло, железо стержней, но позволяет призвать ушедшего. Где-то внутри, под сердцем возникает его голос. Внимать ему, не шевелясь, не противясь. Он доволен ею. Он простил ее грех с Монсом. Он не жалеет, что даровал ей венец самодержицы. Видел, как удавили Федоса, и одобряет.

Мудрый, всевидящий...

Поразила Александра, сказав, что торговля табаком должна быть свободная — царь настаивает. Пригласили Голицына. Президент коммерц-коллегии почел меру своевременной.

В Зеленом кабинете царица подписывает указы, собирает консилии — восковая фигура присутствует. Изображает Петра Великого столь наглядно, что грубить друг другу, лаяться, громко спорить сановным неповадно. Замечено — даже светлейший ведет себя поскромнее.

— Государь император имел желание...

Так Екатерина начинает обычно, и головы в париках невольно никнут. Седые парики, черные, каштановые. Спрятаны лица, спрятаны помыслы. Еще не все дружки Федоса названы, схвачены, закованы.

Большие бороды соблазняют и безбородых. Александр докладывает — арестован торговый человек Иван Посошков, в доме своем на Городовом острове. Родом из Новгорода, и там дом у него. Винные заводы в разных городах, угодья, деревни. Простолюдин, однако владеет крестьянами, за это одно подсуден.

— Покровителя имел, матушка. Вестимо, кого... Треклятое имя, тьфу!

Улик пока нет. Капрал Преображенского полка и четыре солдата вспотели, роясь в пожитках. Вороха книг и бумаги, чистой и исписанной, таскали в телегу. Сочинитель он — Посошков.

— Полистать, так, верно, сыщется зацепка. Глаголы-то его окаянный печатал, вишь... Столковались они давно. На чем — докопаемся.

— Что сочинил?

— Изволь. Принесу тебе.

Воспитанница пастора впитала уважение к книгам и к тем, кто их пишет. Такие люди дороги, конечно, если талант их добродетелен. Она должна войти в историю, как правительница просвещенная. Огорчительное совпадение — эти аресты и прибытие в том же августе профессора из-за границы, первых членов Академии наук. Посошков, поди, им не ровня, но ведь и синодские богословы находится в заточении. Прознают ученые да спросят... Наказ Александру — пусть в строжайшем секрете содержит розыск. Нелишне повторить царское прошлогоднее распоряжение — во дворце разговаривать шепотом, будь русский или голштинец.

Увы, не дожил Петр! Гости не увидят великого монарха, прославленного в Европе.

— Звать сюда... Показать, какое есть у нас искусство.

Тронула ногой рычаг. Фигура вздрогнула — раздраженно, как показалось Данилычу. Отозвался хмуро.

— Воск, матушка... Видали они... У себя видали подобные куншты.

Надломила брови, смолчала. Груб бывает Александр. Ему многое простить можно — открыл ведь гнездо злочинцев, давит их, обороняет трон.

Исчез и неизвестно где обретается доверенный царевны Имеретинской. Федос у нее бывал. Подозрительно... Данилыч, убедив царицу в существовании заговора, поверил

и сам. А строптивости поубавилось у Катрин, хоть и заноситси. При восковой фигуре особенно.

Ох, суеверие! Кукле поклоняется!

Бог с ней, послушна все же!.. С чем ни придешь — с приговором федосовцу или со счетами академическими — не прекословит. Да и как ей иначе? Кто напомнит суждения и прожекты государя, хранимые, собранные камратом, свято хранимые в губернаторской конторе. Память-то бабья да еще затуманена венгерским вином, которому владычица всякий день воздает почет.

Что есть Академия?

«Собрание ученых искусных людей, которые не токмо науки знают, но через новые инвенты оные совершить и умножить тщатся».

Секретарь прочел разок светлейшему и довольно. Данилыч передал царице слово в слово. Обязана знать и говорить на аудиенциях.

Что надобно сему синклиту?

«Здравый воздух и добрая вода и положение того места было бы удобно, чтобы от всех стран можно было надежно приходить, так же и съестное было бы в довольстве».

Петербург, парадиз любезный,— иного места фатер не мыслил. Науки указал физические, математические, историю, языки, политику. Отчего нет богословия? Спросят ведь профессоры? Ответствуй — у нас оно по духовному ведомству. А юриспруденция почему упущена?.. Она в нашем отечестве не созрела, понеже старые законы обветшали, а новые еще не утвердились. Отличие от Европы в том еще, что там Академия — учреждение добровольное, у нас же она на коште государственном. Почему? Поди-ка поищи жертвователей!

— Помещики, что ли, раскошелятся? Большие бороды, что ли? У нас и богатые господа в дикости, яко в дерьме.

— Пфуй, Александр!

— Прости, владычица моя! Внуши иноземцам — казенный кошт есть гарантия, нужды ни в чем не испытывают! Соболей, куниц накупят.

Еще чего спросят профессоры?

Им ведь подай слушателей. Царь прослыл в Европе ревнителем просвещения. Рады бы похвастаться, однако...

— Гимназиум,— вздохнула Екатерина.— Глюк был святой человек. Нет Глюк.

Погрустнела, повторяя «гимназиум, гимназиум», взяла с подлокотного столика у кресла кружку, помянула пастора. Да, похвалиться нечем. Убого выглядим перед Европой. Цифирные школы, заведенные в столице для мастеровых,— и те рассыпались. При епархиях, в Москве, в Киеве числятся ученики, сотни их, а много ли выучилось? По пальцам перечесть можно. Духовное еще зубрят кое-как, светские науки в загоне.

— Не до того было, матушка! Офицеров обучаем. Вон Морская академия. Флот пестуем, как зеницу ока. Государь завещал нам... Рано или поздно, матушка, придется ведь драться с морскими державами. Дай только окрепнуть... Ну, этого-то не говори! Скажи — воевали, тяжело воевали, двадцать один год. С университетом повременить надо. Профессор привезет с собой одного-двух штудентов к нам на прокорм. И ладно пока...

Екатерина, внимавшая преусердно, вдруг поморщилась.

— Штуденты...

Рассказывал Глюк, вспоминая молодые свои годы. Скандальная публика, пиво хлещут без меры, издеваются над почтенными бюргерами, дерутся на шпагах. Дурацкая забава — колоть друг дружку... Нет, такого безобразия она не допустит.

— Скрутим,— пообещал Данилыч, подавая сметы для высочайшей подписи.— Полицию приставим.

— Дуэли — пфуй! Не терпеть!

Сама вызвалась объехать здания, приготовленные для Академии. Горевал губернатор — работы на Васильевском задержались. Уж он толкает Трезини — главного зодчего... То досок недовоз, то кирпича. Кунсткамера пока в старом доме, новую еще устраивают внутри.

Экипаж колыхался, расплескивая лужи, с натугой влезал на мостовую, положенную лишь на площади да к особнякам вельмож. У палаца Шафирова, где имеет быть контора Академии, настил крепок, при некоторых жилищах, наиятых для профессоров, доски подгнили, провалились в топь или вовсе их нет. Самодержица гневалась.

— Воевали, матушка, не успели. Долби им. Тебе с учеными шпрехать, не мне одному.

Спросят — кто президент Академии? Должность, волей государя, выборная. Наше дело предложить. Кого? Блюментроста — больше, пожалуй, некого.

— Его и выберут,— решила самодержица.— Эй, Александр! Где Орфиреус?

— Разбойник он.

Сто тысяч выманивал за вечный двигатель. Однако деньги вперед, верь на слово и плати! Еще есть делатели золота — тоже ловят глупцов.

— То науки ложные, матушка.

— Нехорошо, Александр...

— О чем ты?

— Австерия, Александр...

На Троицкой площади она, почти рядом с академическими зданиями. Штудентов притянут «Три фрегата», да и профессоры повадятся. Попадут в дурную компанию.

— Не надо им ходить.

— Матушка! Привяжем, что ли?

Устал с ней Данилыч. Потом, вместе с Блюментростом составил указ ей на подпись. Велено приезжих «кормить в том же доме, дабы хотя в трактиры и другие мелкие дома, с непотребными обращаючись, не обучились их непотребных обычаев, и в других забавах времени не теряли бездельно, понеже суть образцы такие: которые в отечестве своем добронравны, бывши с роскошниками и пьяницами, в бездельничестве пропали...»

Привязала и думает — крепко.

Так отчего же постигает державу скудость и как сотворить богатство?

От лености, возглашает автор, от насилия помещиков и самоуправства чиновников, коих расплодилось ныне видимо-невидимо, семь шкур дерут с бедного земледельца. Указы Его Величества, осуждающие сие, справедливы, но «высокородные на уложенные уставы мало смотрят, но как кто восхощет, так и делать будут по своей пыхе». Станет ли жестокого, жадного помещика укрощать, наказывать чиновный шляхтич? Нет, конечно... «Вся правители дворянского чина своей братии знатным норовят, власть имут и дерзновение токмо над самыми маломочными».

Тиранят крестьян, городской люд и указов не боятся. Благие намерения государя и распоряжения, выходит, бездейственны, ибо нужны меры решительные, замена начальствующих лиц. Доверять исполнение указов на местах лицам простого звания, лишь бы толковые были, честные, доброго нрава.

Право дворян владеть землей и людьми Посошков не оспаривает, но напоминает: «Крестьянам помещики не вековые владельцы, того ради не весьма их берегут, а прямой их владелец Российский самодержец». Он властен над жизнью и имуществом всех подданных и все они перед ним в ответе, высшие и низшие.

Однако даже самый мудрый монарх не безгрешен. Подушную подать, введенную царем, Посошков не приемлет — «душа вещь неосязаемая». На учете у сборщиков младенцы, ветхие старцы, беглые, умершие — не скоро ведь обновляются списки. Здоровые, работающие тяжкое несут бремени. Не лучше ли взимать налог не с души, а с дохода — пропорционально? Подражания заслуживает, по мнению автора, старинная «десятина» — десятая часть достояния, уделявшаяся церкви.

Новое не всегда хорошо — немало уроков подает прошлое. Прежде, при Алексее Михайловиче, Уложение, сиречь новый свод законов, издавалось не токмо самолично монархом, но Земским собором. Созывали подданных разных званий, не одних благородных. Так бы и впредь поступать при важнейших надобностях.

Да и во всякое время да будут ведомы государю мнения и нужды подданных — и не через чиновных, а из первых уст. «И еще кто узрит какую неправостную статью, то бы без всякого сумнения написал бы, что в ней неправости, и, ничего не опасаясь, подал бы ко исправлению тоя книги, понеже всяк рану свою в себе лучше чует, нежели во ином ком». Тут Посошков спешит заверить — сии поправки к закону «вольным голосом» не в ущерб самодержавию и предлагает автор такой порядок «ради самые истинные правды».

В согласии с Петром писатель считает — никто не может быть выше закона. Справедливый закон да объемлет все бытие огромного государства, проведет границы дозволенного и запретного. Конечная же цель управления — общая польза, одоление скудости, рост богатства.

Источник оного — труд. Исправно трудится тот, кто ждет от усилий своих верного прибытка. Многая скудость — от произвола помещиков. Они не только мучители, но нередко дурные экономы, допускают переделы земли, дробление ее. Разумнее закрепить за каждой семьей надел твердо, дабы мужик сознавал себя на своем куске хозяином. Когда земля не кормит, он бросает ее, бежит на Дон, а кто зажиточней, тот чает большей прибыли от торгов. Сие необходимо строго пресечь.

Всяк да занимается своим наследственным делом — негоже изменять ему, терять интерес, лезть в чужие сани. Сам ремесленник, ставший купцом, винокуром, Посошков весьма радеет о горожанах. Богатство державы возрастет сильно, если развить коммерцию, мануфактуры. Некоторые купцы имеют крепостных, да и автор грешен в этом. Запретить, пусть нанимают, труд добровольный предпочтительнее. В городах поощ-

рять ремесленные цехи, мастерство, тогда иностранцы, покупающие в России одно лишь сырье, «будут за нами гоняться».

Купцам установить разряды, первому — с капиталом в десять тысяч и выше, носить собольи шапки. Обязательную одежду, вплоть до рубашки, Посошков назначает для каждого сословия — сие престижу способствует и ответственности перед законом и государем. И здесь он прожектирует в духе Петра, поборника жесткой, всепроникающей регламентации.

Болея за судьбы отечества, Посошков говорит о бедах российских бесстрашно. Опустевшие деревни, толпы беглых, нищих, падение нравов, невежественное обращение с землей, лесами. Поучиться у иноземцев следует, но распоряжаться у нас, верховодить им не сметь.

Эти строки в книге Александр Данилович, сидя в своей библиотеке, подчеркнул жирно.

Данилыч грамоте не учен. Дед его, владыка в семье, пишущих, печатающих проклял. Затеянное патриархом Никоном исправление церковных книг потрясло благочестивого старца — на что грамота, если даже священному писанию нельзя верить? Подати начислять, разоряющие народ... Кулаком грозил дед дьякам, подьячим — они-то, строча перьями, жиреют. Упустив годы, благоприятные для ученья, Алексашка пытался потом, понукаемый царем, наверстать, но навыков быстрого письма и чтения так и не приобрел. Царь же задал всем, во всех делах великое поспешание. Меншиков, как многие вельможи, слушал чтение секретаря, диктовал доклады, приказы, цидулы родным, память хранила нужные сведенья и цифры надежно.

Терпенья нет читать, спотыкаясь, но Посошков взил за живое. Мало того, что Петру великому адресовано и, следственно, камрату его. Серебрянщик намеревался учредить полотняную фабрику, капитал наращивал лихо, и Данилыч листал опус с неким ожиданием.

Насчет внешней торговли, прибыточных для державы пошлин Посошков толкует здраво, а касательно денег... Эх, промашку дал! Ценность монеты, мол, в полной воле монарха. Шалишь! Дешевку не навяжешь. Ныне монету только на зуб не пробуют, дознаваясь, точно ли серебро в ней и какой пробы.

Доверие к писателю тотчас упало.

Однако иные страницы хоть в печать и на показ профессорам немецким — вот, и мы не лыком шиты! Пространная звучит хвала трудам Петра. Сие престижу России способствовало бы, но автор тут за здравие поет, там за упокой, тычет пальцем во все прорехи. Берется залатать их, правда... И глядь, назад нас тянет, к Земскому собору.

Может, и боярскую душу воскрешает? Нет, сердит на высокородных, хлещет их, любо-дорого читать. Шляхту, начальствующих, больших и малых, тоже не щадит, подушную подать отменяет, хочет новых законов. Эх, чеканщик-серебрянщик! Допустимо ли твое писанье обнародовать? Богатство за горами — пока скудость одна.

На нет сводишь престиж.

Еще иностранцев порочит. Провожают-де жизнь в весельи, с музыкой за стол садятся. А нам-де прилично житие духовное, скудное, что ли? Ну и дурак — запутался ведь!

Книга подшита к розыскному делу. Секретному, о тягчайшем государственном преступлении. Светлейший охотно начертал бы — «оправдать». Но заговор, заговор... Строки, ух, кудрявы, узорочье вдруг кажется нарочитым. Смущают пометки — уголки какие-то, точечки, крючки. Ушаков черкал? Нет, еще кто-то.

Местами рука, вроде, автора. Те же чернила... Вглядишься — зловещее чудится в пометках. Тайная весть кому-то? Витает в библиотеке пегая борода Федоса, кривые зубы его, усмешка его лукаво презрительная. Проклятая книга! Сжечь ее — наверно, легче будет. Мешает она принять решение, колодника Посошкова ставит в положение особое. Всякое подшивалось в дела, но тут книга. На глазах Неразлучного... Среди вельмож уже слух прошел. Опус русского человека, простолюдина. Богом умудрен или дьяволом-архиереем?

Из смятения чувств, обуревающих Данилыча, выход один — сочинителя снова на дыбу. Окатив водой из ушата, суют книгу под нос.

— Что на полях? Тайнопись?

Трясет головой.

— Не мое это. Не мое...

Книга под конвоем, будто живой арестант, из застенка обратно во дворец князя, пуще захватанная, в пятнах гари. Ей тоже допрос. Есть домашние судьи. Варвара читает быстро, не сочтет за обузу. Входя к ней с книгой, Данилыч бросил, посмеиваясь:

— Философ у нас объявился.

— Куды же мне? — пальнула она.— Бабе-то глупой...

Нехотя отложила французский роман. Амуров ей не досталось — чужим тешится. Одобрила почерк Посошкова. До конца все же не осилила — глаза устали.

— Наглец же он,— и очки на остром носу подпрыгнули.— Наглец мужик. Государя учит.

Данилыч почему-то рассердился.

— Нашу-то и надо учить. Навязалась на мою шею.

Вырвалось несуразно.

— Мужик, поди-ка, научит.

Заносчиво, по-арсеньевски поджала тонкие старушечьи губы. Вздохнула.

— Перевернулся мир. В Швеции, вон, королю и вовсе рот заткнули.

Обратилась к парижским амурам.

Нанятых профессоров доставил питерский фрегат, совершающий рейсы в Любек. Встречен был в заливе пышно. Ладья губернатора, подтянутая к борту, золоченая, с расшитым тентом, вид имела феерический. Ослепил и князь, облаченный в парадное, со всеми орденами. Обнимал гостей, целовал троекратно, смачно. Трубачи дули, что есть мочи. Денщики, топоча по палубе, извлекали из корзин водку, икру, семгу.

— Ауф унзере фройндшафт!

Дружба, вечная дружба с величайшими умами Европы! Привет сердечный от Ея Величества. Добро пожаловать в Северную Пальмиру.

Немцы смущались. Бокалы, налитые до краев, взяли бережно, пробовали духовитый напиток вежливо, не морщась. Губернатор указывал вдаль — там Пальмира. Близился Васильевский остров, необжитый конец его, дикий сосняк. Из него — пламенем лесного костра — вырывался и рдел на солнце красный железный верх княжеского чертога. Золотой каплей повис шпиль церкви Петра и Павла.

— Сады, господа! Сады Семирамиды...

Спохватился, при чем они тут? Те, помнится, висячие.

— Зимы, господа, не бойтесь! Пустяки! Иной год ни снежинки...

Врал и не мог укротить себя. Нервность причиной. Робеют гости или обижены чем-то? Сковало языки — даже водка не пробрала. Ни слова дельного — одни пустые политесы. Что варится в ученых мозгах?

— Светлейший принц!

Бильфингер, магистр философии и физики. Он особенно раздражал — в морщинах дряблого лица, глубоко врезанных, едкая, застывшая издевка. Старший и самый знаменитый.

— Холод нас мало беспокоит,— услышал князь.— Это наименьшее из зол.

— А наибольшее?

— Война, мой принц. Монстр, который губит не только тела людей, но и души.

Газеты пророчат — Россия нападет на Данию. В таком случае неизбежно и столкновение с англичанами. Царский флот — грозная сила. В пути удалось убедиться: стояли, пропуская армаду. Когда столько пушек, они, бывает, палят сами.

Оживились книжники, закивали. Ах, вот чем пришиблены! Трепещет Европа. Князь приосанился, поставил ногу на мортиру — две дюжины сих орудий окаймляют палубу фрегата.

— Войны не будет, господа!

Затем уместным счел рассердиться. Врут газеты. Всемилостивейшей нашей императрице война противна, ничего так не жаждет, как жить в мире со всеми державами. Подлые газетиры! Сих птиц невинных ястребами изобразят.

Несколько дней профессоры отдыхали,— секли дожди. Пятнадцатого августа разведрилось. С утра — словно глашатай весть прокричал — к саду потянулись горожане. Ворота открылись, чисто одетые допускаются, хотя и с отбором, стражи придирчивы, купца, старшего мастерового оглядывают испытующе, подозрительно потискают — нет ли за пазухой либо в кармане какого припаса, режущего или стреляющего. Сегодня впустили небольшое число. Прочие жмутся к решетке. На центральной площадке, у фонтана, белым полукругом столы, на них прохладительное, вино, вазы с фруктами. Невиданно крупные яблоки, груши да еще диковинка — плоды желтые с зычным румянцем, круглые, невесть откуда.

— Персики,— сообщает кто-то.

— Вона! Из Персии привезли.

— Да не... Меншиков развел.

При столах гвардейцы, похаживают, следит. Облизывайся, а рукам воли не давай.

Удивили горожан и пятеро иноземцев, появившихся во главе с придворным доктором. На генералов, на послов не похожи, кафтанишки тусклые, бедные. Гуляют по саду, сгибают спины перед статуями — молятся, что ли, поганским богам?

Гости близоруки, читают надписи на мраморе, их поражает обилие скульптур. Екатерина просила обождать — с расчетом, дабы насладились коллекцией Петра. Семь чудес света известны и вот восьмое. Венера, творение первого века христовой эры белеет в открытом зеве грота, двое часовых стерегут обнаженную.

— Впрочем, чернь уже привыкает. Покойный монарх стремился облагородить грубые вкусы.

— О, Христина!

Ошеломила королева-озорница, возникшая внезапно, в резвых бликах, под сенью ветвей. Имя ее заставляло краснеть. Меняла любовников чаще, чем наряды, бросила Стокгольм, сбежала в Рим, издевалась над фарисеями, приютила Эразма Роттердамского, спасла ядовитого обличителя от мести монархов и святош. Знал же царь, покупая бюст сей отлученной, кому памятник ставит.

— Выбор его величества,— возглашал Блюментрост,— никогда не был случайным. Посредством искусства влагал в народ похвальные чувствования. Вот, извольте — мир и изобилие, заказная вещь, знаменитого Баратта.

Обратил внимание на символы у ног женских персон. Российский орел высится над шведским львом, лежащим в изнеможении.

Повел в лабиринт, витой коридор, петляющий в зелени молодых деревьев и кустарников. Популярная в Европе забава здесь служит и к пользе, знакомит с Эзопом, коего царь ценил настолько, что его первого приказал печатать в основанной столичной типографии.

— Лягушка, господа! Презабавная, не правда ли?

Вола пыталась перерасти и лопнула, о чем повествует текст, помещенный под статуэткой, отлитой из свинца. Нет, не в Италии — в Петербурге.

Полчаса, назначенные царицей, истекли. Трепет пронесся по саду. Блюментрост бегом кинулся из лабиринта, ломая сучья, увлекая спутников. На крыльце Летнего дома показалась Екатерина — ликующая, в лиловом платье с глубоким декольте. Спустилась медленно, шаг стреножили туфли на высоких, тонких каблуках, по последней моде. Ветер раздувал юбку, свободную, без обручей — прием в саду кринолина не требует. Голову самодержицы венчала кружевная наколка «а ля бержер» — пастушеская.

Меншиков, оттеснив голштинского герцога — понурого, с печатью скуки на лице,— проскользнул вперед, подал руку царице, помог сойти на землю. Статс-дамы, послы, сенаторы, высочайшая фамилия в полном сборе — блистающий поток хлынул по главной аллее, гася великолепием своим разноцветье бордюров и клумб. Пунцовый от волнения подбежал Блюментрост, едва не упал, выполняя реверанс,— ему, будущему президенту академии, представлять ученых царице.

— Всемирно чтимый... Несравненный...

Лейб-медик каждого возводил на Олимп. Магистры, кучка смущенных, непривычных к подобным почестям, топтались, потупив взгляд. Потом один из них напишет: «Русский двор превосходит в роскоши любой германский. Драгоценности выносятся на обозрение с редкой откровенностью. Меншиков залит бриллиантами».

Данилыч рассыпал улыбки, смотрел на приезжих одобряюще и со скрытой завистью. Счастливые, нет им дела до монарших капризов, до заговорщиков, до интриг. В другом мире живут, он всегда с ними, этот книжный мир, всегда и везде.

— Мы рады видеть...

Заговорила Екатерина. Она подняла руку, растертую мазями, благоухающую.

— ...рады принять достойнейших мужей науки... Великий император, взирающий с небес...

Обе руки устремились ввысь. Она вытягивала их, пальцы шевелились, как бы ловя, впитывая некую благодать, даруемую с неба. Солнце обливало руки, пронзительно голые, вздымалась грудь, распирая легкие ткани.

Втайне и как бы со стороны она любовалась собой. Что в этих гречанках, римлянках, что за сласть? В кругу близких, за чаркой, она уничтожала их, общепризнанных — детские ножки, недоразвитые грудки. Разве случайно Петр — величайший монарх и мужчина — выбрал ее? Сделал ее самодержицей. Презрения заслуживает мужчина — магистр, вельможа или тот купец, остолбеневший за забором шиповника,— который видит в ней только воплощение власти. Нет, она женщина прежде всего, женщина в ее совершеннейшем естестве.

— ...завещавший мне свой труд, желал, чтобы его город, его обожаемый парадиз стал обителью муз, благотворным источником знания.

Ее средне-немецкий говор, звучащий бархатисто, интимно, понятен почти всем — перевод не нужен. Она могла бы подробно доказывать важность наук, сослаться на древних. Ягужинский, латинщик, питомец иезуитской коллегии, кое-что подсказывал ей, да она и сама не круглая невежда — помнит рассуждения пастора, перелистала много книг, нетерпеливо и бегло. Но почтенные магистры, чего доброго прыснут, не сдержав иронии, вздумай она поразить собрание ученостью. Нет, не ее это женское предназначение.

Слушают стоя, никто не притронулся к угощению, хотя она подала знак Александру, зятю, они жестами предлагают. Устала говорить. Устали ее руки, особенно правая, простертая указующе.

Пала тишина, магистры, тесно сбившиеся, зашевелились, встал высокий, поджарый, щеголеватый, с закрученными усами, тряхнул черной шевелюрой. Крашеные,— подумала царица. Молодится, а хлипок мужик.

— Ваше Величество! Свет на севере, зажженный вами, привлек нас, искавших истинное покровительство наукам. Вы, затмившая Семирамиду...

Французским владеет бойко, мастером политесов оказался Герман, знаток законов физических и чисел. Блюментрост переводил.

— ...насадившая прекрасные сады просвещения, кои небывалым цветением украсят мир.

Медвежевато, сипло поблагодарил императрицу Бильфингер, сопровождая речь движениями рубящими. Этот для придворных плезиров не годится. Пора звать обедать. Гвардейцы сунулись было убирать со стола — Екатерина нежным мановением запретила. Пусть полакомятся простолюдины. Она и убогим сим должна быть матерью.

Летний царский дом на торжества не рассчитан — голландский особнячок, говорят о нем иностранцы, жилье коммерсанта, к тому же среднего достатка. В столовой и в двух гостиных расселось общество, дам пришлось от кавалеров отделить. Магистров Екатерина поместила визави, справа Карла Фридриха, слева Меншикова.

— Господин магистр,— обратилась она к Герману,— правда ли, что на других планетах есть живые существа?

— Весьма вероятно,— откликнулся любезный франкофил.— Количество миров бесконечно, и кто знает...

— Существа вроде нас?

— Не исключено, Ваше Величество. Мсье Фонтенель... Читают ли его в России? Если нет, я осмелюсь советовать. «Разговоры о множестве миров» — книга замечательная. Велите опубликовать!

— Да, непременно.

Наслышана, рассказывал Кантемир, сын молдавского господаря, юный красавец, увлекающийся, наряду с танцами и амурами, астрономией, философией и стихами.

— Жаль, магистр... У вас нет достаточно сильных стекол. А может быть, есть? Прячете?

Искорки темно-карих глаз, почти черных, покалывали, дразнили. Двуглавый орел на бокале близился к нему, распластал крылья.

— Тост, господа... За далеких жителей, ожидающих нас. Прошу вас, до дна!

Осушила первую царскую порцию. Внесли жаркое. Крепкая мальвазия — Петр наливал ее в штрафную чару, высотой с его пядь — смыла робость. Бильфингер пыхтел, бурчал, собираясь с духом.

— Униженно молю простить меня... Академия в России, не имеющей гимназии, университета... Мой друг Вольф уподоблял таковую дереву. Крона его имеет под собой корень и ствол. О, в России все необыкновенно!

— Он прав, черт побери! — крикнул герцог и пьяно захохотал.

— Вольф писал нам,— сказала Екатерина и лукаво прищурилась. Ответ у нее готов.

Некий старик строил мельницу, и соседи крайне дивились, ибо воды на том месте не было. Сперва провел бы канал — судили они. Он же объяснял — копать начну, а если не успею, сыновья докончат, мельница понудит воду добыть.

Притча Петра, одна из его любимых — умел он жить в будущем, приучал и других. Созидая новую Россию, притом с великим своим поспешанием, полагал неизбежными лишения, всякие тяготы ради грядущего.

— А гимназию, господа, я велю открыть нынче же. И конечно, публичные лекции... Радуйте нас, господа, поднимайте к звездам! За вас, господа!

Чокается с каждым, излучая милость, щедрость. Бокал держит твердо, с укоризной глядя на зятя,— он пьет лишь водку, осоловел, рюмку затиснул в кулак.

Вошли скрипачи, встав за креслами, играли самоновейшее, менуэты, мадригалы. Разумейте, европейцы мы, стряхнули с себя варварство! Но Россия еще не исчерпала своих сюрпризов. Приезжие не застали в живых царя, увы! Да благоволят проследовать в Зеленый кабинет.

Аудиенция с восковой фигурой протекла в безмолвии. Магистры изображали благоговение, внутренне огорченные дешевым эффектом. Однако вздрогнули, когда кукла с финифтяными глазами вдруг поднялась, выбросила вперед мертвенно белую длань, словно благословляющую из гроба.

Мамзель — сущий клад. Данилыч глянул в гостиную и задержался. Как ловкий шевалье со шпагой, так и она — веер птицей летает, обвевая лицо. И камнем вниз.

— Вы рассеяны, принцесса!

Это старшей. Мамзель топает ножкой, верно, покрепче нотация в уме гувернантки.

— Сосредоточьтесь! Там ваш кавалер. Он смотрит на вас. Зовите его!

Открывает веер, медленно, постепенно. Так, стало быть, подзывают галанта. Театр да и только!

— Теперь вы, Мари!

Не то, не то... Чувства никакого... Четырнадцать лет девке, пора бы... Раздобрела на пирогах, толстуха, поменьше бы ей пирогов, на солдатских сухарях подержать бы...

— Александрин!

Вмиг почуяла. Отец залюбовался младшей. Бойка черноглазка, искры мечет. Сразу вообразила кавалера, зовет, зовет, трепещет веер.

— А ты, Машера, колода,— вмешался Данилыч в урок.— Погляди на сестру!

Тоже наука... Нынче, коли не усвоят сию сигнализацию, дурами окажутся на балу. Мамзель говорит, веером доказывает женщина истинное свое благородство. Ничто так не отличает... Кончится год, царица снимет запрет, начнется пляс.

Зимой должны прибыть ко двору некоторые иностранные кавалеры. Для Марии жених намечен. Она покамест в неведении. Слыхать, красавец.

Весьма должен роду Меншиковых укрепить престиж. Лишь бы невеста не сплоховала...

ПИСЬМО ИЗ БРЮССЕЛЯ

«Я хотя не имею чести Вашей светлости быть знакомым, однако пребываю в надежде, что сие мое письмо изволите рассудить, ибо оно касается к делу наивящей важности».

Страница из тетради в голубую линейку, буквы крупные, округлые, почерк чистый, уверенный — ни единой помарки.

«Представляется необходимым, чтобы я сам был в Санкт-Петербурге, что я немедленно по указу Вашему исполню, только да соизволит Ваша светлость меня прежде княжеским своим паролем обнадежить, а именно: никогда и никому, кто бы он ни был, кроме Ея Величества императрицы ничего не объявлять. Знаю, что Вам можно доверить тайну, мной обнаруженную, без всяких опасений. Вы не откроете врагам того, кто без всякого личного интереса, а лишь по долгу чести пытается предотвратить ужасное преступление».

Адресов обратных три. Первым сорвет печати Шангион, торговец книгами в Амстердаме, на Калверстраат. Найдет внутри другой конверт, на имя коммерсанта Сойе, в Амстердаме же. Сей последний вынет третий конверт, с ответом принца Меншикова и, не вскрывая, перешлет во Францию, в город Авиньон, господину Лини.

«Это не есть мое природное имя, каковое назвать воздерживаюсь, ибо вынужден соблюдать крайнюю осторожность».

Обер-секретарь Волков, докладывая князю, щурился иронически. Туману-то напущено! Какое такое преступление! Правда, сей господин Инкогнито денег не просит. Пока не просит...

— Постой! — сказал Данилыч.— Штемпель-то не разберу. Мимо почты шло, значит.

— Мимо, мимо,— и Волков почесал седую щетинку на скуле.— Капитан привез.

— Какой капитан?

— Прости, батюшка, стар стал. Гони меня! Авось вспомню, даст бог. Корабль-то «Амалия», утресь причалила, а капитан...

Услужливая память Данилыча дополнила — Томас Хойзерман. Капитан прижимистый, но честный, не из тех, что водятся со всякой канальей. Ходит в Петербург четвертый год. Неспроста же именно он...

— Верно, знает этого Лини... А, Волчок? Покличь-ка Горохова.

Флаги повисли в теплом безветрии, адъютант не сразу отыскал голландца. «Амалия» привалилась к пирсу, полосы красные и желтые чередовались на свежевыкрашенном борту, дракон на носу, разинувший зубастую пасть, сверкал медной чешуей и кроваво-красным петушиным гребнем. По сходням носились работные, выгружали скатанные ткани, ящики с посудой, мебель.

Хойзермана можно принять за дворянина — бархатная куртка, крахмальный кружевной воротничок, выпущенный наружу, широкополая шляпа, не хватало только шпаги. Кажется, ждал визита, без лишних учтивостей провел в свою каюту. Холодок полированного дерева, портрет женщины, маслом, японский чайный сервиз, мягкое кресло для гостя — Горохов утонул в нем.

— У вас по-домашнему.

— Это и есть мой дом, господин офицер. Мы ведь встречались?

— Да, один раз.

— Чем могу быть полезен?

— Вы привезли письмо от некоего Лини...

— А, его светлость получил! Очень хорошо. Как поживает его светлость?

— Благодарю, благополучно.

Горохов приучен смотреть и запоминать. Сервиз дорогой, чашки тонкого фарфора, почти прозрачные. Портрет написан мастерски. Капитан, он же, вероятно, и владелец судна, выполняет поручения недурно оплачиваемые, помимо грузовых перевозок.

— Господин Лини был у меня. Мы имели очень содержательные беседы. Чрезвычайно образованный господин. Он хочет приехать в Россию. Предложение торгового свойства, насколько я понял.

— Да... торгового. Пишет он не совсем ясно. И так как он просит от нас паспорт, то, вы понимаете, ваш отзыв...

— Ну, рекомендовать не берусь.

— У него есть состояние?

— Фабрика во Франции, так он мне сказал. Продает полотно полякам, желает расширить клиентуру. Говорю с его слов.

— Внушает доверие?

— Безусловно, господин офицер.

— Он бывал у нас?

— Очевидно, нет. Любопытен безумно, мы сидели часа три.

— Расспрашивал?

— Главным образом, о его светлости. Испытывает к нему величайшее уважение, как и я, разумеется. Поверьте, я не взял бы письмо к принцу, если бы господин Лини произвел впечатление неблагоприятное. Нет, нет, ни за что! Я рассказал, что его светлость пользуется огромным влиянием при дворе. Как никто другой из министров. Это и нужно было фабриканту.

— Что еще?

— Насчет пристрастий его светлости... Я позволил себе сообщить — обожает серебро. Потом, какие цены в Петербурге? На мясо, на масло, на дрова... Здоровый ли климат, правда ли, что при сильном морозе вода в жилищах замерзает, как ни топи. Страшно боится холода.

— Лини... Он итальянец?

— Смахивает, по-моему... Брюнет, ростом невысокий. Мы говорили по-немецки, у него южный акцент, баварский, насколько могу судить. Жил в разных странах, любит бродячую жизнь. Похвалился мне... Я, говорит, жира не накопил, хотя мог бы, при моих средствах. Движение ног придает движение мыслям. Сюртук, между прочим, на нем изысканный.

— Он отыскал вас в Амстердаме, господин капитан. Вы были знакомы раньше?

— В Антверпене, господин офицер. Я там стоял. Корпел над счетами, команду отпустил на праздник. Оммеганг — большой праздник, слышали, вероятно? Нет, мы не были знакомы. Господин Лини мог навести справки обо мне. У него какие-то интересы в наших краях.

— А жительство имеет...

Осекся Горохов. Авиньон, чур, не поминать, коли умолчал итальянец.

— Постоянное жительство? Каюсь, не спросил. Прошу вас,— и капитан налил джина из круглой глиняной бутылки.— За здоровье его светлости принца!

Можжевеловый дух скрасил горечь напитка, но от второй рюмки адъютант воздержался. Антверпен, итальянец, баварский акцент, фабрика во Франции, интересы на севере... Запомнить все, передать по порядку. Капитан осторожно подбирает слова. Не договаривает? Попробовать сойти с официального тона...

— Оммеганг? Мне рассказывали...

— Господин Лини купил место на балконе. Три часа наблюдал шествие. Он захлебывался. Карнавал в Венеции меркнет... Мне было приятно слышать, я фламандец, господин офицер.

Сказано без эмоций, все те же взвешенные фразы... Возможно, потому что нетверд в немецком. Оммеганг, оммеганг... Горохов повторил про себя, ибо усвоил — подробность как будто совсем посторонняя, а вдруг да и пригодится, как частица мозаики.

Фабрика, коммерция — вранье, конечно. В Авиньоне и нет такого, поди... Богатый костюм взял напрокат. Обольстил моряка. Надуватель, разве что похитрее других. Вишь, паспорт ему... Ну, и денег на дорогу...

— Обольстил,— согласился светлейший.— То-то и есть, Горошек. Хойзерман тертый калач. Смекаешь? Хитрость города берет. Так что мы решим, а? Пошлем ему паспорт?

— Шутишь, батя. Не приедет.

— Пошлем, Горошек.

Удивление, обозначившееся на лице адъютанта, крайне развеселило князя.

Ответ господину Лини гласил: «Ея Величество императрица по моему докладу приказала не только просить вас прибыть в Санкт-Петербург, но и уверить в ее добром

к вам расположении и протекции. Поверьте, что ваше усердие не останется без вознаграждения. Паспорт при сем прилагается».

«Приедет? Обманет»,— твердил Горохов, Данилыч подтрунивал, но и он предвкушал уловку. Так и случилось. Инкогнито, если верить ему, занемог феброй, то есть лихорадкой, а то немедлено пустился бы в путь.

«Как скоро от фебры освобожусь, того же часу поеду, а тракт возьму через Париж, Брюссель и Гамбург и переговорю с агентом российским, чтобы подыскал судно для меня, дли слуги и переводчика».

Следом, письмо из Брюсселя — впилась фебра, приковала надолго. Все здесь дорого, а он непрестанно делает визиты к двум врачам, пользуется услугами аптекаря, двух служанок, лакеи и влез в долги. Его светлость учтет горестное положение...

Светлейший и адъютант — оба потешались, читая. Врачи, служанки, слуги... Важным барином кажет себя, явно же набивает цену. Данилыч, чуждавшийся азартных игр — царь не терпел их,— в сию авантюру втянулся со страстью. Кинуть денег, ободрить? Нет, пока поманить, да вынудить к откровенности.

«Ея Величество готова возместить вам расходы, однако она желает получить от вас некоторое освещение дела, о котором вы пишете»...

Екатерина встревожена, что светлейшему как нельзя более на руку. Ей он докладывает без улыбки, с глазу на глаз. Возникает общая тайна, щекочущая, злоаещая, и распутывает он — первый вельможа у трона.

— Эй, Александр! Торопи итальянца!

Неймется ей.

— А как? Надоумь, матушка! С крыши помахать ему?

— Пфуй, глупый шеловек!

— Ушибли, матушка. Во младенчестве.

Велела, не дожидаясь вестей от Лини, раскошелиться. Раз такова воля... Данилыч дал ордер в Гамбург, торговому агенту.

«Когда кавалер, именуемый Лини, к вам явится, извольте платить ему 150 червонцев с кондицией, чтобы он по принятии тех денег путь восприял».

Теперь выложит карты.

Между тем розыск по делу Федоса выдыхается. Одни колодники, не снеся пыток, умерли, другие — с рубцами на теле, полуживые — отпущены. Оставшихся водят в застенок редко, вопросы одни и те же.

Посошков держит ответ за книгу. Что показывал ее архипастырю и что тот похвалил многое в ней — о том автор сказал давно. Но этого мало.

Хваля тое книгу, не говорил ли он, Федос, хулительных слов про особу покойного монарха или про особу Ея Величества?

Кому дал тое книгу переписать?

Сколько сделано тое книги копий?

Кому давал оную книгу читать?

Не тщился ли приблизить тебя, Посошков, к себе деньгами или подарками?

Поручал ли тебе, видя твое искусство, какие-либо сочинения?

Обещал ли книгу печатать?

Писатель отвечал неизменно — не слышал, не ведаю, не было того. Опровергнуть нечем, ибо прочие арестованные с ним не знакомы, жил отшельником последние годы. От дыбы он избавлен, плетью лупят не шибко. Летняя духота сменилась осенним холодом и мокротой, болотная зловонная жижа заливает тюремную яму. Железное кольцо въелось в ногу, тяжела цепь, прикованная другим концом к колодке. Слезные мольбы Посошкова безответны.

Ногтем на стене, царапинами отмечает дни. Уже две недели, как не видит своих мучителей.

Забыли его?

Инкогнито отозвался. Он сожалеет, что недуг помешал ему объясниться лично. Очень не хотелось доверять тайну бумаге, почте.

«Существует безбожное намерение всеми силами стараться высокую Ея Императорского Величества особу секретным и никогда не слыханным способом умертвить. Я решил, неазирая на смертельный для себя риск, воспрепятствовать, так как считаю жизнь Ея Величества одним из величайших сокровищ мира. Люди, уверенные в успехе, находятся в Англии и должны прибыть в Гамбург, там у них рандеву и там к ним присоединится подмога. Я после Пасхи отправлюсь в Гамбург и буду ждать этих негодяев, хорошо мне знакомых. Обещаю Вашей светлости сопровождать их и в Санкт-Петербурге Вам выдать. Но прошу иметь в виду — несколько месяцев пребывания в Брюсселе обошлись мне в пятьсот пистолей, деньги текут, кредита у коммерсантов не получить».

— Худо ли! — язвил Горохов.— Нашел кормильцев... Ловит он нас, батя.

— Споришь? На что споришь?

— Сто рублей кладу.

— Ой, много, Горошек!

Князь задумчиво водил пальцем по шахматной доске, глянец ее упрямо, прохладно мерцал в зимних сумерках.

— С плеча сечешь, Горошек...

— Англию приплел... Политик же...

— Нынче каждый политик. Говоришь, в политике ложь? Воистину так, Горошек, без этого не бывает. Ные и присно и во веки веков ложь. Как в человецех, так и в политике... Но есть и правда.

— Кормить его, батя?

— Не объест, чай...

Вензеля, гербовые щиты чертит княжеский палец, перечеркивает раздражающую определенность клеток, черных и белых, как «да» и «нет». Будто третьего не дано... Неужели его камрат, взрослый мужик, еще тешит себя несбыточным? Всегда есть третье...

— Всяко, пить и есть ему надо. Связался там... Оробел, платой недоволен. Подумал, стоит ли? Решил перебежать. Отчего же? Было бы что продать.

— Перебежчик?

— Диво тебе? Насмотрелись мы...

— Хуже, батя... Двух господ холуй.

— И этих пруд пруди...

— Натурально, батя... Я о другом... Насчет государыни... Ум не вмещает такое...

И язык не вымолвит. Умертвить... Потрясен преданный гвардеец. Светлейший улыбнулся отечески.

— Случалось, милый мой... Гистория скажет тебе... Вдруг он нам правду пишет, вместе с ложью и правду. Будем деньги жалеть?

— Да разве я... Раскусить-то надо его.

— То-то и оно!

— Чудно мне все же... На что им это, батя? Кабы к войне дело шло...

— У них спытай! Не чаешь грозы, ан налетит... Жаль мне матушку нашу, ох, всполошится! Так ведь вытянет из меня.

Нотка сострадания в голосе светлейшего. Рад был бы не страхом, а доводами рассудка направлять царицу ко благу. Итальянец в аккурат кстати. Новый заговор, скорей всего мнимый, взамен федосовского, истощившегося. Грех умолчать, не обратить на пользу.

Солдат с факелами выгнал бы сейчас же на лед, но распорядок в Зимнем сумасшедший. В пять часов утра царь уже был на ногах, а вот теперь Катрин в это время падает на кровать, одурманенная вином, яствами, сплетнями, натиском придворных галантов. Всю ночь блистают окна ее покоев, изливается музыка оттуда в спящую столицу — фрапирует благоверная православный люд. Светлейший прибыл весьма за полдень, и то заставила поскучать в передней. Совершала бесконечный свой туалет, впустила с неудовольствием. Эльза забирала мази из разных склянок.

Он сел за ее спиной, обтянутой стеганым халатом,— топят спальню не чересчур. Лицо Екатерины в зеркале туалетного столика приторно розовело, облекаясь в клер марципана, как у восковой фигуры. Не оборачиваясь, кинула:

— Смотри, Александр! Сделала Бригитта...

Показала подушку на кушете, рядом. Хвасталась уже, шитье редкое, серебристой кожицей дешевой балтийской рыбешки — по-немецки штремлинга, по-фински салаки. Отличилась статс-дама, верно, не один червонец вынула царица потом из кубка.

— Отдам в кунсткамеру. Или твоей Дарье, а?

— Ох, матушка! Не до того...

Подал ей перевод письма, дословный. Колебался — не обкарнать ли конец, доброхот сетует на дороговизну, подставляет карман? Нет, усовестился. Царица дочитала до середины, лицо ее опало, побелело, даже румяна не могли это скрыть.

— Англия,— прошептала она. И повторила громче, вбирая бумагу в кулак.

— Известно,— произнес Данилыч жестко.— Известно, откуда контры... Лютуют, нроды. Остерман рассказал тебе? Английские деньги к нам идут, тайно, на революцию.

Царица судорожно глотнула.

— Меня...

Письмо, сжатое в комок, полетело в угол.

— Расстроил я тебя... Прости! Может, он, шельма, крючок закидывает. Ехать и не думает. Вишь, до Пасхи отложено. Конечно, для верности...

— Меня... Они умеют...

— Полно тебе! Послушай!

— Как Марию Стюарт...

Учила же гисторию Марта, запомнила королеву Шотландии. Вси Европа до сей поры жалеет прекрасную мученицу.

— И тебе захотелось? — пошутил князь. — Успеем, матушка, на тот свет. О чем я?.. Дли верности мы лазейки-то закроем. Есть люди. В Брюсселе тоже есть.

— Твои купцы...

Брезгливо дернулась.

— Зря, матушка. Мои-то на все руки... Прикажу искать — землю роют. Курьера пошлю... Выведут господина на чистую воду. Как зоаут, кто таков, какие такие злодеи в Англии? Нужно будет, сам поскачу.

Адреса нет, имя чужое, но его же знают. Капитан Хойзерман, торговец книгами Шангион и не только они... Окажется шельмой, поплатится, на то полнцня. Курьер захватит образец почерка. А если истинно перебежчик, служит нам, то агенты в Нидерландах, в Гамбурге, ловкие в операциях не токмо торговых, поберегут его и помогут исподволь, без шума.

— И здесь не шуметь об этом. Боже сохрани! Ты уж, матушка, с друзьями-то, за чарочкой не оброни! Чем черт не тешится, ну как шныряют тут оборотни, деньги оттоль имеет же кто-то. Я англичан сквозь ситечко, тихонько... И Девьеру велю, ты положись на него. По-тихому надо, не спугнуть чтобы...

Частил, не давая и слово вставить, непроницаемую воздвигал оборону. Заметил на губах самодержицы улыбку, кажись, благодарности.

Был у монархов обычай карать гонца, приносящего дуряые вести, да и теперь он как незваный гость, конфузится, о награде не помышляет. Жалобы Данилыча к царице, давние, неутоленные, сегодня забыты. Меньше всего мог бы рассчитывать...

— Эй, Александр!

Он уже прощался. Увидел лицо смеющееся, блеск в глазах.

— Твой слуга, матушка!

— Подожди!

Встала, подошла к комоду, нетерпеливо защелкала ящичками, обитыми медью, порылась в одном, извлекла некую грамотку, потом в красный угол, где под иконой Троицы, на китайском расписном стольце козлоногий фавн обнимал амфору-чернильницу. Начертала нечто державной своей рукой, обернулась, лукаао сузила глаза.

— На!

Он обомлел, узнав собственное свое прошение, врученное три недели назад.

«Уповаю, что Ваше Величество по превысокой своей материнской милости в день тезоименитства саоего меня обрадовать изволит»...

Уничтожены проклятые счета. Зачеркнут долг казне, начисленный ревизорáми. Смыто позорное клеймо вора, лихоимца, расхитители казны, смыто, смыто! Подавятся недруги, завистники.

Царица ждала благодарности и уже брови сводила, черная мушка, налепленная над переносицей, тонула в складке. На колени пасть, лобызать ноги? Ишь, гордится собой! Акт милосердия совершила, будто он помилованный преступник...

— Служу тебе, матушка.

Отвесил поклон и адье, в Сенат. Сунуть под нос Пашке... Пустился почти бегом, через залу, гостиные, только окна мелькали, летел, размахивая листком аоинственно, служитель у двери отпрянул, закрыв лицо.

— По высочайшему указу...

Выговорил, задыхаясь от радости и от спешки, в пространство, в свечное марево. Канцеляристы вскочили. Данилыч проследовал дальше, к сенаторам. Наперво — сунуть под нос Пашке... Эх, нет его! Данилыч потряс запертую дверь, выбранилси. Из каморы напротив вышел Голицын.

— Ты это, князь?

— Поздравь, Дмитрий Михайлыч!

— Зайди!

Обдало табачным духом. Балуется боярин, привез с Украины трубку с длинным чубуком, зелье забористое, турецкое. Не стесняется Дмитрия Солунского, святого патрона — суров его лик в проеме золотого оклада. Икона фамильная, из московских хором, так же, как и стариняые сундуки, ларцы, коими заставлен кабинет. Железная оковка, тяжелые замки — по-дедовски хранит боярин коришпонденцию, шкафам не довериет.

Читает, поматывая головой, водит глазами близоруко. Кисло ему, небось.

Никогда не ссорился с ним Данилыч открыто. Чувствует — близко к тому. Вот прорвется боярская неприязнь...

— Поздравляю, Александр Данилыч. Славно, славно!

Хитрит старик...

— Рад душевно, книзюшка...

Руки развел, словно обнять вознамерился. Глаза раскрыты широко, искренне, лукавства, коли верить, нет и не было.

— Если душевно...

— А как же! Хорошо аедь... Угоден ты, стало быть. Раз угоден, послушает тебя. Вот куда гнет...

— Послушает, батюшка...

Просеменил к столу, заваленному писаниной, книгами, захлопотал, разрыаая залежи.

— Глянь-кось!

Покосился на дверь, защипнул пачку счетов. Жирные печати, герб города Данцига.

— Платим, батюшка Александр Данилыч... Купцу Бреннеру шестнадцать тысяч... Купцу Кокошке... Вот, за устрицы для государыни... Сама-то она не больно... Голштинцы глотают слизняков этих. Платим, платим... Вияом залились, сотни тысяч просажено, а солдатам в Персии сухарь снится... Сам знаешь... Гладом морим, скоро ружья не снесут.

— Знаю, — вздохнул князь. — Бедствует армия, без пользы там.

— Говорил царице? Не тебя, князь, так кого послушает?

— Герцог есть.

— Нам под герцогом быть?

— Зачем ты так? — ответил Данилыч с резкостью. — Я-то не молчу. Другяе молчат.

Голицын сел, поник седой головой.

— Все мы врозь. Татары отчего Русь полонили? Согласья не было между князьями. И ныне — где оно, согласье? Немцев ругаем, а сами-то... Зависть и злоба. Забыли, что мы русские. Может, нам Голштиния дороже? Чем кичимся? Кафтаном из Парижа, берлинской каретой...

— Ты-то что присоветуешь?

— То и советую — русским вместе быть. Свары какие между нами — похоронить. Мне бы потолковать с тобой...

О чем? Прервалась беседа, вошел секретарь с ворохом свежей почты.

— Вишь, карусель у меня? Княгиня здорова? Варварушка? Кланяйся им.

Встреча запала в память. Речь боярина яеобычна, подбивает на что-то. В сенатстких дебатах, касаемо Персии, иностранцеа, финансов, он нет-нет, да и кинет словцо в поддержку, острое, меткое. Часто ратовали заодно. Минутные были альянсы. Теперь, сдается, нечто большее предложить имеет родовитый Голицын безродному Алексашке. Вожак царевичевой партии...

Милость царицы произвела перемену. Выше цена Алексашке. Ждал бы счастья, кабы не итальянец... Неисповедима судьба, криаыми бредет путями, не ведает человек, где найдет, где потернет.

Удружил сей Инкогяито...

Лини напомнил о себе.

«Получил из Англии письма и спешу Вашей светлости доложить, что негодяи совещаются с министрами и другими влиятельяыми людьми, а том числе с герцогом Ньюкастла, важным побудителем злодейского замысла».

Наконец указано имя, зто внушает доверие. С долгами разделаться не удалось, нужяы позарез еще четыреста пистолей, Брюссель безбожно опустошает кошелек. В конце послаяия раздражающе лакояично: «Шеф заговора имеет секретную корреспонденцию с Россией».

Первого февраля Екатерияа дозволила танцы и сама открыла бал, в паре с Ягужинским, сменив меланхолический лиловый бархат на ярко-малиновый. Завершив менуэт, отплясали польский, притомили ее лишь трудные коленца и прыжки новомодяого английского. До утра играла музыка в Зимнем.

В ту же ночь колодник Иван Посошков, протомившийся а тюремной яеволе полгода, скончался.

Вины за ним не сыскалось, просить за него Данилыч не собрался — своеволие небывалое вселилось в императрицу. Час и два ждет аудиенции, мимо с победным видом шествует в ее спальню герцог, а иной раз и Пашка. Обидяо было и портниху пропускать вперед — не терпелось, вишь, матушке примерить амазонский убор, сшитый по последним французским правилам, удобный для езды верхом.

— Ох, бабье царство!

Всякий день слышат эту жалобу Дарья и Варвара. Откровенно делится кяязь и с Гороховым.

— Кому служим? Царице или голштинцу? Солдатам, чай, тошно глядеть на него.

— Тошно, батя. Спрашиaают меня — что же наш фельдмаршал? Боится герцога? Гвардия яедовольна, не хочет быть под немцами, хочет русских офицеров.

— Убавил я немцев, сколько мог. Говори с гвардией, Горошек! Скажи — стараетси фельдмаршал.

— На теби надежда, батя. Голштинцы осатанели. Кто «ура» кричит авместо «виват», тому хрясь в морду и пишут, чтобы на Ладогу...

— Знаю, знаю...

— Хуже каторги канал этот.

— Гвардейцев не отпущу.

Феофан Прокопович уже готовит вирши. Впервые штилем высоким, наравне с подвигами Геракла, будет воспето рытье тяжелой северной землицы — где вязкой, где топкой.

Где Петрополю вредил проезд водный,
Плодоносные суда пожирая,
Там царским делом стал канал бесплодный,
Приносяи пользы, а вред отвращая...

Но еще осенью возник спор в Сенате — Миних потребовал пятнадцать тысяч солдат, нужда срочная, иначе берега свежевырытого русла начнут осыпаться. Светлейший восстал, взывая к милосердию,— погибают люди на работах, ни житья там сносного, ни одежды теплой, интенданты растаскивают продовольствие, а Миних, пожалованный неведомо за что в генерал-лейтенанты, мирволит им, держит копальщиков на пище святого Антония. Лягушками, что ли, приучает питаться? Но откуда подмогу взять? Мужиков из ближайших уездов предовольно отряжено, куда же еще? Скоро пахать некому будет. Так, уступаи Миниху, рассуждал и Ягужинский, Апраксин и к вящему огорченью Толстой — прежде во всем единомышленник.

Кто более достоин жалости — крестьянин или солдат? Различать их нелепо, доказывал князь и повторял свою максиму — они яко братья, плоть едина. Решает интерес государственный. Время нынче тревожное, армию отрывать от учений, от караулов не след. И тут, злясь на неверного Толстого, распалился светлейший.

— Ни одного солдата... Запрещаю... Августейшим именем...

Сходило же с рук, словно броней прикрывалси Данилыч сим охранным паролем. Вышла осечка. Миних излил негодование герцогу, тот поспешил к царице, и князя постиг конфуз.

— Эй, Александр!

Как бичом хлестнула. Разве докладывал? Ведать не ведала... Что возомнил о себе? Монаршее имя присвоил, наглый обманщик, узурпатор. Пробирала долго, въедливо, Данилыч краснел и бледнел. Пытался обратить гнев государыни против Миниха — нерадив-де, плохо строит канал, губит работных. Взялся ехать, ревизовать. Царица кивнула, усмешка недобрая играла на ее губах.

— Поедешь... С Павлом поедешь.

Сущее было наказанье трястись бок о бок в кибитке, в ростепель, по ухабам, по лужам, шлепать по грязи, блюсти афабилитэ — сиречь приветливость, которую французы предписывают благородным кавалерам. Спали на соломе, хлебали щи из прогорклой серой капусты, арестовали полдюжины интендантов, но сместить Миниха князю не удалось, инженер он умелый, увы, не придерешься! Копальщиков, плотников действительно не хватает — дело ведь святое, царское, с великим поспешанием начато.

Пришлось дать Миниху пополнение — из деревень и из полков. Правда, урезав просимую цифру... А канал, сдается, глотает людей. Миних, вишь, долг за фельдмаршалом числит. Еще и еще солдат... Данилыч противится, он и без услуг адъютанта сознает опасность. Военные, особливо гвардейцы — важнейшая его опора, утратить ее смерти подобно.

Гибельно и для владычицы... Но ее будто зельем одурманили. Ускользает из рук... Пиявкой всосался Миних, дружок голштинца, тянет и тянет солдат.

В «повседневной записке» запечатлелись строки, продиктованные князем с горечью: «Его светлость приказал отправить 500 драгун на Ладожский канал и Московский гарнизонный полк и чтобы в других гарнизонных полках добрать рекрутов».

Бродит по Петербургу слух — вельможи задумали царицу устранить и возвести на престол малолетнего царевича. Армия украинская, которой командует Голицын, двинется к столице и всякое сопротивление подавит.

Шепчутся горожане:

— Губернатору, поди, не сдобровать.

— Петля давно свита.

— Зарятся на хоромы-то... Да он-то не сунет башку. Отобьется, чай!

— Брат на брата? Упаси, Господь!

— Знать, последние времена. Речено же в писании...

— Нет государя, и царство рушится.

— Эх, где наша не пропадала!

Брякнешь громко — раскаешься. За то лишь побьют, что собственное суждение имеешь. Прежде не было такой строгости. Полицейская рать удвоена, да еще доносчиков наплодил Девьер, всюду шныряют. Губернатору сообщает с разбором, в тонкое решето просеет уловленное, прежде чем пойдет к ненавистному шурину. У полицмейстера своя политика. Сам посещает тайком некоторые дома, где пьют за царевича, ругают Меншикова.

Князю сии осиные гнезда известны наперечет. Адъютанты наблюдают, имена недругов записаны, светлейший пробегает реестры, оценивает, сколь опасен тот или иной сановник. До головной боли, до удушья злят изменники. Бутурлин был надежен, теперь якшается с Долгоруковыми; Толстой, Апраксин сомнительны, льнут то к герцогу, то к приспешникам царевича.

Светлейший теряет друзей. Если бы заглянул в донесения дипломатов, прочел бы, в Европе уже известно — баловень судьбы вот-вот останется в одиночестве. Он и сам должен был заметить — некоторые сановники сговаривались не ходить в Сенат, придавленный пятой Меншикова.

Озадачил Голицын.

Православным-то соединиться бы... Эти слова, произнесенные в счастливый для Данилыча час прощения долга, породили некое щемящее ожидание. Похоже, Голицын, заклятый враг, предлагает аккорд, переломил в нутре презрение к Алексашке-пирожнику, который к тому же носил пятно казнокрада.

Горошек сказывал — у княгини Волконской, в злейшем из осиных гнезд, Голицын не бывает. Зваа неоднократно... О светлейшем отзывается с недавних пор уважительно, хотя и с досадой — мало на Руси таких острых талантов.

Приглашенный отобедать, Дмитрий Михайлович восхищался серебряным нарядным сервизом английской работы — превосходный у хозяина вкус — и кстати посетовал на быстротекущее время. Сколько лет не встречались вот так, у домашнего очага! Сокрушались вежливо оба. Хвалил боярин и яства, поданные на редкостной посуде — французский паштет из гусиной печенки, кабанье жаркое по-немецки, баранье седло по-польски, кулебяку на восемь углов, чесночный суп, ободряющий отяжелевших,— но ел понемножку, воробьиными порциями, пил еще скромнее и за обедом намерения свои не открыл. Попивая кофе с ликером в предспальне, одобрял, поворачивая чашку на свет, японских художников, потом вздохнул. Ценим чужое, платим втридорога, а свои-то искусники в небрежении, в нищете.

И в Ореховой комнате гость испытывал терпение князя, располагаясь в кресле, поправляя подушки.

— Уф! Пир Лукулла... Слыхать, Рабутин скоро пожалует.

Обронил как бы вскользь, но глаза цепкие — дай понять, что мыслишь, событие ведь немаловажное! Рабутин, полномочный посол императора Карла, в кои-то веки...

— Скоро пожалует,— кивнул князь, желая прекратить топтание на месте.

Царский лик над ними, в скупом мерцаньи зимнего дня. Юный лик, беспечальный.

— Я вот думаю, Александр... Отчего государь замкнул свои уста... На смертном одре... В здравом рассудке будучи столь долго, не назвал избранника. Отчего?

— Имеешь догадку?

— Напало мне... Тебе-то виднее, может... Он нам волю давал.

Вмиг возникло, вспыхнуло — огнями свечей в зале дворца, сталью штыков за окнами, той январской ночью. Ответил Данилыч сухо, почти неприязненно.

— Мы и взяли.

— Ты взял, батюшка,— промолвил Голицын тихо, незлобиво, ласково даже, чем и обезоружил.— Ты с войском... Я не в обиду тебе, я вот о чем — взял, так с тебя и спрос.

— Что ж, Дмитрий Михайлыч... Спрашивай!

Сказал так же неторопливо, сжимая волнение, ибо впервые столь явственно, устами самого Голицына, вражеский стан признал его силу.

Род Голицыных, происходящий от литовского владыки Гедимина, по знатности второй, за рюриковичами. Хоромы в Москве благолепны, высоки — шапку уронишь, залюбовавшись. Помнят соседи родительницу Димитрия — хлебосольную, ласковую насмешницу.

Будь ты хоть скуп,
Хоть глуп —
Проживешь на Тверской,
Свезут на Донской.

Побуждала детей задуматься: боярские терема, отгороженные от толпы, от времени дубовым тыном, усыпальница в Донском монастыре — в этом ли гордость фамилии?

Примером для Димитрия был дядя его — Василий, собиратель книг и раритетов, военачальник, ближний боярин царя Федора, затем фаворит Софьи, обнаживший меч за нее. Петр лишил его чинов, именья, сослал в Архангельск, на всех Голицыных пала тень. Лязгали ножницы царя, отсекая боярские бороды, грохались оземь церковные колокола — царь переливал их на пушки, дворян забирал в солдаты, заставлял учиться или служить. Раскольники проклинали антихриста, оскорбленная знать — сатрапа, подобного Нерону. Лопухины — родня заточенной царицы Евдокии — замыкались в теремах, надеясь переждать лихолетье, а при удобном случае поднять бунт.

Димитрий бороду срезал сам, избежал униженья. Обиженный на деспота, почел доблестью служить реформатору. В Венеции прилежно поглощал математику, астрономию, навигацию. Усердие братьев Голицыных смягчило Петра — Михаил стал полководцем, Димитрий — губернатором на Украине и должностью своей, вдали от столицы, не тяготился. В Киеве процветало зодчество, книгопечатание, светская поэзия на родном языке, на польском, на латинском. Западные веяния врывались в этот город, и губернатор впитывал, сохраняя ум независимый. Приохотился к диспутам.

Занятно было раззадорить Феофана Прокоповича — рясу рвал на себе пламенный иерей, твердя, что Библию надо понимать буквально, как летопись. Димитрий, следуя совету новых философов, сомневался.

Скупал книги, штудировал жадно. Теперь, в родовом подмосковном селе Архангельском, куда наезжает летом из Петербурга, шесть тысяч томов на чужестороннх наречиях и переведенных на славянороссийский. Изрядная библиотека и в столице — тут авторы избранные, смельчаки, осужденные церковью, королями. Декарт, Эразм Роттердамский... Только что вышел из типографии труд Пуффендорфа «О должности человека и гражданина»:

«...Кто требует, дабы ему послужили, а сам всегда от того свободен быти желает, таковой других за неравных имеет».

Ученый немец исповедует равенство всех перед законом, порицает рабство, насилие. Первые десять глав просмотрены Петром лично, Екатерина исполнила волю его, повелев докончить и опубликовать.

— Небывалый монарх,— говорит Димитрий.— Ломал гисторию, вперед вырывался.

Феофан соглашается — да, единственный. Абсолютная власть его преобразила Россию. Годится ли нам иной образ правления? Протопоп клокочет, вскидывает бороду цыганской черноты.

— Силой, силой надо вытаскивать из варварства. Парламенты — для Европы.

Печальный вывод. Обречены, стало быть... Но ведь Петр сам пробуждал мысли греховные. Что Пуффендорф! «Беседы» Эразма Роттердамского, злого обличителя тиранов, дал читать русским, торопил печатание.

— Небывалый самодержец. Равный ему не рожден и едва ли появится. Как дальше жить?

Феофана спрашивать бесполезно — уперся. Голицын подружился с Василием Татищевым, молодым советником Берг-коллегии. Пройдут годы, он прославится своей «Историей Российской», а покамест делает заметки на философические и прочие темы, складывает в ларец с секретным замком.

«Умному нет дела до веры другого». «Зло не от грехопадения Адама и Евы, а от повреждения природы человека. Ему нужнее всего, по естеству его — воля». «Лишение воли человек терпеть не должен». Опасные максимы, особенно в пору правления Екатерины и Меншикова, под полицейским оком Девьера. Скажут — призыв к восстанию.

Из той же тетради проистечет «Разговор двух приятелей о пользе наук», вполне благопристойный. Разговоры, беседы — это потребность времени и частая манера изложения. Редкая удача — найти собеседника в гуще самодовольных.

— Будущее России,— говорит Татищев,— зависит от того, какой статус наш мужик обретет.

Знаток экономии, куратор горных заводов Урала, он убежден в преимуществах труда вольнонаемного. Рабский же невыгоден и портит нравы.

— Крепостью мужик привязан к тебе,— возражает Голицын.— Порушь ее, уйдет от тебя за Дон, там земли непаханые.

Обоих пугает картина разоренья, брошенных полей, конечного обнищанья. И сейчас-то нехватка рук на пашне... А купец, заводчик скованы несвободой крестьянства. Оно — позор для державы, обуза, но отменить срок не приспел. Продолжать реформы, добиваться всеобщей пользы, жестоких, грубых врачевать мудрыми законами, светом знания.

— Письменность уже сама способствует добру,— полагает Татищев.— Набери управителей из неграмотных, слуг из дураков, развалится именье.

Голицына радуют машины, закупленные Василием в Швеции. Да, невеждам их не доверишь — изувечатся. Но разве одолеть нам все беды силами механическими? Шведы после войны Карла Двенадцатого самодержавие отвергли, вернулись к стародавним вольностям — каковы же порядки там?

— Король безгласен. Слушается риксдага, словечка поперек не смеет молвить. Известно, что голштинцу враждебен, склонен к Англии.

— Кто решает?

— Секретный комитет есть в риксдаге, в палате шляхетской. Крестьяне, посадские жалуются.

Петр любопытен был к шведскому устройству, но заимствовал лишь табель о рангах, с лихвой, на четырнадцать классов разбил чиновничество. А парламент тамошний нам? С мужиками? Странно вообразить. С купцами нашими? Дремучи же, пером едва карябают, косноязычны, дегтем воняют. Претит Голицыну такое зрелище. Англия тоже не указ, палата общин из простолюдинов, но они, если с нашей чернью сравнить, небось магистры. Палату лордов завести у нас — и то трудно. Выборы по всей державе, вплоть до Камчатки... Канители-то! Прикидывает Голицын, то апробируя умозрительно, то вскипая протестом, и чужеземные затем отодвигает. Были же у российских царей ближние бояре... Правда, нелепо бранились из-за мест, в тяжбах о знатности рода упускали дело. Гомонили нестройно... Больше, больше престижа надобно дать вельможеству.

Татищев сочувствует, но колеблется. Воспитанный в лучах славы Петра, под гром его побед, в неистовстве созидания, советник опасается безначалия, упадка. В Польше вон, в сейме, благородные лаются, дерутся.

В итоге старший, неся фамильные обиды, синяки от дубинки Петра, пошел дальше младшего — очарованного царского питомца. Вознамерился умалить священное самодержавство — пусть пока совещательно, малым числом сановных персон.

Стемнело в Ореховой, лакей внес свечи и, пока он топтался, Голицын молчал, шевеля бледными губами, сутулясь опасливо. «Конспиратор, захваченный врасплох»,— подумалось Данилычу. Видел боярина с такой миной в январе, возле смертной постели государя.

— Рабутин пункты привезет,— заговорил гость.— Трактат с цесарем... Добро пожаловать, подпишем... Только царица наша, боюсь я... Герцог — что солнце в небеси. Цесарю не жалко — бери Шлезвиг! А нам-то на кой он ляд сдался — Шлезвиг?

— Как это, на кой!

Прямой расчет нам усилить герцога, яко союзника, вассала России, лишь бы пребывал в сем качестве. Ослабить Данию, чтобы наши корабли проходили Зундом беспошлинно, отнять у датчан ключ от морских ворот. Но к чему объяснять бесспорное? Достаточно будет напомнить...

— Великий государь завещал нам, Димитрий Михайлович. И история учит, не потеснишь — так у тебя кусок отхватят. Да хоть бы сиднем сидели — вынудят воевать. Нам бы годков пять мирного житья, а там...

Взмахнул рукой, словно шпагу в ней ощутил. Голицын зябко поежился.

— Веришь, царица мне — ах, экселенц, я скоро уйду к моему супругу. Хочу увидеть дочь королевой в Стокгольме. Ты старый, а ума не нажил, шведы рады герцогу, это Англия мешает. Я ей — помилуй, матушка, не одна Англия, нешто сладим сейчас. Зажала уши.

— И ко мне глуха,— признался светлейший, даже с нарочитым отчаяньем, ибо счел уместным прибедниться.

— Кого же послушает?

— Ягужинского разве...

Усмехнулся с лукавым вызовом — что, мол, скажешь про Пашку, чего он стоит, в каком стане числишь его?

— Полно тебе... Куда делся молодец! При государе какой сокол был, а? Сенат немощен, только бумаги плодит, что с него проку? Людишки-то мелкие.

Прорвалось боярское... В другой раз Данилыч заступился бы за мелкопоместных людишек. Не до того... Новый рубеж бытия своего одолевает Александр Данилович и мог бы в сей момент возблагодарить Фортуну. Снова удача! Согнул Абессалом гордую выю...

— Больших туда?

— Зачем? Больших не надо туда. Больших-то повыше...

Абессалом... согнул... Поговорка, дремавшая в памяти с детства, поговорка деда всплыла внезапно. Согнул выю супостат, подмоги просит, сам не в силах совершить давно задуманное. Ох, ярился в ту январскую ночь!

— Государь дал нам волю, да поздно, с последним дыханьем... У нас она выколочена, воля... Воля на пьянство, на непотребство — это есть... Пакости чинить... Молодых царица не допустит, да и мало толковых-то...

Голос Голицына дребезжал ровно, невозмутимо, а перед Данилычем крутилось — перекошенные, злые лица в ту ночь, барабаны за окнами и те же лица, понурые, как у пленных.

Отмел видении. Смерил гостя взглядом, произнес чуть свысока, с усмешкой:

— Боярская дума, значит?

— Как хошь назови. В печь не ставь только... Так по-нашему... А хошь,— добродушно лился московский говорок,— совет высших персон. Чинов первого ранга у подножия престола Ея Величества.

Досказал громче, резче, подобрался весь, шутливость исчезла.

— У подножия,— отозвался князь.— Если изволит... Ты замолвил ей?

— Остерегаюсь... Мне-то не след, сам знаешь.

— Мне, стало быть?

Досаду изобразил, раздражение, а внутри испытывал благодарность к боярину. Заикнулся бы он царице — прогнала бы. Согласилась бы — тоже худо, чересчур вознесло бы Голицына. Остерегся, правильно поступил. Предоставил ему — первому вельможе — быть ходатаем по столь важному делу.

— Кому же, батюшка?

— Ладно, мне страдать за вас. Она герцога нам навяжет, вот ведь горе... Как без него?

— Никак. Потерпим уж...

— Тебя назову ей. С Долгоруковым ты не сядешь.

— Я-то сяду. Он остервенел.

— И что вы не поделили,— засмеялся светлейший.— Ссорятся из-за гребня два плешивых.

Преисполнившись чувством превосходства, позволил себе издевку. И пуще ликовал, когда старик виновато потупился.

— Воистину из-за гребня.

Отчего так покладист? На что рассчитывает? Доверил хлопоты, волей-неволей, так велик ли авантаж для него, для его друзей? Данилыч пытался прочесть некий подвох в глазах, раскрытых откровенно, в письменах морщин, высеченных годами. А ведь не больно стар, шесть десятков всего... Смиренье елейное, посох стучащий... Актерство,— подозревает Данилыч. Многое в Голицыне ему непонятно. Штудирует иностранные законы, умаляющие самодержавие и вздыхает о прошлом — деды, мол, не глупее нас были. Хитер, ох, хитер, ловко прячет свое хотенье!

В чем оно состоит — светлейший не сомневался. Иного мотива не чует, не разумеет, как жажда власти. У него она неотрывна от нужд государства, у любого другого своекорыстна. Видит Неразлучный, хранит камрата в сей юдоли земной.

Было пятое февраля. Два часа совещались хозяин и гость. Секретарь занес в «Повседневную записку» аккуратно, не ведая, сколь значительно происходящее в Ореховой. 7-го его светлость уехал в Сенат, 8-го — на консилиум к Ея Величеству. Всю первую неделю месяца он провел в состоянии горячечном и на расспросы домашних, крайне утомленный, отвечал кратко:

— Конец Пашке.

Ну не диво ли! Фортуна сама навстречу, что ни просишь — исполнит. Пашка вчера напился, в спальне царицы упал, разбил любимую ее кружку и статс-даме, поднимавшей его, порвал платье. Разгневанная владычица согласилась сразу — да, бездельник он, да, распустил сенатских.

— А тебе докука,— вставил князь.

Да, ничего не смыслят, лезут с пустяками. Названье одно, что правительствующий Сенат. Голова болит от них.

— Замучают тебя,— вздохнул Данилыч.— Есть прожект, матушка. Для облегченья твоего, для спокойствия...

Поток бумаг — в тонкое ситечко, на высочайшую резолюцию — лишь важнейшее. Просевать Ее Величество поручит достойным персонам, из коих составится тайный совет. Она, естественно, оного президент.

— Подобное имеют шведы... Голицын говорит, секретный комитет у них, из больших вельмож.

Тень неудовольствия набежала на лицо Екатерины при этом имени. Да, шведы имеют.

— Спроси герцога! — изрекла она.— Герцог лучше знает.

Мило ей шведское. Заявила ведь однажды — счастлива быть тещей того, чьей подданной могла бы быть. Вишь, надоумил ее зятек! С какой целью — догадаться просто. Зять — не должность, все же...

— Уповаем,— произнес Данилыч торжественно,— Его королевское Высочество окажет нам честь. Просим его покорно принять бремя...

Затем, с улыбкой:

— И ты, матушка, проси! А то неловко же перед Швецией, перед Европой. Особа такого ранга без места болтается... без места у нас.

— Эй, хитрый ты человек, Александр,— сказала царица.— Хитрый, хитрый, хитрый.— И мягко потрепала за ухо.

День не кончился, как весь дворец взбудоражила новость — образован Верховный тайный совет. Сенат, коллегии докладывают только ему, только его мнение будет выслушивать императрица. Указы подпишет только обсужденные советом. Членов, под высочайшей эгидой, семь — Меншиков, Карл Фридрих, Головкин, Остерман, Апраксин, Толстой, Голицын. Ягужинский, слышно, в отчаянии, опять выпил, рвался к Ее Величеству, его не впустили. Наутро узнали дипломаты.

Чуткий Кампредон еще раньше уловил некие движения умов в придворных сферах, силился определить, куда же дует политический ветер в России. Несомненно, униженные царем вельможи выпрямляются, мечтают ограничить самодержавие.

«Тогда они уничтожат невыносимую власть князя Меншикова, возвратят себе прежнюю свободу и установят форму правления подобно существующей в Швеции или по крайней мере в Англии».

Чья откровенность дала повод французу, неизвестно. Потомок будет гадать. Или Кампредон, трезвый наблюдатель, увлекся желаемым? На него непохоже... Очень скоро он обнаружил, что вольнодумцев мало, преобладают весьма умеренные. Верховный тайный совет, это всего лишь «...первый камень того здания, которое русские вельможи замыслили воздвигнуть незаметно, то есть усиление их власти и их настоящего и будущего непременного участия в управлении делами здешней страны».

Скинут ли Меншикова?

— Будь он заурядным парвеню, след его давно бы стерся. О, он еще покажет себя!

Собираясь покинуть Россию, посол наставляет Маньяна, своего помощника. Все отзывы о принце — лишь часть правды. Его спасают штыки гвардейцев? Нет, не только... Он нужен друзьям, нужен и противникам.

— Балагур, болтун, сегодня скажет одно, завтра обратное, умаслит, наобещает... И вытянет из вас подноготное. А в итоге... Кто удерживает в равновесии все кланы, партии, самолюбия?

Если принц утратит власть над царицей, война неизбежна, мы на пороге ее. Екатерина и герцог подчинят робких, подобострастных вельмож, привыкших пресмыкаться. Увы, заседания Совета закрыты для Кампредона, но присутствовать можно и заочно.

Париж запрашивает.

Речь царицы на открытии — общие, любезные фразы. В зале было холодно, она почувствовала себя неуютно в парадном одеянии, пришлось спрятать женские прелести под горностаевым мехом, и настроение понизилось еще более. Ушла, не дождавшись конца словопрений, следующее собрание манкировала, и вообще опекать сей зародыш русского парламента ей скучно. Карл Фридрих без нее — пешка. Рассеянно слушает переводчика — молодого Долгорукова, борется с зевотой. Оживляется, когда раздается слово «армия». Заботит вельмож та, что изнывает в Персии. Меншиков настаивает — увести несчастных солдат, прекратить авантюру.

Между тем, вышло секретное распоряжение о новом наборе рекрут. Датский посол Вестфален опять впадает в истерику. Дания бедна, ей не на что нанимать агентов — Кампредон вынужден делиться новостями с союзником.

— Нападут внезапно,— пророчит датчанин.— Галеры... Сотни галер...

Легкие суда, быстрые, гребные, наперекор любому ветру, через мелководье... Линейные корабли горят, рушатся, галеры выбрасывают десант, с пушками, с прусскими ружьями какого-то коварного образца.

— Меншиков потакает царице. Это злой дух, мсье. Армия в его руках, он сам говорит...

— И наслаждается эффектом,— засмеялся француз.— Мне известно пока одно ружье из Пруссии.

Соглядатаи сообщили — князь, приглашенный к царице обедать, захватил новинку, демонстрировал, монархиня изволила прицелиться, вместе разбирали замок. Понравилось, велела такие фузеи делать. Князь тут же добыл привилегию — отныне он по военным нуждам обращается к Ее Величеству прямо, минуя Верховный совет.

По сути, по общему признанию он верховодит в Тайном совете. К чему же приложит свою силу? Куда поведет Россию? Ответить дипломаты затрудняются. Настал март, бледный предвестник весны, по улицам столицы шагают новобранцы, казармы полнятся, полк за полком выступает на высочайший смотр.

Рад бы был губернатор изловить хоть одного английского агента. Увы, похвастаться нечем! Попадаются юроды, хмельные смутьяны, мелкота, о которой и говорить не стоит. Напомнил о себе кавалер Лини.

«Сие письмо такой важности, что надеюсь, Ваша светлость Ея Императорскому величеству объявит. Начальник той злой компании от коришпондента своего из России получил недавно письмо, в котором обязует его, чтоб для лучшего и безопасного исполнения намерения своего за некоторыми причинами пообождал даже до Рождества Христова. И чтоб я в будущем ноябре ехал в Гамбург, где сам с товарищами прибыть обещается и, соединившись со мною, ехать в Санкт-Петербург. Шефу той компании обещана из России довольная сумма денег, и он обещал мне шесть тысяч фунтов стерлингов».

— А просит у нас,— сказала царица, читая перевод. Усмехнулась при этом недобро.

— Просит, матушка.

«Только мне, светлейший князь, за долгами из Брюсселя отлучиться невозможно. Прошу прислать с верным человеком вексель, если Ея Величеству житье мило».

— Он оч-чень ловкий.

Выронила листок брезгливо. Данилыч кивал — ловчей некуда, плати ему, до Рождества корми. Доколе еще? Нашел кормушку... Да есть ли в цидулах хоть крупица правды? Вряд ли... Ловок, ловок... Обманывать — тоже талант нужен.

— Отпишу банкиру своему...

Сделать милость в последний раз. Выдав деньги, проследить за ним, выведать подробно, кто таков. Настоящее имя, точно ли дворянин, звание, подданство, не замешан ли в чем худом.

Нева очистилась, дохнула теплом. В покоях монарших — новые ружья, сработанные Сестрорецким заводом, башмаки, сшитые для пополнения. Пахнет смазкой, дегтем. Никаких дел, кроме военных, самодержица знать не хочет. Меншиков, Апраксин докладывали, что ни день. Луг едва подсох — повелела вывести преображенцев.

Гвардейцы натужно месили грязь. Светлейший был простужен, командовал, срывая голос. Выстроил полк в линию, побежал, забрызганный до пояса, рапортовать государыне. Стояла в открытом экипаже, подняв жезл, в одеянии необычном, почти мужском — треуголка с белым пером, офицерский галстук, кафтан с широкими обшлагами поверх жилета, юбка без обручей.

Столица увидела амазонку.

Губернатор и герцог в коляске беседуют мирно, были в гавани, смотрели старые суда, к плаванию не годные. Приказано рубить на дрова, для солдатских печей.

— Ея Величество тешит себя,— сказал князь по-немецки.— Не верит мне. Вы убедились. Будьте добры подтвердить!

Мало надежды на герцога, но тыкать носом следует. При нем начали разбирать галеру. Суда, окуренные порохом, строились поспешно и ныне пришли в ветхость. Все это надо внушать амазонке.

— Прохудился флот, матушка. В рубище мы, яко Лазарь. Обнищала Россия.

Трудно ей расстаться с грезами. Сердит ее Александр. Но изливает она больше досаду, чем ярость, больше жалоб, чем попреков.

— Не пойдем мы ныне,— твердит он.— Отбиться сможем, а в атаку лезть... Позор примем.

О том и Апраксин толкует ей, да боязливо. Валится в ноги, лебезит, а напьется — рыдает, кается. Всюду прорехи — недобор провианта, снарядов, вдруг обнаруженная на судне течь, болезнь командира. Хнычет адмирал, бичует себя.

— Руби мне голову, руби!

Ответила:

— Думаешь, пожалею? Котел дурости это — твоя башка.

Уймется амазонка?

— С галерами, матушка, да за Кронштадтом мы как у Христа за пазухой,— втолковывает светлейший.

Для защиты потребны галеры. Вот и Остерман твердит ей — бросать вызов западным королям, не имея союзников — безумие. Швеция для нас потеряна окончательно, посол ее отозван, даже разговаривать не желают с нами. Весь Верховный тайный совет отвергает «морскую прогулку» — план наступления. Герцог — и тот не возразил, ума хватило.

15 мая разведрилось, потеплело резко. Екатерина «гуляла по Неве на яхте и весь невский флот гулял». Была на спуске галер. «Повседневная записка», отразившая совместные ее хлопоты с князем, добавляет: «повелела на новую батарею в Кронштадте поставить 80 пушек, сняв с кораблей». Ослабленные, они обречены летовать на якоре.

Стало быть — оборона.

Смирилась царица. Князь утешает — второй Гангут состоится, только не в дальних водах, а в ближних, на подступах к столице.

— Жди, матушка, пожалуют... Помяни мое слово! Отправил Георг эскадру, это как пить дать!

Тут и конец супостату.

19 мая царица приехала к светлейшему, «забавлялась в саду», в лабиринте, уже покрытом молодой листвой, любовалась статуями, купленными в Италии. В зверинце изволила кормить через решетку шакалов, диких кошек, бычка горбатой породы — посылка персидская.

20 мая на Галерном дворе случился пожар, скоро потушенный. Ездила туда с князем. Весьма бранила российское небрежение.

21 мая оба на яхте гуляли.

В конце месяца оправдалось пророчество — прибыли депеши. Бестужев, посол в Дании, из окна мог видеть — англичане, стоявшие в Копенгагене, снялись, двинулись на восток. Сила немалая — двадцать кораблей, не считая подмоги датской. Шкиперы купецких судов заметили сих гостей недалеко от Риги, дали знать губернатору Репнину.

Сыны Альбиона побывали на Балтике пять лет назад, хотели помешать Ништадтскому миру — не решились. Что теперь замыслили?

— Ты, мать моя, у себя дома. Позиция вернейшая... В родном-то доме и кочерга стреляет.

Смеется царица. Умеет Александр ободрить, умеет, как никто. Карманы набиты конфетами, сладкоежка лезет по-свойски.

— Поехали, матушка! Бонбоньерки нам припасли.

29 мая спущено одиннадцать галер, столько же заложено. Больше, больше их надо! Особенно скампавей... Легчайшие, осадка около аршина — им нет препятствий в заливе, а большим кораблям пришельцев — ловушка. «Петербург неприступен»,— успокаивает Александр, и царица в полной надежде. Образ жизни ее неизменен — пированья, домашние и на яхте, на свадьбе у полковника гвардии, у адмирала на корабле «Святая Екатерина», на форту Кроншлот, сотрясаемом салютами. Под звон бокалов — доклады военных.

— Ох, матушка, сопьюсь я с тобой!

Застолье — делам не помеха, так при царе водилось. В разгар плезиров ворвалось: англичане в Ревеле. Без выстрела ошвартовались, рядом с купцами, матросы в городе, сидят в кабаках. Адмирал передал письмо от короля Георга.

Заботясь о безопасности своей и союзников, о «сохранении всеобщей тишины на севере, угрожаемой военными приготовлениями Вашего Величества, признали необходимым отправить сильный флот на Балтийское море с целью предупреждения смуты и препятствия флоту Вашего Величества выходить из гаваней». Впрочем, король желает царице «явить опыт своей склонности к миру».

Екатерина возмутилась, также и члены Тайного совета, которые 31 мая обсудили письмо. Какова наглость! А пушек наших боятся, к Кронштадту не сунулись... Остерман составил ответ.

«Крайне удивлена, получив грамоту Вашего Величества не прежде появления Вашего флота...» «...отправление эскадры есть средство той злобы, которую некоторые Ваши министры против нас показывают». «Можете давать любые приказы, но мы не допустим себя воздерживать запрещением». Впрочем, несмотря на этот враждебный шаг, Россия готова поддерживать с Англией добрые отношения и свободную торговлю.

— Эй, Александр!

Всякий день, всякий час он нужен. Кто важнее президента Военной коллегии, фельдмаршала, когда пахнет порохом! Первая неделя июня — сумасшедшая, у себя он почти не ночует. Проверки, смотры, закладка укрепления в Ораниенбауме. А в столице строится флигель Зимнего — государыни новый дом, идет отделка кунсткамеры и академической библиотеки — везде изволь поспеть. Горячие дни, звездные дни Данилыча.

Дипломаты отмечают: «При дворе пьют только за здоровье императрицы и князя Меншикова», «Меншиков присвоил себе роль главы Тайного совета», «Меншиков так честолюбив, а влияние его у царицы и его богатство столь грандиозны, что он, пожалуй, может достичь успеха».

Последнее написано в конце июня, светлейший в это время был в дороге. Отряд драгун сопровождал карету, четверка лошадей бежала во весь опор. Очень многое зависело от успеха этого путешествия.

Окончание следует

Михаил
ЯСНОВ

◆◆◆

Листва облетает,
листва облетает,
в садах паутина кусты оплетает,
и сена сухого шуршащий прибой
лежит, шевелясь над уставшей землей.

Вчера еще громко аукал черничник —
сегодня преданьем он стал,
как язычник.
Всесильному ветру и роща, и пруд
поклоны, как богу единому, бьют.

Нам тоже пристрастья вчерашние
странны —
открыты коробки, скрипят чемоданы,
повсюду дорожный витает флюид:
бог сборов осенних над нами царит.

Листва облетает,
листва облетает,
прозрачное облако на́ небе тает,
и день за порогом пока просветлен,
но сердце сжимает идущий циклон.

Ты смотришь в себя, как юнец
желторотый,
еще неосознанной боли страшась,
представив на миг, что у сердца
с природой
осталась лишь эта последняя связь.

◆◆◆

В минуту жизни трудную,
когда на сердце грусть,
одну собачку чудную
выгуливать плетусь —
бредем, куда ни попадя,
в осиннике пустом,
помахивая походя
рукою и хвостом.

Лесного чернокнижия
поклонница навек,
моя молитва рыжая
замыслила побег:
во мху, густом и пористом,
пропала с головой —
но я небесным посвистом
зову ее домой.

Нет, мы не зря таращились,
пыхтя среди грибниц,
на пауков, на ящериц
и неприступных птиц,—
как маленькую заповедь
корней, ветвей и трав,
несем корзинку запахов,
пол-леса отмахав...

Отбросив иго радио,
газет и трепотни,
так много, друг Горацио,
такого в наши дни,
что лечится пологостью
тропинок и дорог
и всей четырехногостью,
разлегшейся у ног!

◆◆◆

К тридцати мы забываем науку,
которой нас обучали в детстве:
не хныкать, не ябедничать,
не трусить.
Чуть что заболит — начинаем охать,
на соседа показываем пальцем,
от зависти к чужим игрушкам
готовы их сломать, похитить.

К сорока нас обуревают страхи,
детские массовые психозы:
за каждым углом нас поджидает
зыбкая тень папаши Фрейда.
Инфантильная меркантильность
перелопачивает судьбы
в грезах о наследстве, о кладе.

К пятидесяти, когда начинает
медленно вымирать поколенье,
тянешь на себя одеяло,
примеривая к себе чужие
письма, поступки, порывы, болячки.
А в зеркале пальчиком грозится
поздняя наука детства.

Валентин
РЕЗНИК

◆◆◆

Как долго все это тянулось,
Как поздно все это пришло,
И спину согнула сутулость,
В морщины оделось чело.
Покуда судьба пролагала
Свои основные пути,
Душа и болеть-то устала
За все, что ждало впереди.

◆◆◆

Все заметано и схвачено,
Все исчерпано до дна,
И такой ценой оплачено,
Что неведома цена,
И такой метлой подчищено,
Выбито таким кнутом,
Что богатого и нищего
Отличаем мы с трудом.
Правого от виноватого,
Праведника от хлыста,
Аполлона от горбатого
И
Иуду от Христа.

◆◆◆

А что это было? Не знаю.
И знать ничего не хочу.
Я в старые игры играю
И там, где не надо, молчу.
Я сам себе мерзок и гадок,
И сам себе не по плечу,
И тем защищен от нападок,
Что там, где не надо,— кричу.
Но в сущности все остается
По-старому, и потому
Душа, как и раньше, трясется
От страха, в бездомном дому.

◆◆◆

Что с тобою сделали,
Родина моя!
Красные и белые,
В том числе и я —
С детства обездоленный,
Прущий на рожон,
Лозунгами сдобренный
Горе-гегемон.
Не моим ли именем
Правили верхи,
Благородным инеем
Серебря виски.
Не с моей ли помощью,
Как там ни крутись,
Августовской полночью
В Прагу ворвались.
Мне бы с диссидентами
Пробуждать народ,
Я ж аплодисментами
Затыкал им рот.
Пресекал их акции
Не жалея сил
И на демонстрации
За отгул ходил.

◆◆◆

За зеленым забором
И за красной звездой,
С комсомольским задором,
С большевистской уздой
Провели мы полвека,
Своих чувств не стыдясь,
Никакого побега
Совершить не стремясь.
Никакого исхода
Из родных палестин,
От сплошного народа,
Что могуч и един,
Что высокою целью,
Как чумой заражен,
И к древесному зелью
Чуть не весь приобщен...
Кто мы все? — Неумехи?
Погорельцы? Рвачи?
Не на наши ли крохи
Сладко пьют палачи,
И не мы ли ночами
На просторах страны
Вместе со стукачами
Видим светлые сны.

Хорхе Луис БОРХЕС

ДВА РАССКАЗА

УНДР

Мой долг — предупредить читателя, что он напрасно будет искать помещенный здесь эпизод в «Libellus» (1615) Адама Бременского, родившегося и умершего, как известно, в одиннадцатом веке. Лаппенберг обнаружил эту историю в одной из рукописей оксфордской библиотеки Бодли и счел, ввиду обилия второстепенных подробностей, более поздней вставкой, однако опубликовал, как представляющую известный интерес, в своей «Analecta Germanica» (Лейпциг, 1894). Непрофессиональное мнение скромного аргентинца мало что значит; пусть лучше читатель сам определит свое к ней отношение. Мой перевод на испанский, не будучи буквальным, вполне заслуживает доверия.

Адам Бременский пишет: «...Среди племен, которые обитают вблизи пустынных земель, расположенных на том краю моря, за степями, где пасутся дикие кони, наиболее примечательное — урны. Недостоверные и неправдоподобные рассказы торговцев, трудности пути и опасение быть ограбленным кочевниками — все это так и не позволило мне ступить на их землю. Однако мне известно, что их редкие, слабо защищенные поселения находятся в низовьях Вислы. В отличие от шведов, урны исповедуют истинную религию Христа, не замутненную ни арианством, ни кровавыми демонологическими культами, в которых берут начало королевские династии Англии и других северных народов. Они пастухи, лодочники, колдуны, оружейники и ткачи. Жестокие войны почти отучили их пахать землю. Жители степного края, они преуспели в верховой езде и стрельбе из лука. Все со временем начинают походить на своих врагов. Их копья длиннее наших, ибо принадлежат всадникам, а не пехотинцам.

Перо, чернила и пергамент, как и можно было предположить, им неведомы. Они вырезают свои буквы, подобно тому, как наши предки увековечивали руны, дарованные им Одином, после того как он в течение девяти ночей провисел на ясене; Один, принесенный в жертву Одину.

Эти общие сведения дополню содержанием моего разговора с исландцем Ульфом Сигурдарсоном, который слов на ветер не бросал. Мы встретились в Упсале, неподалеку от собора. Дрова догорели; сквозь щели и трещины в стене проникали стужа и заря. За дверями лежал снег, меченный хитрыми волками, которые разрывали на куски язычников, принесенных в жертву трем богам. Вначале, как принято среди клириков, мы говорили на латыни, но вскоре перешли на северный язык, который в ходу на всем пространстве от Ультима Туле до торговых перекрестков Азии. Этот человек сказал:

«— Я — *скальд*; едва я узнал, что поэзию урнов составляет одно-единственное слово, как тут же отправился в путь, ведущий к ней и к ее землям. Спустя год, не без труда и мытарств, я достиг своей цели. Была уже ночь; я заметил, что люди, встречавшиеся на моем пути, смотрели на меня с недоумением, а несколько брошенных камней меня задели. Я увидел в кузнице огонь и вошел.

Кузнец приютил меня на ночь. Звали его Орм. Его язык напоминал наш. Мы перемолвились несколькими словами. Из его уст я впервые услышал имя их царя — Гуннлауг. Мне стало известно, что с началом последней войны он не доверял чужеземцам и чаще всего распинал их. Дабы избежать участи, подходящей скорее Богу, чем человеку, я сочинил *драпу*, хвалебную песнь,

превозносящую победы, славу и милосердие царя. Едва я успел ее запомнить, как за мной пришли двое. Меч я отдать отказался, но позволил себя увести.

Были еще видны звезды, хотя брезжил рассвет. По обе стороны дороги тянулись лачуги. Мне рассказывали о пирамидах; на первой из площадей я увидел столб из желтого дерева. На вершине столба я различил изображение черной рыбы. Орм, который шел вместе с нами, сказал, что рыба — это Слово. На следующей площади я увидел красный столб с изображением круга. Орм повторил, что это — Слово. Я попросил, чтобы он мне его сказал. Он мне ответил, что простые ремесленники его не знают.

На третьей, последней площади я увидел черный столб с рисунком, который забыл. В глубине была длинная гладкая стена, краев которой я не видел. Позднее я узнал, что у нее было глиняное покрытие, только наружные ворота и что она опоясывала город. К изгороди были привязаны низкорослые, длинногривые лошади. Кузнецу войти не позволили. Внутри было много вооруженных людей; все они стояли. Гуннлауг, царь, был нездоров и возлежал на помосте, устланном верблюжьими шкурами. Вид у него был изможденный, цвет лица землистый — полузабытая святыня; старые длинные шрамы покрывали всю его грудь. Один из солдат провел меня сквозь толпу. Кто-то протянул арфу. Преклонив колени, я вполголоса пропел *драпу*. В ней в избытке были риторические фигуры, аллитерации, слова, произносимые с особым чувством,— все, что подобает жанру. Не знаю, понял ли ее царь, но он пожаловал мне серебряный перстень, который я храню поныне. Я заметил, что из-под подушки торчит конец кинжала. Справа от него была шахматная доска с доброй сотней клеток и несколькими, в беспорядке стоящими фигурами.

Стражник оттолкнул меня. Мое место занял человек, не преклонивший колен. Он перебирал струны, будто настраивая арфу, и вполголоса стал нараспев повторять одно слово, в смысл которого я пытался вникнуть и не вник. Кто-то благоговейно произнес: *Сегодня он не хочет ничего говорить*.

У многих на глазах я видел слезы. Голос певца то падал, то поднимался; он брал при этом монотонные, а точнее, бесконечно-тягучие аккорды. Мне захотелось, чтобы песня никогда не кончалась и была бы моей жизнью. Внезапно она прервалась. Раздался звук падающей арфы, которую певец, в полном изнеможении, уронил. Мы выходили в беспорядке. Я был одним из последних. Меня удивило, что уже смеркалось.

Я сделал несколько шагов. Кто-то опустил мне на плечо руку. Незнакомец сказал:

— Царский перстень будет твоим талисманом, однако ты скоро умрешь, ибо слышал Слово. Я, Бьярни Торкельсон, тебя спасу. Я — *скальд*. В своем дифирамбе ты кровь уподобил воде меча, а битву — битве людей. Мне вспоминается, что я слышал эти фигуры от отца моего отца. Мы оба с тобой поэты; я спасу тебя. Мы перестали описывать события, которым посвящены наши песни; мы выражаем их единственным словом, а именно — Словом.

Я ответил:

— Расслышать его я не смог. Прошу тебя, скажи мне его.

После некоторого колебания он произнес:

— Я поклялся держать его в тайне. К тому же никто ничему научить не может. Тебе придется искать его самому. Ускорим шаг, ибо жизни твоей угрожает опасность. Я спрячу тебя в моем доме, где искать тебя не посмеют. Завтра утром, если будет попутный ветер, ты отплывешь на Юг.

Так начались мои странствия, в которых прошло немало долгих лет. Я не стану описывать всех выпавших на мою долю злоключений. Я был гребцом, работорговцем, рабом, лесорубом, певцом, грабил караваны, определял местонахождение воды и металлов. Попав в плен, я год проработал на ртутном руднике, где у людей выпадают зубы. Бок о бок со шведами я сражался под стенами Микльгартра (Константинополя). На берегу Азова меня любила женщина, которую мне никогда не забыть; я оставил ее, или она оставила меня, это ведь одно и то же. Предавали меня, и предавал я. Не раз и не два я вынужден был убивать. Однажды греческий солдат вызвал меня на поединок и протянул мне на выбор два меча. Один из них был на целую ладонь длиннее другого. Я понял, что он хотел этим испугать меня и выбрал короткий. Он

спросил, почему. Я ответил, что расстояние от моего кулака до его сердца неизменно. На берегу Черного моря я высек руническую эпитафию моему другу, Лейфу Арнарсону. Я сражался с Синими Людьми Серкланда, сарацинами. Чего только не было со мной за это время, но вся эта круговерть казалась лишь долгим сном. Главным же было Слово. Порой я в нем разуверивался. Я убеждал себя, что неразумно отказываться от прекрасной игры прекрасными словами ради поисков одного единственного, истинность которого недоказуема. Однако доводы эти не помогали. Один миссионер предложил мне слово Бог, которое я отверг. Однажды, когда над какой-то рекой, впадавшей в море, вставало солнце, меня вдруг озарило.

Я вернулся на земли урнов и насилу нашел дом певца.

Я вошел и назвал себя. Стояла ночь. Торкельсон, не подымаясь с пола, попросил меня зажечь бронзовый светильник. Его лицо настолько одряхлело, что мне невольно подумалось, что стариком был уже и я. Согласно обычаю, я спросил о царе. Он ответил:

— Ныне его зовут не Гуннлауг. Теперь у него другое имя. Расскажи-ка мне о своих странствиях.

Я рассказал ему все по порядку, с многочисленными подробностями, которые опускаю. Он прервал мой рассказ вопросом:

— Часто ли ты в тех краях пел?

Меня удивил вопрос.

— Вначале,— ответил я,— пением я зарабатывал на хлеб. Затем необъяснимый страх мешал мне петь и прикасаться к арфе.

— Хорошо,— одобрительно кивнул он.— Можешь продолжать.

Я постарался ничего не забыть. Наступило долгое молчание.

— Что дала тебе первая женщина, которой ты обладал? — спросил он.

— Все,— ответил я.

— Мне также все дала моя жизнь. Всем жизнь дает все, но большинство об этом не знает. Мой голос устал, а пальцы ослабли, но ты послушай.

И он произнес слово „*Ундр*“, что означает „чудо“.

Меня захватило пение умирающего, в песне которого и в звуках арфы мне чудились мои невзгоды, рабыня, одарившая меня первой любовью, люди, которых я убил, студеные рассветы, заря над рекой, галеры. Взяв арфу, я пропел совсем другое слово.

— Хорошо,— сказал хозяин, и я придвинулся, чтобы лучше его слышать.— Ты меня понял».

РОЗА ПАРАЦЕЛЬСА

В лаборатории, расположенной в двух подвальных комнатах, Парацельс молил своего Бога, Бога вообще, Бога все равно какого, чтобы тот послал ему ученика. Смеркалось. Тусклый огонь камина отбрасывал смутные тени. Сил, чтобы подняться и зажечь железный светильник, не было. Парацельса сморила усталость, и он забыл о своей мольбе. Ночь уже стерла очертания запыленных колб и сосуда для перегонки, когда в дверь постучали. Полусонный хозяин встал, поднялся по высокой винтовой лестнице и отворил одну из створок. В дом вошел незнакомец. Он тоже был очень усталым. Парацельс указал ему на скамью; вошедший сел и стал ждать. Некоторое время они молчали.

Первым заговорил учитель.

— Мне знаком и восточный и западный тип лица,— не без гордости сказал он.— Но твой мне неизвестен. Кто ты и чего ждешь от меня?

— Мое имя не имеет значения,— ответил вошедший.— Три дня и три ночи я был в пути, прежде чем достиг твоего дома. Я хочу быть твоим учеником. Я взял с собой все, что у меня есть.

Он снял торбу и вытряхнул ее над столом. Монеты были золотые, и их было очень много. Он сделал это правой рукой. Парацельс отошел, чтобы зажечь светильник. Вернувшись, он увидел, что в левой руке незнакомца была роза. Роза его взволновала. Он сел поудобнее, скрестил пальцы и произнес:

— Ты надеешься, что я могу создать камень, способный превращать в золото все природные элементы, и предлагаешь мне золото. Но я ищу не золото, и если тебя интересует золото, ты никогда не будешь моим учеником.

— Золото меня не интересует,— ответил вошедший.— Эти монеты — всего лишь доказательство моей готовности работать. Я хочу, чтобы ты обучил меня науке. Я хочу рядом с тобой пройти путь, ведущий к Камню.

Парацельс медленно промолвил:

— Путь — это и есть Камень. Место, откуда идешь,— это и есть Камень. Если ты не понимаешь этих слов, то ты ничего пока не понимаешь. Каждый шаг является целью.

Вошедший смотрел на него с недоверием. Он отчетливо произнес:

— Значит, цель все-таки есть?

Парацельс засмеялся.

— Мои хулители, столь же многочисленные, сколь и недалекие, уверяют, что нет, и называют меня лжецом. У меня на этот счет иное мнение, однако допускаю, что я и в самом деле обольщаю себя иллюзиями. Мне известно лишь, что есть Дорога.

Наступила тишина, затем вошедший сказал:

— Я готов пройти ее вместе с тобой, если понадобится — положить на это годы. Позволь мне одолеть пустыню. Позволь мне хотя бы издали увидеть обетованную землю, если даже мне не суждено на нее ступить. Но прежде, чем отправиться в путь, дай мне одно доказательство своего мастерства.

— Когда? — с тревогой спросил Парацельс.

— Немедленно,— с неожиданной решимостью ответил ученик.

Вначале они говорили на латыни, теперь по-немецки.

— Говорят, ты можешь, вооружившись своей наукой, сжечь розу и затем возродить ее из пепла. Позволь мне быть свидетелем этого чуда. Вот о чем я тебя прошу, и я отдам тебе мою жизнь без остатка.

— Ты слишком доверчив,— сказал учитель.— Я не нуждаюсь в доверчивости. Мне нужна вера.

Вошедший стоял на своем.

— Именно потому, что я не доверчив, я и хочу увидеть воочию исчезновение и возвращение розы к жизни.

Парацельс взял ее и, разговаривая, играл ею.

— Ты доверчив,— повторил он.— Ты утверждаешь, что я могу уничтожить ее?

— Каждый может ее уничтожить,— сказал ученик.

— Ты заблуждаешься. Неужели ты думаешь, что возможен возврат к небытию? Неужели ты думаешь, что Адам в Раю мог уничтожить хотя бы один цветок, хотя бы одну былинку?

— Мы не в Раю,— настойчиво повторил юноша,— здесь, под луной, все смертно.

Парацельс встал.

— А где же мы тогда? Неужели ты думаешь, что Всевышний мог создать что-то, помимо Рая? Понимаешь ли ты, что Грехопадение — это неспособность осознать, что мы в Раю?

— Роза может сгореть,— упорствовал ученик.

— Однако в камине останется огонь,— сказал Парацельс.

— Стоит тебе бросить эту розу в пламя, как ты убедишься, что она исчезнет, а пепел будет настоящим.

— Я повторяю тебе, что роза бессмертна, и что только облик ее меняется. Одного моего слова хватило бы, чтобы ты ее вновь увидел.

— Одного слова? — с недоверием сказал ученик.— Сосуд для перегонки стоит без дела, а колбы покрыты слоем пыли. Как же ты вернул бы ее к жизни?

Парацельс взглянул на него с сожалением.

— Сосуд для перегонки стоит без дела,— повторил он,— и колбы покрыты слоем пыли. Чем я только не пользовался на моем долгом веку; сейчас я обхожусь без них.

— Чем же ты пользуешься сейчас? — с напускным смирением спросил вошедший.

— Тем же, чем пользовался Всевышний, создавший небеса, и землю, и невидимый Рай, в котором мы обитаем и который скрыт от нас первородным грехом. Я имею в виду Слово, познать которое помогает нам Каббала.

Ученик сказал с полным безразличием:

— Я прошу, чтобы ты продемонстрировал мне исчезновение и появление розы. К чему ты при этом прибегнешь — к сосуду для перегонки или к Слову,— для меня не имеет значения.

Парацельс задумался. Затем он сказал:

— Если бы я это сделал, ты мог бы сказать, что все увиденное — всего лишь обман зрения. Чудо не принесет тебе искомой веры. Поэтому положи розу.

Юноша смотрел на него с недоверием. Тогда учитель, повысив голос, сказал:

— А кто дал тебе право входить в дом учителя и требовать чуда? Чем ты заслужил подобную милость?

Вошедший, охваченный волнением, произнес:

— Я сознаю свое нынешнее ничтожество. Я заклинаю тебя во имя долгих лет моего будущего послушничества у тебя позволить мне лицезреть пепел, а затем розу. Я ни о чем больше не попрошу тебя. Увиденное собственными глазами и будет для меня доказательством.

Резким движением он схватил алую розу, оставленную Парацельсом на пюпитре, и швырнул ее в огонь. Цвет истаял, и осталась горсточка пепла. Некоторое время он ждал слов и чуда.

Парацельс был невозмутим. Он сказал с неожиданной прямотой:

— Все врачи и аптекари Базеля считают меня шарлатаном. Как видно, они правы. Вот пепел, который был розой и который ею больше не будет.

Юноше стало стыдно. Парацельс был лгуном или же фантазером, а он, ворвавшись к нему, требовал, чтобы тот признал бессилие всей своей колдовской науки.

Он преклонил колена и сказал:

— Я совершил проступок. Мне не хватило веры, без которой для Господа нет благочестия. Так пусть же глаза мои видят пепел. Я вернусь, когда дух мой окрепнет, стану твоим учеником и в конце пути я увижу розу.

Он говорил с неподдельным чувством, однако это чувство было вызвано состраданием к старому учителю, столь почитаемому, столь пострадавшему, столь необыкновенному и поэтому-то столь ничтожному. Как смеет он, Иоганн Гризебах, срывать своей нечестивой рукой маску, которая прикрывает пустоту?

Оставленные золотые монеты были бы милостыней. Уходя, он взял их. Парацельс проводил его до лестницы и сказал ему, что в этом доме он всегда будет желанным гостем. Оба прекрасно понимали, что встретиться им больше не придется.

Парацельс остался один. Прежде чем погасить светильник и удобно расположиться в кресле, он встряхнул щепотку пепла в горсти, тихо произнес Слово. И возникла роза.

Перевод с испанского Вс. БАГНЮ

Юрий КОЛКЕР

◆◆◆

Этот город, короткий дневник
Наших судеб, их честный двойник,
Точный слепок,—
В пот, и в кровь, и в сознанье проник —
И, как спирт неразбавленный, крепок.

Этот город... Чуть брезжит звезда,
Строчка вкось уползает с листа,
Плещет Мойка...
Обернешься назад — от стыда
Осыпаются годы, как слойка.

Жил не так и писал ты не так,
И в себе обманулся, простак.
Был ты болен
Честолюбием, дел на пятак
Совершив, был собою доволен.

Где стихи? что ты значишь без них?
Даром бродишь, подняв воротник,
Зря взволнован:
Этот город, твой частный дневник,
Не прочитан и не расшифрован.

Даром ты подколесную грязь
Месишь: с веком потеряна связь —
Вот мученье!
А беда, что с тобою стряслась,
Неважна, не имеет значенья.

1974

Над Невой

1

Полусвет-полутьма наших северных дней
От Невы в недалеком соседстве —
Сколько ветра и слякоти, вод и камней,
Сколько горечи в этом наследстве!

Это наша судьба, обмануться нельзя...
Виден дворик из кухонной фортки,
По октябрьскому льду ты ступаешь,
скользя,
Оглянувшись, минуешь задворки.

Разве не был я счастлив и ты не была,
Разве помнишь о прожитом часе,
Если воды и камни, стихи и дела,
Все — судьбы неразрывные связи?

2

Бледная моя петербуржанка!
Осеняют твой недолгий век
Счастья невеселого изнанка,
Холод, одиночество и снег.

Что-то мы поделаем с тобою
Здесь, над застывающей водой,
С болью подступающей, тупою,
С памятью чугунною, витой?

Хлюпающей кашицей покрыта,
Набережная пустым-пуста.
Что еще нашепчет нам Киприда
Ночью у Литейного моста?

3

Где граница блаженства и муки,
На октябрьском сыром сквозняке,
Я стою над водою, в разлуке,
Со снежком невеселым в руке.

Не спасает вниманье к предметам
От озноба, сознанье сквозит,
И фонарь склеротическим светом
Пробирает, и снег моросит...

Так нечаянно тронутый клавиш
Провоцирует стыд и испуг:
Звук царапнул — но как озаглавишь
Этот сердце царапнувший звук?

4

Ты утру наступающему рад.
Полутемно, пустынен Летний сад.
Туман с Невы навеян,
И мостик Прачечный горбат...
Томящий и взыскующий субстрат
В холодном воздухе рассеян.

Тревожит он тебя и веселит.
Он здесь нарочно для тебя разлит.
Ты одинок, и праздник
В твоей душе, предчувствующий стих,
Как будто тайн творения святых
Ты новоизбранный причастник.

1973

◆◆◆

Время припустило без оглядки.
Пятницы мелькают, точно пятки.
Не успеешь дух перевести —
Тут суббота: пол хозяйка просит
Натереть; косясь, ведро выносит.
Глажка, стирка. Месяц позади.

Выстраданы дни — и тем отрадны.
Путеводной нитью Ариадны
Вьется жизнь, и так всегда вилась:
В строчках путалась, узлы давала,
За сучки и руки задевала
Тощ клубок, а не перевелась.

Ладно! Только бы не дать слабинку,
Не свернуть, не потерять тропинку,
Только б честь на часть не променять,
Быть с тобою рядом, быть собою,
Осеняясь нежностью слепою,
Жить — и рук подольше не разнять.

1973

◆◆◆

У Фонтанки, в Косом переулке,
Где виднеется Прачечный мост
И кружит, точно пес на прогулке,
Городской заплутавший норд-ост;
Где вопросы твои назывные,
Из тумана сгущаясь, звучат,—
Чьи, скажи мне, звучат позывные,
Облака кучевые висят?
Впрочем, нет переулка Косого.
Как он назван? Припомнить нет сил.
Ветерка, сквозняка назывного,
Путеводного этого зова —
Нет... и дико подумать: он был!

1976

◆◆◆

Семидесятые, проклятые...
Здесь ласточка не вьет гнезда:
Погибли существа крылатые
От ужаса и от стыда.

Самодовольные, смердящие...
Пустоты, затхлость и застой.
Что делать музе в этом ящике?
Как выжить честности простой?

Как солнечной скупою лаской
Согреться веточке живой
В соседстве с желтой, типографскою,
Коричневеющей листвой?

Все ж мученица из Елабуги
Хоть в том счастливей нас была,
Что этих дней цвета и запахи
Прозрев, до них не дожила.

1978

На Литейном

Эта осень страшна. Город влажен и мглист.
Ночи сделались долги.
На работу спешит запоздалый гебист.
Вылезая из «Волги».

Ты плетешься на службу в отцовском пальто,
Набухающем влагой.
Кто разделит с тобой твою ношу? Никто.
Поделись хоть с бумагой.

Не скупясь, безвыходностью с ней поделись,
Правоты своей уняв.
Этот желтый, дешевый, тетрадочный лист —
Твой последний союзник.

1977

Семен
ЛАСКИН

...ВЕЧНОСТИ ЗАЛОЖНИК

Роман-воспоминание

Итак, у меня оставалось еще два адреса, по которым я мог продолжать поиск исчезнувшего художника.

Первым пометил Среднее художественное училище. Во время войны располагалось оно на Таврической и глядело своими окнами ва Таврический сад. Теперь училище переехало на улицу Диктатуры Пролетариата, рядом со Смольным. Вторым, как это ни странно, оставалось училище имени Мухиной, тот самый студенческий музей, где в давние времена работал В. В. Калинин, и откуда была увезена в неведомые тартары — так казалось теперь! — живопись Калужнина.

Во двор училища я вошел с некоторой робостью,— если Калужнин и преподавал здесь в блокаду, то кого можно теперь-то застать из «бывших», прошло более сорока лет.

В садике гоготали студенты. С юношеских лет испытывал я восторг перед этими избранниками судьбы, будто бы с рождения отмеченными печатью таланта. Когда-то, возвращаясь домой из своего медицинского института, я, измученный зубрежкой, пропахший формалином первокурсник, с удивлением и плохо скрытым восторгом разглядывал веселых и раскованных сверстников, играющих друг перед другом истории и историйки собственной жизни. Это было на Моховой, а студенты — будущие актеры. Все великие, разве можно в этом сомневаться!

Теперь передо мной были будущие художники, и они тоже казались из их числа. Театр явно жил и в их душах, но только этот театр должен был реализоваться на полотне.

Никто на меня не обратил внимания, хотя я уже стоял в кругу говорящих, один из них, видимо, копировал кого-то из педагогов. Это вызывало обвалы смеха.

— Не подскажете, где директор? — пришлось вторгнуться мне.

— П-жалуйста, чрз парадную двэр! — И рассказчик, опять явно узнаваемым всеми жестом, показал направление.

Раздался очередной взрыв хохота.

В вестибюле за небольшим столом восседала студентка, вероятно, второкурсница,— таким значительным был ее вид.

Правее от нее жались абитуриенты — время было предэкзаменационное,— в их глазах стынул страх.

Я спросил о директоре, но второкурсница глядела сквозь меня, вопрос отлетел куда-то в сторону. Пришлось повторить.

— Вы поступать? — наконец спросила она, совершенно не замечая моего далеко не студенческого возраста.

— Ах, милая девушка! — с восторгом сказал я.— Такого комплимента я не слыхал тридцать лет!

Она сдвинула брови.

— Директора не будет!

— Тогда завуч?

— На совещании.

Нет, я все еще не уходил! В конце-то концов, начальство было необязательным для поиска, я мог обойтись старожилами — старичками. Пришлось так и спросить у бдительного стража.

Вопрос несколько удивил ее.

— Вам старичков? В каком смысле?— ее намазанные морковной краскочкой щеки вызывающе алели.

— Нужен человек, давно работающий в вашем училище.

Нет, не поняла!

— Студент?

Я рассмеялся.

Окончание. Начало см.: Нева. 1991. № 3.

— Можно двоечника с сорокалетним стажем, но лучше бы уборщицу, педагога или библиотекаря, работающих у вас, желательно, с блокады.

— Есть! — обрадовалась она. И вдруг резко: — А вы кто?

Пришлось объяснить. Моя просьба заставила ее подняться.

— Я провожу. Идемте.

Мы заспешили на второй этаж. Внизу кто-то, вероятно, из тонущих, крикнул:

— Оперу по мотивам Гоголя! Скорее!

Девушка перегнулась через перила.

— «Ревизор!»

— Это балет,— не принял «тонущий».

— «Вий!»

— Кинофильм! — торговался он.

— «Нос»,— не выдержал я, этим слова задев самолюбие моего гида.

— Другое дело! — словно бы назло девушке отблагодарил «пострадавший».

Она пошла быстрее, откинув голову, и теперь будто бы забыв обо мне.

Я не отставал, уже жалел о бестактности. Престиж гида был явно подорван.

Девушка распахнула высокую дверь, крикнула куда то вглубь, к стеллажам с книгами:

— Галина Севна?! К вам!

И исчезла.

Из ниши вышла женщина в черном строгом костюме — учительский пиджачок, гладкая прическа узлом,— этакая типичная воспитательница гимназии.

Я представился, стал объяснять, что надеюсь найти старожилов, которые, может быть, вспомнят старого «пропавшего» педагога Василия Павловича Калужнина.

Галина Алексеевна улыбнулась, строгость сама растворилась в блеске ее глаз.

— Василия Павловича?! Конечно! Необыкновенный был человек! Я дам вам телефон Антонины Антоновны Мещаниновой, она кое-что о нем написала...

— И это опубликовано? — удивился я.

— Нет. Она написала для своего бывшего класса, вы ей обязательно позвоните.

Гимназическая строгость окончательно сошла с ее лица.

— Чем же он был необыкновенный? — спросил я, одновременно записывая телефон калужнинской ученицы.

Она помолчала.

— Вы, наверное, слышали, что наше училище в блокаду было единственным художественным в городе? Академию эвакуировали, поэтому мы вроде бы заменяли академию. Директорствовал Ян Константинович Шидловский, удивительная личность, энтузиаст! Он-то и пригласил Калужнина преподавать живопись.

И, после паузы:

— Странный был человек Василий Павлович. Не запомнить его невозможно. Пришел педагогом на старшие курсы. Роста небольшого, шевелюра седая, зимой и летом в одних парусиновых тапочках, в старом плаще, в шляпе, уже потерявшей цвет, с волнистыми опущенными полями.— Она сделала жест, как бы дорисовывая форму.— И очки, большие, железные, круглые... Говорил Василий Павлович только об искусстве, других тем у него не бывало.

Улыбнулась своим мыслям и тут же призналась:

— Нас Василий Павлович приводил в полное изумление. Бывало, подведет к окну, покажет на соседний дом, спросит: «Слышите, как кричат крыши?»

— Вы слышали?

— Сначала не слышали, но потом стали его понимать... Не только приглядывались, но и прислушивались к цвету.

Кажется, ей было интересно рассказывать о Калужнине.

— ...Черный цвет Калужнин любил особенно — это я говорю о Василии Павловиче, как о педагоге, мы ведь его собственной живописи никогда не видели, не представляли даже... В кармане носил всегда лоскуток, черное кружево. Выхватит, покрутит над головой, скажет с этаким вызовом: «Черное свечение видите?!» И каждый раз, что бы мы ни писали, он про это черное свечение вспоминал. Запомнилось на всю жизнь...

Задумалась.

— А какие у него были уроки композиции! Мы только что пережили блокаду, все казалось живым, сегодняшним, шла война, ну чуть отодвинулась от дома, но ничего не стало еще прошлым... А вы поглядите рисунки тех студентов. Ужасов никто не хотел писать. С удовольствием рисовали огороды в Летнем, натюрморты, детские лица,— этот феномен, наверное, психологи легко объяснят. А Василий Павлович вбежит в класс да так скажет, что мы бледнели от ужаса: «Бомба разрушила Елисеевский магазин!» Или «Снаряд разорвался около Дома книги!» А это ведь что означало? Рядом Казанский, Дом Энгельгардта, Малый зал филармонии, Дума, Гостиный двор!.. И после долгого прямого взгляда — приказ: «Пишите!»

Легким жестом провела ладонью по волосам, поправила узел прически,— но я заметил, как дрожали ее руки.

— Город он любил фантастически! И эту несравненную любовь хотел передать нам. Странный, конечно, избрал способ, но мы его понимали.

Прошли в глубину библиотеки за маленький стол библиографа — сели, она — лицом к окну, я — спиной. Мне хорошо был виден ее строгий профиль.

— А почему же Калужнин не состоял в Союзе?— Я попытался понять хотя бы это.

Она не знала.

— Говорили, до тридцать седьмого был, потом исключили. Впрочем, что знали мы, студенты? Шли какие-то слухи...

— Но по какой причине, что говорили об этом?

Она удивленно взглянула на меня.

— Как — по какой причине? Была бы причина, он бы сидел или того хуже. Помните, импрессионисты — это формализм. Сезанн — формализм. Филонов или Татлин и вообще мракобесы. Вот Владимир СеровлЛенинграде и иже с ним — это реализм. А мне-то кажется, именно в Серове больше всего формализма.— И попросила: — Вы лучше у Антонины Антоновны о Калужнине, не у меня. Я старше их на год, это другой класс, другие педагоги...

Я вышел на улицу, огляделся. Студенты исчезли. Во дворе стояла полная тишина,— все было желтым: и земля, и деревья, листья еще не совсем облетели.

И тут на глаза мне попалась вывеска. Училище носило имя Владимира Серова. Не классика — тот был Валентин, а другого, нынешнего, с которым — я еще не знал об этом — моему герою пришлось встречаться.

Я обогнул Смольный и по набережной направился к Охтинскому мосту,— мой дом на другом берегу, он был хорошо виден отсюда.

В эвакуации, когда в Вологду прибывали беженцы из Ленинграда, мама неизменно спрашивала знакомых: как наш мост, цел ли? Есть особо важные места для каждого сердца.

Не потому ли мысленно повторял я калужнинские задания детям зимой сорок третьего года: «Разрушен Елисеевский!», «Бомба попала в Дом книги!», «Рухнул Казанский!», «Разбит Охтинский мост!»

Нет, этого, к счастью, тогда не случилось, но ведь могло быть, могло!..

Пытаюсь поставить себя на место Калужнина, к учительскому столу времен блокады. Почему давал такие задания ребятам? Хотел научить их слышать боль города? Помните, «кричат крыши»?! Значит, для него могли стонать и кричать камни, кучи щебня, останки разбомбленных домов. И крик этот он мог выразить цветом.

Я, конечно, позвонил Антонине Антоновне, театральной художнице, о которой рассказывала библиотекарь. Ответил высокий, молодой, доброжелательный голос, и при вопросе о Василии Павловиче я получил моментальное согласие встретиться.

— Да, конечно! Хорошо его помню. Это был замечательный человек. Многое расскажу.

Откладывать не хотелось.

— Давайте завтра в ЦПКО,— предложила Антонина Антоновна.— В двенадцать...

На десять утра я был назначен к зубному врачу, но, прикинув время, решил — успею.

— Может, чуточку задержусь,— предупредил я.

— Ничего,— успокоила Антонина Антоновна.— Я подожду.— И объяснила: — Мы с сестрой кормим кошек в одиннадцать, они нервничают, если опаздываешь. В случае чего — погуляю.

Конечно, я опоздал. Мчался сломя голову из поликлиники, «голосовал» проезжающим такси, только разве кто остановится, когда спешишь?!

Кошки, к которым не могла не прийти Антонина Антоновна, с нескрываемым осуждением поглядывали на меня, когда я несся по пустынному парку. Если бы не знать о кошках! Может, моя совесть не была бы так уязвлена.

Антонину Антоновну увидел издалека: на мостике полулежала, перегнувшись через перила, худенькая женщина в синем спортивном костюме. Сначала она показалась девочкой-гимнасткой, но, спустя минуту, я понял, что меня ждал человек уже не столь молодой.

Женщина подняла голову и, видимо, поняв, кто несется, утешающе махнула рукой. Задыхаясь, я стал оправдываться. Она не сердилась.

Поискали скамеечку в стороне от магистральной дороги. Я вынул блокнот и тут же ощутил мягкое шерстяное касание,— полосатый котяра доверчиво привалился к моему боку.

— Сейчас и другие придут,— предупредила Антонина Антоновна, как бы обещая мне предстоящее удовольствие.

Так и случилось. Кошки подходили к скамейке со всех сторон, они ничего не просили, не орали противными голосами, а вели себя вполне интеллигентно, усаживались неподалеку и, полизывая мягкие подушечки лап, начинали умываться. Они явно стремились выглядеть привлекательнее около своей кормилицы. Такого коллективного кошачьего умывания я еще никогда не видел.

— Ах, Василий Павлович, Василий Павлович! — сказала Антонина Антоновна, выражая лицом светлую радость.— Какой это был замечательный человек! Интеллигент, личность!

Она помолчала.

— Даже не знаю, с чего начинать,— сказала Антонина Антоновна, поглядывая на кота, словно спрашивая у него разумного совета. Прижала рукой сумочку, достала несколько исписанных тетрадных листков, щелкнула замком.

— Это я еще три года назад, для своих...

Кот словно что-то уловил в интонациях, спрыгнул со скамейки и, расположившись, как египетский сфинкс на Университетской набережной, приготовился слушать.

Я подумал, что это первый рассказ о Василии Павловиче, который можно будет воспроизвести целиком.

— Утром (это было весной сорок третьего года),— начала Антонина Антоновна,— директор предупредил нас, что сегодня придет на занятие новый преподаватель живописи, Василий Павлович Калужнин. Мы ждали.

Она сделала паузу — поглядела на меня, убедилась — слушаю.

— Открылась дверь. И с белой табуреткой в руках, на которой что-то было накрыто белой драпировкой, словно цирковой фокусник, появился учитель. Лист белой фанеры уже стоял у стены. Учитель приставил табурет к фанере и стремительным жестом сбросил драпировку.— Антонина Антоновна изобразила шикарный жест, каким цирковые фокусники демонстрируют свое «чудо».

— Затем он сделал шаг в сторону и, сверкнув огромными очками, произнес: «Пишите!»

В моем воображении возник этакий иллюзионист перед опешившей толпой.

— Видимо, Василий Павлович испытывал особенное удовольствие от натюрморта. Он потер руки. Заложил за спину. И с гордым видом прошагал между нами и между нашими мольбертами.

Наши физиономии вытягивались от недоумения: «постановка» не только не нравилась, она удивляла.

Да и действительно, что это такое?! Белая призма, белый цилиндр. Клок белой ваты. Прозрачный стеклянный кувшин... А фон?! Этот противный белый фон, лист белой фанеры!

Все загудели, конечно, начали возражать, возмущаться, но Василий Павлович объяснил, что улица якобы должна отражаться в фанере. Это парализовало нашу инициативу. Стали переглядываться, никто явно не мог оценить его «живописных находок». Впрочем, и в дальнейшем постановки Василия Павловича поражали не меньше...

Антонина Антоновна поглядывает на меня поверх очков, ждет реакции. Веселые огоньки прыгают в ее глазах.

— А задание на поясной портрет?! — восклицает она.— Восемьдесят часов по программе, около двух месяцев работы!! Помню, в темном углу за круглой черной печкой посадил Василий Павлович натурщицу, старушечку лет эдак восьмидесяти, в черной одежде. На голове черный платок, на плечах — черный стеганый ватник, а над ней — черная драпировка. Все в темноте и черноте!

Мы — в ужасе, учитель — в восторге!

— Обратите внимание,— говорит,— на черное свечение!

Мы не понимаем. Оказывается, «свечение» излучает, по его мнению, черная тряпка над головой старушки.

Вглядываемся. Но ничего не видим. Нет никакого свечения. Да и вообще ничего не видно в этой черной мгле. А вот круглая печка действительно излучает тепло...

Бабуля пригревается потихоньку и, разомлев в теплом углу, начинает обмякать, засыпать. Наконец, совсем исчезает с поля нашего зрения, погрузившись в воротник черного своего ватника. Только клок волос торчит из-под крыши ее толстого платка...

Время от времени, под наши крики: «Бабушка, проснитесь!», старушка вздрагивает и, как улитка, вылезает из воротника, показывая голову. И с тихими словами: «Я, родненькие, не сплю!» снова погружается в прежнее положение, оставляя классу на обозрение клок волос...

Антонина Антоновна рассказывает наиболее забавное, это у нее получается замечательно. При словах «черное свечение» я начинаю кивать, об этом я уже слышал в библиотеке училища, видимо, «свечение» запомнилось всем.

— Роста Калужнин был небольшого, можно сказать, ниже среднего. Ходил с откинутой головой, пышной седой шевелюрой, лоб открытый, нос прямой, слегка вздернутый, резко очерченный подбородок указывал на упрямство или одержимость. Очки всегда носил огромные,— без очков Василия Павловича никто никогда не видел. Щеки впалые, лицо аскетическое, весь он казался нам легким, невесомым, словно бы бестелесным.

О нем нельзя было сказать: ушел или пришел. Он... появлялся или исчезал.

Ходил Калужнин огромными шагами, словно бы специально растягивая ноги, а при маленьком его росте выходило вроде подпрыгивания. Ребята смеялись над ним, передразнивали, показывали друг другу этого странного человека, впрочем, такое его не огорчало, он ничего не замечал.

Костюм Василия Павловича, сорочка, галстук цвета уже не имели, но и это ему шло. Плащ всегда нараспашку с развевающимися полами. На ногах в любое время года, при любой погоде белые парусиновые тапочки.

Антонина Антоновна бросила на меня взгляд — оценивают ли? — сказала:

— Мы, чудом оставшиеся в живых после артобстрела и голода, радовались своему бытию. Нам хотелось писать нечто яркое, сочное, жизнеутверждающее, контрастное, а ценностей постановок, состоящих из белых предметов с их тонкими нюансами, мы попросту не понимали. «Черное свечение» Калужнина так и осталось для вас, для меня неразрешимой загадкой на всю жизнь.

Я кашлянул. Она подняла взгляд. Хотелось сказать, что я могу тут же, в саду, продемонстрировать ей неведомое, не понятое ими чудо,— со мной были калужнинские листы.

— А если я покажу вам?

— Что? — переспросила она.— Черное свечение? — и засмеялась, предполагая нечто несуществующее, нематериализованное.— Как *это* можно показать, не знаю.

Она опустила глаза, собираясь читать дальше. И в ту же секунду я вынул из папки мое сокровище, калужнинскую «Библиотекаршу», «Балет» и пейзаж «Деревенька».

Солнце стояло почти вертикально, и в его ярких режущих лучах я и сам словно бы впервые увидел изображенное.

Бархатистый черный мягко переливался, светился тонкими оттенками, в промельках нетронутого листа словно бы скапливались фотоны света, отражались прямыми лучами, слепили глаза, невольно заставляя меня затеняться ладонью, защищать себя.

— Да это не графика! — полушепотом сказала Антонина Антоновна.— Это живопись! Какое огромное мастерство!

Солнце текло по рисунку, сверкающий бархат искрился, вспыхивал, незначительное движение усиливало блеск. Да, это и было тем черным свечением, к которому взывал блокадных детей Калужнин.

Шероховатость бумаги не давала углю лечь плотно, создавалась особая световая среда...

— Однажды явно простуженный Василий Павлович,— продолжала Антонина Антоновна,— объявил нам: «Сегодня я в состоянии настроения болезненности». И исчез.— Она поглядела на меня поверх очков, как бы подчеркнула своеобразие его стиля.— Несколько дней Калужнин не приходил в училище. Тогда мы с Леной Трифоновой решили его навестить. Но где живет Василий Павлович, не знали. Помнили, он как-то называл Литейный, вблизи Дома Красной Армии. Пошли...

И она, оторвав взгляд от листа, сказала:

— Нашли, знаете ли! — А после паузы: —...Посреди огромной комнаты возвышалась гора мусора, занесенная снегом. На окнах ни одного целого стекла. Вместо стекол просветы, забитые этюдами, а то и заткнутые подушками или какими-то драпировками, развевающимися от порывов ветра. Стоим посредине комнаты совершенно растерянные, не понимаем, есть ли кто живой?

И вдруг что-то зашуршало за шифоньером и ширмой и слабый голос сказал: «Кто там?»

Заглянув, мы увидели в полном беспорядке кипу газет и журналов, и зеленую фетровую шляпу, обмотанную не то кухонным полотенцем, не то шарфом. Под шляпой обнаружили голову Василия Павловича, а сам он лежал под ворохом газет и журналов — больной, одинокий, неухоженный человек.

Впрочем, он не унывал и не жаловался даже тогда. Уверял нас, что ему хорошо, что он нашел прекрасный способ избавиться от холода, что его отлично спасает от ветра фетровая шляпа, а газеты и журналы много лучше, чем шуба, «они не выпускают живого тепла наружу».

Пол в его комнате был завален снегом. Разгулявшаяся метель попадала сюда, вырывая из кучи мусора листочки бумаги... Окно мы заделали как могли. Попробовали навести порядок, и когда уходили, ветра в комнате уже не было...

Она убедилась, с каким интересом я ее слушаю, продолжила:

— ...В скором времени Василий Павлович опять появился в училище, подходил на уроках неожиданно сзади и тихонечко говорил кому-либо из нас:

— Ревуар!

Или:

— Ну прямо Ван Гог!

Или:

— Да тут и Дега позавидовал бы!

Он пытался вдохновить нас! Импрессионисты были любимыми его художниками. Конечно, мы понимали нелепость его сравнений и между собой посмеивались над ним.

А какие странные замечания он делал!

— У вас не хватает столоверчения! — И сопровождал фразу щелчком большого и безымянного пальца, что означало, как мы понимали, что в работе нет ощущения пространства...

Мне позвонил тот самый Искусствовед, который когда-то рассказал в Книжной лавке о Василии Павловиче Калужнине. Мы давно не встречались, и он ничего не слыхал ни о моих поисках, ни о моих находках. Оказалось, Искусствовед хорошо помнил о нашем случайном разговоре.

— Я сегодня сделал открытие... в собственной квартире,— пророкотал он.— Не забыли о Калужнине?

— Наоборот, я тоже собирался кое-что сообщить вам!

Он рассмеялся.

— А я ведь тогда почувствовал, как вы заинтересовались! Все было написано на вашем лице, вы не Штирлиц.— Он таинственно помолчал.— Ну что ж, могу кое-что дополнить, авось пригодится. Сегодня снял книгу с полки, «Подвиг века», художники о ленинградской блокаде, год шестьдесят седьмой. И вдруг на сорок девятой странице репродукции картины Калужнина: «Ленинград сорок второго». И текст некоего Калинина...

У меня перехватило дыхание.

— Калинина?! — воскликнул я.

— Вы его знали?

— Я о нем слышал. Это был ближайший друг художника. Я побывал в его мастерской, там работает Герман Михайлович Осокин. Он подарил мне несколько листов Калужнина.

В этот раз пауза была долгой. Искусствовед, видимо, не ожидал от меня такой прыти.

— Нет, вы все-таки Штирлиц,— глухо сказал он.— Где же картины?

— Вот этого никто не знает. Они долго лежали в Мухинском, потом их забрал неведомо кто. Осокин считает, из Архангельска.

— Позвоните в музеи Архангельска, может, там знают?

— В музеях ничего нет,— сказал я.— Моя приятельница была в городе, она подняла на ноги местных журналистов. Нет, никто ничего там не слыхал, ни музеи, ни более-менее заметные коллекционеры.

В его голосе появились мирные нотки, сообщение слегка успокаивало.

— Я так и предполагал: или картины уничтожены или увезены.

Мы попрощались.

Я походил по комнате, затем набрал номер телефона библиотеки Дома писателя, спросил, есть ли на абонементе сборник «Подвиг века».

— О художниках блокады? — спросили меня. И подтвердили: — Есть.

Не откладывая, я надел пальто и вышел на улицу. В конце концов, нельзя на полпути прекращать розыск! Я все еще не был в училище Мухиной, а вдруг там помнят архангельский адрес?!

— Возможно, такое вполне возможно,— пробормотал я.

Я даже не дал библиотекарю записать в формуляр название книги и тут же открыл сорок девятую страницу. Вот он, калужнинский Невский блокадной зимой сорок второго! Заиндевевший, промерзший город, серебристо-жемчужный, необыкновенный даже на этом слабом черно-белом его отпечатке. Сугробы с вылезающими трамвайными дугами, чернеющие провалы окон, затянутый маскировочной тканью серый Адмиралтейский шпиль, безлюдный проспект с единственной наклоненной черточкой-человеком в далекой туманной перспективе.

Не отрываясь, долго смотрю на репродукцию. Человечек-черточка, покачиваясь от голода, удаляется от меня, и я невольно думаю, не могу объяснить, каким образом маленькое пятнышко краски словно бы одухотворяет это пространство, делает перспективу живой.

— Что-то нашли? — любопытствует библиотекарь.

— Да.

Она пожимает плечами.

— Война так надоела!

И тут еще одно фаустовское стихотворение выплывает из памяти. Мне начинает казаться, что репродукция должна быть подписана этими строчками:

С домов на камни боль текла,
И в окнах не было стекла,
А в рамах вечно боль застряла.
И все, как гром,
И как стрела.
Душа в человечье тело,
И небо — все окаменело.

За широким окном бывшего Шереметевского дворца едва отличимая от асфальта серая поверхность Невы.

Город в палевой дымке, туманный и тихий, лежит передо мной, будто огромная картина Пакулина, Русакова, Ведерникова или Лапшина. Впрочем, кто знает, может, в этом замечательном ряду живописцев был бы и неведомый пока «круговец» Василий Павлович Калужнин, кто знает?..

Из дневника Владимира Васильевича Калинина:

«2 мая 1942 года.

В наш полк приходил художник Калужнин заниматься с учениками в изокружке. После занятий его ученик старший лейтенант Лыбин вынес ему из полковой кухни котелок с супом.

Василию Павловичу уже за пятьдесят, но его серые глаза молодо и живо смотрят из-под очков.

Калужнин в блокадную зиму перенес холод и голод, смерть близких. Несчастья не сломили его.

Мы познакомились с ним и вскоре подружились.

В первые дни войны Калужнин руководил бригадой художников, работавших над эвакуацией экспонатов Эрмитажа. В этом деле Василий Павлович показал себя неутомимым, энергичным организатором, спал он в те дни не больше трех-четырех часов в сутки.

Когда эвакуация музейных ценностей была завершена, Иосиф Абгарович Орбели поблагодарил художников.

— Когда окончится война,— сказал он Василию Павловичу,— имена художников и всех товарищей, спасших сокровища искусства, будут золотыми буквами написаны на стенах восстановленного Эрмитажа.

Потом для Василия Павловича началась напряженная работа. По горячему следу событий он стремится запечатлеть жизнь осажденного города. В полумраке своей мастерской, нетопленной, пропитанной устоявшимися запахами сырости, художник показал мне свои работы. Особенно запомнилась одна: „Невский проспект, зима 1942 года...“»

Я немного знал составителя сборника, лет тридцать назад мы были знакомы,— подростком-девятиклассником я дружил с девочкой из «женской школы», дочерью этой, теперь уже пожилой, дамы. Я набрался смелости и позвонил.

Странное свойство — память! Я тут же узнал низкий хрипловатый голос, точно не так уж много лет миновало с тех пор.

— Дневник Калинина? — переспросил составитель, когда я, волнуясь и путаясь, наконец объяснил причину своего неожиданного возникновения.— Нет, не помню.— И вдруг удивительное: — А может, дневника и не было, я сочиняла за многих...

— К-как?!

— А вы считаете, художники способны написать сами? Ваш Калинин что-то, бесспорно, рассказывал, а текст, это, простите, мое дело.

Она поясняла:

— Видите ли, ничего удивительного в этом нет. Люди хотят писать совсем не то, что требуется вам, как составителю, вот и приходится уточнять, делать как нужно...

— Но кому нужна неправда?! — не удержался я.

Она обиделась, в ее голосе возникли капризные нотки.

— Почему же неправда?! Я сказала только «как нужно». Не притворяйтесь непонимающим. Вы не мальчик. Издательство — ваш заказчик, вы — исполнитель. И вы строите книгу так, как заказчик хочет. Анархия тут невозможна. Ваша задача — подчинить рукопись теме, устранить хаос, выпрямить. И за это вам платят.

Я пожалел, что влез в не очень-то чистую журналистскую кухню.

И все же от Осокина я знал, что Калинин много сам писал о живописи, что у него были крупные печатные труды, что за него ни к чему было сочинять нужные тексты. Фактически я вынужден был заступаться за незнакомого человека.

— Говорите, писал сам? — уже спокойнее переспросила составитель.

И неожиданно согласилась:

— Возможно. Но за других делала я, не сомневайтесь.

Меня «другие» не интересовали.

— Но где же искать блокадные дневники Калинина? — Я надеялся пробудить ее память.

Она словно отрезала:

— Повторяю, у меня ничего нет, не осталось, все возвращено в архив, там и ищите...

...От похода в Соляной переулок меня удерживал злополучный рассказ об искусствоведе, забравшем бесхозные калужнинские работы в Архангельск.

Но так ли верны эти сведения?! Почему я сделал вывод, не побывав в Мухинке?!

Я направился в музей студенческих работ художественно-промышленного училища.

Старушка-дежурная выслушала меня с пониманием, покивала и тут же окликнула проходившую лаборантку:

— Елизавета Геннадьевна, тебя! Вот, спрашивают про картины.

— Про какие такие картины? — Женщина остановилась, с недоумением поглядела на меня.

— Да про те, помнишь? — сказала старушка, показав в сторону высоких дубовых застекленных дверей старого, теперь закрытого парадного входа.— Владимир Васильевич над которыми трясся.

Я невольно взглянул на простенок: что-то бесформенное, похожее на тряпки, навалом лежало там.

—Ах, вы про Калужнина?! — поняла Елизавета Геннадьевна.— Были, верно. Но куда делись, сказать не смогу. Кому-то отдали, вроде.

Я был расстроен.

— Но уж если я пришел, может, вы что-нибудь расскажете о художнике?

Она села.

— Калужнина хорошо помню. Он был близким другом Владимира Васильевича Калинина, других друзей, по крайней мере, не знаю. Но, кроме того, Калинин был едва ли не единственный серьезный поклонник калужнинской живописи, а это художники особенно ценят, такая дружба для творческого человека, которого многие не понимают, дороже хлеба. Вроде брата Тео у Винсента Ван Гога.— И она хорошо улыбнулась.— Тихий человек, неслышный, интеллигентнейший и... очень одинокий. Мне всегда казалось, что в его жизни случилось нечто трагическое, может быть, тюрьма, арест. Появлялся внезапно, продвигался бочком, словно боялся что-то разбить, задеть, поднять шум...— Посмотрела на меня с сомнением, явно не зная, стоит ли говорить, и вдруг прибавила: — В то время таких было много, из репрессированных, жизнь их напугала на долгие годы.

— Вы о конце пятидесятых? — переспросил я.— А в начале шестидесятых разве для него ничего не изменилось?

— Не знаю. Не уверена. В последние годы, уже незадолго до смерти, он попросту голодал. По сути, это был бедный человек, почти нищий.— И тут же уточнила: — Нет, он ничего не просил, но вид... Пиджачок, протертый до дыр, неумело зашитый, рубашка, потерявшая цвет, бесформенная старая шляпа.— Вздохнула: — Да он голодал и в шестидесятых. Потом я слышала, что пенсию он получил поздно, чуть ли не в семьдесят, да и пенсия-то — двадцать, не объешься. Как это у него получилось — не знаю...

— А Союз?

— Говорили, исключен в тридцать седьмом, остальное, как я сказала, во мраке. Впрочем, и тут я повторяю с чужих слов. Что он ел, откуда брал деньги, кто ему помогал? — И она развела руками.— Бесспорно одно, жил трудно! Вот бумагу, краску охотно брал, видела. Но это давали не очень близкие люди, Владимир Васильевич сам тяжело жил, с семьей у него не ладилось, странная была жена, восстанавливала дочь против отца. Да и квартирой для него чаще была мастерская, какая же помощь?!

И вдруг вспомнила:

— Калужнина я иногда встречала в Елисеевском. Увижу, позову в очередь, хочу перед собой поставить, но люди начинают гудеть, раздражаться, а он голову в плечи, воробушек пуганый — и назад. В глазах — ужас. Тут хамам раздолье, а интеллигентному человеку — петля. Но я, знаете, все равно чек выбью, получу его граммы, отдам. Он, бывало, берет купленное — людей из очереди уже нет,— но все равно озирается, такая боль глядеть!

Я спросил о работах.

Елизавета Геннадьевна показала назад, на простенок.

— Здесь лежали. После смерти Калужнина Владимир Васильевич все сюда привез, сложил между дверями. Мы уже привыкли к этому нагромождению, огромное количество работ было.— Она вспоминала: — Вначале Калинин в музеи пытался пристроить, умоляя забрать, растолковывал, какой силы художник. Но музеи даже смотреть не стали. Сразу вопрос: почему не в Союзе? Ах, исключали! И хотя шли уже семидесятые, а все равно это было вроде бы подтверждением нелояльности: не вольнодумец ли?! Или, того хуже,— формалист. Клеймо зря не поставят.

— А вы сами-то видели работы?

— Видела...— И призналась: — Осталось ощущение мрачности, темноты, если уж честно. Впрочем, не так-то мы были любопытны, все лежало запакованным, у меня и мысли не возникало развязать, поглядеть...

Она заторопилась.

— Только выводов из моих сомнений не делайте! Калинин считал Калужнина выдающимся, не раз говорил об этом, когда возмущался музейщиками. Мы Владимиру Васильевичу верили безоговорочно, образованнейший и мудрейший был человек! А Калужнин ему под стать, встретятся и часами об искусстве, других разговоров у них не бывало, не слышали.

— И вы в спорах участвовали?

— Ой, что вы! — Она засмеялась.— Мы не всё и понять-то могли. Они как иностранцы. Импрессионистов,— я говорю о начале пятидесятых, когда Василий Павлович начал к нам приходить,— в музеях не было. В Пушкинском отдел заменили подарками Сталину. Что уж о Пикассо говорить?!

Она хотела что-то прибавить, но в этот момент открылась боковая дверь и в зал вошел коренастый мужчина в черном строгом костюме с черным галстуком, по-хозяйски оглядел меня, но обратился к Елизавете Геннадьевне:

— В чем дело?

Он, вероятно, еще прикидывал «вес», возможную мою силу — кто знает, инспектор, начальник? — зачем спешить.

— Чем могу?..

— Наш директор,— представила Елизавета Геннадьевна, хотя и без того было ясно, с кем разговариваю.

Директор словно бы заставил себя улыбнуться, впрочем, настороженность не исчезла.

— Товарища картины интересуют. Помните, те, что были в простенке, от Владимира Васильевича еще оставались?

Кажется, пора было вынимать документ, такие люди неопределенности не терпят. Удостоверение Союза писателей явно утеплило директорский взгляд.

— Видите ли,— сказал директор,— картины, о которых вы спрашиваете, были переданы родственнику художника, мы, помню, даже вызывали его телеграммой.

— Из Архангельска? — уточнял я.

— Точно не скажу...— Он словно извинялся за несовершенную свою память.— Возможно, из Архангельска.

— Но в музеях Архангельска Калужнина нет, мы запрашивали,— сказал я так, словно представлял некую государственную организацию.— Тем не менее картины представляли серьезную художественную ценность.

Левая бровь директора поползла вверх, в глазах появилась искорка страха, но взгляд тут же стал гаснуть.

— Можно поискать расписку,— неуверенно сказал он.— Думаю, без каких-либо документов мы не могли отдать такое количество холстов.

Елизавета Геннадьевна отвернулась, кажется, у нее не прибавлялось веры к его словам.

— Не могли бы вы поискать сейчас,— наступал я, понимая, что потерять время — это потерять шанс. Начнутся просьбы зайти завтра, через неделю, через месяц...

Директор повернулся и, притворив дверь, надолго исчез в глубине кабинета.

Мы опять говорили о Калинине, но теперь я уже слушал Елизавету Геннадьевну рассеянно, вполуха — мой интерес был там, за дверью. От того, найдет или не найдет директор адрес, зависело очень многое.

Дверь распахнулась, в руках директора розовела бумага,— с канцелярией в музее оказалось нормально.

— Картины в Мурманске! — с порога нокаутировал меня он.— Кто вам сказал, что они в Архангельске?!

Я застыл, пораженный. Господи, из-за своей неопытности или даже нерадивости я потерял целый год! Оказывается, место картин можно было выяснить моментально, стоило заглянуть в училище и расспросить людей.

— К-как... в Мурманске?!

Он уже протягивал адрес. На листе крупными буквами были скорее нарисованы, чем написаны — имя, фамилия, адрес владельца: «Мурманск. Улица Ленина. Дом... Квартира... Юрий Исаакович Анкудинов». И номер его телефона.

— Но кто этот родственник? — пытался выяснить я.

Директор знал немногое. Вроде бы, художник. Впрочем, все следует проверить,— за точность своих знаний директор ручаться не мог. Он оправдывался.

— Работы лежали, понимаете, без присмотра. Но мы же не склад. Мы не имеем права хранить бесхозную живопись. Тогда и отыскали этого человека.

— Как — отыскали?

Он стал что-то припоминать. Вроде рылись в каких-то папках, и там оказался адрес племянника. А вот то, что племянник — откуда это запомнилось, директор объяснить не смог...

Из училища я почти бегом долетел до угла Литейного и Чайковского — там междугородный переговорный пункт.

Набрал Мурманск. Никто по номеру не отозвался.

Конечно, за годы многое могло измениться, тем более телефон. «Было бы слишком просто, если бы все открылось сразу. Даже если владельца картин нет уже в городе,— думал я,— то наверняка нетрудно найти людей, которые могут знать, куда он уехал, где живет теперь».

Я утешал себя, но тревога и беспокойство нарастали.

Ах, случай, опять господин Случай, сколько раз я благодарил судьбу за счастливые неожиданности!

В тот день приятель зашел ко мне вместе со своим старым другом, художником Р.

Говорили о чем-то малолюбопытном для постороннего. Р. сидел в стороне безучастный. Наконец, стали прощаться. И уже пожимали руки, когда вдруг выяснилось, что Р. возвращается из Мурманска в Москву после своей выставки.

— Надо же! — поразился я.— Что бы вам зайти ко мне перед выставкой, вы бы мне помогли.

Он с интересом выслушал мой рассказ.

— Кажется, и сейчас вам помочь не так сложно,— сказал Р.— Позвоните председателю Мурманского отделения Союза художников, они все знают друг о друге. Сошлитесь на меня,— и Р. по памяти продиктовал номер.

Гости ушли, а я бросился к телефону.

Председатель не удивился. Да, есть такой, Анкудинов, но он в отъезде. И номер телефона верный. Правда, это мастерская, дома у них телефона нет.

— Как же связаться?

— Да позвоните жене. Она секретарь местного отделения ВТО.— И председатель, перекинувшись с кем-то словом, прибавил: — Светлана Александровна уже приступила к работе, немного опередила мужа.

Сегодняшний день был днем удачи, откладывать не стоило.

Если картины существуют, то я у цели. Какая сложность слетать в Мурманск! Два часа, и ты в Заполярье.

Опасность в ином, это я понимал остро. Листы сангины и уголь, лежавшие у меня, были прекрасны, но так ли хороши другие вещи Калужнина? Общий уровень мог быть значительно ниже. Нужно, чтобы архив оказался выше уже известного.

Пока Светлану Александровну звали к телефону, все это проворачивалось в моем мозгу. Я стал сбивчиво и, пожалуй, несколько бестолково объяснять свой неожиданный интерес. Казалось, она не поверит или, еще хуже, заподозрит незнакомого в авантюризме. Мало ли самозванцев шатается по земле?!

Нет, ответила доброжелательно и просто: живопись Калужнина, его графика, сотни листов и холстов, все это действительно лежит у них. И если мне интересно, они с Юрием Исааковичем с удовольствием работы Василия Павловича покажут.

Правда, предупредила она, лучше быть в начале июля. К этому времени муж вернется из отпуска.

— Вы родственники Калужнина? — все же спросил я.

Она отчего-то засмеялась.

— Юрий Исаакович был знаком с Василием Павловичем, когда учился в Ленинграде, остальное — детектив...— И, помолчав, сказала: — Приезжайте, Юрий Исаакович любит все сам.

Разговор прервался. Я не решился набирать Мурманск во второй раз.

...Самолет приближался к столице Заполярья. Несколько минут назад я разглядывал в иллюминатор снежные вершины Хибин, невысокий горный хребет — в Кировске и Апатитах не раз бывал раньше,— теперь ждал появления Мурманска, туда я летел впервые.

Встреча назначена на двадцать один час. Я понимал, как нудно будет тянуться незаполненный день в Мурманске, но оспаривать столь позднее приглашение Анкудинова не посмел. Скитался по городу, по магазинам, музей был на долгом ремонте, в кинотеатрах шла всякая ерунда, смотреть пустяковое казалось еще более невыносимым.

Наконец, время!

Знакомимся, говорим друг другу положенное. Но мой интерес за пределами этих формальных любезностей. Взгляд останавливается на слабом холсте, мне трудно скрыть свое разочарование.

— Калужнин? — с тревогой спрашиваю у хозяина.

— Нет, это мои студенческие работы,— успокаивает Анкудинов.

Не хочу притворяться. Вытираю со лба пот. Улыбаюсь. Я искренне говорю:

— Очень мило!

Работы внезапно обретают нормальный студенческий масштаб.

Входим в комнату. Солнце шпарит с такой пронзительной силой, точно теперь не двадцать один час, не девять вечера, а полдень.

Обвожу взглядом стены и сразу же узнаю *его* уголь. Гляжу на обнаженную модель — вихрь, головокружение, счастье,— вот ощущение, которое испытываю. Уголь светится, играет на солнце, бархатные волны струятся от листа ко мне, вызывают ощущение пульсирования, нечто вроде живого дыхания. Я стою, зачарованный молодой женской красотой, тугим, налитым недюжинной силой телом, и бормочу благодарное, восторженное, не понимая, чем вызываю у хозяев смех.

На кого он похож?! Кто из больших мастеров мог так?! Василий Чекрыгин? Да, юный гений Чекрыгин с его «глубинным пространством, заполненным не объемами, а полупрозрачной массой светотени, мерцающей и неуловимой».

Но у Чекрыгина мистическая таинственность, а здесь здоровая открытость и сила. Рай, но не ад, не разрушение, а созидание, гармония и совершенство. Нет, он иной, мой художник.

Не могу сказать, отчего вспоминаю как притчу подлинный случай.

...Была именитая, старая и больная писательница Н. Гасла ее плоть, старость сломала тело, но честолюбие оставалось прежним.

Всю оставшуюся энергию Н. тратила на чтение книг своих бывших учеников. Когда-то именно Она помогала советом, писала в издательства рекомендательные письма, но теперь, когда стала дряхла, вдруг почувствовала в их успехах совершающуюся несправедливость. Как же! Она уходила в небытие, тогда как молодые продолжали набирать силу.

Каждое утро Секретарь вывозил Н. в инвалидной коляске под тенистое дерево, открывал новую книгу бывшего ученика и читал вслух повесть или рассказ. Старых писателей Н. не желала слушать, сверстники перестали ее интересовать.

В тот раз Секретарь читал Н. рукопись Молодого, о котором критики теперь писали как о наиболее перспективном.

Н. нервно постукивала костяшкой пальца по ручке коляски, пока секретарь переворачивал страницу за страницей. Здоровый ее глаз был широко открыт, хищно поблескивал, больное веко приспущено, от искривленного перенесенным мозговым «ударом» лица сквозило презрение,— так, по крайней мере, казалось.

От главы к главе интерес Н. явно слаб. Секретарю даже померещилось, что Н. засыпает. Он замолчал, но Н. властно подняла руку и секретарь снова начал читать, повышая голос,— в конце-то концов, ему платили за эти читки.

Н. что-то внезапно сказала, секретарь не понял. Он поднял голову и увидел, как по ее больным губам бежит, змеится улыбка.

— Хватит! — повторила она. И он с ужасом осознал: Н. хохочет. Ее старое тело медленно колыхалось.

— Что случилось? — испуганно спросил секретарь, тревожась, что Н. недовольна его работой.— Я не так произнес слово?

— Так, все так! — сказала Н. счастливо и ядовито.— Больше никогда его не читайте! Он мне не конкурент.

— Чушь! Ерунда,— кричал тихий Фаустов, услышав историю, тогда еще не ставшую притчей.— У писателя, у музыканта, у художника никогда, ни в каком слу-

чае не может быть конкурентов! Я индивидуальность! — говорит он.— Я неповторим, как и она неповторима! Только так должен мыслить человек искусства!

Так вот он, клад! Огромный архив Калужнина, сотни листов графики, холсты в руловах, холсты на подрамниках, картон и бумага, папки с неведомыми документами. Выходит, не зря я проделал свой путь, пролетел полторы тысячи километров.

Графика — дома у Анкудинова, холсты — в мастерской. Завтра я буду смотреть масло, сегодня — сангину, уголь, акварель, гуашь, пастель.

Первая папка тяжелая, я открываю ее и занимаю весь стол.

— Наверное, так дрожали руки у золотоискателей Клондайка,— говорю я хозяину «клада», и мы невольно смеемся: он — шутке, я — своему счастью.

Каждый лист в паспарту закрыт папиросной бумагой. Я поднимаю невесомый листок с осторожностью, трепетно. Красота действует как укол, вызывает боль, прав был человек, сказавший такое.

Теперь, полярной ночью, освещенной ярким солнцем, я гляжу и гляжу, приближая и отстраняя листы,— богатство души неведомого миру мастера, его удивительные натюрморты, жанровые сцены, пейзажи, балет и цирк, танцовщиц и наездниц, патурщиков и натурщиц. В одиночестве, почти в изоляции, при полном неприятии, глухоте и слепоте окружающих работал Калужнин, одухотворяя кистью, карандашом или пером любой предмет, щедро обласкивая его чувством.

Признания не было, это я знал. Но что же тогда поддерживало его в работе, кроме любви к миру, к жизни? А может, достаточно любви? Ему, по крайней мере, было достаточно...

Крупный, седеющий Анкудинов, потомок поморов, с улыбкой поглядывал на меня. Время перевалило за полночь, а мы не приблизились и к половине работ.

Я устал, очень устал за бесконечный день в Мурманске. Отодвигаю папку графики и делаю передышку, чтобы услышать историю жизни пока неведомого миру Мастера.

—...Мария Павловна Калужнина, сестра Василия Павловича, и Лева — Лев Аркадьевич — ее сын, выехали из России в двадцатые годы «на лечение»,— начинает Юрий Исаакович.— Поселились в Париже, но советское подданство не теряли, все надеялись вернуться, но, как бывает, многое этому мешало... Жизнь Марии Павловны складывалась трудно, с мужем разошлась, Лева учился в Эколь Нормаль, затем поступил в Сорбонну на математический факультет, кончил перед самой войной, в тридцать девятом. Пока Лева учился, мысль о возвращении все откладывалась. И куда теперь было ехать? В Ленинграде, правда, жил брат Вася, художник, человек, можно сказать, богемный, без семьи, Мария Павловна серьезно к нему не относилась, считала неудачником, на Васину поддержку, несмотря на его порядочность, рассчитывать не приходилось. Впрочем, что они там, в Париже, знали о Васиной жизни?! Уже в тридцатые переписка прекратилась, слухи из России ползли разные, никто теперь точно не знал, жив ли Вася. Рассказывали об арестах, а Вася и всегда-то был неудачник, с ним могло произойти что угодно... В тридцать девятом в Париж вошли немцы. И Лева, только что кончивший блестяще Сорбонну, в том же году был схвачен фашистами и отвезен в концентрационный лагерь в Компьене.

Позднее Василий Павлович говорил, что, видимо, склонность к созерцанию у них качество семейное. Но если художник не может рисовать, не любя изображаемого, и в этом смысле живопись — самое любящее из искусств, а созерцание живописца — процесс активный, то для ученого созерцание — процесс внутренний, в некотором смысле процесс пассивный. Поэтому теоретик может созерцать сколько угодно и где угодно, даже если это Компьен.

Так было с Львом.

Арестованный и заключенный в концлагерь, он, выходя с киркой и лопатой на строительные работы, мысленно анализирует формулы, и в конце концов открывает алгебраическую теорему. Кирка и песок заменяют ему карандаш и бумагу.

В 1945 году, снова в Сорбонне, молодой ученый Лев Аркадьевич Калужнин с блеском защищает докторскую, а в науку входит теорема Калужнина, возможно, единственная в истории человечества теорема, доказанная в застенках.

В 1953 году Мария Павловна и Лев Аркадьевич обращаются к правительству СССР с просьбой разрешить им, подданным страны, вернуться домой.

Местом жизни определяется Киев.

В этом же году Лев Аркадьевич получает должность заведующего кафедрой математики.

Что касается похорон Василия Павловича, то соседи не совсем ошиблись. Лев Аркадьевич действительно хоронил дядю, но приезжал к нему уже не из Парижа, а из Киева. Мария Павловна приехать не смогла, она чувствовала себя худо.

А еще через четыре года, в 1971-м, умирает и Мария Павловна.

Мне сейчас уже не восстановить точную канву рассказа Анкудинова, была ночь, и на фоне новых и новых листов Калужнина то и дело обрывался и набирал силу поток казалось бы угасших воспоминаний.

Анкудинов тасовал время. И мы то оказывались в зловещем «тридцать седьмом», когда Калужнина исключили из Союза художников, то в начале пятидесятых, в период небольшой удачи Василия Павловича, приехавшего из Ленинграда в Мурманск с большим и вроде выгодным договором.

— Тогда мы и познакомились,— говорил Юрий Исаакович.— Я услышал, что в Мурманск приехал художник из Ленинграда, и решил показать ему свои рисунки. Он посмотрел и сказал, что мне нужно учиться, дал свой адрес. Так и началась наша дружба.

Улыбнулся, сверкнул глазами, сказал с явной усмешкой:

— А через пару лет, уже будучи ленинградским студентом, я приходил к Василию Павловичу на Литейный и с чувством студенческого всезнайства смотрел его новые работы, что-то, казалось, у него не так получалось, как учили нас, и я делал ему замечания, невольно объяснил, как *надо*. Он слушал с уважением, вроде бы соглашался, но делал по-своему.

— Не обижался?

— Что вы! — И, подумав, прибавил: — Иногда случалось, что я вроде бы попадал в точку его сомнений. Прихожу, а Василий Павлович заново ту же картину пишет; переделывать, переписывать он любил, пытался ставить перед собой максимально сложные задачи, возможно, мои замечания и его сомнения в себе иногда совпадали.

Мы уже пригляделись друг к другу, и теперь разговор тек спокойно, появилось доверие, что помогает осмыслению рассказа: многое для меня оставалось неясным.

— Выходит, Василий Павлович ценил ваше юношеское расположение.

— Бесспорно! — подтвердил Анкудинов.— Он был очень одиноким человеком, а мы — семья. Ходили к нему все — и сестра Галина, и ее муж Павел, и моя жена... Но Владимир Васильевич Калинин...— Я кивнул, дал понять, что кое-что о нем знаю,— стоял для него особняком, это был не только друг, но и искусствовед, единомышленник, равный партнер-советчик... Сколько я помню, Калинин всегда хотел помочь Калужнину, добивался, чтобы «мэтры застоя» поглядели его работы. А однажды, после такой договоренности, мы с шурином упаковали работы Калужнина и сами отнесли в ЛОСХ. Василий Павлович многое возлагал на показ, надеялся, что его оценят, поймут допущенную когда-то ими ошибку, восстановят его в Союзе художников... Ждал он спокойно и, можно сказать, терпеливо. Бывало, даже уговаривал нас, чтобы не очень-то мы уповали на время. Он всех понимал, мог объяснить поведение власть имущих: «У них столько просьб! — говорил он.— Это же очень занятые люди!»

Я не удержался:

— Конец «выставочной» эпопеи был, вероятно, предопределен?

— Можно сказать и так,— вздохнул Анкудинов.— Работы нераспакованными мы сами забрали из ЛОСХа. Как я завязал, так и возвратили. Они и взглянуть их не удосужились! — Он спросил: — А в Ленинграде вы спрашивали о Василии Павловиче?

Я ответил, что спрашивал многих, но большинство о нем не слыхало. Правда, были и те, кто отзывался с иронией или даже со злостью.

Он подтвердил:

— Да, было и такое! — И прибавил: — Особенно Василия Павловича убивало, когда художники-профессионалы называли его работы мазней. Он терялся от хамства, от отсутствия художественной культуры, становился незащищенным.

Я невольно вспомнил бывшего начальника радиокомитета. Он учил редакторов, угрожающе покачивая пальцем:

— Дискутировать будете только по решенным вопросам!

Анкудинов положил на стол новую папку, сам развязал тесемки: в этот раз передо мной грудой лежали не рисунки, не уголь, а аккуратно сложенные бумаги.

— Вот,— предложил он,— поглядите, поройтесь. Тут многое для вас окажется любопытным... Есть даже инвентарные номера закупленных у Калужнина работ Третьяковской галереей в 1928 году. Кстати, справка из Третьяковки оказалась для Василия Павловича единственным документом, при помощи которой он попытался защитить себя, восстановиться в Союзе художников после войны. Не удалось. Как не удавалось ему оформить вовремя пенсию. Семьдесят исполнялось, потом семьдесят пять, лежали многие сотни холстов и графики, а стажа нет. Исключен в 1937 году, значит, нигде не работал.

Я невольно спросил:

— Но за что же его исключили?

Юрий Исаакович пожал плечами.

— Исключали многих. У него была сложная живопись и, для тех времен, смешно говорить, излишне высокая культура. Но кроме того, может быть, сыграла роль и графа в анкете «родственники за границей»?

— Но они же вернулись!

— Да, позднее. Василий Павлович рассказывал, что его вызвали в управление внутренних дел, поздравили, что родственники — сестра и племянник — возвращаются из Франции, что племянник участвовал в Сопротивлении, был арестован фашистами, находился в концлагере, и что дядя может гордиться такими людьми. Это было большой радостью для Калужнина, но — увы — дальше ничего не изменилось.

Анкудинов прошелся по комнате, постоил у окна, раскачиваясь, перемещая большую свою фигуру с носка на пятки, видимо, о чем-то размышляя.

— В шестидесятом Калужнину исполнилось семьдесят, это был нищий, страдающий, несчастный человек.

Легкий ветерок хлынул с улицы, растянул занавеску, как флаг, слегка потревожил калужнинские бумаги на столе, словно бы пересчитал редкие и такие бесценные для меня документы.

— Как это у Пастернака, не помните? — спросил Анкудинов и сам начал строфу: — Не спи, не спи, художник...

Я продолжил:

—...Не предавайся сну,
Ты — вечности заложник,
У времени в плену.

Ушел я от Юрия Исааковича под утро, так и не спросив, как оказались картины Калужнина в Мурманске. Под мышкой у меня была папка Калужнина с его документами и письмами.

Поднявшись в номер, залитый негаснувшим мурманским солнцем, я так и не лег спать, а нетерпеливо распустил тесемки и стал читать бумаги одну за другой. Сверху было несколько квитанций на сумму тридцать рублей каждая — помощь от племянника из Киева. Затем письма — одно явно положенное позднее, было адресовано Анкудинову. Писал Лев Аркадьевич Калужнин:

«Добрый день, Юрий Исаакович!

...Со слов мамы сообщаю Вам очень краткие и приблизительные сведения биографического характера о Василии Павловиче (они, может быть, вам будут полезны): Родился в 1890 году. Раннее детство провел в Тамбовской губернии, в селе Бондари.

С 1903 года по 1907 год жил в Саратове у старшего брата.

С 1907 года Калужнин в Москве, до 1911 года работает в аптеке, затем поступает к Мешкову, учится живописи до 1917 года.

С 1918 года жил в Твери, а с 1921 (или с 1922 года) живет в Ленинграде на Литейном.

Держите меня, пожалуйста, в курсе дела относительно вопросов могилы Василия Павловича. Сделал ли могильщик ту работу, которую обещал?

Вот, кажется и все.

Желаю вам всего самого лучшего.

Ваш Лев Калужнин.

8 августа 1967 года».

Под письмом оказался заколотый скрепкой, сложенный вчетверо листок, осьмушка. Дата внизу: тысяча девятьсот сорок три.

Долго разглядывал я стершиеся на сгибах фразы, пока не прочитал весь приказ военного времени.

Подпись директора средней художественной школы была напечатана на машинке — Я. К. Шидловский,— а левее сохранился короткий росчерк его пера.

«Прошу вашего разрешения о повышении индивидуальной ставки В. П. Калужнину до 15 рублей,— обращался он к вышестоящему начальству.— Тов. Калужнин зарекомендовал себя как талантливый преподаватель, группы его учеников имеют явный успех благодаря работе, которую он проводит с ними. Т. Калужнину установлена ставка 12 рублей».

Неведомо почему вспыхнул в памяти рассказ о Василии Павловиче, короткий, может, и нужный штришок к его несовершенному портрету.

— Запомнил пустячок, случай,— сказал художник Юрий Ершов, ученик одного с Мещениновой класса.— Выставили мы в конце года свои рисунки. Группы других педагогов — это такое добротное оптимистическое ученичество: много цветов, солнечные полудетские пейзажи. А мы, наша группа, сплошь черное, уголь, карандаш, сложные многофигурные композиции, ощущение серьезного мастерства. Все стоят против своих работ, ждут комиссию. Входит Василий Павлович. Оглядывается. Видит работы чужих групп, потом своих. Взгляд его застывает, некий ужас вырастает в глазах, страх, паника! Теперь-то я понимаю, что он пережил. Скажут, упадничество, назовут мракобесом, изобретут «изм». И тут он бросается к нам и жутким, непонятным ребятам шепотом произносит: «Защитите меня, защитите!»

...В июле шестьдесят седьмого Анкудинов прилетел из Мурманска в Ленинград, в отпуск, и попал... на похороны Калужнина.

Провожающих было несколько: Калинин, единственный друг художника, Лев Аркадьевич Калужнин, племянник из Киева, племянница из Саратова, да они, семья Анкудиновых: Галина, Павел и он, Юрий.

Гроб свезли на кладбище в Парголово, в тишине простучали лопаты, затем гулко ударились о дерево несколько комьев глины...

Юрий Исаакович зарисовал могилу, пометил в записной книжке последний калужнинский адрес: «Тридцать девятый квартал, десятый ряд, могила одиннадцатая».

Перед возвращением Льва Аркадьевича в Киев снова собрались, чтобы решить дальнейшую судьбу картин Василия Павловича.

Оказалось, Калужнины, сестра Василия Павловича и племянник, на картины не претендуют, да и где им хранить такие скопления живописи?!

Калинин больше всего боялся за живопись, до фанатизма верил в дальнейшую ее судьбу, утверждал, что время искусства Василия Павловича не за горами, о нем заговорят, его работами будут гордиться. Было не очень ловко все это слушать, жизни Калужнина не хватило для самого скромного признания, что же говорить теперь, когда художника не стало?!

Паковал и связывал работы Юрий. Он так затягивал связки подрамников, такие вязал узлы на рулонах и папках, точно хотел, чтобы никто никогда их уже развязать не смог.

На следующий день вся живопись и графика были перенесены в училище имени Мухиной, сложены в простенке студенческого музея, так и оставалось все это здесь еще девять последующих лет.

Через несколько дней Лев Аркадьевич Калужнин улетел в Киев, а Юрий Исаакович Анкудинов — в Мурманск.

Почему же картины оказались у Анкудинова? Этого я не знал, не мог ответить себе той июльской ночью, но у меня впереди было еще несколько дней...

А дело оказалось нехитрое.

Владимир Васильевич Калинин умер через девять лет после смерти своего друга, случилось это в 1976 году.

Новый директор музея, отставник, политработник, начал свою службу с осмотра вверенного ему учреждения. Отметил беспорядок в простенке, скопление какого-то хлама в виде ящиков, рулонов и папок,— все это, по словам старожилов, принадлежало художнику, другу предыдущего директора. Но кто тот художник, ни один сотрудник толком объяснить не мог. Высказывали недостоверные байки, из которых только одна оказалась достойной внимания: художник тот не был членом Союза, скорее всего любитель, которого, правда, ценил покойный.

Вспоминали, что к Владимиру Васильевичу Калинину чуть ли не ежедневно приходил тихий, интеллигентнейший человек. Одежда на человеке была ветхой, истершаяся донельзя, брюки бахромились, коленки вздувались от долгой носки, дыры не латаны, а прошиты иголкой.

Умер художник лет десять назад, с тех пор здесь так и лежали ящики, захламляли пространство. Каким только музеям Владимир Васильевич живопись не предлагал, но искусствоведы даже смотреть отказывались, не хотели возиться.

Вопрос был поставлен ребром: порядок ли это?! И ответ — беспорядок!

А раз так, то работы надлежало убрать, помещение *студенческого* музея очистить, а уж куда деть картины — это дело не наше.

Решение дирекции нашло полную поддержку среди уборщиц, а уборщицы, а концето концов, глас народа.

Но опять не так-то все просто даже в период застоя и самой ограниченной демократии. Лаборанты не поддержали уборщиц. Что ни говорите, убеждали они, но музей хоть и студенческий, но все же храм искусства, поэтому негоже в музее так свирепо обходиться с любым живописным наследием.

Был у покойного художника племянник, об этом кому-то рассказывал Калинин, вот и нужно поискать родственника, попытаться вернуть наследство.

Пересмотрели папки, перебрали листки документов и вдруг нашли неведомый адрес с фамилией Анкудинов. Решили — вот он!

Текста не сохранилось, однако смысл депеши Юрий Исаакович хорошо запомнил: «Музей училища не имеет возможности хранить картины Калужнина, категорически просим забрать. В случае отказа музей вынужден освободить помещение от не принадлежащего ему имущества».

Как предполагалось осуществить такое «освобождение», конечно, не написали, но способов имелось не так уж много: или вынести к мусорным бакам, или спалить.

Одно обычное утро для Юрия Исааковича Анкудинова началось как в сказке. В дверях раздался звонок — оказалось, почта.

Юрий Исаакович расписался в получении телеграммы, надорвал склейку не без недоумения и прочитал совершенно неожиданное: училище требовало от него срочно забрать работы Калужнина.

Первое, что Анкудинову пришло на ум: предложить картины мурманской галерее. В пятидесятые годы Калужнин работал в Мурманске по договору, Юрий Исаакович помнил несколько очень хороших северных пейзажей.

По логике должны были они такую живопись взять, музей бедноватый, а эти работы могли бы украсить любую экспозицию, тем более живопись поступала бесплатно.

И Юрий Исакович пошел в местную дирекцию.

Оказалось, что именно в эти дни из Мурманска в Ленинград отправлялась искусствовед, сотрудник, ей и было поручено ознакомиться с наследием. Вылетел в Ленинград и Анкудинов: он понимал, что если Мурманск захочет взять живописные работы Василия Павловича, то им потребуются рабочие руки, а он, Анкудинов, такие руки имел.

Говорнт, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Искусствовед — не частное лицо, а представительница государственного учреждения, и как представительница она просто так, по собственному чутью действовать опасалась, решила обзавестись рекомендациями и мнениями руководства Союза художников в Ленинграде.

Конечно, искусствовед — это профессия, предполагающая человека, способного сложить собственное мнение о предмете искусства, но искусствовед думала так: мне, скажем, понравится, а кому-то в Мурманске не понравится, голову снимать станут тому, кто брал. Значит, лучше вообще живопись не смотреть, а сразу направляться в Ленинградское отделение Союза художников и уже их мнение «пришить к делу».

В Союзе руками развели. Кто такой Калужнин — ни один толком не знал, кроме разве того, что в членах Союза не числился, а раз так, то считать его талантливым было бы несправедливо. Спрашивалось в задаче, стоило ли музею Мурманска брать работы доморощенного художника, когда столько членов Союза, включая и Секретариат, о своем полном собрании картин в музеях даже не помышляли.

Это и стало критерием. Искусствовед в училище имени Мухиной не пошла. Не захотела подвергаться соблазну, и раз уж они собирались нести холсты к мусорным бакам, то и мешать в этой тонкой акции она, искусствовед, им не станет. Не без образования люди, хорошее не выкинут.

Теперь для Юрия Исааковича оставалось одно: освобождать узурпированный Калининым, такой нужный уборщицам закуток между дверями закрытого навеки парадного входа в училище бывшего барона Штиглица. Дирекция поприветствовала действие мурманского художника как справедливое.

Вызвали грузотакси. В кузов занесли девять ящиков живописи, рулоны холстов, папки графики, документы.

На станции Московская-Товарная заполнили грузом целый контейнер и отправили малой скоростью в пункт назначения. А Юрий Исаакович Анкудинов стал наследником достояния, которое пролежало у него еще десять лет, доставляя радость и ему и его близким.

...Еще сутки в Мурманске,— три часа ночи. Я, может быть, единственный человек в городе, который так радуется ночному солнцу. Стою около окна, рассматриваю рисунки Калужнина, уголь и сангину, при дневном фактически свете. Каждый лист тут же рождает неодолимое желание посмотреть еще. Следующий. Затем — следующий...

Раскладываю наиболее сильные работы веером или один под другим, этакий пасьянс: пейзажи, портреты, балетные сцены, цирк, натура, жанр...

Долго не могу решиться, какой лист из этого пасьянса легче убрать, все жалко.

Очередной деревенский пейзаж кладу в центр. Опять уголь. Видимо, уголь в двадцатые — любимый материал Калужнина. Дат, правда, нет, немного, но кое-где есть, а дальше по манере, по стилю, по ощущению. Радуюсь, когда на обороте большого листа размашисто выведено: сентябрь двадцать пятого.

Иногда я словно теряю изображенное, не пойму с первого взгляда лист. Кажется, хаос, бессмыслица, штрихи.

Но спустя секунды хаос исчезает, обретает конкретную четкость, появляется объемность и глубина.

Мягкий пористый уголь рождает то самое черное свечение, загадочное, встречающееся у очень немногих мастеров. Как удается передать Калужнину сложную гамму бархатистого черного, нежнейшую переливчатость оттенков?!...

Впрочем, рисунки Калужнина — это не только цвет, но и композиционная закончепность, умение строить пространство, насыщать содержанием каждый сантиметр изображаемого.

Есть и еще качество. Бумага, на которой пишет мастер, весь материал сам становится цветом, живописью, «работает» на равных с сангиной или углем, полутона, оттенки, даже пустоты оказываются «говорящими» в пространстве рисунка, они включены в общую композицию, и значение их огромно, как огромно значение пауз в музыке Малера.

Не записанное, не тронутое кистью, карандашом или сангиной — это и есть воздух изображенного, световая протекающая среда, часть целого.

Деревеньки, сады, избушки, путник, бредущий по бесконечному полю к далекому и такому же одинокому домику, дьявольский омут, мерцающая серебристая чернота реки, взгорки, дремучие леса, чащи — все это разнообразие, увиденное мной и вчера и сегодня, давало уверенность, что я действительно нашел, открыл самобытный талант, крупное явление в искусстве.

По каждому рисунку, как по линии ладони, я пытаюсь разгадать неведомую жизнь художника. Я рассматриваю листы как знаки переживаний, следы его биографии. Какое же откровение принесут холсты Мастера завтра?!

Хозяева давно спят. Я, наконец, выхожу в коридор, нашариваю задвижку замка и прикрываю дверь анкудиновской квартиры.

На этот раз я уснул сразу. Приснился мне странный портрет. Застывший, заостренный профиль, поворот чем-то знакомого лица.

Сознание было пассивным. Требовалось усилие, чтобы вспомнить. Но проснуться я не мог, не получалось.

Где же я видел этого человека? Встречались? Разговаривали?

Черный калужнинский лист подержал я перед уходом, портрет насторожил, но уже не было сил рассматривать и сравнивать дальше. Я закрыл папку и пошел к выходу, я сразу забыл этот лист. И теперь... лицо явилось ко мне во сне.

Наверное, тревога и безответность разбудили меня. Портрет не исчез. И вдруг догадка: Данте!

Да, конечно, это его величие, заостренная линия, тонкий абрис.

И тут же, как удар, другое имя — АХМАТОВА.

Нет мемуариста, который не вспоминал бы ее царственности. Я был у Ахматовой всего один раз, это случай, моя личная история. Но, мне кажется, есть точная фраза, услышанная на вечере ее памяти. И фраза была написана другом Фаустова, известным профессором, в письме к своему коллеге:

«А вечерами,— сообщал он,— на улицу выходит Ахматова, императрикс, превращая Комарово в Царское Село».

...В начале шестидесятых мы снимали веранду на втором этаже густонаселенного дачного дома в Комарове.

Я писал первую повесть, забросив, к неудовольствию близких, готовую медицинскую диссертацию, скрывая от сослуживцев свой неоправданный интерес.

Писатели жили неподалеку, в поселке, на литфондовских дачах и в Доме творчества, но их фамилии даже не доносились до меня, это был иной, далекий, неведомый мир.

В тот воскресный день, четвертого или пятого августа шестьдесят четвертого года, мы ждали гостей из города. Я встал пораньше и, пользуясь затишьем, вынес машинку к заветному пню.

Вокруг было тихо. И вдруг чья-то рука легла на мое плечо. Я обернулся. Рядом стоял отец, его лицо было тревожным. Он скороговоркой сказал, что около дачи его догнала машина, некий человек попросил отыскать врача.

— Что случилось? — удивленно спросил я.

Отец повернулся к дороге и крикнул высокому, неведомому человеку в белой рубашке:

— Ждите в машине, он сейчас! — И мне: — Заболела Ахматова!

Я взлетел на веранду, схватил фонендоскоп, шприц и коробку с ампулами, спрыгнул с крыльца. Мужчина распахнул дверцу «Волги», и мы повернули к литфондовским дачам, туда и через пару лет стану почти ежедневно приходить к Фаустову.

Люди толпились у забора, но дачу словно бы окружило молчание. Я вышел из машины, направился к крыльцу,— толпа расступилась.

Женщина в темном, точно послушница, молча повела меня в дом, в пятиметровую комнатушку с окном, и тут, на железной кровати с высоким изголовьем, я увидел бледнолицее величие — действительно императрицу, словно бы сошедшую с мирискуснических картин.

Кто-то подставил табуретку, я сел. И теперь все никак не решался взять царственную руку и посчитать пульс.

— Послушайте сердце, доктор,— подсказали шепотом.

Она глядела перед собой, не переводя взгляда.

— Все прошло,— сказала Ахматова.— И в ее твердом «прошло» был однозначный отказ от помощи.

Я пятился к дверям, охваченный волнением и восторгом. И уже оттуда, издалека, внезапно уловил, узнал в ее лице — абрис Данте.

— Спасибо! — вместо законного «до свидания», выдохнул я.

На следующий день Анкудинов не смог пойти со мной в мастерскую, поэтому намеченная встреча с «маслом» Калужнина, к великому моему огорчению, была перенесена еще на одно «завтра».

Но появилось другое: я унес в гостиницу новую папку с документами: каждая находка была благом, я так мало знал о своем герое.

Я развязал узелок, откинул крышку: сверху лежала фотокарточка Калужнина: красивое тонкое лицо в пенсне, ироничный взгляд, чуть растянутые губы, вьющиеся густые волосы.

Ниже, под портретом, опять четвертушка, бланк или даже старый рецепт, я сразу не понял. Хотел отложить как ненужное, но все же развернул и разгладил. И вдруг разобрал четыре сохранившиеся от заглавного слова буквы:

...КЕТА

Конечно, это была анкета! Жанр, над которым я издевался, считал бюрократическим, теперь показался мне даром богов!

Наконец, я мог воспользоваться не рассказами, малопроверяемыми байками о человеке, а его личным свидетельством.

Он сам давал кадровику, наделенному карательными функциями, верные сведения о самом себе. Почерк был его!

Калужнин Василий Павлович.
14 декабря 1890 года.
Село Бондари Кирсановского уезда Тамбовской области.
Из мещан.
Калужнин Павел Егорович, мещанин.
Гусева Анна Степановна, крестьянка.
Огородничество, бахчеводство.
Русский.
Холост.
Городская школа в Саратове. Первая гимназия в Москве (закончил экстерном).
Английским, немецким, французским.
Сестра с сыном в Париже. Выехали на лечение. Советская гражданка, проживающая за границей.
С 1937 года сведений о родственниках не имею.
В белой армии не служил.
Знакомых в иностранных миссиях не имею.
Снят с учета по болезни в 1943 году.
Беспартийный.
В других партиях до революции не состоял.
Лист обрывался.

Я разгладил листок, распрямил складки, повторил про себя — английский, французский, немецкий — не мало! — и вдруг подумал об археологе, который по черепкам и осколкам пытается восстановить и представить исчезнувшую цивилизацию.

Я тоже был археолог, и хотя мой объект не так удален в прошлое, но время основательно стерло его облик.

Нет, не стерло! Найден архив, картины, это самое главное!

Нить не оборвалась. Я все же возвращаю художника из забвения...

Еще одна фотография, твердый, пожелтевший картонный квадратик, не нынешний массовый ширпотреб, а нечто конкурентное искусству: виньетка, рамочка, золотой ободок.

Поворачиваю фотографию, пытаюсь прочесть надпись, сделанную Калужниным: «Вечер у... Нанелей (?!)» — фамилию не разобрать.

«Вечер у Напелей» — не лучше.

Нет, не понять у кого же вечер?!

Ниже четко: «Двадцать пять лет творческой деятельности Михаила Кузмина. 25 сентября 1925 года».

Разглядываю снимок. Большой групповой портрет. Четыре ряда позирующих фотографу,— типичный ракурс тех лет. Верхние стоят, средние сидят, нижние полулежат на ковре. Крайние слева и справа привалились на локти, вытянув ноги к кулисам ателье.

Теперь таких поз не встретишь, разве на экскурсиях у памятных мест, да и то там все сбиты в кучу, стоят в нетерпеливом ожидании, когда эксперимент фотографа кончится.

Кузмина легко узнаю — он в центре. Очень похож на известный портрет Сомова, с тем же зачесом и пробором-лысиной. Черный костюм, белый платочек в клапане, руки торжественно переплетены на груди. Как говорится, себе цену знает.

Кузмин словно мишень. Взгляды снимающихся с обеих сторон — на него. Любимец Фаустова, поэт-символист.

Книгу «Форель разбивает лед» Фаустов не только самозабвенно любил, но, что редко, даже не давал мне в руки, читал сам, закатывая глаза, наслаждаясь словом. Я знаю, Кузмин — это гениально, это рядом с Блоком и Ахматовой.

Фаустов, как Крез, он постоянно одаривал меня лучшими строками из Кузмина. Я уже помню не один отрывок.

...Никто не видел, как в театр вошла
И оказалась уж сидящей в ложе
Красавица, как полотно Брюллова.
Такие женщины живут в романах,
Встречаются они и на экране...
За них свершают кражи, преступленья,
Подкарауливают их кареты
И отравляются на чердаках.

Только теперь я заметил, что именно *такая* женщина стоит за Кузминым, точнее над Кузминым, явно разрушая цельность мишени. Спустя секунду начинаешь чувствовать, что и она — центр фотографии, иначе говоря, там два центра. И на эту женщину, совсем не меньше, чем на юбиляра, устремлены взгляды остальных.

Выходит, и на чужом юбилее женщина не жертвует первенством: она всюду первая. Да, это Ахматова!

Но странно другое, нет в портрете Ахматовой, среди столь разнообразного окружения, никакого вызова. Она смиренна. Голова чуть склонена, лицо худое, аскетичное, очень спокойное, знакомая по другим изображениям горизонтальная линия челки, неожиданное далекое эхо центральной фигуры рублевской «Троицы». Ритм невидимых «крил» поэтессы словно бы обнимает собранную группу.

Значит, тот вчерашний ее портрет у Калужнина не случаен! Видел, знал ее Василий Павлович, пытался рассказать людям что-то свое!

Я легко нахожу Калужнина. Вот он почти рядом с Анной Андреевной, через две фигуры, рассматривает свою будущую модель. Сам, как воробушек, остренький клювик, на клювике пенсне, взлохмаченный птячий хохолок. Чуть раньше я видел другой портрет Калужнина: спокойный, задумчивый чеховский интеллигент.

Но изображения меняются. Под групповым снимком лежит еще одна фотография — Василий Павлович в профиль: шляпа на затылке, задоринки в глазах, этакий «гуляка праздный», богема, «свободный художник».

Вот и выбери, каков он?! А она, Ахматова, какова?! Кто прав: фотограф, уловивший смирение, рублевскую святость, душевную гармоничность и уравновешенность, или живописец, осмелившийся смешать на своем портрете двух гениев — итальянского, времен Возрождения, и современницу?!

Смотрю и смотрю на групповой портрет, пытаюсь угадать остальные имена. Кто рядом? Нет, никого не могу узнать. Снимок молчит, не дает ответа.

Хорошо бы уговорить Анкудинова дать мне фотокарточку с собой, в Ленинград, там могут быть очевидцы и, кто знает, участники,— я опять уповаю на случай! Конечно, маловероятно, что и через шестьдесят лет живы, но кто знает, кто знает...

Чуда не происходило. Сколько ни показывал карточку, какие бы имена ни называлась, достоверности не было.

Неведомые миру Нанели, собравшие в таинственном доме такое значительное общество, из которого легко выделились Анна Ахматова и Михаил Кузмин, так и остались нераскрытыми.

Были Нолли, но это Москва, знакомые Блока, почему же они могли отмечать юбилей в Ленинграде?! Нет, и Нолли не подходили, тем более, что рукой Калужнина было выведено *Нанели.*

И вдруг молодой голос по телефону:

— Да вы буквой ошиблись! Не Нанели,— втолковывали мне.— А На-пе-ли!

Голос, видимо, ожидал моего радостного восклицания: — Да, как же, как же, все теперь ясно! — но и Напели ничего не прибавили.

— ?! — я что-то промычал неопределенное.

— На-пе-ли,— по слогам, как малограмотному, явно выделяя среднее «П», талдычил голос.— Это же Наппельбаумы. Ателье известнейшего фотографа в Ленинграде. Напели — сокращение, шутливый товарищеский код близких к семье людей.

Я ахнул! Конечно же, Напели — это семья Моисея Наппельбаума, как я сразу не сообразил?! Альбом его поразительных фотографий давно стоял на моей полке, он, Наппельбаум, как летописец, спешил зафиксировать для вечности всех наиболее заметных людей эпохи.

— Но главное,— ликовал голос,— в Ленинграде есть тот, кто снят на вашем портрете...

— Не может быть!

Человек расхохотался.

— Дочь фотографа, Ида Моисеевна Наппельбаум, она вас ждет. Я с ней разговаривал, Калужнина она хорошо помнит.— И он продиктовал номер телефона.

На следующий день я уже звонил в двери скромной квартирки на улице Рубинштейна.

Аккуратненькая старушка ввела меня в комнату и, устроившись поудобнее в кресле, попросила карточку. Я протянул. Она держала привычно, на вытянутой руке, чуть щуря глаза. Не удивилась, не вскрикнула, разве слегка улыбнулась, будто и не было для нее пробежавших шестидесяти с лишним лет.

— Это у нас,— кивнула.— И я здесь. Во втором ряду справа. Вот...

Положила фотографию на стол и показала мне, растерявшемуся, себя.

— Именно про эту карточку я и думала, когда рассказывал Миша.— Она назвала фамилию позвонившего молодого человека.— И знаете, что удивительно, у сестер и у меня этого варианта нет. Есть похожие. Отец любил делать много дублей. Менял людей местами. Снимал меньшими группами. Добивался исключительной выразительности.

Она опять принялась разглядывать группу.

— Надо же! Какая еще девочка! — вздохнула, видимо, о себе.— А сестра рядом, совсем ребенок.— Чуть придвинула стул, стала перечислять всех, застывших на долгие годы перед наппельбаумским «фотокором».— Николай Валерианович Баршев,— перечислила она, двигая палец по верхнему ряду.— Драматург и прозаик. О нем хорошо отзывался Горький. Баршева репрессировали в тридцать седьмом.— Было ощущение, что Ида Моисеевна видела этих людей вчера.— Павел Николаевич Лукницкий, друг Ахматовой, известный писатель. Наталья Николаевна Сурина, поэтесса, одна из авторов нашего сборника «Звучащая раковина»,— Ида Моисеевна вопросительно взглянула на меня, точно спрашивая, понимаю ли я, о каком сборнике идет речь и почему ею произнесено «наш сборник»? Не дождалась подтверждения, продолжила: — Последний в верхнем ряду Михаил Леонидович Лозинский.

Я закивал, Лозинский комментариев не требовал, он был значительной фигурой, а «Божественная комедия» в его переводе всегда стояла на моих книжных полках. Да и не только Данте! Его «Гамлета» я держал рядом с «Гамлетом» в переводе Пастернака.

Во втором ряду сидели Александра Ивановна Федорова, «подружка» Иды Моисеевны, библиотекарь. Следующим был Калужнин. «Ваш интерес»,— сказала она. За ним Александр Фроман, поэт, детский писатель, переводчик Фейхтвангера, Киплинга, Бараташвили, автор известной песни: «Далеко, далеко за морем», которую я всегда считал старинной народной.

— Есть и такая форма счастливой памяти,— вздохнула Ида Моисеевна,— если песня принимается людьми, то становится их собственностью, это замечательно!

Дальше Анна Андреевна Ахматова, режиссер Сергей Эрнестович Радлов, молодой Евгений Львович Шварц, впрочем, здесь все молодые, до старости им еще годы и годы, по крайней мере тем, кто пережил «тридцатые» и войну. Последними в этом ряду оказались Николай Чуковский, прозаик, сын Корнея Ивановича, и Зиновий Хацревин, писатель, погибший в Отечественную под Ленинградом.

Закончив ряд, Ида Моисеевна делала паузу, вздыхала,— каждое имя было из списка ее личных потерь.

Даже часть карточки, первая половина, перечисленные, названные и объясненные имена наполняли меня дополнительным уважением к Калужнину: он их знал, был с ними! Каждое лицо воспринималось как часть истории и культуры.

В нижнем ряду сидели сестры Иды Моисеевны: Лиля и Фредерика Наппельбаум, первая еще школьница, в будущем поэтесса и переводчица, живущая теперь в Москве, вторую же тогда поэт Константин Вагинов назвал «музой „Звучащей раковины"», так одарена она была.

При имени Вагинова, а тем более его портрета здесь, я вздрогнул, это был, как и Кузмин, один из самых любимых поэтов Фаустова, казалось, уже забытый, но в последние годы все чаще и чаще упоминаемый в поэтической среде, иногда в ряду гениальных, рядом с Хлебниковым.

Поэт-обереут, член «Объединения реального искусства», друг Николая Заболоцкого, Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Олейникова, поэтов выдающихся, погибших в уже недалеком «тридцать седьмом», сам же спасшийся от репрессий благодаря ранней своей смерти.

Не могу сказать, что я до конца понимал поэзию Вагинова, но пытался понять. Его книгу «Опыт соединения слов посредством ритма» я брал у Фаустова и полностью ее перепечатал. Было нечто необъяснимое, но притягательное в ней.

— За Вагинова не волнуюсь, он вернется в поэзию,— говорил Фаустов, откидывая голову и читая «Поэму квадратов»:

Да, я поэт трагической забавы,
А все же жизнь смертельно хороша!

Калужнин стоял над Вагиновым, на ряд выше.

— Вы знаете стихи Константина Константиновича? — не без удивления спросила Ида Моисеевна.

Я рассказал о Фаустове.

— Он бредил «обереутами»,— говорил я.— Последний роман Фаустова начинался эпиграфом из Вагинова: «К себе я требую внимания...»

Ида Моисеевна прикрыла глаза.

— Я изваянье, перехожу в разряд людей,— закончила она и вздохнула.— Мы все были рядом. Александр Введенский тоже здесь,— и она показала на человека, полулежащего на ковре...

Кстати, «обереу», само «Объединение», возникло как и общество «Круг художников» в 1926 году в Ленинграде, а в декларации, написанной Заболоцким в 1927 году, «Объединение» объявило себя «новым отрядом левого революционного искусства». Именно в эти годы Фаустов и разделял свои увлечения «обереутами» и «круговцами». По сути, группы выражали совершенно разные точки зрения на искусство, но тогда крайности не разделяли людей, а скорее увеличивали любопытство друг к другу.

Нет, список не кончался! За Вагиновым сидел Павел Михайлович Медведев, литературовед и критик, знаток Блока, друг Михаила Михайловича Бахтина, согласившийся, по просьбе Бахтина, выпустить после его ареста книгу под своим именем, но и Медведев был арестован и тоже расстрелян, сына его — Юрия Павловича — я хорошо знаю. Затем Анна Дмитриевна Радлова, переводчица и поэтесса, Кузмин, Всеволод Александрович Рождественский, наш современник, проживший, в отличие от своих товарищей, более спокойную и долгую жизнь, переживший многих с этой фотографии. Николай Клюев, друг Есенина, тоже трагически погибший в тридцать седьмом...

При упоминании о Есенине я невольно вспомнил рассказ о знакомстве Калужнина с Сергеем Александровичем. Клюев и артист Чернявский (на этой же карточке) были круга Есенина, как бы становились для меня косвенной уликой услышанной ранее версии.

За Клюевым вполоборота сидел Константин Федин, тогда «серапион», артист Антон Шварц, поэт и художник, член группы «13» Юрий Юркун, Юрочка, муж замечательной художницы и актрисы Ольги Николаевны Гильдебрант, акварели которой когда-то поразили Дюфи.

Юркун тоже погиб в тридцать седьмом.

Да, это было удивительное фото, сонм явленных дарований, среди которых находились несколько имен, помеченных гениальностью: Ахматова, Кузмин, Клюев, Шварц, Вагинов.

И рядом Василий Павлович Калужнин, неведомый, затерявшийся во времени живописец.

Я не решился сразу спросить о «Звучащей раковине», побоялся обнаружить невежество.

За месяц до нашей встречи в букинистическом магазине на Марата я держал сборник с этим названием, Вагинов был единственный из круга авторов, имя которого я тогда знал. Были там и Наппельбаумы, в частности — Ида Наппельбаум, но я представлял, что скоро с ней, поэтессой двадцатых, буду говорить в ее доме.

Но почему же сама Ида Моисеевна обошла подробности, словно бы не захотела касаться истории сборника, названного романтично и вызывающе «Звучащей раковиной»?

Ответ пришел через год.

В августе 1986 я ехал из Юрмалы в Ригу и перед электричкой купил в магазине только что вышедший «День поэзии». Самым интересным в сборнике (так мне показалось) были неопубликованные раньше страницы из «Чукоккалы», воспоминания Корнея Ивановича о Гумилеве.

Я принялся читать,— до Риги было не более получаса.

И вдруг то, о чем при встрече в Ленинграде не сказала, обошла молчанием Ида Моисеевна:

«Мне случалось бывать в том кружке молодых поэтов,— читал и у Чуковского,— которым руководил Гумилев. Кружок назывался „Звучащая раковина", собирался он в большой и холодной мансарде фотографа на Невском проспекте. Там, усевшись на коврах или на груде мехов, окруженный восторженно принимавшей его молодежью,— главным образом юными девушками, среди которых было несколько очень талантливых,— Гумилев авторитетно твердил об эстетических догмах, о законах поэзии, твердо установленных им, и в голосе его была повелительность».

Я сразу же вспомнил фотокарточку под стеклом моего письменного стола: ателье фотографа с названными коврами, на одном, с восточным орнаментом, полулежат в нижнем ряду несколько уже известных мне лиц.

Значит, «Звучащая раковина» — это детище Гумилева! Только фотокарточка снята через три года после его трагической гибели, но участники сборника сестры Наппельбаум, Сурина и Вагинов продолжают оставаться вместе.

Причастность Калужнина к группе словно бы тянула нить и к Николаю Степановичу,— выходит, Гумилев тоже мог быть здесь, с ними! Впрочем, «круги» от каждого имени расходились широко: жена Юркуна — Ольга Николаевна Гильдебрант-Арбенина была другом Мандельштама, ей посвятил он целый цикл стихотворений, среди которых есть любимое мной:

За то, что я руки твои не сумел удержать...

Впрочем, разве хуже другие, тоже посвященные Арбениной:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.

Все это было, было, было...

А Ольга Николаевна дожила до восьмидесятых, в день рождения Юрочки (так она называла Юркуна) открывала шкатулку и дарила ему, уже погибшему в тридцать седьмом, какой-нибудь пустячок, свой рисунок или стихотворение, все эти «подарки» однажды мне пришлось подержать в руках. Был в ее наследстве и альбом, в котором оставили свои стихи и Бенедикт Лившиц, и Николай Гумилев, и Константин Вагинов — это ей он посвятил «Поэму квадратов».

Разглядывая групповую фотографию, я услышу от Иды Моисеевны рассказ о литературных вечерах, так называемых «понедельниках» Наппельбаума, Напеля, по шутливому дружескому прозванию их многочисленных друзей.

Я опять перетасовал время. Я же в гостинице «Арктика» разглядываю неведомую фотокарточку, на которой, кроме Василия Павловича Калужнина, знакомы только два великих лица — Ахматова и Кузмин...

Нет, я не все получил от этого города. В 1951 году Калужнин приехал сюда, имея выгодный и редкий для себя госзаказ, который заключил с ним представитель Мурманского отделения ИЗО, назовем этого человека Александром Донатовым.

Калужнин членом Союза не был, и в договоре, лежащем тут же в папке, заключенным с НИВАГЭССТРОЕМ на создание панно в зале управления ГЭС, помимо Василия Павловича значилось еще одно неведомое имя — Ксенофонт Тимофеев.

К договору прилагались замечания по эскизам. От исполнителей требовалось «повысить общий вид зала», «устранить одну фигуру работающего», а в завершение был сделан вывод: «Принять эскиз без изменений с учетом показа и отражения в картине женского труда». Дальше была фраза, как бы подтверждающая качество исполнения: «Показаны люди как активные участники социалистического соревнования».

Интересно, что мурманский период в жизни Василия Павловича, кажется, был вроде бы наиболее благополучным: договор, работа,— о чем можно мечтать еще?! Именно в Мурманске ученица Калужнина Тоня Мещанинова — Антонина Антоновна — встретилась со своим учителем, и он повел ее в ресторан, кутили, пили шампанское, ели заливной палтус с лимоном.

Кстати, и раньше, в конце войны, педагог Калужнин бывал необыкновенно щедр со своими учениками, старался помочь талантливым, но нуждающимся, ребята это ценили, о том рассказ впереди.

Из очень немногих воспоминаний, приходящихся на это же «благополучное» для Василия Павловича время, особником стоит рассказ тоже ученицы Калужнина Ии Уженко.

Ия Александровна помнит Калужнина таким, каким он бывал с ней: веселым, возбужденно говорливым, влюбленным. Рассказы о трудной жизни Василия Павловича Ия Александровна воспринимает с удивлением, в ее памяти он остался иным.

Лицо Ии Александровны и теперь не потеряло прелести, угадывается в ней истинная красавица-белоснежка.

Помнит она, не забылось, как однажды Василий Павлович усадил ее в кресло, что стояло против окна, и, волнуясь, сделал предложение. Рассказывая это, Ия Александровна краснеет, стеснительность появляется в ее лице.

— Неужели он был в тебя влюблен?! — ахают бывшие «девочки», которые и теперь продолжают встречаться друг с другом, держит их рядом незабываемое блокадное прошлое.

— Я ему даже не ответила,— словно бы оправдываетси Ия Александровна.— Он мне казался стариком, это же так много, если после пятидесяти!

«Девочки», которым давно за шестьдесят, а одной за семьдесят, некоторое время сидят молча, потрясенные признанием.

Ну, что ж, как говорится, из песни слова не выкинешь, пусть в нашем повествовании сохраняется и такая страница. Может, в подтверждение сказанного стоит вспомнить и о находке Юрия Анкудинова: в архиве Калужнина, среди многих сохраняемых бумаг, были и ученические рисунки Ии Уженко. Только ее работы хранил Василий Павлович всю свою жизнь.

Вот что рассказала Ия Александровна:

— ...Не был Василий Павлович похож на окружающих нас людей. Это был человек с вдохновенной внешностью и необычайно приподнятым настроением. Небольшого роста, сухощавый, с красивой белоснежной шевелюрой, которая очень украшала его и делала его образ еще более поэтичным.

Ходил он всегда широко шагая, пригибая колени, в распахнутом демисезонном пальто хорошего покроя, шарф пышный, перекинутый через плечо. Зимой этот наряд дополняла зеленая велюровая шляпа. Руки всегда за спиной. Он не шел, а вышагивал.

Вспоминается посещение филармонии: Василий Павлович в черном длиннополом сюртуке старинного покроя, пышная белая голова откинута, он вызывал общее внимание своей незаурядностью, как бы пришел сюда из далекого прошлого вместе со звуками музыки.

Его внешний облик удивительно гармонировал с его характером, составлял одно целое. Он был человек необычайно скромный, деликатный, за себя постоять не умел. Никогда о себе не рассказывал, а если что и говорил, то как бы небрежно, между прочим, не заостряя внимания...

Был исключительно добр, благодарен и тактичен. Вот пример: иногда давал книги со словами:

— Прочтите сразу!

Начинала читать, и вдруг оказывалось, что между страницами вложены деньги.

Помогал он не только мне, но и Юре Ершову, тоже его ученику, теперь художнику, а ведь в это же время сам Василий Павлович имел очень скромные средства.

Жилище его было жилищем Василия Павловича и никого другого. Большая красивая комната, два окна, между которыми стояло большое зеркало в лепной раме. (Вот оно — «зергало», о котором рассказывал милиционер!) В окне разбитое стекло было заткнуто подушкой — это еще с блокады. Впрочем, такие неустройства не приводили его в уныние, наоборот, все это подавалось им как нечто забавное. Он любил очень милые курьезы и всегда с удовольствием и смехом о них рассказывал.

Посреди комнаты стоял мольберт, на нем иногда живопись, запомнилась беспредметная живописная масса, очень сложная по колориту. За мольбертом полкомнаты занимали холсты, очень много.

В комнате всегда острый запах красок.

Это была самая настоящая «богема» без признаков нищеты.

Часто заходил Владимир Калинин, он только окончил университет, очень почитал Василия Павловича. Горячие споры, беседы об искусстве, о художниках, все это весело, легко, остроумно, изящно.

Были частые посещения Эрмитажа, конечно, любимых французов: Сезанна, Дега, Матисса.

Сезанна он обожал, и мы часами говорили о его достоинствах. Василий Павлович обычно стремительно, большими широкими шагами, подходил к картине и так же стремительно и размашисто отбегал куда-то вбок, откидывая голову, и восхищенно обращал внимание на те или иные детали, восклицая при этом: «Как придумано!»

Имя Сезанна постоянно присутствовало и на уроках живописи. Эти уроки проходили на одном дыхании. С появлением Василия Павловича мы все преображались. Работали с удовольствием, равнодушных не было. Натюрморты ставились интересные, все шумно участвовали в постановке.

Василий Павлович, обходя учеников, комментировал: «Посмотрите, какое столоверчение!» или «Черное свечение!» или «Пишите сразу, с разбега!»

Мы не понимали всего, но действовали эти фразы на нас магически, и мы делали чудеса! Он умел вызывать подсознательные силы, таящиеся в нас.

Кто-то сказал, что он не дал нам школы, да, но он дал большее: зажег в нас вечную любовь к искусству. Он зажег в нас вечный огонь любви к прекрасному и передал нам свое восторженное преклонение перед великими творениями. Этого нам не дал ни один педагог, хотя и были они с академическим образованием, преподавали нам все, что полагается по программе. Но не вспоминались они потом.

А яркая личность Василия Павловича запала в души, и память о нем мы пронесли через всю жизнь.

Не скрою, «воспоминания» Ии Александровны Уженко были для меня полной неожиданностью, в некотором смысле «шоком». Мое построение разваливалось. Как же так, сколько было рассказано о бедственной, почти нищенской жизни Василия Павловича и вдруг... «черный длиннополый сюртук» маэстро, «гордая белая голова», «заливной палтус с лимоном» в мурманском ресторане, деньги, щедро раздариваемые бедным студентам...

Может, поступить так, как нередко, я знаю, поступают в науке будущие диссертанты: изъять смущающий факт?! Раз событие не укладывается в прокрустово ложе концепции — отрезать событие, не могло быть такого, не было, баста!

Но все же событие было...

Снова и снова обдумываю рассказы Мещаниновой и Уженко. Какие годы?

Походы в филармонию и в Эрмитаж, это после войны, год сорок восьмой — сорок девятый, а «заливной палтус»? Чуть позже, скорее всего пятидесятый год...

Прикидываю возраст: Калужнину к шестидесяти или уже шестьдесят, время пенсии. Значит, нужно искать пенсионные документы, обратиться в собес, может, именно в эти предпенсионные годы Василий Павлович где-то работал.

Звоню в Городской отдел социального обеспечения, оказывается, архива нет, «дела» хранятся в соответствующих районах. Набираю район, меня спокойно выслушивает инспектор, редкий в наше возбужденное время спокойный молодой голос.

— Заходите, поможем,— говорит она.

Я еще робок, жду возражений, не могу поверить, что в этот раз все просто.

— А когда?

— В любое время.

— Мне удобно сейчас.

— Приезжайте...

Несколько секунд я гляжу на гудящую трубку. Может, розыгрыш?!

Господи, какой невозможной кажется теперь любезность?! Готовы к услуге, не обругали. Мало того, я сам могу выбрать удобное для встречи время!

На улице хватаю такси и несусь на Петра Лаврова. Нет, не мистика, не обман. Девушка даже просит прощения, что не успела достать «дело» к моему приезду. Но это недолго. Вот стол, стул, лампа, сейчас она принесет.

Жду.

Картотека в соседней комнате, я слышу приближающиеся шаги. Беру картонную папку, благодарю и... мгновенная тревога охватывает меня.

Долго смотрю на титульный лист и ничего не понимаю. Что это?! Может, ошибка? Нет, адрес и фамилия — все верно...

Сверху на титуле крупным типографским набором:

ДЕЛО

персонального пенсионера республиканского значения Калужнина В. П.

Литейный 16 кв. 6

И ниже, от руки: умер 15 июля 1967 года.

Вот так так! Каким же образом Василий Павлович оказался пенсионером «персональным»?! Выходит, все рассказанное мной — двойная неправда. Не только не голодал, не бедствовал, но находился под привилегированным покровительством, был одарен усиленной пенсией, щедро поддержан государством?..

— Что-то не так? — спрашивает любезный голос.

Ах, милая девушка, не так, конечно, не так, как мне бы хотелось! Теперь я совсем не знаю, как быть с моим поиском, все предыдущее разваливалось, распадалось.

Видимо, я бледнею, по крайней мере, чувствую, как бусинки пота выступают на моем лбу.

— Это ваш родственник? Может, воды?..

— Нет, нет, спасибо...

Наконец, открываю первую страницу, вижу пожелтевшую за тридцать пробежавших лет справку.

Документ холодно извещает, что художнику Калужнину Василию Павловичу с первого января 1959 года (это даже не шестидесятый, а пятьдесят девятый год) назначается пенсия в двести пятьдесят (двадцать пять в новом исчислении) рублей в месяц.

Переворачиваю лист и обнаруживаю щедрую прибавку, помеченную первым января 1961 года — еще шесть рублей. Выходит, в семьдесят один год пенсия Василия Павловича достигла тридцати одного рубля.

Не знаю, могло ли хватить «персональной» на хлеб и воду?!

Девушка все еще с тревогой наблюдает за мной, я показываю ей документ.

— Нормально! — смеется она.— Был, видимо, кризис с обычными бланками, а «персональных» избыток. Вот он и попал в «персональные».

Выходит, и после смерти мое милосердное государство продолжало «шутить» со своим измученным гражданином.

Снова разглядываю обложку «Дела» и вдруг... внезапная ироническая мысль заставляет меня улыбнуться: «А что, если так и назвать книгу „Персональный пенсионер республиканского значения“».

И тут же сомнение: нет, не стоят. Ирония и сарказм для такой трагической жизни?!

Но как же период благополучия Калужнина? Чем объяснить честные воспоминания двух учениц Василия Павловича? Листаю страницы:

Ходатайство Художественного фонда СССР. Оказывается, «продолжительная, более тридцати лет, художественно-творческая, педагогическая и общественная деятельность Калужнина В. П. дает ему право на пенсию».

Рассматриваю еще лист и узнаю почерк Василия Павловича, это его «автобиография».

Бóльшая часть мне уже известна из найденной раньше анкеты, но теперь последовательно выстроена вся трудовая жизнь. Главное, послевоенные годы.

«С 1944 по 1946 годы,— перечисляет Калужнин,— я работал преподавателем ленинградского художественно-промышленного училища. С 1946 и по 1949 годы — преподаватель архитектурно-художественного ремесленного училища в Ленинграде. С 1950 года член Мурманского Союза советских художников».

Я улыбаюсь. Мягко говоря, Василий Павлович слегка набивает себе цену в глазах ленинградского собеса. Членом Мурманского союза художников он не был, так как, известно, он не был с 1937 года вообще членом Союза художников, и второе, в Мурманске в 1950 году просто не было никаких художников, это и помогло Василию Павловичу оказаться в Заполярье.

Впрочем, все это я расскажу дальше,— мне предстоит встреча с Донатовым.

Удовлетворен я другим: с 1944 года и по 1950 год Калужнин постоянно работает. Даже скромной педагогической зарплаты людям тех лет еще хватало и на входной билет в филармонию, и тем более — в Эрмитаж и, если уж кутить, то и на «палтус с лимоном» в городском ресторане...

Итак, не только из-за лирических воспоминаний направлялся я к Донатову. Интересовал меня «механизм», при помощи которого неизвестный художник Калужнин, не член Союза, оказался в далеком Заполярье, бросив вполне благополучную работу и заключил долгосрочный договор на достаточно выгодных, как нужно понимать, условиях.

Рассчитываю я и еще на одно обстоятельство: если договор был на два лица, то вдруг жив напарник, вот кто мог бы поведать недостающее!

Этим вопросом о договоре я, как почудилось, и сбил Донатова с его лирического повествования, заставил слегка насупиться, вспомнить подробности бывшего много лет назад одного исключительного обстоятельства.

...Мурманск после войны все еще стоял разрушенный, медленно съезжались на Север многочисленные вербованные переселенцы.

Тогда-то и появился здесь Донатов, энергичный, молодой, без законченного среднего образования, считающий себя художником.

Впрочем, на развалинах да на пепелище городским властям было не до донатовских документов, радовались, что есть в городе человек, владеющий кистью, значит, действительно художник, ему и поручили возглавить Союз в единственном пока лице.

Принял Донатов дела охотно, начались к нему обращения строящихся организаций, нужно было где-то искать помощи, не мог же он один заниматься декоративным оформлением огромного города. И поехал Донатов в послевоенный Ленинград, где знал он несколько художников, главным образом тех, с кем когда-то учился у Сукова.

Наиболее преуспевающим из них был Ксенофонт Тимофеев, с ним первым и решил встретиться Донатов. В Мурманск хотелось привезти настоящего живописца, тем более что предприятие, строящаяся НИВАГЭС, как говорится, за гонораром не стояло, щедрая должна быть оплата.

Хитрый Ксенофонт, хитрее некуда. И денег ему хочется, и работать не так-то рвется.

— А может, такое возможно? — вопрошает Ксенофонт.— Поеду не я, а другой человек, очень талантливый художник, только не член Союза. Сделает обмеры, эскизы, а разрабатывать будем вместе, получится договор на двоих, зато быстрее выполним.

— Мне главное, чтобы ты участвовал,— прикинул Донатов.

— Буду, не сомневайся,— пообещал Ксенофонт.

Вот так и появился в городе Василий Павлович — доверенное лицо члена Союза художников Тимофеева.

Встретил Донатов его на вокзале, предложил свой дом, гостю в квартире места хватит. Калужнин поблагодарил, отказываться было глупо. Так началась их дружба.

Работал Василий Павлович самозабвенно. Объем грандиозный, нужно расписать и стену и каскад.

Да и Донатову быть около Калужнина оказалось интересно, вот когда он как бы заново понял, что такое его незавершенное образование. Бывало, не получается у Донатова портрет, а Василий Павлович прикоснется кистью или покажет, где и как должна лежать тень, и работа преображается.

Эскизы на НИВАГЭС выполнялись быстро, принимались фактически без поправок. Донатов невольно становился помощником Калужнина. Василий Павлович ему и предложил участие, как ни крутись, а одному с заданием не справиться.

Сообщил о предложении Тимофееву.

И вдруг депеша «из центра»! «Требую отстранить Донатова от работы»,— не захотел Тимофеев делиться заработком.

— Вижу,— рассказывал Донатов,— ходит Василий Павлович грустный, а когда стал я выпытывать, что случилось, он и показал мне тимофеевскую телеграмму: «Не разрешаю участие!» Мы-то с Калужниным не члены Союза, выходит «единственный держатель акций» из нас — Ксенофонт.

Обиделся Донатов, заявил в сердцах Василию Павловичу:

— Как же так?! Ты же меня сам попросил о помощи, разве справедливо вы поступаете с Ксенофонтом?

Калужнин опустил глаза, не знает, что и ответить, но и ослушаться «благодетеля» не имеет права.

— Отказываю тебе от квартиры, да и от будущего договора, собирайся, Василий Павлович, так люди не поступают.

Сложил Калужнин свои вещички в старенький чемодан, стал прощаться.

Жалко его сделалось Донатову, ох, жалко! Но он хоть и обижен был, повел Василия Павловича на вокзал, не хотелось с ним по-плохому. Дошли до поезда, не разговаривали.

А перед тем, как подняться в вагон, уже держась за поручень, повернулся Калужнин,— взгляд печальный, Донатов и теперь этот взгляд не забыл,— сказал так, что каждое слово как гвоздь:

— А ведь я знал, Саша, чувствовал, что счастье мое будет коротким, опять останусь без средств.

И вошел в вагон.

Донатов за ним. Стоит рядом, а Василий Павлович уже снимает ботинки. Видит Донатов: совсем рваные они у него. Калужнин заметил удивленный взгляд, поджал ноги.

И вдруг понял Донатов, кабальные были условия у Калужнина, выжига почти все себе забирал, держал Василия Павловича за батрака. И как Калужнин ничего не имел, так и теперь ничего не имеет. Выскочил Донатов на перрон, помахал Василию Павловичу, простил обиду: не в Калужнине, выходит, дело.

Сложил Василий Павлович ладони рупором, крикнул в приоткрытое окно: «Не поминай лихом!»

А поезд уже двигается, набирает скорость. Так и расстались...

Закончил рассказ Донатов, повернулся к роялю, двинул в сердцах по басам. Дождался, когда успокоится звук, повернулся.

— За батрака держал его Ксенофонт. Знаете,— Донатов задумался,— я еще удивился, как он к зиме готовится, как чистые листочки прячет, картону радуется, как краски заворачивает, все в норку несет, будто ежик к зимовке. Очень боялся, что, оставшись без средств, не сможет работать. Еда не главное, можно и поголодать, ведь голодал страшно,— рассказывали, что в конце жизни научился не больше десяти копеек в день расходовать: хлеб, вода и капуста,— а вот без работы жить так и не научился.

Вернувшись в Ленинград, я стал разыскивать «работодателя» и сделал это без особенного труда. Время будто бы позаботилось обо мне, сохранив адрес Тимофеева.

Позвонил и — нате вам, Тимофеев! Торопливо начинаю объяснять суть, мол, все собираю о Калужнине. И хотя еще не слышу отказа, но отказ чувствую,— таким напряжением и недовольством веет от молчания неведомого человека.

— Стоит ли встречаться? — бурчит он.— Я же ничего не знаю...

Голос у Тимофеева глухой, тусклый, паузы между словами длинные; ничего обнадеживающего эти паузы не сулят.

Я настаиваю, убеждаю, что заинтересован в любых подробностях.

Наконец получаю согласие. Неохотное, со вздохом.

Откладывать нельзя — утром он передумает, поэтому уже через час подъезжаю к Сенной, останавливаюсь у парадной Ксенофонта Ивановича. Подбадриваю себя: «Вперед! С богом!..»

У дверей новые волнения: звоню — не открывают.

Может, ушел? Или спрятался в комнате. Понимает, минут пять простою — и уйду.

Звоню настойчивее.

Идет! Слышу медленные, тяжелые шаги и опять — тихо! Раздумывает. Наконец, кашель, потом вопрос:

— Кто?

— Это я к вам... О Калужнине...

По щелчкам отсчитываю количество запоров: четыре, пять. Последний — крючок, его Ксенофонт Иванович высаживает сильной ладонью. Крючок падает, тупо ударяясь о старинную дубовую дверь.

Первое впечатление: Собакевич.

Лицо широкое, медвежьи ухватки, шерсть на голых руках, нос расплющенный, глаза маленькие, остренькие, зелененькие с прищуром. Весь наготове: и куснуть может, и поласкаться.

— Проходите.— И тяжело в сторону.

Улавливаю нотку сомнения даже в этом любезном разрешении.

Честно признаюсь, квартиры художников — моя страсть, мое вечное удивление. У каждого свой беспорядок, свои причуды и «живописные» фокусы. Чего только я в этих квартирах не видел! Будды и старые самовары, крестьянские одеяла, сплетенные из цветных лент, нарезанных нижних рубашек, расстриженных кальсон и половиков, засушенные фрукты, причудливой формы керамика, скрипки без струн, а в одном доме, помню, корабельный штурвал и спасательные круги с именем парусника прошлого века.

Квартира Ксенофонта Ивановича поражает другим, для художника небывалым, тем самым, что в народе именуется одним выразительным словом:

— Хоромы!

Видимо, такого вскрика и ожидал от меня Ксенофонт Иванович, я перехватил его заинтересованный и одновременно гордый взгляд: «Вот как живем, милостивый государь!»

Последнее — «милостивый государь» — словно бы напросилось само собой, так как теперь меня обступило мебельное прошлое, начало девятнадцатого века, стиль ампир. Все было величественным и крупным: шкаф с резными фигурами, инкрустированный бронзовыми полосами, чрезвычайно «поместительный», как тогда говорили; диван красного дерева с головами то ли баранов, то ли горных козлов, стоящий на тяжелых лапах, будто раскормленная корова; бронзовое зеркало на стене; тяжелые бархатные шторы, защищающие от солнца мебельную драпировку.

По правую руку, в глубине, словно бы подчеркивая салонное назначение интерьера, стоял рояль, а перед ним, в углублении, будто вычерченном лекалом, возвышался красного дерева, как и вся мебель, старинный мольберт, с большой — до метра — картиной.

Из-за зашторенных окон и полутьмы я не сразу понял, что картина еще не картина, а подрамник с натянутым холстом. И что было на том холсте, от дверей не видел.

«Любопытно взглянуть?» — пронеслось в голове.

Я шагнул к мольберту и поразился: холст был расчерчен на квадраты — так начинают работы профессиональные копиисты.

— Что же вы собираетесь писать? — как можно наивнее спросил я.

— Айвазовского хотел скопировать «Вал девятый». Дочка просит для интерьера.

На рояле лежал бумажный виток репродукции. Впрочем, в комнате не было даже запаха красок, видимо, копия с копии замышлялась давно, да так и не была начата.

Он заметил мое внимание к окружающему, спросил осторожно:

— Мебелью увлекаетесь?

— Теоретически,— уклонился я.

— Для меня это страсть! Иногда расположусь на диване, а сам думаю, мог же на нем и Пушкин сидеть, и Лермонтов, сколько тогда было хороших семей в Петербурге? Единицы!

Умозаключение удивило, но я кивнул.

— Мог посидеть и Пушкин, верно.

— И Гоголь мог, вот ведь в чем дело!

— И Гоголь тоже,— успокоил я Ксенофонта Ивановича и внезапно задал вопрос в лоб: — А какие у вас сложились отношения с Калужниным? Договор, вроде, был заключен на двоих, а работать поехал в Мурманск только Василий Павлович?

Острые волчьи глазки ожгли меня, я себя полностью выдал.

— Вместе ездить — только деньги государственные переводить,— сказал он врастяжку, явно собираясь с мыслью.— Мы так и договаривались. Он подготавливает эскизы, я организую композицию, я ведь в композиции был сильнее Василия Павловича. Другое дело по части живописи, тут уж он и сам мог, считался мастером колорита...

— Колорист был великолепный,— согласился я,— но и композитор, мне показалось, он прекрасный. Холсты точно сформированы, продуманы, всегда совершенны...

Ксенофонт кивнул, точно и не было его предыдущей фразы.

— Да, художник, что говорить! — И засмеялся мелким, прыгающим смехом.— А был бы плохой, зачем его в соавторы брать? Смысла не вижу!

Бесспорно, нервы у Ксенофонта Ивановича были покрепче моих. Он откинулся на диване, сказал с восторгом:

— А какая была образованность! О французах часами мог — заслушаешься! Все знал, о чем ни спросишь! Конечно, его живопись для тех времен казалась трудной, но ведь не сдавался, не отступал, свое гнул Василий Павлович. А время какое было?! Упрямых не жаловало, давило свое, обязывало к послушанию.— Он словно располагался ко мне.— Разве нынешние молодые нас понимают?!

Мы все дальше и дальше отступали от темы, уходили безвозвратно в сторону. Ксенофонт Иванович продолжал свое:

— Высокий профессионал был! Работы показывать не любил. Случайно увижу какую вещь, предостерегу от неприятностей: «Всегда у тебя темно, Василий Палыч, пессимистично. Люди от художника оптимизма ждут, света, надежды». Вроде и согласится, а не исправит. Так и складывал холсты, подрамник к подрамнику, чуть ли не до потолка.

Подумал.

— Как человека, прямо скажу, его знали только с положительной стороны. На самостоятельную ногу он рано вышел. Еще в двадцатые был он членом «Круга художников». Поэты его уважали. Тихонов, например.

И вдруг обрадовался, вспомнил нечто.

— О художнике Сукове слыхали?

Я подтвердил: было забавно следить, куда движется мысль этого ловкого и неглупого человека.

— Мы у Сукова учились с Донатовым. «Женитьба для человека — это потеря для искусства!» — вот что говорил нам дядя Володя, такое было у него прозвание среди студентов. Бо-ольшой мастер! Так о чем я? Да, о Василии Павловиче. Как-то приходит к нему Суков, просит показать живопись. Калужнин, конечно, не отказывает, ставит холст за холстом, а Суков пыхтит, не комментирует. Часа три пропыхтел. Наконец поднялся и пошел к выходу.

Ксенофонт стрельнул взглядом, проверил, интересна ли байка? Потянул паузу.

— ...На другой день Василий Палыч подходит к окошку, а Литейный в ту осень копали, трубы прокладывали, внизу под окнами широченная траншея была с тонкой доской, на такую палочку толстенному человеку, каким был Владимир Всеволодович, и встать-то опасно, подломится. И видит Калужнин, что Суков глядит на доску, не знает, как по ней перейти к парадному. Ра-аз, едва не влетел в траншею. «Куда теперь-то пойдет? — подумал Калужнин.— Вчера у меня был. Вроде других художников в доме нет...» Видит, входит дядя Володя в парадное. Через минуту — звонит. Поздоровался хмуро, требует: «Показывай, Василий Павлович, еще живопись. Неужели действительно так хорошо или мне почудилось? Проверить себя пришел».

Тимофеев вздохнул, будто бы не Калужнина, а его пришел тогда проверять Владимир Всеволодович.

«Да! — сказал Суков после второго просмотра.— Ты настоящий большой художник! Я вчера не ошибся!»

История была замечательная.

— И все же, не могли бы вспомнить подробности,— снова попытался повернуть я разговор,— как вместе с Василием Павловичем трудились, в чем ваша заслуга, в чем — его?

Ксенофонт Иванович покашлял в кулак.

— Разве вспомнишь в мои-то годы! — словно бы пошутил он.— Вот могу прибавить еще, Василий Павлович музыку очень любил. Так и говорил о картинах: «Это музыкально, а то нет».

— Я о другом, как вы вместе? Всегда загадка...

— Конечно,— подтвердил Ксенофонт Иванович.— Без загадки нельзя. Загадка должна быть.

— Вот и попробуйте вспомнить.

Он вдруг произнес зло:

— Работали по-законному, по договору. Претензий друг к другу не было. Я понимал, с кем вступаю в соавторство,— интеллигентный человек, честный! И чтобы с его стороны обман, этого не могло, ни-ни!

Нет, ничего не скажет Тимофеев — надеяться нечего! Не мог же я спрашивать о его нечестности?!

Ксенофонт Иванович поглядывает на часы, дает понять о завершении аудиенции. Поднимается с тягостным вздохом, вроде длинного и обреченного старостью: о-хо-хо! Ведет меня к выходу.

Последний раз бросаю взгляд на подрамник, расчерченный на квадраты, и это не ускользает от Ксенофонта Ивановича.

— Нынешняя молодежь не ценит высоких сторон искусства,— говорит он,— а это классика! Вот Василий Павлович за что болел, за культуру. Мог часами читать лекции о пространстве в живописи, о поляризации цвета, а теперь кто знает?! Да никто, вот что скажу.

Ксенофонт Иванович набрасывает цепочку,— щель в двери уменьшается и из этой щели глядит на меня его хитрющий злой взгляд.

Ухнул крюк, щелкнула задвижка, разделила меня и Ксенофонта Ивановича на всю дальнейшую жизнь.

Я люблю перелистывать многочисленные толстые тетради моих дневников. То в одном месте, то в другом появляется неизменный Фаустов. Я наслаждаюсь его знаниями, его умом, пытаюсь заполнить бесконечные прорехи собственного образования.

Услыхав в телефонной трубке его голос, я сразу же пододвигаю чистый листок и сверху пишу: «Фаустов сказал», затем ставлю тире, обозначаю прямую речь.

Случается иное. Прибегаю домой с его новой оригинальной мыслью, мучаюсь, не могу точно воспроизвести, записать то, что казалось таким ясным час назад. Я страдаю от своей слабой памяти.

Фаустов в какие-то месяцы разных лет возникает почти на каждой странице дневника.

Вот и сейчас я не стану выискивать особо ценные его мысли,— все ценно. Я перелистаю тетрадь, одну из десятков, ответ в таких случаях возникает сам.

Фаустов сказал:

— Природа человека и приобретенное человеком от культуры совершенно разное. Чем природное, интуитивное значительнее, тем значительнее личность, значительнее писатель. Удивительно сильно интуитивное начало у Андрея Платонова...

Фаустов сказал:

— Гоголь! Вот от кого начинался Кафка!

Фаустов сказал:

— Расстроился. Был сердечный приступ. Умер Андрей Достоевский, внук Федора Михайловича. Прекрасный человек! Он всю жизнь посвятил делу. Бился за музей и наконец создал его.— Вздохнул горько: — Надо же! Защищать писателя, который после Шекспира самый великий!

Фаустов сказал:
— Между идеей и создателем должно быть нравственное единство.

Фаустов сказал:
— Вы пишете «как в жизни». А в искусстве художник обязан оторваться от жизни, довериться фантазии.

Фаустов сказал:
— Отчего некоторые крупные художники, скажем, Михаил Ларионов, черпают свой метод в примитивном искусстве? Да потому, что там они свободнее, дальше от оригинала. Свободен и ребенок, как гениальный художник.

Фаустов сказал:
— Живопись — вот что может воспитать вкус.

Фаустов сказал:
— Прочитал книгу Завадской «Восток на Западе», о дзен-буддизме. Ну какой же дзен-буддист Ван Гог, он слишком активен для дзена.— И вдруг обо мне: — По доброте своей вы могли бы стать дзен-буддистом, но вам мешает активность.

Фаустов сказал:
— Люди далеко не всегда современники. И не физическое, не историческое время здесь нужно понимать, а эмоционально-психологическое. Мы все не соответствуем времени: кто-то как бы живет на столетие раньше, а некто уже опередил сегодняшний день.— Задумался и признался: — Боюсь тех, кто полностью соответствует своему веку: это или прагматики или демагоги...

Фаустов сказал:
— Нравственная одаренность — это не менее редкое явление, чем талант.

Стеллажи в комнате Василия Павловича Калужнина все пополнялись и пополнялись живописью, шли годы, десятилетия, кончалась жизнь.

— Свободного пространства в его комнате уже не оставалось,— рассказывала Галина Исааковна Анкудинова.— Шкаф и кресло вплотную примыкали к стене. Спал Василий Павлович на раскладушке, которую расставлял в проходе, а все остальное занимали картины... Он кончал одну вещь и тут же начинал следующую. Торопился, словно его ждали заказы. Никакой личной жизни не было... да и друзей негусто: Калинин и мы, Анкудиновы.

Это уже о шестидесятых, когда пришла его старость и Василию Павловичу перевалило за семьдесят.

— В шестьдесят втором работала я начальником пионерлагеря в Пудости,— продолжала Галина Исааковна.— Очень мне хотелось поддержать Василия Павловича, подкормить его хоть немного, казался он ослабленным. Вот и пригласила к себе в пионерлагерь. Очень обрадовался Василий Павлович поездке, принял... как творческую командировку. «Мне давно хочется, Галочка, побыть на природе, в деревне, так нужны свежие впечатления! Да и с детьми побыть, поглядеть в их лица, поговорить, пообщаться!» В назначенный день приехал. Веселый, возбужденный, куда дети, туда и он, и в лес, и в поле. Много разговаривал, вопросы задавал, смеялся ответам, в восторг приходил от ребят. Но что меня поразило: не было с ним ни карандаша, ни бумаги. Мы ведь никогда раньше Василия Павловича без работы не видели, а тут только ходит, говорит, смотрит... «Это он приглядывается,— думаю.— Скоро начнет писать».

Помолчала.

— ...Ровно два дня жил так, на третий является, мнется, сказать не решается. Жду. «Уезжать пора, Галочка»,— вдруг заявляет. «Как уезжать?! Вы же дольше хотели, а так и трех дней не будет!» «Три дня, это немало! Не могу без работы. Сейчас, погляди, какое солнце, какой замечательный световой день! Не имеет права художник упускать это время. Для живописи такому солнцу цены нет».

Улыбнулась грустно, качнула головой.

— Как жил, передать трудно! Летом и осенью чуть полегче, зелень копеечная, а вот зимой ни тепла, ни еды. На руки бы вы его поглядели: красные от мороза, пальцы узловатые, бывало и капелька на посу. И все же каждый день с листом бумаги, а если холст или картон раздобудет, то стоит у мольберта, и уже счастлив, и уже больше ничего ему не требуется...

Появление у нас в конце пятидесятых героев Хемингуэя и Ремарка принесло с Запада и их характеристику «потерянное поколение».

Честно скажу, я не чувствовал сострадания к этим ребятам, я даже не понимал, в чем их беда, испытывал расположение к ним, даже тайное желание пожить такой же беззаботной жизнью, весело и легко, пострадать за любовь.

Бесспорно, потерянное поколение Калужнина было совсем иным. Их «теряли» иначе. Но как-то так получилось, что «карающий меч» НКВД ударил по другим головам, возможно, район выполнил месячную норму, и «черный ворон» не сделал очередного рейса, остался в гараже.

Калужнина всего лишь исключили из Союза. Что вменялось ему? В чем его обвиняли? В эстетизме? Или в преклонении перед Западом? А может, в пропаганде формалистических буржуазных «измов», к которым в равной мере относили и импрессионизм? Все это могло быть.

Любое отклонение в сторону рассматривалось, как и на этапах, вроде попытки к побегу, стрелять следовало без предупреждений.

Наиболее правильным в этой ситуации было исчезнуть. И Калужнин исчез. Нет, он не сбежал в сибирскую деревню или в самую далекую точку Казахстана, как сбежала семья моих знакомых после ареста отца и мужа, сподвижника Орджоникидзе, красного партизана, побег Калужнина был иным. Он заперся в собственной квартире и выходил из дома как можно реже, лучше всего вечерами, а еще лучше и вообще не выходил по несколько дней. Даже соседи не всегда понимали, где он: там, в его комнате, было тихо-тихо. Жизнь в норе без семьи, без средств, с минимумом трат на питание (о новой одежде он больше уже никогда не думал!) давала свои преимущества: Василий Павлович писал так, как считал нужным, как хотел, это и было его полной, невероятной свободой.

Позднее, когда я уже привезу в Ленинград его работы и устрою первую выставку, немолодая женщина на вернисаже станет рассказывать с волнением свои детские впечатления об этом человеке, узнав его в автопортрете.

— Да я же его хорошо помню! — ахнет она.— Маленький, в длинном пальто, ходил странной подпрыгивающей походкой,— вот так! — и женщина постарается показать его шаг.— Когда он появлялся на улице, мы, дети, оглядывались вслед, а частенько крались за ним, даже отваживались постоять рядом, пока он просматривал на стенде газеты. Мы знали, это художник, но что он рисует, никто никогда, конечно, не видел. Таинственной он был фигурой, а для меня — особенно. Я даже разные истории про него воображала, знаете, он был похож на моего отца, и я выдумала, что это папин брат, только по какой-то причине папа от брата своего отказался. Правда, папа был высокий, а художник — маленький. Помню его около Саперного, 13, страшный там дом с кариатидами; вижу, как художник подходит к дому, задирает голову и долго смотрит...

Да, наше «потерянное поколение» было иным, чем мальчики Хэма или Ремарка, наших теряли всерьез и надолго.

А между тем новые лидеры конца «тридцатых» процветали. Ордена сыпались, как из рога, премии, звания «народный», «член-корреспондент» и «академик» — все, что только могло ласкать слух и нести выгоду, отпускалось горстями. Власть новых была беспредельной, вернее, предел был определен собственной ступенькой, на следующий уровень разрешалось только смотреть, передвижение гарантировала исполнительность и послушность.

Бессменный многие годы лосховский держиморда Владимир Серов мог накормить и уничтожить, поднять и бросить. Однажды забывший свое место Калужнин был своеобразно наказан, но об этом дальше.

А пока «в буднях великих строек», под марш Дунаевского и в жизни и в искусстве шли мимо правительственных трибун физкультурники и физкультурницы в разноцветных футболках. Энтузиазм, победа, счастье — единственно возможная тема, все остальное эстетство, искусство для искусства, предмет сменяющих друг друга правительственных постановлений, утверждение единственно законного мнения единственного Человека, вождя всех веков и народов.

Новые учебники директивно уточняли исторические сюжеты. Художник был обязан четко следовать за новостями, не встать на путь диверсий. Из истории исчезали лица, значит, они должны были исчезнуть и из искусства. Фигура, вчера поставленная в центр исторической картины, утром уже теряла свое место. Торопись, гляди в оба, ротозейство опасно, выше бдительность, художник!

Военачальники и дипломаты, ученые и артисты, писатели и историки,— кто только не исчезал в неведомом пространстве.

Горьковское: «Был ли мальчик?!» — обретало дьявольский смысл.

А исключенный из Союза Калужнин продолжал жить в комнате на Литейном. Не будучи в официальных списках, он перестал интересовать определенные инстанции,— его забыли.

Казалось, ничто уже не сможет заставить художника напомнить о себе, но тут началась война.

...Я так и не лягу спать той мурманской ночью лета восемьдесят пятого года, я словно позабуду о сне, пока в коридоре не захлопают двери. Только тогда, оторвавшись от документов, посмотрю на время: часы покажут семь утра.

Бумаги, бумаги, слежалые, пожелтевшие отрывки — долгая трудная жизнь Василия Павловича Калужнина.

Хронология не соблюдена.

Раскрываю серый конвертик с портретом верховного главнокомандующего и разглядываю очередную картонку:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Калужнин Василий Павлович награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Медаль: Щ 0116, выдана 22 ноября 1943 года.

И еще там же накорябанное синими чернилами, написанное почти школьным почерком:

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее выдано члену горкома художников Василию Павловичу Калужнину в том, что он является председателем общегородской объединенной военно-шефской комиссии художников Ленинграда.

Подпись. 10 апреля 1943 года.

Директору ЭРМИТАЖА
академику И. А. Орбели

Горком художников просит дать списки работавших у вас от горкома художников по эвакуации ценностей Эрмитажа представителю горкома т. Калужнину В. П., руководившему по линии горкома этой работой.

Подпись. 6 марта 1943 года.

Итак, март, апрель, ноябрь сорок третьего года,— еще документы — позади сорок второй и половина сорок первого.

И медаль, и справки — это за пройденный путь.

Что же было для Калужнина в ушедших днях ленинградской блокады?

...Пускай не сам Калужнин, но его коллеги расскажут о тех месяцах сорок первого года.

Смотрю книги о ленинградской блокаде, воспоминания очевидцев.

— Мы находились на казарменном положении,— вспоминала Алиса Владимировна Банк, заведующая византийским отделом.— Работы велись круглосуточно. В довоенные годы искусственного освещения (за исключением сторожевого света) в выставочных залах не было, но белые ночи позволяли ни на час не прерывать упаковку.

Ящики, в которые укладывались вещи, стояли на полу, и все время приходилось работать внаклонку. Вскоре у многих из нас появилась своего рода профессиональная болезнь — носовое кровотечение. В одной из комнат стояло несколько раскладушек,— приляжешь, закатишь голову, пока кровотечение не прекратится, и снова бегом к ожидающим тебя ящикам.

Не спали мы сутками, но сколько суток можно не спать?!

Выбившись из сил, прикорнешь под утро полчаса, кто где — на той же раскладушке или на диване, на тобой же упакованном ящике или на сдвинутых стульях в канцелярии. Сознание мгновенно выключается. Проваливаешься в пустоту. А через полчаса или час какой-то внутренний толчок, какой-то нервный импульс снова включает сознание. Вскочишь, отряхнешься — и опять за дело!

И еще:

— Дни слились для меня в сплошном перестуке молотков, топоте армейских сапог, в скрипе салазок и вальков, на которых перекатывались тяжести, и вместе с тем в памяти осталось какое-то ощущение необыкновенной тишины, порожденной, возможно, внутренней собранностью каждого из нас,— не потому ли в шуме и грохоте мы часто ловили себя на том, что разговариваем шепотом?

Вот так шепотом и разносилось по залам: «Уносят „Блудного сына“!»

...В ноябре кончились работы по эвакуации Эрмитажа. Вернулся Василий Павлович с казарменного режима в квартиру: холодно, не топлено, окна от первых обстрелов повылетали — улица, а не жилье.

Забил дыры картоном, теплее не стало.

В начале сорок второго он уже не имел сил добрести до Невы, хотя по Литейному было не больше трехсот метров...

Он умирал.

Впрочем, если бы соседка заглянула в те часы в его комнату, она бы наверняка решила, что Калужнин уже мертв. Но соседи не заходили к нему. Они жили иначе. Любое общение с умирающим обязывало...

Сколько он пролежал в обмороке, Василий Павлович сказать позднее не мог, да и не мог бы он определить время голодной своей смерти. Не помнил он и другого: как, застывая, он все же сумел повернуться на раскладушке и упасть на пол.

Видимо, пытался ползти, не понимая комнаты, в которой столько прожил. Перед ним встал шкаф, большой, старинный, платяной, приобретенный еще в двадцатых. Калужнин попытался обогнуть его.

Он сгибал ногу, потом руку, затем, медленно напрягаясь, сколько-то передвигал свое невесомое для жизни, но такое тяжелое для самого себя тело. Больше нескольких сантиметров разом проползти не удавалось.

Дверь должна была находиться рядом, но из-за тумана в глазах он ничего не видел. Да и где очки, теперь он не знал.

Иногда сознание словно бы возвращалось к нему от резкого голодного спазма в животе.

Он искал опору, шарил вокруг себя, затем снова передвигался еще на несколько сантиметров, снова лежал распластанный и обессиленный, впадая в глубокое забытье.

Хотелось есть. Все могло быть съедобным. И ремень. И ботинок. И пола шубы...

Он опять потерял сознание. Жизнь выпорхнула из его тщедушного тела, но, облетев стеллажи с холстами, видимо, решила дать ему шанс.

Калужнин согнул ногу, подтянулся на локтях и вдруг... почувствовал в ладони нечто мохнато-ласковое. Хватательный рефлекс, то, с чего начинается жизнь новорожденного,— оказывается последним рефлексом и для умирающего.

«Дистрофик» зажал в кулаке скользкий предмет и потащил в рот.

Он не знал, что дает ему силу, влажно-зеленое таяло, возвращало сознание, наконец, понял, что в руке проплесневелая краюха хлеба, закатившаяся под шкаф еще с довоенных времен. Раскусить хлеб он не мог, тогда Калужнин стал сосать, смачивая слюной, втягивая жидковатую зеленую массу, чувствуя, что она возвращает ему жизнь.

Он устал от тяжелой работы. Уронил голову и уснул, а может, и не уснул, а просто провалился в неведомое.

Когда он открыл глаза, на улице стоял день. Белая полоска света в прорванной холстине окна говорила о времени. Он сообразил, что нужно идти, вернее, выползать из квартиры. На то, чтобы «идти», рассчитывать не приходилось, но ползти и катиться по лестнице он мог. Спасение, жизнь могли быть только на улице.

Он переваливался с правого бока на левый, и теперь пластался на полу в комнате, потом в коридоре, как полуживая обезумевшая рыбина, вывалившаяся из таза. Никто не вышел из других комнат, не увидел его, совершающего самое трудное свое путешествие на Литейный проспект.

С лестницы, с широкой старой петербургской лестницы, он скатился быстро и беспрепятственно, не ощущая боли, ударяясь боками, спиной, грудью о камни. Ужас смерти оказался сильнее боли.

Пустынный Литейный не поразил его. Стоять Калужнин не мог. Вернее, он попытался встать, но свалился.

До Дома Красной Армии была сотня шагов, пустяк, если бы он мог идти. Но он не мог. Он полз, собирая тело, упираясь на локти, вытягиваясь, как дождевой червь.

Метр за метром он приближался к месту спасения, к Дому Красной Армии,— там были люди.

На углу Литейного и Кирочной он опять потерял сознание, не ощущая, как порывы ветра заметают его веющим снегом. Он преодолел и это последнее пространство, двадцать или тридцать шагов. Улица казалась как океан. И чтобы добраться до его середины, требовались необыкновенные силы...

Невольно думаю о затертых словах, обязательных для газет того времени: «печать суровых лишений», «славных защитниках», «овеянная героическим дыханием наша действительность».

А если взглянуть за пределы слова, в ту блокадную зиму, в терзающий голод и боль, преодоленные забытым, затерянным в мире одиноким художником? Конечно, он-то и есть тот «славный защитник».

Да и Фаустов был не менее «славным», когда писал стихи в своей заветной тетрадке.

Страдающие, измученные, униженные голодом, они продолжали жить духовной жизнью. Издевательство над их телами не могло погасить их восторг перед живой жизнью.

В душе моей уксус и тленье,
Тоска у виска и мороз,
И нет ни любви, ни терпенья,
И ветер мне ветку принес.
В душе моей дуб и осина,
И осень давно утекла,
И филин не плачет,
И Нина
в могилу с сестренкой легла.
И филин не плачет,
И эхо,
как сон,
и как крик,
как прореха,
Как рана,
как яма,
как и...

«...в могилу с сестренкой»? — повторю я строчку Фаустова. Что это: видение, бред, реальность?

1 февраля 1942 года, в день своего сорокадвухлетия умер от голода «круговец» Давид Загоскин, замечательный мастер.

Хоронили его в братской могиле. В гробу, прижавшись к отцу, лежал младенец, ему исполнился месяц в тот же день.

Племянник художника, инженер-строитель, которому в сорок втором было двенадцать, читает мне свой блокадный, чудом сохранившийся с того времени дневник.

«17 января. Приходили с мамой к дяде Давиду. Он, как и в тот раз, сидит около плитки и варит одну и ту же кость. Где достал — никто не знает. Варит бульон и пьет, варит и пьет.

2 февраля. Пришла Надя, сказала: „Умер Давидка". „А мальчик?" — спросила бабушка. „Тоже умер",— сказала Надя.

1 марта. Достали гроб. Положили их вместе. По дороге видел разбитый трамвай, головы мертвых».

А вот письмо взрослого человека, художницы Мордвиновой, написанное в те же самые февральские дни сорок второго:

«Да! У меня новый жилец Будогосский. Какое интересное время. Все перевернуло. Живем в одной комнате, чужие люди. Разнополые. И как будто все так и надо. Не до полов. Ленинградцы стали бесполыми. Сил нет. Я не могла больше одна. Боюсь. Да, думаю, все же он посильнее. Может и воды принести. И дров наготовить, хотя он тоже все ноет и стонет, его качает, он еле двигается.

Калужнин опять просился, но его самого надо обслужить водой и дровами, а я и себя-то не могу...»

Я так мало знаю о Калужнине, что любое упоминание о его жизни считаю удачей.

И еще свидетельство об этих же днях февраля сорок второго, только это опять стихи из той заветной тетради. Почему же стихи не считать документом, как документ корешки карточек — пусть без талонов — на известные миру сто двадцать пять граммов хлеба?!

На улицах не было неба,
Природа легла отдохнуть,
А папа качался без хлеба,
Не смея соседку толкнуть.
А папа качался без хлеба,
Стучался в ворота судья,
Да а капле качалась амеба,
В амебе сидела судьба...

В чем же был подвиг Калужнина?

Не в том ли, что в любой обстановке он оставался живописцем? А кто еще мог сохранить небывалые цветовые отношения блокадного дня? Передать цветом боль униженной голодом красоты? Кто мог оставить протекающий свет замороженного солнца, заиндевелое серебро непротопленных ленинградских стен, слепую изморозь картонных окон?

Даже воздух блокадного города был другим — Калужнин знал, как перенести на холст, сохранить для вечности блокадный воздух.

Нет, он не был единственным летописцем города. В валенках, в шапке-ушанке, подвязанный бабьим шерстяным платком, тащил саночки с тяжелым мольбертом мой товарищ Вячеслав Пакулин.

На Петроградской, привалившись к стене собственного дома, с раннего утра писал вымерзшую улицу оголодавший Александр Русаков.

И тогда, в двадцатые, и теперь, в начале сороковых, «круговцы» выполняли свою задачу.

Полуживые дистрофики, они казались памятниками блокады. Василий Павлович Калужнин — их числа.

Цвет войны — цвет боли.

Зимой 1942 года Калужнин пишет серию эскизов к картине «Возвращение Александра Невского в Новгород после ледового побоища».

Среди документов — несколько пожелтевших страниц, слабый, скорее всего, четвертый экземпляр машинописи.

Отжимаю проржавевшую скрепку, заглядываю в конец: это статья Владимира Васильевича Калинина о своем друге.

Для кого же мог предназначаться текст? На что рассчитывал Калинин, когда писал? Был ли такой «смелый» журнал, который мог решиться опубликовать мнение о никому не ведомом человеке, затерявшемся в собственном городе?!

Впрочем, ответ на эти вопросы дало время.

Я листаю текст. Вот абзац о только что упомянутых работах:

«...В комнате Калужнина в тот сорок второй год я увидел эскизы к картине „Возвращение Александра Невского в Новгород после ледового побоища". Эскизы привлекали широтой замысла, мастерством композиции, чувством цвета. Бросалась в глаза необычность, своеобразие художественного почерка Калужнина...»

Теперь, уже зная эти рабты, я понимаю, какую огромную задачу ставил перед собой Василий Павлович.

Он задумывает панно, как огромную фреску.

Город освещен солнцем, охристая толпа, белоснежные купола новгородской Софии, иллюзия золотого сияния вокруг главной фигуры.

Лицо Александра нечетко, но в наклоненной его голове, в его фигуре монументальность и богатырская сила...

Цвет панно звучен и чист, живопись музыкальна и поэтична.

В задумчивой сосредоточенности Александра усталость победителя. Он — центр картины, все собрано, линии певучи и ритмичны.

Глядя на полотно, понимаешь истоки этой живописи, они во фресках Феофана Грека, в иконах Андрея Рублева.

Видимо, большие надежды возлагал Калужнин на эту вещь.

С эскизами «Александра Невского» он едет в Союз художников, добивается приема у председателя правления ЛОСХа Владимира Серова.

Теперь, когда война, когда людям так нужна уверенность в победе, а ты уже не «крот» коммунальной квартиры, а полноправный легальный *художник*, потому что за твоими плечами и месяцы спасения эрмитажных реликвий, и шефская работа, и хождение на фронт, да и рабочая карточка после долгого голода — это тоже кое-что значит,— невольно начинает казаться, что в Союзе художников тебя ждут, что пришла справедливость.

Председатель правления с чиновной презрительностью смотрит охристые эскизы Калужнина. Этот бедный мазила его раздражает. Кто он? Кому нужен отголосок иконы?!

Для монументального полотна (пусть и хорошая идея) возможен только один метод социалистического реализма.

Он, Серов, знает, *какой* должна быть живопись.

Маленький исхудавший человек уже не так уверенно переминается около стола большого начальника.

Серов отодвигает эскизы.

— Непрофессионально! — решительно выговаривает он.

Справка из «Энциклопедического словаря». М. 1984. С. 1195:

« Серов Вл. Ал-др. (1910—1968). сов. живописец, нар. худ. СССР (1958), д. ч. (1954), през. (1962) А.Х. СССР. Чл. КПСС с 1942. Ист.-рев. картины отмечены идейной целеустремленностью, тщательностью письма. „Ходоки у В. И. Ленина", 1950; „Декрет о мире", 1957. ⟨Чл. ЦРК КПСС с 1961 г. Гос. пр. СССР (1948, 1951)».

Думаю, немало людей помнят бесчисленные репродукции со знаменитой картины Владимира Серова: «Въезд Александра Невского в Псков после ледового побоища». Картина закончена в 1944 году.

Эскизы Калужнина сохранились, время написания обеих картин известно.

Что же мешает нам поставить эти работы рядом?

Композиция полностью совпадает, изменилось только название города. Видимо, председатель правления все же хотел остаться оригинальным. Что касается живописи, то в живописи Серову преуспеть было труднее. Для живописи нужен талант, а талант, как сказал великий писатель, обладает удивительным свойством: если он есть, то он есть, а уж если его нету, то — нету.

Но, может, зря горячимся? Что особенного сделал художник? Сильный взял у бессильного всего лишь идею, так ли много, если идеи — это все знают — витают в воздухе?..

Передо мной еще один документ — письмо из блокадного Ленинграда, помеченное сорок вторым.

На дворе — праздник, восьмое ноября.

Только много ли людей в городе может отметить его хотя бы лишним куском хлеба? Одна страшная зима позади, а для Калужнина позади смерть. Впереди — восемнадцатое января 1943 года, день прорыва блокады.

Цифры давно известны,— больше миллиона погибших по приблизительным данным. Стоит ли вспоминать редкие исключения?

Я еще помню школьное о «типичном» и «нетипичном». Письмо, что лежит у меня на столе, второго порядка.

Да, оно «нетипично».

И все же, все же...

8 ноября 1942 г.

Дорогая Женечка!

Вечер 7 ноября был устроен у меня в мастерской. Вся мастерская была особенно хорошо убрана сплошь коврами, где-то достали замечательную посуду для сервировки стола, короче говоря, было очень хорошо все сооружено и всего было вдоволь и даже чрезмерно, это в отношении вина и еды.

Серов, приехав из Москвы, не сказал, что привез с собой специально для этого всяких вещей. Были колоссальных размеров пироги с рисом и мясом, пироги сладкие, винегреты, копченая и простая колбасы, сахар, конфеты и т. д. Целый день две женщины готовили все это и получилось просто шикарно, и у нас и у всех осталось очень хорошее впечатление от этого вечера. Я выпил за ваше здоровье, за то, чтобы скорее быть опять вместе и чтобы все было так, как нам бы хотелось.

На этом вечере было немало людей: я, Серов, Серебря, Павлов, Пинчук, Саянов, Вальтер (певица), Ася с Мишей Пукшанским (шеф стола, он удивительно любит и умеет приготовить хорошие блюда) и еще одна знакомая Серова, которую я впервые видел, вот и вся компания.

12 ноября открывается выставка ленинградских художников, посвященная двадцатипятилетию. Я выставляю свой большой рисунок на холсте: «Слушают доклад Сталина». И восемь этюдов...

Автор письма — тоже бывший художник «Круга». Судьба у каждого складывалась по-своему. Вернее, каждый складывал свою судьбу, как умел...

И все же два обстоятельства заставляют меня снова вернуться к Владимиру Серову, «дите своего времени».

Первое, маленькая скромная пометка в энциклопедической справке: «Чл. КПСС с 1942».

Выходит, именно тогда молодой коммунист Серов ел пироги «колоссальных размеров», пил вина «чрезмерно», а потом как свой героический подвиг отмечал вступление в КПСС в самый трудный для страны год.

И второе, эпизод более позднего времени. Впрочем, позволю себе привести цитату из статьи известного искусствоведа М. Чегодаевой в газете «Советская культура» за 17 декабря 1988 года:

«...Оправившись от шока, вызванного XX съездом партии и первыми годами „оттепели", некоторые принялись приспосабливаться к новым обстоятельствам, тем более что и обстоятельства довольно быстро начали склоняться в их сторону. ...Одной из самых активных фигур в художественной жизни 1960-х годов стал Вл. Серов. Скомпрометировавший себя в 1940-е годы травлей лучших ленинградских художников, причастный к трагической гибели в сталинских лагерях искусствоведа Н. Пунина, Вл. Серов счел за благо переехать в Москву, где и преуспел: к началу 1960-х годов он стал первым секретарем правления Союза художников РСФСР, вице-президентом Академии художеств. Отлично чувствующий конъюнктуру, он раньше, чем кто-либо из художников, понял перемену в настроениях руководства, почувствовал стремление вновь „прижать" творческую интеллигенцию. Требовалось дать урок чересчур осмелевшим художникам.

В 1962 году, к тридцатилетию МОСХа, готовилась большая юбилейная выставка в Манеже...

Стало известно, что накануне вернисажа, назначенного на 2 декабря, Манеж посетит Хрущев. Перед этим посещением в Манеж были доставлены скульптуры молодого скульптора Э. Неизвестного, работы группы художников-авангардистов. Они были размещены в служебных помещениях на втором этаже зала. Молодые художники, вероятно, и понятия не имели, с какой целью их работы повезли в Манеж, между тем цель была вполне определенная. Вл. Серов строил свои расчеты, уповая на эмоциональный, „взрывчатый" темперамент главы правительства, весьма некомпетентного в вопросах изобразительного искусства, и не ошибся.

В качестве первого секретаря правления Союза художников РСФСР Вл. Серов должен был сопровождать „высокого" гостя. Едва Хрущев прибыл в Манеж, Серов, минуя выставку, повел его прямо на второй этаж. При виде решительно ему не понятных авангардистских работ, Хрущев впал в ярость — эту ярость он распространил на весь дальнейший осмотр выставки. Были „разнесены" работы Р. Фалька, А. Васнецова, П. Никонова, А. Пологовой. ...Хрущев объявил, что устроители выставки „проявили либерализм, а такая политика не может привести к дальнейшему подъему советского искусства социалистического реализма"».

Статья М. Чегодаевой называется «Провокация в Манеже», редакция в коротком предуведомлении пишет, что посещение выставки Хрущевым, «как исключение Б. Пастернака из Союза писателей, как и уничижительная критика романа В. Дудинцева „Не хлебом единым", стало одним из рецидивов сталинизма, которые в конечном счете сорвали так смело начатое Хрущевым дело демократического обновления нашего общества. Сорвали не случайно, но сознательно, при активном содействии тех, для кого демократизация страны была смерти подобна».

И еще свидетельство, но уже очевидца,— запись художника Бориса Жутовского: «...Когда Хрущев пошел в соседний зал, где висели работы Соболева, Соостера, Янкилевского, я вышел в маленький коридорчик перекурить. Стою рядом с дверью, закрыв ладонью сигарету, и вижу, как в корядор выходит президент Академии художеств Серов и секретарь правления Союза художников Преображенский. Они посмотрели на меня, как на лифтершу, и Серов говорит Преображенскому: „Как ловко мы с тобой все сделали! Как точно все разыграли!" Вот таким текстом. И глаза на меня скосили. У меня аж рот открылся. Я оторопел».

...В начале двадцатых директором Музея нового западно-европейского искусства становится известный искусствовед Борис Николаевич Терновец.

Музей был организован на основе знаменитых картинных галерей-коллекций двух меценатов, высоких ценителей живописи Ивана Абрамовича Морозова и Сергея Ивановича Щукина.

Однако в годы разрухи и государственного безденежья пополнение музея новыми произведениями западной живописи оказалось невозможным.

В 1923—1925 годах Терновец добивается командировки во Францию, затем — в Италию. Задача: установить контакты с наиболее известными европейскими художниками, искусствоведами и музеями.

Луначарский поручает Терновцу и переговоры об устройстве выставок молодого советского искусства в этих странах.

Можно сказать, что первые же экспозиции на Западе советской живописи дали серьезнейший резонанс. О наших «молодых» заговорили авторитетнейшие искусствоведы мира, их картины стали приобретать музеи Европы и крупнейшие коллекционеры.

Престиж советского искусства возрос до такой степени, что Терновец теперь уже мог вести переговоры с музеями и коллекционерами Запада об обмене западных шедевров на шедевры советской живописи и графики. Так в залах Музея нового западного искусства оказались работы Вламинка, Озанфана, Кислинга, Миро, Модильяни, Пикассо, Дерена, Цадкина, Сюрважа.

За французами последовали итальянцы.

Перед новой поездкой в Италию Борис Николаевич Терновец решает обратиться к нескольким наиболее талантливым художникам с просьбой помочь музею в начатой им важной деятельности, передать для обмена с западными мастерами свои работы.

Терновца поддерживает Петров-Водкин, Тышлер, Кончаловский, Калужнин, Жегин, Пестель, Верейский и другие.

В 1928 году в Венеции Терновец совершает очередной обмен с меценатом Джованни Шейвиллером.

В коллекции Музея нового западного искусства появляются великие итальянцы: Моранди и Кирико, в итальянских коллекциях работы наших мастеров, среди которых есть и Василий Павлович Калужнин.

Вот как вспоминает Терновец о своей деятельности:

«...Пользуясь дружеским содействием художественного критика и издателя Джованни Шейвиллера (его дело теперь продолжает сын Ванни Шейвиллер.— *С. Л.*), удалось организовать обмен работ советских художников на работы итальянских художников. Начало было положено удачно проведенным обменом рисунка.

Этот обмен позволил Музею нового западного искусства без затраты валютных средств создать превосходную коллекцию современного итальянского искусства, вовсе отсутствующего в персональных собраниях. Живописью и рисунками теперь были представлены все персональные мастера современной Италии».

Бесспорно, приглашение Калужнина таким выдающимся авторитетом, как Терновец, говорит о многом.

Показательно и другое: упоминание Калужнина (без имени и отчества) в книге Б. Н. Терновца сопровождается одним комментирующим словом: художник.

В конце семидесятых годов, когда был издан однотомник искусствоведа, о художнике Калужнине просто забыли. Получить какие-либо справки о нем было уже не у кого.

Письма Терновца художник, вероятно, ценил особенно, держал в отдельном конверте, как свое богатство.

Приведу два — порыжевшие от времени строчки на разлинованной глянцевой бумаге.

«Москва. 4 июля 1928 г.
В. П. Калужнину.

Ученый совет Государственного музея нового западного искусства изъявляет Вам глубокую благодарность за принесенный в дар музею рисунок для ответа итальянским художникам.

Глубоко ценя внимательность и отзывчивость, проявленные Вами этим актом к музею, Ученый совет позволяет себе направить Вам ряд изданий музея.

Ученый совет особенно ценит тот факт, что музей получил ряд рисунков западных художников благодаря дружеской поддержке, оказанной русскими художниками. В этом факте Ученый совет усматривает проявление интереса к музею со стороны русских художественных кругов, который представляется особенно дорогим.

Директор музея —

Борис Терновец».

И второе, уже личное письмо:

«Уважаемый Василий Павлович!

Надеюсь, посланный Вам католог музея дошел до Вас, получен. Есть ли у Вас другие наши издания? Если нет, мы вышлем дополнительно.

К католгу должна быть послана благодарственная бумага Вам от музея, но ее позабыли положить. Спешу исправить замеченную оплошность.

Что делаете в этом году, много ли работаете? На днях принимал участие в общественном просмотре намеченных к приобретению работ для Третьяковской галереи, причем были отобраны и приобретены и Ваши рисунки.

Жму руку, Ваш —

Терновец».

Москва, 1928 год

К письмам булавочкой прикреплены две справки.

Первая: инвентарные номера хранения работ Калужнина В. П. в Государственной Третьяковской галерее: 10442 и 10443, год — 1928.

И еще пожелтевшие листки, как бы исключающие предыдущие документы. Впрочем, это другая история, которая стоила Калужнину многих-многих сил.

В 1950 году Василию Павловичу исполняется шестьдесят лет, однако возможностей выставить свои работы по-прежнему нет. Жить все труднее и труднее. Нужна пенсия.

Десять лет Василий Павлович собирает свидетельства о своей принадлежности к искусству. Бумаги, письма очевидцев, его товарищей по выставкам, ходатайства наполняют и «Дело персонального пенсионера», и домашний архив.

Приведу одну из бумаг.

Все вместе они кажутся бесконечной тяжбой за жизнь, вернее — попыткой Калужнипа выжить.

«Секретариат правления Союза Художников СССР лишен возможности принять решение в удостоверении творческого стажа художника Калужнина В. П., поскольку он в настоящее время не состоит членом Союза Художников, только в отношении которых действует постановление Совета Министров СССР от 7 августа 1957 года № 946 „О пенсионном обеспечении писателей, композиторов, работников изобразительных искусств и членов их семей“.

Учитывая, что художник Калужнин В. П. выбыл из состава Союза Художников в 1938 году, то есть двадцать лет назад, а правлению Союза Художников СССР о его творческой деятельности за это время ничего не известно, правление Ленинградского отделения Союза советских художников может выдать т. Калужнину справку лишь о его пребывании в составе Лен. отделения Союза Художников с 1932 по 1938 годы.

Секретарь правления СХ СССР Д. Суслов.

21 февраля 1958 года».

Кстати, стоит напомнить, что 1932 год и был годом образования Союза художников, Калужнин стал его членом. Выходит, даже формально стаж Василия Павловича как художника должен был отсчитываться от его участия в первой выставке, а это 1916 год.

В 1958 году Калужнину шестьдесят восемь, он старик.

Теперь надежд на выставку не возникает, да и работать он может разве тогда, когда кто-то из знакомых подарит ему акварельные краски и бумагу, так вспоминал Г. М. Осокин.

В начале шестидесятых лаборант Мухинского училища Мельникова воспринимает нищего по своему виду художника как человека, вышедшего из тюрьмы, «испуганного на всю жизнь»,— таким бестелесным и безгласным видится он ей.

— Я чувствовала, он всех боится.— И, понизив голос, прибавит: — Это случалось с теми, кто возвращался *оттуда*.

В шестьдесят пять лет Калужнин обращается к друзьям молодости с просьбой подтвердить стаж.

Товарищ юности, один из организаторов ОСТа («Общества станковистов») Соломон Борисович Никритин посылает письмо в Ленинградское отделение Союза художников:

«Я, художник Никритин С. Б., член Московского Союза советских художников, чл. билет 908, знаю Василия Павловича Калужнина с 1914 года и по сей день.

В 1914 году я учился вместе с Василием Павловичем Калужниным в художественной студии Леглана М. Б.

Художник имеет трудовой стаж с 1915 года, когда впервые участвовал в художественной выставке „Свободное искусство“ в Москве (среди участников известны К. С. Малевич, В. Е. Татлин, А. И. Кравченко, С. В. Ноаковский и др.— *С. Л.*).

С 1919 года по 1922 год Калужнин заведует сектором изобразительного искусства губернского отдела наробраза в Твери.

С 1923 года Калужнин член РАБИСа в Ленинграде, а в 1928—1933 годах произведения Калужнина приобретает Государственная Третьяковская галерея.

В 1938 году Калужнин участвует в оформлении сельскохозяйственной выставки в Москве. В 1943 и в 1944 годах преподает в художественном училище и одновременно работает главным художником в Музее Ленина в Ленинграде. (Несколько чрезвычайно интересных портретов Ленина, совершенно не повторяющих тысячные клише, я увидел в мурманском собрании Юрия Исааковича Анкудинова.— *С. Л.*) В 1950 году Калужнин пишет ряд значительных работ в Мурманске.

Сейчас Василий Павлович Калужнин, очень талантливый художник, автор прекрасных произведений живописи, учитель многих наших художников, в преклонных годах остался без средств к существованию.

Очень хороший художник, отдавший всю свою жизнь на развитие советской живописи, Василий Павлович Калужнин нуждается в заслуженной пенсии, которая могла бы обеспечить его старость.

С. Б. Никритин, член ВКПб. 1 декабря 1958 года».

...Фаустова хоронили на комаровском кладбище январским холодным днем.

О, эта мистическая тайна совпадения — дня рождения и дня смерти,— она прикоснулась и к Николаю Николаевичу.

Более семидесяти лет назад, когда в тюремной больнице у политкаторжанки Фаустовой родился мальчик, в тот счастливый день, в некоей ненаписанной книге жизни вместе с радостью была помечена и печаль, пророческое извещение о конце...

Он был моим стариком, моим Мастером, теперь все уходило в небытие.

Вокруг громоздились памятники его многочисленных знакомых писателей. Некоторые камни были излишне помпезными, родственники и после смерти искали эквивалент былого величия. Споры неудовлетворенных честолюбий продолжались и на погосте.

Частенько раньше мы приходили сюда с Фаустовым. Он бывал осторожен, обходил тех, с кем и при жизни не хотел бы встречаться, останавливался около тех, с кем дружил: профессор Наум Берковский, «круговец» Александр Самохвалов, прекрасный живописец Натан Альтман, Анна Андреевна Ахматова...

Высокий железный крест на могиле вырастал между двух каменных стен. За надгробной плитой каменная скамейка, чуть выше барельеф.

Обман произошел и здесь. Барельеф закрывает окошко, превращавшее две стены в срез тюремной камеры, куда «с передачею» шла Анна Андреевна в страшные годы ареста сына.

На левом крыле креста сидел металлический голубь, это он «гулил» в ее «Реквиеме».

Думал ли Фаустов, что этот великий плач матери будет напечатан?!

...Смерть Фаустова показалась удивительной! Ни боли, ни мук. Слабел организм, уходили силы. Душа Фаустова словно бы перетекала в другой мир, в иное состояние, готовилась к последнему космическому путешествию.

Казалось, он засыпал. Закрывал глаза, дыхание становилось поверхностнее, только вглядываясь, можно было догадаться, что Фаустов жив.

Дарья Анисимовна держала мужа за руку, и если кто-либо заходил в палату, она с укором переводила взгляд на нарушившего покой человека.

Иногда Дарью Анисимовну подменяла дочь, и она тоже держала Фаустова за руку, но, видимо, держала как-то не так, потому что он это чувствовал и однажды открыл глаза, чтобы убедиться в своей догадке.

Дочь плакала.

Он спросил:

— Почему ты плачешь? — И не дождавшись ответа, успокоил: — Я хорошо прожил.

Это была предпоследняя его фраза. Последнюю он сказал будто по секрету, это было то, о чем он молчал целую жизнь:

— Я превращаюсь в воду и ухожу в девятнадцатый век...

Калужнин лежал на продавленной койке в огромной больничной палате и молча разглядывал на потолке причудливые разводы ржавчины, следы бесконечных протечек. Ему ничего не хотелось, да и сил уже не было захотеть. Он подумал: смерть — это *усталость*.

Больные говорили о своем, он не прислушивался.

Сестричка предложила градусник, он не взял.

Тогда сестричка отвела его руку и тут же прижала локоть к истощенному его телу.

В желудке лежал слиток застывшей неперевариваемой каши,— это мешало думать.

Что он оставляет после себя? Для чего трудился и утром и вечером более шестидесяти лет? Куда спешил? Почему так боялся потерять хоть один световой час?

Да, он был уверен, искусство может тягаться с природой.

Он жил живописью. Ни семьи, ни жены, ни дома. Любил? Конечно. Но что он мог предложить женщине кроме картин?

Голодал? Но чтобы быть сытым, следовало предать искусство, сделать это он считал невозможным.

Он был уверен, когда-то люди поймут его и оценят.

«Когда-то?!»

Только когда, вот в чем штука?! Не самообман ли это?!

Он представил сотни своих холстов, пейзажи и натюрморты, портреты и жанровые сцены,— все это стояло десятилетиями в стеллажах, достигло потолка в комнате. Неужели его пожизненный труд окажется на чердаке или в чулане, пока некий рачительный хозяин не снимет холсты с подрамников и не использует их на половики?

Был же прекрасный художник Чупятов. Однажды Калужнин видел, как дочь художника разделывает селедку на картине отца, отрезая ножницами от намокающего шедевра. Не такую ли участь готовит и ему время?!

Нет, этого он себе представить не мог!

Его стал бить озноб. От холода стучали зубы. Так зябко ему не было чуть ли не с самой блокады.

«Ах, если бы затопить печь,— думал он.— Протянуть руки к огню и согреться!»

Сестричка в легком открытом халатике поправила одеяло.

Он ощутил укол, и тело начало отогреваться, оттаивать, захотелось спать.

Когда же фортуна отказала ему?

Еще не так давно жена друга, оглядываясь по сторонам, шептала ему в подворотне, как жаловался охранник, уводя с собой ее мужа-поэта, что у них, охранников, теперь стало очень много работы и каждое утро он мечтает выспаться вволю. Исчезали друзья: Михаил Соколов, друг по Твери, удивительный мастер, «круговец» Емельянов, исчезали прозаики и поэты Хармс и Введенский, Юркун и Баршев. Неужели и их никогда не вспомнят?!

Он уснул. Казалось, рядом кричат соседи, он узнал ненавистный визгливый голос. Опять требовали забрать старика в больницу. Увести одинокого, нищего, забытого всеми. Квартира — не богодельня!

Он плакал. Казалось, куда угодно, сейчас же, но только не с ними!..

Голос соседки назойливо повторялся:

— Обязаны взять!

— Мы рабочие люди!

Врач «скорой» стоял в раздумье у раскладушки, видимо, не решаясь присесть на рваную грязную простынь.

Подвинул табурет. Стал щупать живот. Опухоль была, как брюква, большая и круглая, ходила под пальцами, казалась подвижной. «Конец,— подумал Калужнин.— Финита!»

Он слышал глухой разговор, доносившийся из коридора. По телефону врач настаивал, требовал самую близкую больницу.

— Поедем, Василий Павлович? — вернулся в комнату врач.

— Умирать? — поинтересовался Калужнин.

— Ну, вы шутник! — воскликнул весело доктор.— Да мы еще поживем, не сомневайтесь!

И все же голос врача дрогнул, Василий Павлович не мог этого не заметить.

Пока фельдшера отворяли дверь и расставляли носилки, врач расхаживал по проходу.

— Вы художник? — спросил он неуверенно и удивленно.

Вид больного, холод и грязь в квартире, нищенская бедность — все говорило, что художник мог быть только от слова «худо». Какой талант, если человек не может себя обеспечить?!

Калужнин слабо кивнул.

— Нельзя посмотреть? — скучая, спросил доктор и, не дожидаясь ответа, вытянул первый попавшийся холст.

Это был Ленинград, написанный в сиреневой гамме, мост через канал, безлюдная вымерзшая тишина, вероятно, блокадного утра.

Только отчего война? Что передало врачу ощущение той тревоги? Чем, кроме цвета, смог достичь такого эффекта мастер?!

— Удивительно! — полушепотом сказал врач.— Вы большой живописец! Какая прекрасная вещь!

Калужнин закрыл глаза,— к комплиментам он был безразличен.

Соседка хихикнула, решив, что доктор так шутит.

Шкаф и зеркало в комнате — вот это вещи! Зеркало в перламутровой раме, какое-то давнее наследство. Много раз соседка к нему подбиралась. Предлагала художнику деньги. Но он с зеркалом не хотел расставаться. Глупый упрямец!

Доктор поставил еще холст. Теперь это был натюрморт, ваза с полевыми цветами, стоящая на открытом окне за занавеской. Ветер шевелил тюль. Край слегка приподнялся, занавеска будто струилась, рвалась наружу. Выходит, июль на дворе. Когда еще можно собрать такие васильки и ромашки?!

Врачу вдруг показалось, что в комнате остро пахнуло летом и счастьем.

— Чудо! — воскликнул он.

— Поздно...— устало сказал Калужнин.— Жизнь... Этого не подтверждает.

Врач сделал вид, что ничего от больного не слышал, и приказал фельдшерам развернуть носилки. Выносят головой вперед, есть такая примета.

Василий Павлович проснулся. Боли не было,— значит, нужно спешить.

Достал блокнот из-под твердой больничной подушки, плохо отточенный карандаш-огрызок.

Сестричка шарила по матрацу, искала градусник. Качнула головой, была недовольна:

— Совсем не держали! — и отошла к соседней кровати, записывая температуру.

Карандаш оказался тупым, Калужнин попытался написать первую фразу, но карандаш только оцарапал бумагу.

Калужнин полежал, отдыхая, потом осторожно обкусал грифель, очистил от заусениц. Нужно было сделать распоряжения. Он понимал, можно не успеть, будет поздно.

Что и кому он напишет? Завещание? Он устало в себе усомнился. Накоплены только картины, разве людям потребуется его искусство?! Значит, завещай не завещай, все равно никто не оценит, хорошо есть Володя Калинин. Тот все сохранит и без его просьбы, но ведь и Калинин не мальчик...

Из молодых — в Мурманске живет Анкудинов, вот Юре стоит сообщить о себе, пусть знает всю правду.

«Юра, дорогой! — вывел Василий Павлович и обессиленный опрокинулся навзничь.— Вот уж полгода, как я болен. За последние месяцы я побывал в трех больницах. Резать меня отказались по причине слабого состояния здоровья. Сейчас и нахожусь как бы „на исходе“ в онкологической больнице на Чайковского, 7, палата 5, где, как видно, и завершу свой *тяжелый* путь...»

Буквы располагались на слове «тяжелый».

Он пролежал больше часа, снова думая о своем искусстве. К чему самообман? Кому нужна его живопись?

Потом Калужнин слегка приподнялся и начал водить по бумаге. Может, прочтут, если будет кому охота.

«Стрекалову! — Это был знакомый фотограф, с которым когда-то дружили, но в последние годы он и Стрекалова видел нечасто.— Владимир Васильевич, последняя просьба, обеспечьте передачу зеркального шкафа по решению моей сестры Марии Павловны Софье Александровне Румянцевой.

Василий Калужнин. 5 апреля 1967 года».

Закрыл блокнот, положил под подушку, затих. Станут выносить — найдут и посмотрят.

Теперь можно было помыслить и о собственной жизни. Было хорошее детство, гимназия в Саратове, учеба в Москве, Леонид Пастернак, Илья Машков, Петр Кончаловский, мастера-то какие! Затем Тверь, друзья Михаил Соколов и Софронова Тоня, их судьбы тоже не легче.

А какие бывали споры! Есенин, Ахматова, Кузмин, Введенский, Вагинов, Клюев, все это было, было.

И успех был.

И Терновец.

И ужас тридцать восьмого.

Живопись, живопись, такой путь ты выбрал себе!

Василий Павлович снова нашарил блокнот, открыл пустую страницу. Пусть знают и это...

И он слабой рукой стал рисовать буквы — фамилию товарища по «Кругу»: «Надгробие поручить скульптору Науму Могилевскому».

А ниже неровными штрихами вычертил плиту-камень с собственным профилем, четыре черточки, тире и еще четыре, что должно было означать годы прожитой жизни от его рождения и до его смерти:

1890—1967

Месяц смерти он решил не указывать. Приближался май. Кто знает, может, ему удастся прожить еще до настоящего лета...

Выставка Василия Калужнина открылась в феврале 1986 года в залах Дома писателя в Ленинграде, а спустя год, в мае 1987 — в Доме-музее Достоевского.

Я листаю книги отзывов, вспоминаю многие разговоры и невольно раздумываю о Художнике.

Из десятков отзывов беру случайные, людей разного уровня культуры. Вот педагог ПТУ: «В который раз убеждаемся мы в чрезвычайных духовных богатствах нашего народа, если мы лишь посмертно открываем таких замечательных художников, как Калужнин,— светлая ему память! За один его натюрморт,— цветы и осенние листья в вазе,— могут сражаться не только наши музеи, но и музеи мира».

А вот киевский искусствовед И. Дыченко: «Так хочется возопить: еще! Дайте вглядеться в этого чудного и расчудного художника, разорвать заговор молчаиия, причаститься его красоты и небывалости в смысле тонких эмоций, которые он предпочел вещественной красоте. Живопись его мне видится (и слышится) в ореоле какого-то тревожного шума, рокота, бормотания, но без декадентских ноток. Калужнин абсолютно чист, у него ничего нет от символического минора. Скорее, он акмеист в живописи, его интересуют сияющие вершины, холод внезапной, как бы растворяющейся в зыбком, лучезарном пространстве реалии города, интерьера, предмета. Его трамвайная линия сродни птичьим следам на снегу. Темная живопись создана так, что словно бы просветляется на наших глазах: он художник света, и в этом смысле его Петербург принадлежит Пушкину больше, чем Достоевскому, или им обоим, если учесть, что Раскольников не человек в штанах, а шагающая идея, и мостовая ему не нужна, а нужно „направление убийства“, в работах Калужнина и Раскольников, и Германн ощущаются благодаря волшебному „как бы...“ — это почти присутствие, след тревоги.

Смещение каменной плоти домов с ветром (вьюга!), свинцовая немота обезлюдевшего города, эрмитажные гробы с упрятанной цветописью — схема блокады, переданная с такой сдержанной страстью, что поневоле зрение твое обостряется, как от сидения в камере, где пытают без пытки: тишиной и теменью.

Калужнин — романтик в самом горьком осознании этого слова. Его „Пьяный корабль“ метался среди сухогрузов, наполненных зерном без всхожести, деловито пыхтевших под бременем изопродукции во вкусе завхозов и „баб с прицепами“ (им бы беляши продавать!).

Калужнин — обреченный романтик, он так же „бесполезен“, как белые ночи, его искусство напоминает мне строчки Анны Ахматовой „это выжимки бессонниц... это пыль, и мрак, и зной“. Его печальные цветы, печальные сияния над городом свидетельствуют о воле и духовной непобежденности художника, который не покинул свой „Пьяный корабль“».

И еще запись, в этот раз женщин из Москвы:

«За последние десять — пятнадцать лет, кажется, мы уже привыкли к тому, что появление на афише имени художника, год рождения которого между 1890—1910, всегда сулит радость встречи с искусством, с тем настоящим, без чего немыслима уже жизнь. И вот новое имя.

Я иду на выставку, почти точно зная, что это хорошо, что будет встреча с искренностью, талантом и глубиной. И все равно безмерно удивление. Неожиданна такая сила, такая глубина, такое проникновение! В графике переживание столь мощно, что махонькие листочки воздействуют с силой монументальной. Чудо! Чудо, что есть! Чудо, что нашли! Чудо, что это можно увидеть!»

И, наконец, еще одно, личное, если можно назвать личным, написанное целым классом:

«Дорогой Василий Павлович!

Мы, Ваши ученики, пришли сегодня познакомиться с Вашим творчеством. Вы так были скромны и деликатны, никогда не рассказывали о себе, а мы так неопытны и невнимательны были к Вам! И вот сегодня Ваши работы для нас открытие большого значения. Милый, добрый, деликатный чудак оказался прекрасным художником, одним из тех, о которых он с восхищением рассказывал нам.

Как грустно, что мы не знали этого, когда Вы были среди нас. И какая глубокая признательность тем, кто открыл никому неизвестного, но прекрасного мастера.

Дорогой Василий Павлович, Вы всегда были вдохновенным, восторженным, и передали нам свое состояние. Вы подарили нам вечную любовь к прекрасному и память о Вас мы пронесли через всю жизнь!

Ваши ученики, выпускники 1944 года».

В чулане мастерской Анкудинова лежали и стояли рулоны, когда-то снятые Калининым с подрамников калужнинские холсты. Анкудинов сам никогда их не смотрел, ждал реставраторов и искусствоведов.

Ну, что ж! Он был прав: я обещал приезд специалистов из Русского,— такое богатство не может оставить людей равнодушными.

В Ленинграде после выставки в Доме писателя договорились об экспедиции в Мурманск, да так и не съездили с той поры. Как говорят, стала заедать работников Русского музея текучка, то подготовка новой экспозиции, то работа над следующим каталогом. Так и лежат по-прежнему в анкудиновской мастерской, ждут не дождутся пришельцев из Ленинграда калужнинские богатства.

Иногда думаю: бывают люди трудной судьбы. Трудной не только при жизни, но и после смерти.

Все, что связано с Василием Павловичем Калужниным, всегда идет наперекосяк, оборачивается неудачей, заставляет удивляться каждому новому препятствию, внезапно возникающему на пути его живописи к людям.

— Ну, кто он такой, ваш художник? — повторяют мне.— Сами говорите, не член Союза...

...Калужнин торопился работать, берег каждый час, отпущенный ему временем. Он действительно был словно заложником вечности, хотя и не догадывался никогда об этом. Перо, кисть, мастехин — все, что удавалось достать,— использовалось в бесконечной работе. Он переносил жизнь на холсты, на картон, на бумагу, на оборотную сторону плакатов и старых географических карт, на обрывки объявлений, на обертку. Он писал закаты, улицы, дома, реки, деревья, северное сияние, рыбацкие сейнеры, предрассветные утра...

Он торопился сказать как можно больше, видимо, чувствуя, что так, как он, никто никогда не скажет.

Он жил как одержимый. Он и был одержимым единственной страстью — искусством.

«Часто так бывает, что художник, углубленный в свою работу, не замечает, как минует жизнь, и кажется, жизнь тоже не замечает его. Проходит время. Мы вновь обращаемся к работам художника, видим, что всем своим творчеством он обращен к жизни, что он обогащает наше понимание мира новыми, открытыми им чертами».

Сказано это товарищем по «Кругу» о другом художнике, тоже нелегкой судьбы. Но слова эти могли быть обращены и к нему, к Василию Павловичу Калужнину.

В ту первую ночь, оставшись в мурманской квартире один на один с неизвестным архивом, я нетерпеливо перебирал папку и вдруг развернул листок, почувствовал внезапное беспокойство, почти суеверный страх.

Почерк на найденном листе был явно знакомым,— сотни раз видел я эти характерные буквы. Не читая, я долго и тупо разглядывал текст. Наконец, сообразил: это строчки стихотворения, написанные рукой Фаустова, которые, как я думал, никто никогда, кроме меня, не читал раньше:

Красная капля в снегу.
И мальчик с зеленым лицом, как кошка.
Вывески лезут: «Масло», «Пиво», «Булки»,
Как будто на свете есть булка?!

Что это, судьба или случай, на которые так уповал Фаустов, послали мне свой подарок?!

Но тогда отчего мой Старик никогда не назвал имя художника, на долгие годы захватившее меня?

Впрочем, может, Учитель и не должен давать ученику *все*? И тогда ученик начинает идти тропой Учителя.

1984—1988 гг.

Анатолий ЧЕПУРОВ

О человеке надо говорить,
пока он слышит...

— так написал когда-то в одном из своих стихотворений Анатолий Чепуров. Сам поэт не был обойден вниманием. Ему приходилось слышать и неумеренно-льстивые похвалы, и несправедливо-пренебрежительные суждения. Всякое было. Но теперь время уже отнесло, отсеяло и то, и другое. Уходит наносное, остается истинное. Анатолий Чепуров был рядовым поколения поэтов, рожденных Великой Отечественной войной.

Вся его сознательная жизнь была связана с нашим городом. Здесь вышло большинство его книг. Многие годы он был главным редактором Ленинградского отделения издательства «Советский писатель», а затем на протяжении пятнадцати лет — первым секретарем Ленинградской писательской организации. Примечательно, что его кандидатуру на пост руководителя писательской организации выдвинул не кто иной, как Федор Абрамов — максималист по своей натуре. Он верил в *порядочность* Анатолия Чепурова. Да, Анатолий Николаевич почти никогда не вступал в открытые, прямые конфликты с начальством, но незаметно, тихо, упорно делал свое дело — защищал интересы писателей, сопротивлялся несправедливости, не давал восторжествовать агрессивному невежеству, прикрывающемуся маской инстинного патриотизма.

В течение многих лет Анатолий Чепуров являлся членом редколлегии «Невы» — и здесь он был неизменно доброжелателен, близко к сердцу принимал и удачи, и промахи журнала.

Если судить по последним стихам Анатолия Чепурова, поэта не оставляло ощущение, что его жизненный путь близится к концу. И все-таки не отчаянием, а светлой печалью веет от этих строк...

Б. НИКОЛЬСКИЙ

Вечерний голос

◆◆◆

Я начинаю новую тетрадь.
В стране такая кутерьма творится,
Что в летописи каждая страница
Готова от сомнений трепетать.
Я начинаю новую тетрадь.

Я начинаю новую тетрадь,
Как новую главу своей дороги,
Чтоб на последнем жизненном пороге
Домыслить, долюбить и дострадать.
Я начинаю новую тетрадь.

◆◆◆

Под раскрывшейся вдруг синевой,
Желтоватым синньем задетой,
Осень прелою пахнет листвой,
После дождика солнцем согретой.

Закружилась над ухом оса
И поет, будто лето хоронит.
Тихо прежняя вянет краса,
Лист в сиреневой луже не тонет.

У забора рябина огнем
Словно греет дорожную просинь...
Вот таким золотящимся днем
И моя завершилась бы осень!..

◆◆◆

Все понято...
В ночной тиши возник
Совы почти что человечий крик.
Звезда упала, отсияв во мгле,
К кому-то смерть явилась на земле.

Все понято...
Осенняя пора.
Небесный свод угрюмится с утра,
Готовясь долгим, медленным дождем
Весну оплакать, лето день за днем.

Все понято...
Велик и труден путь.
Вот здесь должна дорога повернуть
И вновь пролиться вешнею рекой...
Умом все понято. А в сердце непокой.

◆◆◆

Спешу, спешу
Свое оставить слово,
Мне каждая
Минута дорога.
Молю, чтоб осень
У родного крова
Повременила
Вызывать снега.

Левашево

Говорят: «Левашево» —
И кричит тишина.
Как от лютого слова,
Леденеет спина.

Было ветрено, снежно.
Был все тот же вокзал.
Сколько раз безмятежно
Мимо я проезжал!

Сколько раз — никакого
Поклоненья ему!
А сейчас Левашево
Тянет взор мой во тьму.

За деревья, заборы,
В глубь лесных пустырей
Молча тянутся взоры
Потрясенных людей.

Столько лет — и молчали
Эти сосны вдали
О великой печали
Ленинградской земли.

Несмотря на цветенье
И небес бирюзу
На земле преступленья
Ужас гонит слезу.

Словно в адскую яму
Эта горечь течет.
Даже если по грамму —
Потеряется счет.

Мне сдается: воочью
Вижу тех, кто туда
Засекреченной ночью
Уходил навсегда.

Мне сдается: из мрака
Через множество лет
Эти узники страха
Вдруг выходят на свет.

Ни стенаний, ни дрожи
В этом мертвом строю.
«Так за что же? За что же?» —
Я вопрос задаю.

«Мы правдивого слова
Сами трепетно ждем.
Адрес наш: Левашево.
В черных ямах — наш дом...»

◆◆◆

Нет тебя. Но есть твои тропинки.
Я один теперь по ним брожу.
И минувшей радости былинки
Каждый раз, тревожась, нахожу.

Вспоминаю самым добрым словом,
Называю праздником души
Наши дни во времени суровом
Среди светлой лиственной тиши.

Почему совсем тебя не слышно?
Как живешь? В какую смотришь даль?
Может быть, на верный путь не вышла
И тебя преследует печаль?

Может быть... Но что же я гадаю?
Ты сама расскажешь обо всем.
Напиши письмо, и птичью стаю
В нашу рощу с тем отправь письмом.

Только солнце высушит росинки —
Отойдет тотчас от сердца тьма.
Нет тебя. Но есть твои тропинки,
Словно строчки твоего письма.

◆◆◆

Лебединую песню пока что не спел,
Не успел в этой будничной спешке.
Столько было напрасных непесенных
дел,
Что теперь собираем орешки.

И они непростые — порою горчат,
И в лесу как бы ни было праздно,
Хлопотливая белка уводит бельчат
В заповедную глушь от соблазна.

Но и жил на земле и оставил следы,
Что еще не завеяны пылью.
Замерзая в окопе, я видел сады
В лучезарной красе изобилья.

Дальним светом они золотились в ночи
И на мирном пути и на фронте.
Находите для жизни другие ключи,
Но мечту о прекрасном не троньте!

И меняя реликвий и флагов цвета,
Пусть идущий за нами рассудит:
Долгой жизнью наполнена эта мечта,
Расставания с нею не будет!

Ей от века такой предназначен удел,
Не разрушить ее, как Помпею...
Лебединую песню пока что не спел
И, наверно, уже не успею.

◆◆◆

Жизнь улетает с каждым днем,
А дней все меньше остается
В распоряжении твоем,
И сердце медленнее бьется.

Все чаще хочется тебе
Вдруг оглянуться: что же было?
В твоих исканьях и судьбе
Была ли золотая жила?

И только стоит бросить взгляд
На путь-дорогу за плечами,
Тебя душа зовет назад,
В те дни надежды и печали.

Ты снова молод. Впереди
Простор, не знающий границы.
И сердце, екая в груди,
Вдруг обретает крылья птицы.

◆◆◆

Я верю в доброе начало
Людской души. Коль есть оно,
То, как бы в жизни ни качало,
Взрастет надежное зерно.

Взрастет и даст такие всходы,
Что человек на гребне зла
Попросит мира у природы
За все недобрые дела...

Июль — октябрь 1990

Константин
ВАНШЕНКИН

ИЗ «КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ»

Они хотели вырастить литературу, где все авторы и книги были бы одинаковы. Они обрубали каждую новую сильную ветвь, якобы для того, чтобы дерево росло ровно, но дерево здесь, наоборот, кривилось от страдания, они прививали на то место дички, взятые в овраге, но дички не прививались или же как раз приживались и глушили все вокруг, однако ствол опять выбрасывал побег за побегом; они били топором по корням, и дерево сохло, но временами шел дождь и оно постепенно, по листочку, по веточке, оживало. Оно было узловатым, корявым, но оно было мощным и прекрасным в своем позднем цвету. Правда, многие его ветви все-таки не выдерживали, отмирали, обламывались, и на их месте не вырастало уже ничего.

Чем объяснить снисходительное, свысока, отношение критики к нынешней текущей литературе? Думаю, тем, что сейчас к нам *сразу* пришли многие имена и книги, о которых мы зачастую знали прежде только понаслышке. Одно читали чуть ли не тайком, другое и вовсе нет.

Это вещи Булгакова, Платонова, Замятина, Пильняка. Это Набоков, Ходасевич, Гумилев, Г. Иванов или, скажем, Берберова. Это Гроссман. Это Е. Гинзбург, Шаламов, Ямпольский, Домбровский. Это, наконец, Бродский. И еще многие. Впрочем, поток постепенно теряет концентрацию и напор.

Так вот, я думаю, что интерес и тяга к этому не только из-за обостряющегося чувства справедливости и уж не оттого, что прежняя литература вообще лучше нынешней.

Нет, дело в том, что это уже отобрано временем, порой долгими десятилетиями, а худшее уже отсеяно. Это, пусть предварительное, не уточненное, но избранное, порой почти уже веком.

А в текущей литературе такого, естественно, пока еще нет. Но зато она приходит к нам своевременно, тут же, что тоже важно.

Если бы вдруг только сейчас получили мы — сразу! — «Тихий Дон», рассказы Бабеля, обоих «Теркиных», «Дом у дороги», всю послевоенную лирику Пастернака,— представляете впечатление? Да и дальше — В. Некрасов, Абрамов, Трифонов, Шукшин, Ю. Казаков, Слуцкий, Тендряков. Сразу бы вывалили на вас, так что не знаешь, за что схватиться!

И сейчас прекрасные есть книги. Надо только быть повнимательнее. Чуть позже это станет очевидным и для нас.

Рубрика «Литературной газеты» — «Два мнения» (об одной и той же книге) — похожа на судебное заседание, заканчивающееся слушанием сторон, то есть без вынесения приговора.

Прокурор требует одного, адвокат доказывает противоположное, после чего все расходятся по домам.

Лет пятнадцать назад довольно известный критик поинтересовался, как я отношусь к Александру Кушнеру. Я ответил, что хорошо. Тогда он спросил:

— А не мог бы ты дать отрицательный отзыв?

И чистосердечно признался:

— Хочу написать о нем положительную статью, мне сказали: пожалуйста, но только найди и автора отрицательной...

О нравы!..

Прекрасные когда-то, в их молодости, поэты Н. Тихонов и А. Прокофьев превратились со временем в заурядных графоманов и просто халтурщиков. Ну что же это такое!

Конечно, они останутся своими ранними стихами, но ведь и последующее совсем не сбросишь. А как обидно!

Почему же все-таки они утратили инстинкт сохранения таланта?

Сейчас легко, подняв подшивки, уличить и осудить. 37, 46, 49, 52, 58-й и другие страшные, позорные годы. А гонения на Солженицына, Сахарова, массовые отклики в газетах!

Но говорят о былых гонителях, о выступавших с суровыми отзывами чаще всего в том же прежнем духе — в жанре доноса, разоблачения. Причем, как правило, не организаторов, не функционеров обвиняют, а тех, кто откликался исключительно под нажимом, из страха, для кого это и так стало кошмарным воспоминанием.

В театральных репетициях есть не только высокий дух и чувство всеобщей сопричастности, но и нечто унизительное. Видел, как известный режиссер объяснял известной актрисе, каким образом она должна, помахивая платочком, уходить со сцены. У нее не получалось. Он топал ногой, сердился и сам шел развратной походкой, держа платочек на отлете — показывал. Все с трудом сдерживали смех, она — слезы. Наконец научилась.

Я и сам сталкивался с этим. Замечательные певцы, записывавшие мои песни, поначалу порой совершенно не понимали, что от них требуется, пели не так — интонационно, по характеру.

Но их высокий профессионализм позволял им очень быстро сообразить, чего же от них хотят, и сделать поправки. В результате непосвященному слушателю казалось, что это их глубоко выстраданная работа. Впрочем, возможно, так и было.

А. Битов с откровенной нарочитостью проводит комментаторско-дикторскую линию: Набутов — Синявский — Левитан и иронически рассуждает о взаимоотношениях в нашем сознании Набокова с писателем Синявским и художником Левитаном. Но вот что! Наиболее потрясающий, давно занимавший меня феномен; писатель с двойной фамилией, которого, по сути, никто не знал, а обе составляющие части фамилии были оглушающе общеизвестны: Шолохов-Синявский.

Без «Брожу ли я вдоль улиц шумных» не было бы «Еду ли ночью по улице темной»...

И. Бауков, долгие годы думавший, что *ланиты* — это ягодицы. Розовые ланиты, румяные ланиты.

Так бы и пребывал он в своем счастливом заблуждении, если бы это не обнаружил в случайном разговоре громко захохотавший Луконин.

«Глупый пи́нгвин», «бурла́ки» и прочие смещенные в стихах ударения. Так даже лучше запоминается.

Воздух пасмурный влажен и гулок...

Влажный воздух, туман, наоборот, глушат звуки.

В «Теркине»:

Мямо их ввсков анхрастых...

А рядом:

Густо было там народу —
Наших стриженых ребят.

Второе, конечно, точнее и, главное, пронзительнее:

Стулья графские стоят
Вдоль стены в предбаннике.
Снял подштанники солдат,
Докурил без паники.

Докурил, рубаху с плеч
Тащит через голову.
Про солдата в бане речь,—
Поглядим на голого...

Две девушки, которым я стал это читать вскоре после своей демобилизации, закричали: — Дальше не надо!..

Я их успокоил: — Не ждите ничего неприличного.

Но каково: «Докурил без паники!» Характер!

А более чем через двадцать лет — вполне серьезно, к себе:

Справляй дела и тем же чередом
Без паники укладывай вещички.

И еще — о первой строке. Раньше не замечал, как нечто само собой разумеющееся. Графские стулья в баню затащили! Для удобства. Победители. А ведь так и было.

Живопись Хлебникова удивляет меня прежде всего своей реалистичностью. Что сие означает? Душа просит?

Новые веяния в живописи, сдвиги в изображении, разложение формы и цвета начались после распространения фотографии,— чтобы чем-то от нее отличаться. А там пошло и пошло.

В 1961 году я жил несколько дней в Ленинграде в одном гостиничном номере со Светловым. Мы вместе выступали и, кроме того, общались с утра до ночи. Однажды мы играли на бильярде, и Светлов рассказал историю, свидетелем которой был.

В «Метрополе» Маяковский играл в бильярд с каким-то нахалом, возбужденным от сознания знаменитости своего партнера. И вот после удара этого человека шар не упал, а остановился в самой лузе,— как говорят игроки, «ножки свесил», деваться некуда.

Маяковский не спеша стал мелить кий.

— Владим Владимыч,— сказал наглец под руку,— а ведь вы не забьете.

— Забью,— ответствовал тот спокойно.

— А если не забьете?

— А если не забью,— Маяковский был мрачен,— можете назвать меня ж—.

Он стряхнул с кия лишний мел, приблизился к столу и пробил. Шар повибрировал в губах лузы и остался на месте.

— Владим Владимыч,— партнер подобострастно хихикнул,— вы меня, конечно, извините, но вы ж---.

— Да,— грустно согласился Маяковский.— Я — ж---. Можете мной с----!

— Ну, как об этом напишешь? — заключил Светлов.

Однако прошли годы, и я вижу,— а почему же? — можно это и записать.

Тогда в Ленинграде, в пивной на Невском, Светлов научил меня, как нужно выбирать раков. Когда живого рака при варке бросают в кипяток, он сгибается. Если рак прямой, значит, его варили уже дохлого.

Потом и слышал это и от Смелякова. Его тоже научил Светлов, еще до войны.

Группа артистов готовилась к гастролям в Бразилию, где предполагалось дать ряд больших эстрадных концертов. Жанры самые разные, но все на высоком уровне: балетная пара, солисты оперы, знаменитый скрипач и тут же — иллюзионист, акробаты, кукольники, аккордеонист и, конечно, мастера народных песен и танцев.

Но что значит готовились? Репетировали и размышляли — что́ взять с собой туда и что оттуда.

По-настоящему готовился один — конферансье, ведущий программы. Это был тоже человек известный, остроумный, умеющий держать зал. У него были свои репризы, шутки, анекдоты, своя манера, и принимали его прекрасно. Но это здесь. А там? Конечно, с ними ехала переводчица, но ведь это же не парламентская делегация, чтобы переводить на сцене.

Короче, он отдал свой текст перевести на португальский, потом ему переписали перевод русскими буквами, и он выучил его. Да, наизусть,— помня, конечно, о чем там идет речь, но все равно это было для него абракадаброй. Все театральные артисты знают назубок множество ролей, но ведь на своем же языке.

В самолете коллеги дремали, спали, расслабленно болтали, а он без конца повторял про себя совершенно чужие, но уже и чем-то странно близкие слова.

Первое представление в огромном концертном зале. Аншлаг! Он выходит к рампе и, мягко улыбаясь, начинает говорить.

Зал ахает. Через минуту зал уже покорен — замирает, аплодирует, хохочет. Рассказанные истории понятны всем. Здесь ведь тоже все так. Ну, не все, но многое. И любовь, и другое. И качество юмора, конечно.

Концерт идет под аплодисменты, всех принимают замечательно, его — лучше всех.

В антракте он прячется, запирается в артистической уборной.

Но после концерта за кулисы врывается экспансивная южная толпа. Здесь местные артисты и импрессарио, и, прежде всего, конечно, пресса, репортеры. Поздравляют наших, благодарят, восхищаются.

И к ведущему: кто вы? Откуда? Женаты? Есть ли дети?..

Он мягко улыбается. Переводчица объясняет: сеньор не знает португальского. То есть как? Не может быть! Это шутка? Остроумно. Нет, серьезно? Но ведь...

И наступает тишина — изумления, восхищения, разочарования?

Впрочем, последующие концерты проходят с неменьшим успехом.

Л. заведовал в одной из газет международным отделом. Газета не государственная, не официальная, но тоже центральная, и дело здесь было поставлено крепко. Л. знал свою работу — саркастически клеймил, выводил на чистую воду, разоблачал.

Наступили хрущевские времена, обстановка помягчела и, хотя навыки ценились прежние, забрезжили среди облачности голубые окошечки, участились визиты.

И в редакцию прибыла делегация журналистов из закоренело-капиталистической страны, среди них и двое международников, которые хорошо знали Л., а он — их (по печати, разумеется).

Гости, веселые, подтянутые, некоторые с фотоаппаратами, сидели в кабинете главного редактора за длинным столом, и странно было видеть их здесь, идейных противников, пьющих боржоми, жующих яблоки и непринужденно болтающих.

Л., взяв слово, призывал их к правдивости и объективности в отражении нашей действительности.

— Пора уже вам перестать изображать коммунистов в таком виде,— он зажал в зубах нож для фруктов, вытянул шею и выпучил глаза.

А они — щелк, щелк! — мигом сфотографировали его.

Как же он испугался! Он представил себе на первых полосах, крупно, этот снимок и подпись к нему: Л.— шеф международного отдела известной русской газеты.

Ему стало плохо. Он начал юлить, заискивать, заглядывать в глаза. Они сохраняли невозмутимость.

Делегация улетела, он каждый день стал ждать удара, похудел, осунулся.

Но прошла неделя, две — ничего. Может быть, хотят в журнале? Тоже нет. Он постепенно приходил в себя, опять писал суровые обзоры, одергивал. Но все-таки ощущение, что он у них на крючке, долго не отпускало.

Сотрудники газеты, рассказавшие мне об этом случае, стали со временем рассуждать о профессиональной журналистской этике и солидарности. Дескать, даже империалистические акулы, понимая, что публикация фотографии погубит Л., пожалели его.

Но причина, я это понял только впоследствии, была, конечно, в другом. Фотография просто не годилась для их газеты,— Л. выглядел на ней слишком свободно, раскованно, по-американски, он мог себе позволить *так* себя вести. Вот в чем фокус.

Мы с Трифоновым, предварительно созвонившись, встретились по делу у нас в клубе. Сели за столик против бара — поговорить.

И тут же появилась режиссерка, крупная женщина, не столько известная, сколько считавшая себя значительным лицом. Она взяла от другого стола и придвинула к нашему стул, разумеется, не спросив согласия. Чувствовалось, что располагается она основательно. Но дело пошло быстро.

— Юра,— сказала она,— я видела вас вчера на премьере. Как вам?

Он ответил:

— Нам с Аллой понравилось.

На что она заметила:

— Я не спрашиваю про Аллу, я интересуюсь — как вам.

Юрка набычился, лицо стало наливаться кровью, я давно знал за ним такое.

Он помолчал и повторил, раздельно и лишь чуть-чуть раздраженно:

— Нам с Аллой понравилось.

Режиссерка посидела с минуту в тишине и поднялась.

Мы посмотрели друг на друга, улыбнулись и заговорили о своем.

Профессиональная память. Пишущие стихи обычно знают их наизусть. Конечно, если ты повторяешь их редко, то есть не выступаешь с их чтением, то может выскочить из ряда та или иная строчка, и не свяжешь потом. Но стоит мне пробежать по ним глазами, они моментально восстанавливаются. Все. У меня был вечер в Концертной

студии в Останкине. В эфире он длились час сорок, а фактически два с половиной часа без перерыва. Я читал стихи, ни разу никуда не заглянув.

Но ведь это свое. А чужое?

Павел Шубин и Александр Коваленков знали наизусть едва ли не всю русскую поэзию. Очень многое помнит Межиров.

Мне до них далеко. Но вот, скажем, могу читать на память из «Тихого Дона». Это, скорее, уже актерское. А вот не свои стихи помнишь — выборочно,— почти как свои.

Я на телевидении сделал несколько передач о поэтах, где много читал Твардовского, Смелякова, Мартынова, Луконина, Гудзенко,— не открывая лежащих на столе книг.

Ян Френкель сказал мне:

— Слушай, как ты их помнишь?

И тут же возразил себе:

— Хотя я ведь тоже помню чужую музыку...

Когда-то в Прибалтике я, гуляя, забрел в Дзинтарский парк, встретил там соседа по этажу и мы пошли вместе, мимо киосков и магазинчиков. И тут мы увидели плотную толпу — Михаил Таль давал сеанс одновременной игры.

Перед ним сидело за столами человек двадцать пять, за их спинами стояло в несколько раз больше советчиков, а он был один против них, делающий свое дело. В этом единоборстве с толпой всегда есть для меня что-то завораживающее. Начал накрапывать дождик, любители, однако, его не замечали, и над гроссмейстером кто-то уже держал блестящий черный зонт.

Я не большой знаток шахмат и потому, оставив там своего попутчика, вскоре уже пошагал домой. Я шел по тихой улице Юрас, и надо мной уютно шелестел меленький прибалтийский дождик. Не знаю, увижу ли и услышу ли я когда-нибудь еще эту водяную тончайшую пыль.

Вернувшийся сосед рассказал, что Таль довольно быстро расщелкал своих противников. Осталась одна девушка с довольно неплохой позицией, и, как водится, джентльмен-гроссмейстер предложил ей ничью. И она, окруженная плотным людским кольцом болеющих за нее или завидующих ей, вдруг коротко всплакнула. Поинтересовались причиной ее слез. Оказалось, она не может простить себе, что не записывала партию. Теперь маэстро оставил бы автограф под словом «ничья», и это было бы для нее бесценной реликвией.

Таль сказал:

— Записывайте...

И тут же продиктовал ей партию,— свои и ее ходы, поставил подпись и попрощался.

Он помнил все эти двадцать пять партий. Разумеется, они были не нужны ему, но он был не властен над своей памятью.

Старый композитор. Автор знаменитейших песен довоенной и военной поры. Детства и юности моего поколения. От них до сих пор мурашки по спине.

Композитор пригласил меня к себе — он хотел написать песню на мои стихи. Совместную песню.

Я не был знаком с ним до этого, но, конечно, видел и слышал множество раз.

Мы сидели в его большом кабинете. Он наигрывал на рояле свои старые и новые мелодии. Потом пили чай.

Композитор спросил:

— Константин Яковлевич, вы турист?

Я подумал, что он имеет в виду байдарки и палатки, и ответил отрицательно.

— А я турист,— сказал он мечтательно,— в прошлом году были с женой в Японии и в Голландии. А в этом году...

Потом он расспрашивал меня о моей жизни и, узнав, что я семнадцатилетним ушел в армию, разволновался и стал меня жалеть. Он рассказал о своем сыне.

Во время войны они были в эвакуации, и когда сын получил повестку, композитор отправился к командующему округом. В результате сына приняли в местное офицерское училище, окончив которое в звании лейтенанта, он был оставлен для прохождения службы при штабе округа.

— А у вас никого не было, кто бы мог позаботиться о вашей судьбе! — заключил композитор.

У нас в гостях сидел наш друг, капитан теплохода «Грузия» Анатолий Гарагуля, человек обаятельный, живого, самостоятельного ума.

За окном хрустел мороз, зима — время отпуска многих моряков. Жена его, Валерия, еще задерживалась в Одессе.

Толя подсел к телефону, набрал номер, и я услышал краем уха, что он врет кому-то, будто находится в аэропорту Внуково. Но он сообщал это таким образом, что было понятно, что шутит.

Потом он, закрыв трубку ладонью, спросил, можно ли ему пригласить сюда своего друга. Отказать мы, разумеется, не могли, и он продиктовал наш адрес.

Буквально через двадцать минут раздался звонок в дверь.

Вошел человек невысокого роста, плотный, энергичный, эдакий мужичок. Он протянул хозяйке коробку конфет, потом повернулся ко мне и продекламировал четыре мои строчки.

Скажу честно, это мне не слишком понравилось. Взял в карман книжку с полки, подумал я, и выучил, пока ехал. Но с другой стороны, все-таки моя книжка у него есть.

Гарагуля представил его: Константин Васильевич, первый заместитель министра,— и он назвал одно из союзных промышленных министерств.

Константин Васильевич сел к столу, и вскоре стало ясно, что в его первоначальной оценке я допустил явную ошибку.

Это был человек из той породы, что приходили когда-то в первопрестольную в лапоточках, а через год-два она, смотришь, у них в кармане. Из породы Морозовых, Мамонтовых, Щукиных. Только с виду прост.

Он выпил рюмку коньяку, закусил и процитировал, не помню уж, Канта или Гегеля, но вполне к месту. Потом Заболоцкого. Но больше всего он тяготел к акменстам,— стихи Ахматовой, Мандельштама, Гумилева так и сыпались, порхали, клубились.

Вероятно, это было слегка нарочито, словно он считал, что в писательском доме нужно побольше говорить стихами, но чувство меры все-таки его не покидало.

Я то и дело восторгался:

— Ну, Константин Васильевич!..

Моя жена потом сказала, что я вел себя совершенно неприлично. Я так изумлялся, будто заговорила табуретка.

А Толя Гарагуля сидел с довольным видом,— вот, мол, мы какие. Я же начал возмущаться:

— О чем они там думают! Вот такого нужно назначать министром культуры! Вы бы выступили перед артистами или писателями, они бы вас на руках носили...

И вдруг я понял, что как раз это и не требуется. Министр культуры, который наизусть Мандельштама чешет, вызывает недоумение. Там, в сферах. А промышленного строительства — пожалуйста, дозволяется. Там это вроде как рыбалка.

Потом Константин Васильевич предложил выпить за фронтовое братство,— ведь все трое участники войны.

Уходить они собрались в два часа ночи.

Не был уверен, писать ли о дальнейшем, но решил написать — как было.

Жена предложила вызвать такси. Тогда это было просто.

И тут Константин Васильевич сказал:

— У меня внизу машина.

Она была потрясена:

— Как? С шофером?

— Да.

— Но ведь такой мороз! — в ней говорила женщина.

— В машине тепло.

— Но поесть, выпить чаю...

Константин Васильевич ответил веско:

— Он у меня не обижен.

Потом мы не раз встречались с ним — и вместе с нашим капитаном, когда тот бывал в Москве, и отдельно тоже.

Он тянулся к искусству, и что еще у него было — стремление помочь. Доставал редкие лекарства для наших родных, когда пришла такая пора, когда постучалась такая необходимость.

В нашем действительно разноплеменном институте со мною на курсе учились среди прочих два бурята: Цыден-Жап Жимбиев и Цырен-Базар Бадмаев. Жимбиев — самый юный, маленький, трогательный, наивный. У него сразу же установились буквально со всеми замечательные отношения. Мы и сейчас дружим. Дружат и наши дочери-художницы: его — керамистка, моя — график.

Бадмаев появился на курсе не сразу, через год или два. Тем, кто не мог запомнить его имя — Цырен-Базар, он снисходительно советовал:

— А ты зови меня: Центральный Рынок.

Он был крупный, медлительный, исполненный достоинства. Настоящий кочевник. Легко, по его словам, мог съесть за один раз полпуда вареной баранины.

После института я видел Цыден-Жапа гораздо чаще. А Цырен как-то прислал мне письмо, где сообщал, что покинул Улан-Удэ, живет со стариком-отцом в Читинской области, в степном Забайкалье, пасет скот и находит в этом удовлетворение. Он сообщал мне также, что в Москве у него готовится книжка, что он написал за последнее время «голов двадцать стихотворений», как он выразился, и просит меня перевести их. Подстрочники он пришлет позже. Я ответил ему, что давно уже, с тех пор как начал писать и прозу, перестал переводить и не могу сделать исключения даже для него, ибо остальные друзья, которые уже смирились, тоже этого потребуют.

Потом я получил от него мелкоисписанную открытку, где он поздравлял меня с Новым годом: «...дай бог тебе здоровья и твоим тоже. Желаю этого, как истый буддист. Получил твое письмо, не отвечал не потому, что ты не захотел перевести мои стихи, просто у меня не было времени, сил, моральных и физических, ведь я ухаживал здесь за больным отцом (92 лет), который недавно умер. Я его тело предал огню, как он сам настоятельно просил раньше, и теперь по истечении 49 дней, когда душа его найдет следующее перерождение, я уеду отсюда к себе в Улан-Удэ. Недавно только я сам встал с постели, ибо в последние дни жизни отца я не спал сутками, ослаб. А когда сжигал его тело на большом костре в открытой степи, продрог и схватил грипп. Вот и исполнил сыновний долг.

Костя! Ты все равно не уйдешь от меня, ты переведешь одно-единственное стихотворение и подпишешь „В. Константинов“. А подстрочник пришлю после Нового года. Я молюсь за тебя. Что пишешь? Черкни пару строк. Ц. Бадмаев».

Так и вижу вьюжную лютую степь и костер в ее неохватном просторе.

Теперь нет уже и самого Цырен-Базара Бадмаева.

Пародист, весьма известный, благодаря забавной внешности и телевидению. Пародирует по строчечному, поверхностному признаку и принципу. Пример? Ну, вот, решил он написать пародию на сказку о Красной Шапочке. Как назвать девочку? Он называет ее: Красная Пашечка. Но ведь неинтересно, ничего за этим нет. Однако легко критиковать, ты сам попробуй! Пожалуйста. Я предложил бы: Классная Шапочка. Здесь два плана,— во-первых, девочка еще маленькая и не научилась произносить букву «р», и, во-вторых, люди так прозвали ее, потому что у нее была замечательная, классная шапочка.

Извините, но это ведь действительно другой класс.

Не всегда одинаковые признаки говорят о схожести. Например, А. Д. Сахаров и В. Белов картавят. Ну и что?

Пишут в книгах о том, как вернулись уцелевшие, и стали рассказывать, кто их погубил, или просто смотреть им молча в глаза, и *тем*, погубителям, становилось не по себе, худо.

Но вот в те времена в метро, на «Библиотеке», невысокий человек, еще в ватнике, но уже с начинавшими оттаивать интеллигентными чертами лица бил встреченного им здесь, в переходе, врага, вполне приличного по виду, с портфелем в руке.

Он бил не так, как били его самого следователи и урки,— не изощренно, не подло, он бил не профессионально, но сильно,— сшиб с ног и снова поднимал короткими руками, и снова бил.

— Ты посадил меня, гад, оклеветал,— кричал он и бил, бил.

Большинство проходило мимо, другие останавливались, смотрели и объясняли ситуацию любопытным. Милиции не было. Ее никто не звал, и том числе и избиваемый, ползающий на четвереньках, потерявший очки и портфель.

Среди возвратившихся были разные — и тихие, пришибленные, и жалко-оживленные, и откровенные карьеристы. И оставшиеся людьми, сохранившие свое или восстановившиеся быстро и смело.

Литературный тип — обобщенный человеческий образ, разумеется, вполне живой и реальный. Об этом написаны тысячи томов.

Конечно, не каждый яркий характер — литературный тип. Андрей Болконский или Григорий Мелехов — не типы. Литературный тип — тот, кто становится именем нарицательным. У Гоголя их целый набор. Хлестаков, Манилов. Хлестаковщина, маниловщина. Тут же Собакевич, Ноздрев, Плюшкин...

Гончаровский Обломов. Обломовщина.

В русской литературе тип очень часто имеет черты юмористические, признаки сатирические. Это почти всегда утрированная фигура.

Иудушка, Премудрый пескарь и прочие персонажи Салтыкова-Щедрина.

Особенно поразителен здесь Чехов. Мягкий, деликатный. Но у него — Человек в футляре, Ионыч, Попрыгунья, Душечка, Унтер Пришибеев...

А вот у Бунина этого нет начисто. С предельной точностью написано, и зрительно, и психологически, а сбитой концентрации характера нет. Но ведь мы понимаем, что это и не обязательно.

Сейчас иные любят потолковать о том, что окружение Сталина влияло на него и чуть ли не оно его испортило. Ничего себе!

У Калинина и Молотова сидели жены, у Кагановича был расстрелян брат. О многих из соратников (даже о Ворошилове) Сталин время от времени говорил, что они шпионы. И все эти живущие в постоянном страхе деятели дурно влияли на него?

Это была построенная по сугубо уголовному образцу банда, где любое желание и мнение *пахана* безоговорочно-непререкаемо.

У нас в течение многих лет всех торгующих на рынках южан, даже среднеазиатов, недоброжелательно называли грузинами, и в то же время обожали одного, самого злодея, к тому же плохо говорившего по-русски.

И сейчас это, видоизменившись, отчасти осталось.

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

А откуда автору было знать? И почти никто не знал, нигде не бывал. Но пели все, с большим самоуважением.

Это песня из кинофильма «Цирк» (1936).

Известнейшие когда-то стихи Николая Ушакова «Мастерство» (1935):

Пока владеют формой руки,
пока твой опыт
не иссяк,
на яростном гончарном круге
верти вселенной
так
и сяк.

Мир незакончен
и неточен,—
поставь его на пьедестал
и надавай ему пощечин,
чтоб он из глины
мыслью стал.

Сейчас это все воспринимается совсем не так, как прежде. Сейчас ясно, что не нужно вертеть «вселенной так и сяк». Это плохо кончается, ибо у вселенной свои законы. Не стоит поступать подобным образом и с другими опасными игрушками: атомными реакторами и проч.

А уж по части пощечин, которые следует, по мысли автора, надавать миру, то в этом недостатка тоже не было. Да и результат налицо.

В газетах объявляют на месяц вперед неблагоприятные по геофизическим факторам (в обиходе — магнитные) дни, особенно трудные для людей метеочувствительных, подверженных сосудистым заболеваниям. Раньше, разумеется, подобной информации не было. Но вот двадцатилетний Мандельштам написал:

Сегодня дурной день,
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень
Мрачней гробовых плит.

Мелькающих стрел звон
И вещих ворон крик...
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.

Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть

И простный гимн грянь —
Буитующих тайн медь!

О, маятник душ строг,
Качается глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь, к нам...

Здесь и подавленность, и отчетливое нежелание смириться, и ощущение неотвратимой силы происходящего.

Сегодня дурной день...

Чем слабее руководитель, тем слабее и его помощники и референты. А не наоборот!

Причина: во-первых, он подсознательно не хочет окружения умнее себя, и во-вторых, при подборе он просто не в состоянии определить их уровень.

У Ж. Кокто вычитал: «Как-то, рассказывая о своем посещении Виктора Гюго в Брюсселе, Бодлер сказал: „Гюго пустился в один из тех монологов, которые он называет беседой“».

Именно так можно определить общение с милым С. Я. Маршаком. Точнее не скажешь.

Принято считать, что старшие художники поддерживают молодых, идущих в их русле, как бы продолжателей. Возможно.

Мне же всегда хотелось поддержать новых поэтов, совершенно не похожих на меня, а не таких же, как я, но похуже, послабее.

В 1967 году, к пятидесятилетию Октября, Всесоюзным радио и Министерством культуры СССР был объявлен грандиозный конкурс на лучшую песню. Конкурс открытый, то есть не под девизами, все на виду. К участию допускались также и непрофессионалы. Множество премий — главных и поощрительных, дипломов.

Подали свою песню и мы с Эдуардом Колмановским.

Конкурс проводился в три тура. Наша песня не прошла даже на второй тур. Называлась она — «Алеша».

Чем объяснить? Не берусь ответить. Это ведь сейчас легко говорить,— а тогда? Не станешь же настаивать. Дальнейшая судьба ее такова.

Песню замечательно записал Дмитрий Гнатюк. Не запелась.

Но тут мы получили официальное уведомление из Пловдива о том, что «Алеша» стал гимном этого болгарского города. Позже приехали прекрасные артисты — Маргарет Николова и Георги Кордов и спели «Алешу» в Москве. Чтобы песня широко зазвучала в России, ее потребовалось привезти из Болгарии.

Что добавить? Из песен, премированных на том конкурсе, не выжила ни одна.

В ресторане нашего писательского клуба я ужинал с Андреем Петровичем Старостиным и Михаилом Михайловичем Яншиным. Был еще друг Андрея — Арик Поляков. Сидели спокойно, никуда не торопясь, и говорили не только о футболе.

Шел мимо, уже к выходу, поэт и очеркист Владимир Гнеушев, симпатичный мне человек. Он на ходу кивнул мне, потом посмотрел на наш столик внимательней и вдруг повернул к нам.

Подойдя, он бегло поздоровался, основательно уперся ладонями в стол, а взглядом — выборочно — в Андрея Петровича, и стал проникновенно объяснять ему, как он его уважает. По правде сказать, это несколько меня удивило: я никогда не слышал, чтобы Гнеушев интересовался футболом. Но тот, нависая над столом и заглядывая в лицо Старостина, продолжал что-то ему нашептывать. Андрей Петрович был, конечно, человек, привычный к обожанию, умел это переносить, но тут и он уже начал томиться.

— Володя,— пришел я на помощь,— ну что ты все: Андрей Петрович, Андрей Петрович. А вот Михал Михалыч Яншин...

Расчет мой оказался точен. Гнеушев ахнул и переключился на Яншина:

— Михал Михалыч!..

Теперь он говорил о каких-то ролях, виденных в разные годы фильмах и спектаклях. Вдруг он опять вспомнил о Старостине и стал попеременно обращаться к тому и другому.

Они оба уже поворачивались ко мне — за помощью.

— Ладно, Володя, спасибо на добром слове,— сказал я ему дружески.— Нам всем очень приятно...

Те тоже покивали ему. Гнеушев галантно раскланялся.

— Кто это? — разом спросили они, едва он отошел.

Ужин продолжался, про Володю вскоре забыли.

И тут, может быть, через полчаса, мне пришло в голову:

— А вы знаете, почему он подходил? Вроде бы ни с того ни с сего?..

Они даже не сразу поняли, о ком я.

— Да?

— Его же к нашему столу просто притянуло, неосознанно, подсознательно. То, что он болтал, это так. А причина другая: у него жена цыганка!..

Они оба так и ахнули.

— Почему же вы нам сразу не сказали?

— Да я сам только сейчас догадался. Только сообразил...

— Как интересно!..

Объясню причину их реакции.

Михаил Яншин был женат до войны на известной цыганской артистке Ляле Черной. Андрей Старостин учился с нею в школе, а его женой всю жизнь была ее двоюродная сестра, тоже артистка, плясунья из театра «Ромэн» Ольга Кононова. Она с маленькой Наташкой к нему и в Норильск ездила.

Теперь они сокрушались время от времени:

— Как жаль, что он ушел. Правда, жена — цыганка? Это же такая редкость!.. И неужто он ничего не знал про Лялю и Ольгу?

Людям, знающим меня, известно, что я не люблю выступать. В Бюро пропаганды художественной литературы на меня давно махнули рукой. Изредка бывают, конечно, случаи, когда невозможно отказаться, а постоянно — нет. По радио и телевидению еще куда ни шло — там за один раз тебя слышат и видят миллионы. И не потому не выступаю, что плохо получается, просто неинтересно добиваться эстрадного успеха. Всегда с удивлением смотрю на коллег, годами читающих одно и то же, проверено — выигрышное. Да и выбивает это меня из колеи, мешает работать.

Давно когда-то жили в писательском доме в Ялте, над городом, на горе. И вот светлым вечером, после ужина, стоят все около дома, компаниями — кто выше, кто ниже — курят, разговаривают. Снизу, из парка, появляется молодой человек, одет не по-нашему, а по-городскому, тщательно: костюм, галстук, платочек в кармане пиджака. Крутит головой и направляется к Окуджаве.

Он представляется ему: ответственный работник ялтинской филармонии, и объясняет причину визита. В городе открыт летний театр, более чем на три тысячи мест. Заполнить его трудно.

Недавно с успехом выступали цыгане. Из всех санаториев возили автобусами отдыхающих, гастроли вполне удались, но аншлага все-таки не было. Филармония просит выступить Булата Шалвовича. Два-три раза, сколько он захочет. Платят они хорошо. А кроме того, филармония — могущественная организация. Понадобится в дальнейшем гостиница или билеты в «СВ» — всегда пожалуйста...

Булат тут же согласился. Он даст концерт, но при условии, чтобы в нем принимал участие Константин Ваншенкин.

— Хорошо,— вскричал молодой человек радостно.— Мы согласны.— И опять закрутил головой: — Где он?..

Булат вежливо указал. Тот подлетел ко мне, возбужденный своей удачей.

— Константин Яковлевич,— крикнул он,— я из филармонии. Булат Шалвович дал согласие выступать. Он предлагает включить и вас. Мы рады...

— Я выступать не буду.

— То есть как? Но Булат Шалвович уже дал согласие...

— Это его дело.

Тот бросился к Окуджаве:

— Он отказывается!..

Булат терпеливо объяснил:

— Я же вам сказал: только вместе с Ваншенкиным. Договаривайтесь...

Разумеется, нехитрый ход Булата был мне ясен. Он приехал в Ялту поработать и отдохнуть, но не выступать. Уверенный в том, что меня не сокрушить, он решил избавиться от посетителя таким образом.

Молодой человек в крайнем волнении снова подбежал ко мне. Он ничего не понимал и бормотал что-то о цыганах, гостинице и билетах «СВ».

Я еще раз подтвердил свой отказ и, сославшись на неотложные дела, покинул его.

Когда я спустился через полчаса, Булат помахал мне издали и заговорил о чем-то другом как ни в чем не бывало.

В 1980 году Твардовскому, как теперь принято говорить, могло бы исполниться семьдесят лет. Меня заранее пригласили участвовать в официальном юбилейном вечере. Но ближе к делу позвонили еще из Литературного музея, предложили выступить и там. Я отказался: как-то это, если угодно, не в духе Твардовского, какая-то суета. Но они настаивали, повторяли приглашение, и в конце концов мы сошлись на том, что я буду вести этот вечер.

Со мною встретилась сотрудница бюро пропаганды, милая Галина Дорофеевна, так трагически окончившая впоследствии свою жизнь.

Мы с ней, как это водится, уточнили какие-то детали.

И вдруг — на другой день — новый ее звонок. Она была явно растеряна, чем-то расстроена, сперва не решалась, но потом откровенно рассказала мне, что же произошло.

Ее вызвал один из рабочих секретарей Союза писателей. Нужно объяснить, что в Москве несколько десятков секретарей Союзов писателей — СССР, РСФСР и Московской писательской организации. Это так называемые нерабочие секретари. Что сие значит? Не может же быть, скажем, нерабочих секретарей ЦК. А у нас — сколько угодно. Но есть еще и рабочие. Это те, что получают зарплату и ездят на черных машинах. Чем они занимаются? Не вполне ясно. Регулярно заседают, что-то решают. Широкая публика может наблюдать их по телевидению — при открытии мемориальных досок, на юбилейных вечерах и митингах. Правда, не всем они известны в лицо.

Так вот, ее вызвал рабочий секретарь, которого побаивались из-за его хмурого вида, и жестко спросил, долго ли она думала, когда предлагала Ваншенкину руководить вечером памяти Твардовского.

Галина Дорофеевна была ошеломлена и нашлась только ответить, что пригласила меня не она, а Литературный музей, хотя и она понятия не имеет, что же случилось и чем провинился Ваншенкин.

Нет, ответил раздраженно секретарь, Ваншенкин не провинился и к нему у нас нет претензий, но если на вечере что-нибудь случится, то кто, по ее мнению, будет отвечать? Ваншенкин же не ответственное лицо. Руководить таким вечером должен секретарь Союза. Да, сейчас лето, все в отпусках. Что же, вызовем из отпуска...

И из Крыма, из Коктебеля, был вызван на день еще один рабочий секретарь, он и провел вечер. Точнее, она и провела — и отбыла Аэрофлотом обратно на свой топчан у черноморской волны.

И ничего на вечере, посвященном Твардовскому, не случилось.

Галя написала маслом натюрморт — несколько тесно составленных гжельских изделий: заварочный чайник, молочник, три куколки и женская фигура с прижатым к животу кувшином. В кувшинчик вставлена привядшая белая роза. Все это на фоне серой стены.

Я повесил работу, иногда на нее поглядываю. И вдруг обнаружил, что для меня смотреть на нее приятней, чем на эти же предметы в натуре. Что *так* они мне больше нравятся. Оказавшись на холсте, они как бы приобрели некие дополнительные качества.

Черемушкинский рынок ремонтируется. Торгуют во дворе. Вторая половина ноября, лег снежок. Минус пять. Южане приплясывают, мерзнут.

На прилавке соблазнительный виноград. Женщина прицценивается:

— Сколько?

— Шесть.

Она поворачивается.

Он:

— Пять.

Она уходит. Он вслед:

— Четыре... три... два... один... Пуск!

Она уже не слышит. Никто не удивляется.

Вскоре после войны Михаил Аркадьевич Светлов был избран в районный суд народным заседателем. Приходил регулярно, но всегда молчал, словно задумавшись. На одном из судебных заседаний слушалось дело по обвинению молодого человека в попытке изнасилования. Тогда с этим было строго. Однако доказательства выглядели не слишком убедительными. Адвокат спросил у истицы:

— Как обвиняемый мог предпринять подобное действие, если он такой тщедушный, а вы мощная, крупная женщина?..

Она ответила:

— Он пытался это со мной сделать под наркозом.

Тут Светлов словно очнулся и задал вопрос:

— Под общим или под местным?..

Обвиняемый был оправдан.

Сейчас при многих школах и ПТУ существуют музеи былых воинских частей и соединений. И официальные большие музеи есть, разумеется, тоже. И время от времени присылают ветеранам приглашения написать воспоминания. Что ж, дело хорошее. Мне тоже предлагают. Я говорю: да я уже написал и напечатал даже. Но все равно настаивают.

Недавно были у меня однополчане. И вот Коля Токмаков, председатель совета ветеранов нашей 4-й гвардейской воздушно-десантной бригады, говорит, что пишет воспоминания. Коля, да какой он Коля — Николай Иванович, парень душевный, открытый, да какой он парень — дед давно. Но все равно Коля и — парень.

Вот он говорит: не знаю, как их пишут, пишу всё, как было. Например, такое можно?

Когда прорвали оборону и взяли Мор (для читателей: это город юго-западней Будапешта, в районе озера Балатон), им приказали закрепиться на взгорке. Нужно сказать, что Коля был в четвертом батальоне, я — в первом. Отрыли окопы — от обстрела. Не окопы даже, так, ямки. А он с самой Казани, где призывался, был со своим напарником Юркой. Отрыли они это дело, и другие ребята, конечно, тоже. Стало темно. И захотел Коля оправиться, да по серьезному, как он выразился. Автомат оставил на месте, куда тут с автоматом, отошел метров на тридцать.

— Всего на тридцать? — иронически усмехнувшись, спросил другой однополчанин, Аркадий Зайцев.

— Аркаша, ты что! — удивился Токмаков.— Тридцать метров — это много.

Отошел Коля, спустил порточки х/б и сидит. Тут луна из облаков появилась. И видит Коля почти рядом двух немцев. Мы продвинулись днем далеко вперед, а они, судя по всему, остались у нас в тылу, затаились, переждали и теперь пробираются к своим.

А Коля сидит на карачках, как дурак, да еще без оружия. Что делать? И он, находясь, прямо скажем, не в самом выигрышном положении, гаркнул во всю глотку:

— Хальт! Хенде хох!

Они не видели его и подняли руки.

Тогда он завопил:

— Юрка! Ко мне! Немцы...

Юрка и другие ребята подскочили мигом. Коля, пользуясь темнотой, тут же привел себя в порядок.

Взводный приказал отвести немцев в штаб. А Коля попросил друга Юрку не распространяться о подробностях пленения противника.

С автоматом он теперь ни при каких обстоятельствах не расставался.

— Ну, можно про такое писать? — спросил в заключение Коля Токмаков.

— Конечно. Пиши,— авторитетно посоветовал я, а через несколько дней, вспомнив эту историю, решил и сам ее записать — на всякий случай.

Один наш стихотворец, мой, по сути, ровесник, тогда еще относительно молодой, с горячностью крикнул при мне своему собеседнику:

— Да как вы смеете так со мной разговаривать! Я — пятый поэт России!..

На другой день я попросил его, остывшего, разъяснить, что сие означает. Он очень удивился моей неосведомленности и наивности:

— Первый,— сказал он,— Пастернак, второй — Твардовский, третий — Смеляков, четвертый — Заболоцкий, пятый — я...

— А Ахматова?

— Ахматова — шестая,— ответил он не задумываясь и прошествовал на пляж.

Все они были тогда еще живы, но не знали, как он расположил их на своем плацу.

Актриса читала по телевидению стихотворения Цветаевой, в том числе одно из наиболее трогательных — «Бабушке»:

> Продолговатый и твердый овал,
> Черного платья раструбы...
> Юная бабушка! Кто целовал
> Ваши надменные губы?

Пятилетний мальчик сказал:

— Дедушка!..

Взрослые рассмеялись, но вскоре замолчали, задумались.

Очарование не нарушилось.

Я вошел в комнату и увидел, что моя внучка,— ей было тогда года три,— сидит возле включенного радиоприемника. Передавали какие-то современные песенки, где трудно было что-нибудь разобрать.

Поэтому я спросил:

— Что ты слушаешь?

Она ответила:

— Засоренную музыку...

Не придумаешь! Музыка, *засоренная* словами, вернее, текстом!

И еще вспомнилось. Начинающий поэт принес мне стихи о том, как на речном трамвае-теплоходике плывут пожилые отдыхающие и поют. Поют они, разумеется, «Катюшу». И там у него говорится: «Поют „Катюшу" упоенно» или что-то в этом роде. И вдруг — «Поют „Катюшу" добровольно»...

А, знаете, ведь здорово сказано,— то есть с его точки зрения. Он, молодой мальчишка, вообще не понимает, как можно петь такую песню, а они поют ее *добровольно*, получая удовольствие.

Он здесь одной строчкой нарисовал психологически точно и их, и себя.

А за «Катюшу» не беспокойтесь, она и его переживет.

Часто земляки выдающегося человека считают, что лучше понимают его и все о нем, чем остальные, хотя сами и не общались с ним, не были знакомы, а то и не видели. Только по причине землячества и областной гордости.

Удивляюсь я все-таки нашей критике: она то и дело говорит о поэме Твардовского «По праву памяти», напечатанной лишь теперь, цитирует ее,— и это, разумеется, замечательно,— но совсем забыла «Теркина на том свете». А ведь вот где сатира, перестроечный пафос, развенчивание бюрократии. И как написано! Раскройте — не оторветесь.

Экологическое начало «Василия Теркина». Послушайте:

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной —
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки какой угодно,
Из ручья, из-подо льда,—
Лучше нет воды холодной,
Лишь вода была б — вода.

И ведь точно. Из колодца, из водопроводной трубы или из ручья — это понятно. Но ведь и из пруда пили, и из копытного следа. И из колесного. А в низинных местах ударишь каблуком — и вода проступает, пьешь. Или саперной лопаткой копнешь раза три — и тоже, пожалуйста. Но вот — «из реки, какой угодно». Из малой — ладно, но из больших пили, из Днепра, из Дуная. А ведь война! Зачерпнешь котелком, а то и пилоткой, и тянешь без отвращения.

Сейчас, думаю, половина бы животами маялась, а то и перемерла, а тогда ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь пожаловался.

«Лишь вода была б — вода»... О теперешней воде так не скажешь.

Пастернак написал в 1956 году: «Быть знаменитым некрасиво». Через два года на него обрушилось липкое облако небывалой скандальной известности, придавило, обволокло.

В том стихотворении он говорил:

Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

В пятьдесят восьмом он именно был «притчей на устах у всех». Но значить-то он стал еще больше.

Я давно обратил внимание на почти необъяснимую склонность, даже потребность иных поэтов повторять в стихах стоящее поблизости слово. Будто не замечая, что оно только что употреблено. Как бы нарочито и в то же время естественно.

Результат же получается поистине волшебный.

На *печальные* поляны
Льет *печально* свет она.

И, конечно, отсюда — почти через сто двадцать лет:

Опять *печалится* над лугом
Печаль пастушьего рожка.

И опять Пушкин:

И забываю мир — и в *сладкой* тишине
Я *сладко* усыплен моим воображеньем.

И у Шевченко, тоже ведь после Пушкина:

Як *реве ревучий*.

Даже совсем рядом, в одной строке.

Но это не закон о механическом усилении стиха. Потому и встречается столь редко.

Иннокентий Анненский попробовал добавить конкретности в пушкинские строки:

Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

У Анненского:

Между запиской и свиданьем.

Прелестно. Если бы не было первого. И ведь там уже сказано: *верного* свиданья. То есть тоже заранее условленного.

Поэты при работе увлекаются гораздо более, чем прозаики. Передвинуть в слове ударение вообще ничего не стоит, если требуется для размера. И многое другое. Есть выражение: поэтическая вольность, и проявляется это по-разному.

Вот у Фета стихотворение «Не дивись, что я черна» (из цикла «Подражание восточному»). Оно написано от лица горянки:

Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален,
И цвету я для любви,
Для твоих опочивален.

Но вот:

На горах опять стада,
И оратай вышел в поле.

Прекрасно, но ведь не оттуда. Так она не скажет. Она и слова-то такого не слышала.

И вновь:

Целый мир пахнул весной,
Тайный жар владеет девой...

Девой? Тоже не верится, чтобы она так да еще о себе говорила.

Но дальше! —

Я прильну к твоей десной,
Ты меня обнимешь левой.

Описано точно, подробно, смело. Однако при чем здесь «подражание восточному»? Это влюбленная орловская или тульская крестьянка. Но и она бы уж сказала скорее не «оратай» и «десной», а «пахарь» и «правой».

Смелость в поэзии. Гражданская, политическая. Пушкин, Лермонтов. Или Тютчев, написавший о царе:

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей...

Царь, правда, уже умер. Но ведь был новый!

И еще другая, обязательная, смелость — полной откровенности. Одно из главных составных искусства.

У того же Тютчева:

Ты любишь, ты притворствовать умеешь,—
Когда в толпе, украдкой от людей,
Моя нога касается твоей —
Ты мне ответ даешь — и не краснеешь!

Какая сцена! Не рука руки касается! Кому посвящены стихи, не установлено, но мы словно видим, знаем ее.

У Заболоцкого есть стихотворение «Полдень». Первые две строфы вялы и описательны. Начинается оно, по сути, так:

Есть в расцвете природы моей
Кратковременный миг пресыщенья,
Час, когда перламутровый клей
Выделяют головки растенья.

Утомились орудья любви,
Страсть иссякла, но пламя былого
Дотлевает и бродит в крови,
Уж не тело, но ум беспокоя.

Классическое стихотворение, а вторая — здесь — строфа, считаю, вообще лучшая у Заболоцкого.

Твардовский написал когда-то:

Что-то я начал болеть о порядке
В пыльном, лежалом хозяйстве стола...

И чуть дальше:

Что ж, или все уж подходит к итогу
И затруднять и друзей не хочу?

Ему тогда едва перевалило за сорок лет. Я как раз в ту пору с ним познакомился. Подобные стихи в таком возрасте — все-таки как бы прием, простительное кокетство. Ведь он был полон сил и планов. Да и как выяснилось впоследствии, архив его оказался исключительно упорядоченным, даже копии почти всех собственных писем сохранились. Вероятнее всего, здесь приложила главные усилия Мария Илларионовна, но и сам, наверняка, тоже: смолоду знал, что классик, и относился к окружавшим его бумагам достаточно серьезно.

Но это к слову, к примеру. Наступает момент у каждого, и не только пишущего, когда он хочет привести свои дела в порядок. Хоть бы просто для удобства остающихся. А то ведь порой кроме меня никто толком не знает, где что лежит — из документов даже.

А уж в записных книжках — сам черт голову сломит: многое не разберешь, не поймешь, так и останется. Сам с трудом понимаю.

Надо бы заняться,— разложить по папкам: здесь неопубликованное, здесь — напечатанное только в периодике, там — черновики, тоже отдельно, по жанрам. Рецензии, публикации; письма, разумеется, тоже систематизированные. И на каждой папке четко написано: что в ней. А сверху — всякие там грамоты, награды, документы.

Но ведь изначально не привык. А сделаешь так — вроде, все, уже собрался, остается только ждать. Но разве можно жить с уложенным багажом!

Вот так и идет — и самому неудобно, и потом не знаю, как будет,— но уже устоялось, боюсь менять. Спровоцировать боюсь, сглазить.

Когда я опубликовал заметки «Перечитывая Твардовского» (в «Новом мире» в 1958 году, еще при Симонове), Твардовский сказал мне по этому поводу:

— Вы читатель очень внимательный...

Я был слегка разочарован, тем более, что уже слышал от других о его добром отношении к моим заметкам. Но потом я понял, что это и есть высокая оценка работ подобного рода.

Один московский наш писатель, прочитав мою книгу «Поиски себя» — о многих прекрасных поэтах, прозаиках, композиторах, артистах, с которыми мне посчастливилось близко общаться,— воскликнул:

— Константин Яковлевич! С какими людьми вы встречались! А я прожил жизнь на задворках литературы...

Действительно, обидно.

Чем опасен в литературе «хрестоматийный глянец»? Это, по сути, потеря собственного, непосредственного, живого восприятия искусства, замена его восприятием механическим. То есть мы перестаем сами видеть, замечать, утрачиваем эти драгоценные читательские качества.

Поэт написал:

Я, ассенизатор и водовоз...

Две эти профессии, два эти понятия несовместимы в одном лице. Я еще помню, как водовоз развозил в бочке, запряженной лошадью, питьевую воду по заводскому поселку, как к нему выходили с ведрами, какая это была чистая вода. Ну, и обоз золотарей, по возможности, ночью, распространяющий устойчивую вонь,— никуда не денешься. Объединить эти два почтенные занятия нельзя. В приведенной строке вода пахнет нечистотами.

Или другое:

...Верно, горшки обжигают не боги,
Но обжигают их мастера.

Автор не прав. Сама эта поговорка — «не боги горшки обжигают» — означает: не робей, ничего здесь нет мудреного, это несложно, научишься.

И в действительности горшки-то уж (даже и куда более сложную керамику) обжигают не мастера, а подмастерья, ученики. А на современных заводах вагонетки с необожженными изделиями загружаются в печи и по прошествии положенного времени, по сигналу выводятся с готовой продукцией.

«Хрестоматийный глянец» — это ликованье по любому поводу, в том числе и по причине очевидных промахов.

Существует расхожее мнение, что пишущему стихи приносят известность (чаще говорят: популярность) песни,— если, разумеется, они у него есть. Заявляю со знанием дела: это не так. Распространение песен и стихов — совершенно разные вещи. Это почти никогда не соприкасается. И письма слушателей — только о песнях, и читателей — только о стихах. Разные люди, разные восприятия. Да и в абсолютном большинстве статей, рецензий о моих стихах — ни слова о песнях.

То же самое с телевидением. Многие думают: выступлю и стану знаменитым. Ничего подобного. Зритель замечает тех, кого хочет. Иных же *в упор не видит*. И здесь опять же своя специфика.

Я наблюдал, как работают профессиональные прозаики — по многу часов кряду. Я знал писателей, у которых из двадцати написанных страниц оставалась одна. Это как если бы у столяра из двадцати сделанных им табуреток безболезненно сидеть можно было бы только на одной.

Когда я пишу прозу, меня хватает на три-четыре часа,— дальше я выдыхаюсь и чувствую, что нужно кончать.

Но лучшими местами могут оказаться именно те, когда только-только начинаешь уставать, и по этой причине опускаешь все лишнее.

Говорят, что я много пишу. Это заблуждение. Мой «секрет» в том, что я чередую стихи с прозой, с воспоминаниями, заметками. Но чередую, понятно, не по плану, не нарочито, это происходит само собой, естественно.

Мучительное ощущение: не все сделал в молодости, да и дальше — не все, как хотелось бы сейчас. Не все, наверное, получилось. Не доволен собой — чаще всего. Но вокруг такое ликование самодовольства, что зачем же я буду рекомендоваться хуже всех! Нет, на их фоне я очень даже еще ничего!

Вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, то есть писать, совершенствоваться, начинают бороться с теми, кто якобы мешает — одним своим присутствием, наличием, существованием.

Борются, борются, а тут и жизнь прошла.

Действующие поэты, регулярно выступающие с обзорными статьями о текущей поэзии. Существует понятие играющий тренер, но не бывает играющего судьи. А тут и сам играет, и еще свистит — назначает штрафные и пенальти, делает предупреждения.

Свое, резко отличное, не считающееся с другими мнение, связанное обычно и с оценками, высказывают, как правило, незаурядные, выдающиеся личности или же лица низкого уровня, неподготовленные, некомпетентные и потому безответственные, бесцеремонные.

Смелость незнания.

В первый перестроечный год знакомый шофер Саша, возивший довольно большого начальника, на мой вопрос о том, какие же обозначились перемены, ответил:

— Есть указание: не докладывать липы!..

Интересно, выдерживается ли это требование?

А у нас, в литературе?

ИСПОВЕДЬ СЫНА ВЕКА

Е. Я. и О. В. Матюхины

СЛУЧАЙНАЯ СМЕРТЬ

Больно и трудно писать обо всем этом — наш старший сын, Матюхин Дмитрий Олегович, служивший в строительных частях, погиб, став жертвой произвола, бездушия и халатности людей, не ответивших за это и по сей день продолжающих свое дело.

Государственные институты — прокуратура, управление строительных частей, военные и гражданские министерства (на «прокат» которым сдаются военные строители) — не заинтересованы в раскрытии подобного рода преступлений, освещении истинного положения дел. Остается общественное мнение.

Собранные здесь письма и выборки из писем сына (далеко не все, написанное им родителям и друзьям) — это взгляд «изнутри», свидетельства человека, испытавшего на себе и пережившего все «прелести» стройбата. Почти каждое письмо содержит обвинительный материал — нельзя оставлять это без внимания, мириться с этим.

Горько сознавать, что, ища «спасения в работе», стремясь сохранить в той обстановке и не потерять в себе Достоинство и Веру, пытаясь понять смысл происходящего, мечтая вырваться оттуда к нормальной человеческой жизни,— он получил Освобождение путем смерти. Возможно, у него не хватило сил противостоять Злу — инстинкт самосохранения, будучи подавленным, уже не действовал; возможно, он был излишне эмоционален и чувствителен, но он никогда не был равнодушным, при всех своих слабостях и недостатках всегда оставался честным, гордым и прямым человеком...

В последний год армии в свободное от работы время он много читал — Ф. Искандера, А. Платонова, Ю. Домбровского, Оруэлла, С. Каледина...

«...Всю эту неделю — после папиного отъезда — не вылезаю из библиотеки. И эти два часа, что могу там просидеть, 6.30—8.30, жду, что голову мою разнесет на куски закипевшее содержимое черепной коробки... И вылезаю я в полдевятого из избы-читальни совершенно обессиленным. Ни черта не могу я понять в этом Домбровском. Может, и не собирался он в третьей части отводить Евангелию столь видное место, но меня оно цепляет более всего. И дикое желание забиться куда-нибудь и читать, читать. *Чтоб знать.* Может, тогда и понимать что-нибудь начну, а нет, так ломить — в духовную академию (или с чего там начинают — семинарию)...»

Наше горе — это капля в общечеловеческом горе — горе матерей, потерявших своих сыновей в Афганистане; горе людей, оплакивающих своих родных в Тбилиси, Сумгаите, Ленинакане... множатся человеческие жертвы, продолжают погибать наши дети. И мы не можем, не должны допускать этого — не имеем права молчать.

«...Прессу, папой привезенную, освоил, и ее уже растащили. Кроме статьи о Вернадском — дошел до места, где значится: „из всех обитателей Земли человек — далее всего от цели своего предназначения", что все то, чем он отличен от иных сущих, не только не получает своего развития, но активно гасится средой...»

(из письма сына 20.07.88 г.)

Он и не подозревал, насколько пророческими для него окажутся эти слова... Прошел год.

1 июня 1989 года во время выполнения очередного задания, сопряженного со многими нарушениями правил техники безопасности и прежде всего — отсутствием необходимых страховочных средств (что было зафиксировано в акте о несчастном случае, составленном комиссией ЦК профсоюзов), Дмитрий упал с высоты — произошел обрыв капронового фала страховочного пояса, который расплавился от соприкосновения со швом сварки — и получил тяжелую черепно-мозговую травму, от которой скончался 5 июня, не приходя в сознание.

Таков был «итог» безжалостно закономерных 1,5 лет «службы» в стройбате. Для военного же и гражданского начальства случившееся — очередной досадный «недочет» в работе, который потребовалось срочно исправить. К приезду комиссии моментально были возведены строительные леса, сварщикам — срочно заменены страховочные пояса с капроновым (!) фалом на металлические цепи. Что ж, меры приняты — комиссия лишних вопросов не задавала. О Диме тут же забыли или делали вид, что забыли. «Молния», посвященная этому несчастному случаю, провисела чуть больше суток, хотя обычно висит месяцами. Запретная тема...

В интервью с С. Калединым («Собеседник», 1989, № 24) журналисты задают писателю вопрос: «И все же, почему бы Вам не отразить героический — без преувеличения — труд военных строите-

лей, скажем, на сдаточном стратегическом объекте? Не перевести место действия вашего нетипичного „Стройбата" в типичный дисбат? Не упомянуть о положительном результате воспитания трудом?»

Что касается нетипичности «Стройбата», вот мнение познавшего настоящий стройбат — в своем последнем письме, прочитав эту повесть, сын пишет: «...там 70-й, здесь 89-й — один к одному. Разве что разделение на блатных — не блатных у нас жестче, отсюда и отношения между людьми гораздо менее человеческие, чем в 70-м...» Такого же мнения и его товарищи по стройбату.

А уж если говорить о «воспитании трудом» на столь важном стратегическом объекте, каким является Ульяновский авиационно-промышленный комплекс (АУПК) — именно здесь «служил» наш сын под началом Минсредмаша,— то эта тема поистине неисчерпаема.

«...зэки — первая рабочая сила здесь, потом идут гражданские, и последним номером — как самый гнилой вариант — стройбат. Теперь н знаю, что есть комсомольская стройка».

Полная бесхозяйственность, бесконтрольность, невежество и произвол — все, как на обычной стройке. Здесь проходят «воспитание трудом» стройбатовцы, которых не знают, куда приткнуть: учат на каменщиков — используют на рытье канав, на плотницких и бетонных работах, перекидывают с места на место. За 1,5 года кем только сын не работал — каменщиком, геодезистом-чертежником, бетонщиком, снова геодезистом-заметчиком, плотником-бетонщиком и, наконец, сварщиком. Кроме того, были «ночные бдения» (нередко по выходным дням) над всяческими текстами, графиками, журналами, расписаниями; было оформление Ленинской комнаты, когда в течение месяца ему предстояло исписать почти сотню подрамников. Никакого обещанного за эту работу отпуска не последовало...

3.03.88

«Здравствуйте, родные мои и столь далекие домашние!

Сегодня исполнился месяц третий, как н покинул дом родной. У нас полный бардак в полку и на производстве. Оказывается, мы не окупаемся, и весь полк сидит на госдотации, что совершенно не соответствует назначению стройбата, как самой дешевой и производительной (в силу количества занятых людей, лишенных гражданских прав, что позволяет на них безнаказанно ездить) рабочей силы. Сейчас еще можно это оправдать тем, что весь полк — ученики (декабрьский призыв), но потом, через 3 месяца что будет (!), когда все получат разряд. Начальство получит право запинать их до смерти, но с какой стати они смогут выполнять норму — не понятно. Все это опять же грозит разгоном полка или переводом его в иное место. Дошло до того, что упразднены все полковые должности — фельдшер, художник, плотник — формально, конечно, на самом деле никто их на производство не погонит... Все это делается якобы оттого, что не хватает народу на производстве; и в то же время у нас из роты угоняют целое отделение в Димитровград — 80 км от Ульяновска,— которое последние недели на производстве пасли, не зная, куда приткнуть, использовали на земляных работах. А ведь они не одни такие...

Недавно посетил нас начальник СМУ: старый хрен, работающий со стройбатом с 66-го года. Выражал активное недовольство невыполнением плана. Брехал он довольно долго, но интересную вещь сказал лишь одну — 120 человек каменщиков у него болтаются без дела, вернее, используются на работах, которые управлению не нужны и не выгодны; таким образом, мы отбираем у них деньги, прибыли не приносим...

В течение прошедших полутора месяцев я не видел не только кирпича, но даже осколка или намека на принадлежность мою к каменному делу. В среднем 4 часа рабочего времени и спал, иногда цифра эта поднималась до 6-ти часов, а порою снижалась до 2-х...

Ныне я завис меж двух СМУ (5 и 8), числюсь каменщиком в СМУ-5, переведен приказом в отделение бетонщиков, работающих в СМУ-8, среди публики считают геодезистом того же СМУ-8, в результате сижу в какой-то бытовке и скучаю. Интересно, надолго ли это?..

Чувствую, что просто-напросто не хватит сил, чтобы изобразить все то, что вызывает нервный смех, неудержимый, злой, переходящий в кашель, от которого не могу избавиться с февраля месяца...»

03.06.88

«День добрый!

Полторы недели я — геодезист. Вернее, помощник геодезиста — заметчик. В первый же день прораб участка, на котором я сижу, сунул мне в руки нивелир и отправил меня к каким-то грузинам из другой роты — давать отметки, не спросивши даже, разумею ли я, как это делается. Дембеля-грузины правильно поняли мое появление с геодезической техникой (оптикой) и в ответ на просьбу выделить мне человека — таскать рейку — предложили для начала тачку, лопату и бадью бетона, объяснивши, что в случае оказания помощи мне будет выделено целых два человека, и извинившись, что больше дать не могут. Поскольку все это звучало

вполне ласково (грубость была проявлена лишь в отношении многострадального нивелира — который всякий раз, как от него отвернешься, подвергается насилию со стороны узбеков и азербодов, которые не взирая на то, что он предназначен лишь для работы в горизонтальном положении, пытаются, не отделяя его от треноги, разглядеть женщин-штукатурщиц, работающих где-то под потолком на высоте метров 30), я взялся за лопату, т. к. понял, что убедить их в том, что бетон надобно подгонять под отметку, а не наоборот, не удастся. Подобная ситуация повторяется изо дня в день, только я уже не держу в руках лопату, а сижу и жду. Когда они кончают, я сообщаю им, что они накидали лишнего, и ухожу, выслушав предложение соскрести это лишнее собственноручно. Если бы приходилось заниматься только этим, я, наверное, лег бы в санчасть, но, к счастью, существуют еще и гражданские, и зэки...

...Когда приходит мой непосредственный начальник Ваня — геодезист СМУ-8, мы идем обмерять „фундаменты под оборудование", глыбы бетона, сильно напоминающие надгробие, по-моему, на могиле Сперанского, только высотою 3 с лишним метра и длиной до 20 метров. Обмер производится с помощью рейки нивелирной трехметровой, одна половина которой сломана пополам и сколочена гвоздями при помощи соединительной дощечки.

Часто лунки и перепады высот, которые нужно обмерять, завалены арматурой или залиты водой — приходится измерять на глаз. Но даже так видно, что почти ни один не соответствует проектному, отсутствуют целые куски из того, что изображено на чертеже. Для того мы и обмерняем, дабы ясно было, где долбить, а где наращивать. А долбить надо до ужаса много, а что такое отбойный молоток, здесь, похоже, не знают. Лом — забавная штука, но работать им часами — дело тяжкое...»

04.06.88

«Ровно 6 месяцев, как я попал Сюда. А впереди еще в 3 раза больше. Если мне удастся выбраться отсюда, то я уверен, что не вернусь. Поэтому н боюсь отпуска — оттуда только один путь — в Скворечник — чапиться, порюхать вены и туда, но добровольно вернуться в эту помойку н не смогу».

02.08.88

«...Мне все дико надоело — шум бульдозеров и ИХ голоса. Вначале все это бесило, потом веселило, а теперь...

Сегодня диких размеров бульдозер соскребал с бетонного пола песок. Причем слой песка был таков, что вполне поддался бы дворницкой метле, которые здесь в изобилии наличествуют. Он же вгрызался своим непомерно острым ковшом в бетон, издавая при этом пониженный и усиленный во много раз звук вилки (либо ножа) по тарелке. От бетона летела пыль, но он не поддавался. Самое же интересное, что слой песка нисколько не уменьшался. Это все происходило на расстоянии вытянутой руки от меня — я мог его потрогать, когда он проезжал мимо, отгораживая не только рейку от нивелира, но и меня самого от всего белого света. Я же давал отметки под точно такой же бетонный пол, что был им выскребаем. А в тридцати метрах левее узбеки долбили точно такой же пол, под который я давал отметку вчера, но когда залили, оказалось, что тут его вовсе не должно быть, напротив — тут надобно копать — здесь должен быть фундамент под оборудование. То, что успели, вычерпали лопатами — остальное схватилось, и вот — долбят...»

04.08.88

«Милая моя мамочка! Дело в том, что я не желаю быть „злым и напряженным", здесь вся злость и напряги уходят даже не на борьбу, а на переваривание всей той гнусности, которую несет в себе советская армейская система. Впрочем, может, не только советская, но здесь все усугубляется присутствием некогда изобретенной „новой исторической общности"; а также не столько армейская, сколько стройбатовская. Теперь я панически буду бояться промышленного производства и непосредственно строительства, хотя я верю, что все дело в бездарности подхода к человеческому труду в нашей стране. *Это отрава!* Работать здесь — добровольно увечить себя.

И сейчас я, как и предполагал 8 месяцев назад, рву волосы, что отказался от обследования на предмет послеменингитной патологии, которое мне предлагала добрая невропатолог на последней призывной комиссии. Анальгин и цитрамон высылать ни к чему, т. к. это делу не помогает, ты ж знаешь. Это головная боль, как при сотрясении,— отдается в голову при резких движениях, при ходьбе, и потом, я к ней уже привык, и она уже не гнетет.

Я уже писал — все страшно надоело. До такой степени, что когда отвлекаешься, в ожидании того, что скоро опять вернуться, включиться в эту омертвляющую жисть-существование,— действительно едет крыша. Это выражение из наркоманского лексикона — когда перестаешь „объективно воспринимать действительность" (как было написано в „Комс. правде" по поводу „реактивного психоза" Артураса Сакалаускаса), удолбавшись чем-либо — покуривши, понюхавши, уколовшись. Но именно в этом состоянии ты четко осознаешь необходи-

мость кончать с этим со всем — надо срочно что-то делать, дабы попасть домой,— вначале в пивную, потом сразу же, не давая себе расслабиться — к своему делу. Я постиг, в каком отношении армия уродует человека (папе говорил, но он, кажется, не поверил). Да, через 2 года можно вернуться в прежнюю среду, к прежнему занятию, но „рожать-то" ты уже будешь не в состоянии. В лучшем случае, при положительных объективных данных — память, усердие, уравновешенность и т. п.— ты будешь лишь накопителем. А *ассимилировать* (так, кажется, если нет — надеюсь, поймешь) все, тобою обретенное, уже не сможешь. *Это импотенция.* Все это четко осознаешь в момент съезжания крыши, и мне страшно от сознания того, что это состояние может когда-то пройти и не вернуться.

...в тот день я совершенно ошалевший вернулся в бытовку и, не поехавши на обед, водил пером с тушью по бумаге. И народил два рапорта на имя командира роты. Один — с просьбой снять с геодезистов (в тот день попапался с начальством), т. к. приходится выполнять не в меру ответственную работу, и я не желаю наносить урон производству и навлекать уголовную ответственность на всяческих главных инженеров и прорабов, что не исключено в силу моей некомпетентности. Во втором я признавался в том, что не езжу на обеды (что наказуемо) и часто и надолго отлучаюсь с рабочего места (что строго наказуемо), т. к. „жаждаю тишины и уединения", и вообще — страдаю патологическими головными болями. В конце я просил содействовать консультации у невропатолога и психиатра. В самом конце намек на то, что в сочувствии не нуждаюсь — уже было — желаю действия.

...здесь не любят препятствовать человеку, который сам себе делает плохо.

А, по их мнению, я действительно делаю плохо в первую очередь себе...

В общем, я отдал оба рапорта. Капитан на следующее утро подошел ко мне очень по-доброму, второй раз за все время назвал меня по имени (первый раз при папе)... Вроде как дал понять, что поможет. Прошло 4 недели, пора напомнить...»

Бессмысленность работы, которую приходилось выполнять на стройке (так же, как и обстановка в полку), постоянно угнетала, доводила порой до отчаяния, бессилия, злости. В письмах к своей однокурснице он пишет:

«Саша! Я *уже* не нормален. Что будет через 2 года, предвидеть сложно, возможно, „внешне" во мне тоже „ничего не изменится", относительно остального сомнений уже нет, так и передай, если кто поинтересуется.

Выполнить пожелание „не забывай нас!" довольно сложно, ибо голова вконец опустела, остался только силуэт города и что-то от Шувалово...»

04.07.88

«...Сегодня у меня пошел десятый месяц пребывания в этом зоопарке. Т. е. осталось ровно пятнадцать. А ведь это очень много! То, что ранее вызывало здоровый смех, теперь уже настолько утомило, что вызывает раздражение, в лучшем случае, смех, но уже далеко не здоровый.

А поскольку раньше смеяться приходилось довольно часто и подолгу, то ныне у меня съехала крыша. Я дал знать об этом начальству (в письменной форме), и в настоящее время кровлю мою пытаются залатать, закачивая в вену кубов по 11—12 витаминов...

...Саша! Бойся проходных! Всякого рода промышленного производства и строительства. Бойся людей, которые называют себя мастерами, прорабами и начальниками участков. За милю обходи надписи типа СМУ, МСУ, РСУ и т. п. Это болото! Это выгребная яма, в которой люди — это те беленькие опарыши, которые живут там своей жизнью, крутятся и ползают наверняка с такими же озабоченными лицами, что и вышеперечисленная публика...

Да убойся же всего вышеназванного и будь здорова...»

Нет, он не был нытиком, «маменькиным сынком». И физически, и духовно он был достаточно сильным человеком. Рос обыкновенным мальчишкой, живым, впечатлительным — играл в футбол, с увлечением рисовал, занимался музыкой, спортом — горными лыжами. Любил книги, лес, обожал всяческую живность — собак, кошек и пр.

Любой принудиловки, фальши, лжи, лицемерия, грубости и хамства сын не выносил так же, как и всего того, что делалось ради проформы, ради «галочки» в отчете — отсюда конфликты с классными руководительницами, исписанные красными чернилами дневники, вызовы родителей в школу. В рамки существующей школьной системы он не укладывался, хотя сама учеба давалась ему легко. С интересом и полной отдачей он делал лишь то, что любил, в чем видел смысл и пользу.

В старших классах Дима ездил с нами во время летних отпусков в археологические экспедиции — в Среднюю Азию (Казахстан, Узбекистан), работал там с местными ребятами-землекопами; клеил и шифровал находки в «камералке»; последнее лето работал с отцом уже как архитектор-художник, помогая в съемке и зарисовках.

Делать он умел практически все — от учебных пособий для кабинета математики (сложные многогранники) — до шитья брюк; занимался фотографией.

После школы — учеба в Ленинградском инженерно-строительном институте на архитектурном факультете. Со второго курса ушел, «споткнуешись об „Историю КПСС"», стал работать в институте «Спецпроектреставрация» — открыл для себя русскую архитектуру, увлекся историей... Намеревался продолжить учебу, получил допуск для занятий на вечернем факультете — и тут призыв в армию.

В армию он пошел совершенно осознанно, не питая на сей счет никаких иллюзий — достаточно был наслышан о ней от тех ребят, для которых 2 года армейской службы уже были позади,— наскоро залечив свою экзему на руках и скрыв от нас, что ему предложили обследование на последней призывной комиссии по поводу послеменингитной патологии (в детстве переболел менингитом — осложнение после свинки — поэтому какое-то время страдал головными болями). Все его сверстники уже служили. Он надеялся, что попадет в инженерные войска, но оказался в стройбате — скорее всего, очевидно, по причине близорукости.

Сюда, в стройбат, списывали всех «некондиционных» — с больными почками, печенью, язвами, сломанным позвоночником, близоруких, дебильных, неврастеников, алкоголиков, уголовников, просто судимых и уже отсидевших срок в колонии — всех в один котел. Здесь же в огромном количестве — представители Средней Азии и Кавказа, многие из которых зачастую не знают русского языка.

«...Основная масса изъясняется междометиями и матерными воплями, в которых ругательство теряет форму слова. Впрочем, к этому быстро привыкаешь, начинаешь понимать, чего от тебя хотят, и даже начинаешь находить, что подобный способ общения наиболее практичен — ни физических, ни умственных, ни временных затрат. Выплескиваешь немного эмоций, которые сами собой обретают форму, доступную всем окружающим — от рядового до майора (с высшими я не общался, но со стороны — там дела обстоят не лучше)...»

«...Называют нас здесь „мыши", но т. к. русских практически нет, то это звучит как „миши", „мишонок". Мышь — это маленькое, серенькое, безликое животное, которое можно погонять. Если они, „миши", недостаточно резво разбегаются после команды "Вольно-разойдись!", их можно снова сгрести в кучу (строй) и повторить опыт. Смотреть на это со стороны очень интересно, и поэтому собирается много публики, визжащей от восторга и гикающей, преимущественно, нерусской, естественно...»

«...в мыслях я живу все еще где-то в ваших краях. Все время кажется, что все это не всерьез и скоро должно кончиться, хотя бы расформированием полка, если не отправкой домой по причине психической неполноценности. Спасает пока меня от кризы бардачность здешняя и отсутствие логики во всем происходящем — если это не бьет по твоему физическому состоянию, то очень легко отключиться...»

19.03.88

«Вот уже скоро неделя, как я тружусь на каменной кладке, план, конечно, не даю, да и не сильно меня это заботит. Всяческую писарскую работу и роте также забросил почти, посему — полы мою. Для стрему пошел в школу партийно-комсомольского актива, довольно забавно...

Вчера получил мамино письмо. Про дела свои писать нечего, пожалуй, могу сообщить, что нынче на завтрак опять дали „суп", вообще-то я к этому продукту уже привык, и он меня даже радует, т. к. много народу его вообще не признает, либо не сильно жалует, и мне достается порядком.

Сегодня все было обычно снаружи — количество, цвет, но внутри, сколько мы ни копались, ничего не нашли, кроме малого количества разваренной муки. Такое впечатление, что гущу просто вынули, а ведь там встречались раньше даже кусочки жира. Голодная получилась суббота — завтракали в 6.30, обед в 14.00, обычно голод приходит через 1,5—2 часа после еды, а тут из-за стола голодными вышли.

А вообще я начинаю потихоньку привыкать — по будням беру хлеб с завтрака и до обеда перебиваюсь без особых страданий. С обедом также дела обстоят теперь иначе — я принял к сведению народную мудрость: „С волками жить — по-волчьи выть". Уже почти выработана тактика, и не поевши в полный рост, я не ухожу. Кажется, я уже писал о том, как идет процесс „приема пищи" на производстве. Он рассчитан на коммунистическое общество — 10 человек за столом, и как ни предельно он укорочен — по 5 человек с каждой стороны влезают только-только. Все рассчитано на то, что на каждом сидячем месте будет находиться очень порядочный человек, ведь ровно на 10 человек, всем поровну (?), первого и второго тоже по министерской порции и больше ничего в котле не остается. Вот с этого момента коммунизм ситуации и начинает рушиться — хлеб-то нарезан не поровну — кусочек чуть толще, кусочек чуть тоньше, естественно, кто первый схватит-

ся за тарелку, тому больший и достанется; про кашу и говорить нечего — никто не знает, как будет выглядеть эта самая порция, министерством определенная, и если первый положит себе черпак, то следующий, чтоб не обделить себя, кинет черпак уже с верхом и т. д. В результате — 2—4 человека остаются без каши. Когда-то обед начинался с супа (как у людей), но тот, кто съедал суп последним, оставался без второго (каша). В этом случае приходилось наворачивать его быстрее, либо выливать в отходы (тарелка-то одна, кстати, не тарелка вовсе, а „шлемка“, ведь у нас тут все с зон). Теперь же все начинается с каши; тот, кому каши не досталось, начинает суп, доевшие кашу и желающие продолжить (их примерно 50 %) могут догнаться супом, в том случае, если он съедобен.

Первые два с лишним месяца я питался супом, редко — с малым количеством каши. Теперь, постигши, или, лучше, принявши главный принцип существования в стройбате (это там, где про волков), я нормально обедаю ежедневно. С самого начала — стремиться попасть в конец стола — где хлеб — и по пути к своему месту успеть, схвативши несколько шлемок (несколько — это для напарника-подстраховщика, вдвоем легче, и на случай, если напротив окажется дедушка), и черпак ухватить, и хлеб, и приступить к наполнению посуды; напарник тем временем занят салатом, ложками и страхует хлеб. Когда накладываешь — черпак надо держать крепко-крепко, т. к. в него вцепляются еще несколько рук...

В общем, на обед идешь, как на бой,— нужна предельная собранность, решительность на грани нахальства и четкость движений.

А после обеда можно подойти к офицерскому столу и попросить оставшийся хлеб; опять же, после получения согласия, нужно успеть схватить и, не повредивши, отправить в карман, ведь до ужина в будний день — 8 часов...

...Курево быстро кончилось, т. к. слишком много накопилось людей, которым нельзя было отказать — ведь еще вчера делились с тобою...»

27.05.88

«Да здравствуйте, мои дорогие родители!

Конвертов нет, да и ручку удалось приобресть только сейчас — дали получку. Перевод бабушкин целиком на фотографии ушел. Так вот — о людях. По правую руку от меня стоит весьма качественный человек с Обводного канала — пункер ⟨...⟩. Но т. к. панк он советский, то по натуре является оптимистом, что сильно облегчает ему жизнь здесь и упрощает общение — сейчас, в основном, с ним дело и имею. Имеет статьи... кроме того, имеет отбитые в Крестах ментовской рукой почки. Однако все это не сделало его злым, и агрессивен он лишь в своей веселости...

В ногах моих сидит человек, о котором я, очевидно, уже писал... Очень хороший человек, не по годам мудрый — ему 23, к тому же счастливчик — находки сами к нему в руки идут: за время своего пребывания здесь нашел (это при мне) 10 рублей в полиэтиленовом пакетике, часы (ходячие), красивый мундштук. И, наконец, он капитально залетел в санчасть, раздавивши себе палец на ноге. Теперь он греется на солнышке на крыльце санчасти и провожает проходящих мимо гомерическим смехом. Порой я присоединяюсь к нему. Теперь я уверен, что в недалеком будущем мы вконец кризанемся. Началось с того, что он вдруг обнаружил на своих руках мозоли, которых никогда в жизни не имел, не обрел он их и за полгода стройбата, но осознать, что это след костылей, обретенный всего за 2—3 дня, было выше его сил. Уже это одно давало неиссякаемую пищу для нездоровых в здешней ситуации размышлений; но потом, когда пришло время снимать швы, и выяснилось, что в полку нет ничего, кроме анальгина и зеленки, а о гипсе и йоде здесь, похоже, даже не слышали, вполне можно было бы попасть в больницу им. Карамзина (здешняя дурка с судебным уклоном). Однако и это он перенес (как, впрочем, и отсутствие бинтов — каждый раз после осмотра ему надевали старую гипсовую лангету, которую ему не дали разрезать во время первого съема, когда она оказалась присохшей: объяснив, что новую сделать не удастся ввиду отсутствия гипса,— ее просто отодрали и впоследствии каждый раз прикручивали старыми бинтами). Как ему снимали швы, покрыто мраком, сам он об этом не рассказывает. Известно лишь, что перед наложением гипса палец был по величине и по форме похож на утиный клюв, а теперь там непонятный черный обрубок, где все остальное — одному Богу известно...»

26.05.88

«Вчера получил посылку, а за нею во след ваше большое письмо. Бурю ликования вызвала информация о Кирилле (Кирилл — брат Димы, получивший «белый билет» по зрению.— *Е. и О. М.*). Я вроде уже писал ему, что сюда нельзя, вообще *никуда* нельзя столь надолго не по своим делам. Относительно института ничего посоветовать не могу. Решительно ничего в голову не лезет, хотя здесь есть один человек, осаждающий меня с подобными же вопросами...

...не могу я здесь читать, пишу-то с трудом и постоянно гнетет то, что надо писать во много мест. Я ведь так за полгода и не написал в Ригу... приходят удив-

ленные письма от Саши Тартаковской и Батырева, так и не ответил Варакину и в институт на Старорусскую... Вам и то раз в две недели не всегда получается написать. Нет тихого, спокойного места, куда можно было бы забиться...

О людях, с которыми общаюсь, я написал, еще есть группа, с которыми более или менее близок, но с отдельными представителями не всегда откровенен. Врагов вроде не имею...»

«...Наглость — ценнейшее качество в человеке, если к ней примешана какая-то доля смелости — это я вынес из 3-х месяцев „службы“. И вообще, все то дерьмо, что сидит в человеке, обретает здесь непомерную, по сравнению с гражданской жистью, ценность. Я никогда не стремился обрести все то, что здесь столь ценимо; и это ныне причиняет кучу моральных и физических неудобств (если не сказать хуже)...»

С самого начала испытать пришлось все — мат и пинки, кражи и драки, «бесконечные обыски в карманах и тумбочках».

«...Все, как и предполагал,— ежедневное и ежечасное издевательство (в общечеловеческом, не в армейском смысле) и унижение... Чувствовать, что тупею, начал уже на второй день...»

«...Бардак в части (и в роте) достиг апогея. Одному сломали шваброй грудину, другого порезали (не до конца, конечно), третьего довели до того, что сбежал, чувак... Поймали его лишь на четвертые сутки. Теперь дело завели. Нынче фиксируется каждая драка. Начальство ввело „телесный осмотр“ в бане. Люди с царапинами, ссадинами, синяками отправляются в штаб на дознание... В связи с этим в ближайшие 3 месяца отпусков не предусмотрено...»

«...У нас еще 3 грузина появились из тех, что... попали в Димитровград. Там недавно один грузин убил ударом в солнечное сплетение азербайджанца, и друзей одной из сторон переправили сюда...»

«...У одного человека память отшибло: завели его чечены в каптерку — вышел он оттуда — ничего не помнит, через пять минут забывает, что было...»

«...Здесь я понял ненависть отслуживших русских к нашей „новой исторической общности“. Я никогда не думал, что смогу так возненавидеть их...»

«Здравствуй, милая моя бабушка!

Так обрадовался твоему письму, а когда прочитал, расстройство меня взяло. Какой дебил употреблял в беседах об армии с тобой слово „школа“? Школа чего?

Школа отупения, насилия, уродства?

Здесь нет „жизни“ армейской, о которой ты спрашиваешь. Здесь есть время для работы, на которой ты абсолютно бесправен — любой гражданский может пнуть тебя, заставить выполнять его работу. И есть время уже на узаконенное издевательство.

Бабушка, родная, извини, что я такие вещи пишу, но меня тоска берет — ты так и не поверила мне. Я спорил с тобой до армии — ты не верила, а теперь, когда я все на себе испытал,— ты опять о своем — какие-то газетные термины.

„Выполни свой долг со спокойной совестью“.

Совесть моя спокойна не будет и, в первую очередь, перед самим собой. Как я мог поддаться на такие унижения — вот что меня будет мучить потом. А что до того, что через год мне будет легче, то в это я не верю. Иным становится легче потому, что они получают возможность издеваться над другими, надеюсь, ты понимаешь, что я не из таких; и недаром находятся люди, которые вешаются, режут себе вены и через год службы, и через полтора — такие мне гораздо ближе, нежели те, что „привыкают“. А что касается того, чтобы остаться таким же, как до армии — человеком, так это уж совсем смешно — я уже сейчас чувствую себя ущербным, и, если б меня отправили сейчас домой, я не смог бы полноценно жить, меня *уже* морально изуродовали.

Нет, бабушка, я не знаю, как смогу вынести все это до конца.

Иногда бывают периоды, когда мне абсолютно на все наплевать, вот тогда я и могу спокойно существовать здесь. В это время я и пишу письма домой, из которых следует, что у меня все в порядке. Надеюсь, что со временем такое положение стабилизируется, и у меня все постоянно будет в порядке. Так что ты не принимай близко к сердцу все, что я здесь написал. Что касается Нового года, так его здесь не было, никто ничего не праздновал, и если б не посылка из дома, я бы, наверное, так и не осознал, что он наступил.

9 янв. я отправил письмо тебе, оно поспокойнее, так что верь больше ему. Просто надо было когда-то все это выложить.

Люблю тебя по-прежнему, целую.
Внук Дима».

04.09.88

«...Ровно 9 месяцев. Воскресенье — самый тоскливый день в санчасти. Пытаюсь забиться в библиотеку — там всяческие „Огоньки“ — „Ровесники“ — „Аргументы-факты“ с информацией не столько заинтересовывающей, сколько от-

влекающей. Выходишь из этой читальни — а, черт, тот же гадюшник, в котором кто злее, тот и живет лучше, и злость в нем геометрически прогрессирует, заполняя всю пустоту, принесенную с „гражданки“, и убивая все человеческое. И этакому „метаморфанту“, если Шефнера помнишь, у нас — везде дорога. И страх перед ними здесь уже давно прошел.

Теперь — просто нежелание связываться, зачастую отвращение, чисто физиологическое, как к кучке дерьма, лежащей на дороге,— хочешь не хочешь — в сторону шагнешь, а вляпаешься — отмываться утомительно, да и неприятно. А перешагнуть — не получается — велика слишком...»

17.12.88

«И вот народилась Тема!..

...Дело в том, что жить в этом гадюшнике нормальному человеку (а я по сю пору себя таковым мню) практически невозможно. И при всей гнилости моей натуры (в чем отдельные случайные люди убеждают меня с 13-летнего возраста) элементарные, по здешним меркам, житейские компромиссы оказались мне не по силам. Надо уходить. Но как? Отсюда лишь три пути:

— тюрьма — сюда же ИТК и дисциплинарный батальон — абсолютно бесперспективно — так же, как и за оставшийся год теряешь облик человеческий и уподобляешься гегемонским массам;

— домой — только через кризу;

— самоубийство — нынче мало практикуемое средство (у нас за год только один человек), но все же оставляющее шанс — можно попасть наверх.

Я остановился на втором — в исполнении — самом трудном. В здешнем положении человек 2 года ходит под угрозой привлечения к уголовной ответственности. Хоть в каждом случае, дающем к тому повод, он по-человечески прав, но „логика“ милитаристских законов (а порой и немилитаристских) неумолима — *конституция-присяга* заставляет расписываться (буквально) в собственном бессилии. Для публики со стороны все лукаво смягчается тем, что помимо „защиты *Отечества*“ гадюшник и лично тебе необходим во имя становления *мужского достоинства* — примитивнейшая жлобская аксиомка омужланивания.

Я увлекся. В общем — суть в том, что поводов меня посадить уже более чем достаточно,— на случай, ежели кто за это взялся бы. Самовольные отлучки, употребление алкоголя и наркотиков, уклонение от работы, оскорбление отдельных представителей офицерского состава. Мирным путем лечь в кризу не удалось: что помешало — пока не понятно. Нужна напряженка...»

Пьянство и драки среди солдат, употребление наркотиков — обычные явления в полку; показательные суды за воровство и поножовщину носят чисто условный характер. Среда, в которой процветают насилие и жестокость, не может не действовать разлагающе и на офицерский состав. О каком воспитании солдат можно говорить, если сами командиры пьют, а «командир полка может с трибуны перед всем так называемым личным составом части отпускать пошлости на грани нецензурщины; в достаточно узком кругу, который может включать в себя и простых солдат, откровенно материться, как и вся его штабная свита...»

Обстановки в полку многие не выдерживали...

20.08.88

«...еще один узбек сейчас где-то лежит... Зимой он прыгнул с третьего, кажется, этажа, полежал в кризе — вернулся; весной пытался зарубить себя топором или кого-то к этому делу хотел привлечь, точно не знаю, но наделало это шуму в роте, хотя без последствий. Нынче же он сунул голову в сварочную будку, в 10 тыс. (может, врут, но говорил комполка на разводе) вольт: опять не повезло — забыл снять каску — расплавилась она на нем, и теперь лечится он от ожогов...»

09.12.88

«...неделю назад пропал очередной человек — „самовольная отлучка“. Поутру офицерье с трибуны лаяло: „Поймать! Задержать! Уголовное дело на него заведем“. Днем его нашли на работе — капитально „отлучился“ — повесился. А этим гадам при погонах осталось только локти кусать...»

20.04.89

«...Не могу вспомнить, писал ли я о таком кронштадтском человеке В. А-е. Папа его как-то раз видел, в июле... ты еще удивился, что я назвал его культуристом.

Он самым первым съездил в отпуск. В августе. Как выяснилось несколькими месяцами позже — вместо меня, т. е. по поощрению за Лен. комнату... Потом у него были неприятные разборки с чеченцами — несмотря на то, что парень он был здоровый — носы разбивал и зубы вышибал за милую душу, и отсидел 2 года не на малолетке, как большинство, а в нормальной колонии. Несмотря на все это, он все же человек был добрый и порядочный, со всей этой дрянью дело иметь не хотел, те его не то, чтобы травили, но много воли не давали. Психика у него с детства была нарушена — черепно-мозговая травма, и после одной стычки он прямо на крыльце санчасти попытался надпороть себе вены — не зная, как и в каком месте это делается, рубанул по сухожилиям не

сильно, до вен не достал. Отправили его после этого на свинарник — святое место — тишь, народу никого — 3 человека, работал электриком. Больше полгода о нем ничего не было слышно. А на днях вернулся из командировки О. ...Рассказал — видел его в каком-то следственном изоляторе. Он отрубил себе три пальца на левой руке и — завели дело. Грязный, оборванный и ничего не понимающий. Советская Армия...»

03.01.89

«...Командир роты — ст. л-т Е.

...некогда разжалованный в мл. л-ты за пьянство и теперь старательно взбирающийся вверх, так и не бросивши пить, и к 32-м годам поднявшийся на 2 ступеньки.

В первую неделю Е-властия (оно же безвластие) пошли массовые пьянки — пили на работе, по дороге на работу, после ужина... пили ночью и койках, бросая бутылки из-под хорошего портвейна „Кавказ“ сочинского разлива прямо в окно. За эту неделю самая отстающая рота в полку заняла первые места по воинской дисциплине... а также по внутреннему порядку и службе суточного наряда. То есть по всем качественным показателям...»

08.03.89

«...Ну, вот еще одни „выходные“ проторчал я безвылазно на территории зоопарка. Вчера был укороченный день — до 2-х и после работы нам объявили, что на выходные вводится „усиленный вариант службы“ (или какая-то друган формулировка — лажовый набор слов, суть — ужесточение режима), в связи с чем запрещены все увольнения и отпуска, и все это сделано с целью „укрепления обороноспособности страны“. Бред! Запрудили окрестности патрулями. Вытащили из строя „всех нарушителей воинской дисциплины за январь и февраль месяцы“ — „заниматься изучением Уставов“ 07.03 с 16 часов, 8-го с 9-ти. Туда же, в эту команду из 40 человек, попал Харитонов М. В., напившийся 1 февраля и морально и физически оскорблявший прапорщика по дороге на гауптвахту. Он-то мне и поведал, что есть „изучение Уставов“. Начал он с того, что посоливши подмышки, пошел в санчасть и получил освобождение от „Строевого Устава“ (от всех прочих не получилось).

Все происходило по публичному приказу командира полка, а посему строгость была непомерная. Второй помощник начальника штаба майор П-в, хлопая крыльями от избытка времени, дал всем полчаса на то, чтобы „привести себя в порядок“ — подшиться, побриться и пр. Потом строиться на плац для начала занятий. Смешно было рассчитывать, что через полчаса соберутся все, но человек 20 все же явилось, через 20 минут и эти стали рассасываться, кое-кто продолжал ждать, прячась за сугробами плаца, но безрезультатно. В штабе дежурный заявил, что П-в ушел домой сразу, распустивши для „приведения в порядок...“, на том предпраздничные учения для нарушителей и закончились.

Кстати, на днях еще одна полковая забавность имела место. Есть такой человек — в полку — мл. сержант С-в с Васильевского острова. Его дважды снимали с должности ком. отделения за самовольные отлучки и беспробудное пьянство. К нему на КПП часто приходило местное население, которое его потом и приносило в роту, порываясь донести до койки, хотя само едва стояло на ногах. На сей раз его решили перевести в Димитровград. Накануне отъезда он посадил большую часть своего отделения в КамАЗ и отвез в Новый город в женское общежитие отмечать его проводы, там их и повязал комендантский патруль гарнизонного подчинения. В эти выходные им пришлось участвовать в „укреплении обороноспособности страны“.

08.03 занятия должен был проводить подполковник Т-ч, который, будучи еще майором, 14 февраля 1988 г., водил маму по роте и участвовал в отпущении меня в увольнение по случаю ее приезда. С тех пор он успел съездить в Чернобыль, повыситься в звании, вырасти лицом и животом. Если раньше хоть какую-то вертикальность в его фигуре можно было угадать (в профиль), то теперь с ростом живота, чтобы держать равновесие, ему приходится выгибаться, и теперь лопатки его уже нависают над ягодицами по оси абсцисс сантиметров на 20, и ему приходится перемещаться, толкая свое брюхо впереди.

Как и было указано, он рассадил ровно в 9.00 40 обреченных в клубе и, пригрозив тем, кто попытается смыться, гарнизонной гауптвахтой, ушел в штаб „за литературой“. Естественно, все 40 человек дружно вышли вслед за ним, уповая на то, что гарнизонка столько народу содержать не сможет. Самые запуганные сныкались тут же, при выходе, за сугробами, они-то и поведали о том, какое было лицо у Т-ча, который вернулся довольно скоро. Ему не повезло, в этот момент приехал ком. полка и не обнаружил „нарушителей“:

— *Где?*

— Разбежались...

— *Очень плохо!*

— Так... я только... за литературой...

— *Очень плохо, что не уследили!!!*

Полк был оперативно построен и за часполтора нужных 40 человек удалось собрать.

Неизвестно, что привело прапорщика Б-ва, начальника секретной части в полк

в этот праздничный день, но он попался на глаза полкану и был призван заниматься с этими 40 вместо несостоявшегося Т-ча. В течение 4-х часов он рассказывал „потенциальным преступникам" о том, как благодарен судьбе за то, что несколько лет назад ему удалось сбежать с места старшины роты и осесть в штабе; о том, что он ведет образ жизни гражданского человека (многие в этот день впервые видели его в форме); о машинах, которыми он увлекается...

Опять пишу по инерции, а самому уже неинтересно, хотя три часа назад я ржал на всю улицу, слушая Х-в рассказ...»

15.03.89

«...Сейчас у нас судят двоих. 7 краж — квартирных и на производстве... суд показательный,— чтоб всем прочим неповадно было,— лажа. По тем же статьям, по которым полполка отсидело по 2—3 года, оба получили условно. Действительно, идиотизм — пугают армейским правосудием, а чеченец, что порезал человека (я год назад писал), получает 1 год условно, в то время как на воле его заперли бы годков на 5 в целях профилактики...»

26.03.89

«Мыши ноябрьского призыва бегают. Недавно четверо в Димитровград убежали. Двоих выловили, остальные через 4 дня объявились там в отряде, объявили, что в Ульяновск не вернутся,— там их бьют. Оставили в Димитровграде...»

26.04.89

«А вчера идиот-майор, все тот же — птица-говорун, отмочил очередную замечательную вещь. Как всегда с немыслимым пафосом он начал: „Товарищи! Поступила кодограмма",— слово „кодограмма" ему очень понравилось — очевидно, от него отдавало чем-то военным, а посему очень секретным. Он повторил его несколько раз, прислушиваясь к звуку своего голоса. Его распирало, не знаю, от чего. Он причастился, и теперь ему предстояло причастить нас. Все приготовились к очередному фуфлу и не обманулись в своих ожиданиях.

Вдоволь насладившись звучанием умного и многозначительного слова „кодограмма", он погнал нечто выдающееся. Речь эта вместе с его тоном, интонациями, выражением лица, да и всем его обликом (он похож на человека, которого нарядили снегирем и сверху поставили голову попугая) достойна быть заснятой и войти в фонд величайших маразмов.

Он говорил голосом Учителя, долго бившегося над вопросом и, наконец, получившим единственно верное фундаментальное решение свыше, от Большого Учителя, в форме пресловутой кодограммы. И теперь, будучи преисполнен гордости за свое учение, он делится со своими нерадивыми, но в корне-то возжаждавшими истины, учениками.

А суть-то телеги, исходившей от командующего округом, в том, что теперь в случае исчезновения солдата будет сообщаться на работу, в уч. заведение, а также родителям на работу с последующим их вызовом. Дальше, похоже, шла уже отсебятина — „и не важно, хромые родители или безногие, инвалиды они или у них обстоятельства не позволяют — они приедут и будут сами искать, мы теперь никаких поисков организовывать не будем".

И вся эта тошнотворная клоунада происходила на полном серьезе. Этот маразматик был полностью уверен, что безногие родители, облегченно вздохнувшие в день восемнадцатилетия своего сына и отпраздновавшие полное освобождение от бремени юридической ответственности за него, спровадившие его в армию в надежде, что тот более не появится у них на пороге; и находящиеся ныне в заграничной командировке, например,— бросят все и примчатся на зов его, майора Г-а, временно исполняющего обязанности начальника штаба. И будут метаться по Ульяновску и прочим городам СС в поисках сына, угнетаемые приказом бесфамильного начальника округа и его, майора Г-а, снегиря с головой попугая.

Вчера вечером я чуть не надорвал себе живот, обсуждая с Х. эту злобную тему.

Опять не уверен, что это произведет на вас такое впечатление — это надо слышать и видеть, и не раз, а постоянно в течение полутора лет, только тогда можно перейти от нервного смешка к сатанинскому хохоту.

Я ненавижу советскую армию — это сборище величайших идиотов, когда-либо занесенных на этот свет, как инфекция тотального действия, скрытая и лишь местами вылезающая на поверхность этакими язвами — в/ч...

Между тем — тоскливо. Через час Я. вылетит в Ленинград, а я так и сижу в поганой будке и думаю обычную думу — какой бы суп сварить сегодня на обед. Газеты, кажется, уже все перечитал. Вот и сижу, курю. Сейчас 10.55. А после обеда будет бетон. Много — 80 м³.

11.50. Так и сижу. Варится куриный бульон польского производства. Весь в ожидании. Бульон надо снимать как раз в тот момент, когда Я. должен валететь. Очень даже символично по-моему. Но я не хочу такой жизни и надеюсь, что всему виной — уродливые обстоятельства. И когда-нибудь это кончится — я не буду радоваться супу из пакетика, заправленному копченой колбасой, и кисель буду есть не со сгущенкой, а с манной кашей, обязательно вчерашней.

Поздравляю всех и желаю всего, что в этот праздник уместно — международной солидарности и сопутствующего ей здоровья и всяческого благополучия. Так и передайте всем, кого встретите.

Снял суп. Д. Я. валетел. Теперь буду ждать телеграмму о благополучном прибытии.

Домбровского до сих пор читаю. Та часть, в которой почувствовал себя совершенно бессильным (Корнилов и экспоп). Теперь интересно. Сегодня перейду к последнему номеру».

27.04.89

«Вчера еще одну интересную вещь узнал. К вопросу занятости военных строителей и вытекающего отсюда количественного состава полка... Оказывается, старая крыса — начальник управления строительства И-в — не желает увольнять солдат вовремя из финансовых соображений собственного кармана. Стройки в министерстве делятся на категории в зависимости от количества занятых людей. Чем больше народу, тем больше денег дает министерство, тем выше и чаще премии и оклады. Уволят солдат до нового набора — категория упадет: И-в плохо спит.

А наших продажных офицериков теснят с двух сторон: МО — „а какого черта содержите вы такую толпу, в то время как объем работ выполняется мизерный, и вам хватило бы 1/5 того, что есть, и зарплата у этой 1/5 была бы нормальной" — не 4 р. в день, а как во всяких прочих частях — 8—12 руб. С другой стороны, И-в, которого абсолютно не интересует, чем занимаются в/стр., хоть он и лает чего-то о плане, об объемах работ для этого контингента.

Офицерью же нашему спокойнее живется при И-ве и требует оно с нас только из-за того, что периодически полкана вызывает военный прокурор и задает неприятный вопрос: „Почему вы держите 92 человека дембелей, которые ни хрена не делают, если всех прочих-то не можете обеспечить работой, да еще и призыв 160 рыл ждете".

По этому вопросу собрал всех вчера сержантов... подполковник — зам по производству (Х. туда пролез вместо своего командира отделения, который был пьян — очередная лычка — и побоялся туда идти). И заявил подполковник, что выход один — необходимо тщательнее заполнять бригадирские книжки, особливо раздел по технике безопасности...»

«...Я хочу оставить за собой *шанс* — шанс стать не просто созерцателем, потребителем, пусть даже очень малого масштаба, но *жить по-человечески и среди людей...*»

«...„*Испытания*". Тебя искусственно лишают головы, рук, здоровья, 2-х лет жизни полностью и всей оставшейся жизни в полноценном ее „варианте", вообще. Ни за что...

...Эдак и застенки всяческие „оправдуемы". *Чистилище!!! Ха! Уж лучше капитальный ад!*

Знать бы, что ничего уж не ждет, дык и кончиться можно было бы, да и с собой кой-кого взять.

Так нет ведь, ждешь конца Самопроизвольного...»

Написано это было за 2,5 месяца до гибели.

По жестокой иронии судьбы этот роковой для сына и для всей нашей семьи день — 1 июня 1989 года, четверг — совпал с Международным днем защиты детей и с Днем техники безопасности на строительстве.

В этот день все было как обычно.

Ответственные за производство и за технику безопасности военные чины на стройке не появлялись.

Гражданское же начальство, выдавая сыну очередное задание, не могло не знать, что заставляет его рисковать в подобных условиях жизнью; не имело права использовать его в качестве сварщика и на высотных работах без специального обучения и допуска. Но...

«...здесь всем все абсолютно безразлично...»

«...работать здесь — добровольно увечить себя...»

04.05.89

«...4 месяца прошло — треть второго года. За эти 4 месяца успело накрыть балкой ЛТП-шника и краном — крановщика (какой-то идиот вытащил в обед пальцы из аутригеров);

вчера один хороший человек, с которым я работал на 201 корпусе... шел по трубе и упал вместе с ней с 6-ти метров;

...пришибло очень хорошего человека, которому я еще в конце прошлого лета изливал душу в связи с начинавшимися кризушными делами и который мне очень сочувствовал — геодезист того СМУ Ваня С. (у которого, между делом, жена — инвалид). На него упал столик под плиту, маленькая чугунная гадость, которая была приварена к закладной, нашлепнутой на колонну без усов. Она висела на высоте 8 метров и имела собственный вес 48 кг...

Перепуганное начальство стало искать виновных, но на заводе ЖБИ сообщили, что варить мог какой-нибудь зэк — поди найди и разберись. К согласию все пришли, вспомнивши, что Ванек был без каски, а стало быть, сам виноват. А то, что

закладные сыплются, так это в порядке вещей — носи каску — и мучиться не будешь — сразу кончишься (каска сдуру и выдержит непрямое попадание — так шею свернет — и пенсия твоей семье обеспечена — нарушения Техники Безопасности не было)...»

Так и в случае с Димой оказался «виноват» сам пострадавший. Гражданская прокуратура вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, т. к. в журнале производства работ отсутствовала запись — задание на сварку — и решение варить было принято самостоятельно самим Димой (?!).

Никто ни за что не ответил — ни гражданское, ни военное начальство. В полку продолжается воспитание молодых солдат «в духе лучших боевых традиций», подготовка к приезду очередных комиссий, в свете перестройки — замена погонов и петлиц желтого цвета на зеленые, продолжается изучение «Строевых Уставов», наказания за самоволки, пьянки, драки...

«...Опять деловые лица, всеобщая озабоченность. Ездят и ездят „большие и очень большие военные строители". И все идет к тому, что и впредь придется еще не испорченным людям торчать по 2 года в этом зоопарке, чтобы выйти потом кондиционными для нашего общества „людьми". А „военные строители" больших калибров так и будут ездить, мычать и объяснять все *это* „долгом перед Родиной", необходимостью воспитания. А вокруг все молчать будут. Почему же на другие-то темы говорят, почему, наконец, признали, что ИТК — это, в первую очередь, дешевая раб. сила. Латают кадровые дырки, лишая людей всяческих прав. О том, что это что-то „исправительно-трудовое", уж и речи нет. Нас же продолжают уверять, что 2 года — в целях „укрепления обороноспособности" и в счет уплаты долга за „счастливое детство"...»

Пора наконец признать, что существующие ныне стройбаты — это не армия и не служба, а одно из болезненных порождений нашего времени. Это позор общества — использование людей в качестве рабов, воспитание рабской психологии, культивирование насилия, жестокости и других пороков — духовное и физическое калечение молодых людей, которым предстоит жить и работать дальше. Именно здесь все негативные общественные процессы усугубляются, доходят до абсурда. Манипулирование человеком — пешкой, оболванивание его, о человеческой личности и речи быть не может, она просто не имеет права на существование. В конце концов, такая жизнь «отторгает» личность, попросту «выплевывает» ее. Существующий порядок вещей не оставляет свободы выбора для каждого человека жить и работать по законам совести и чести, в соответствии с его природной сущностью. Общество не может называть себя гуманным, пока оно допускает подобное издевательство над своими же детьми.

Не допускать для других повторения судьбы нашего сына — вот что продолжает мучить. Чтобы молодой человек никогда больше не мог сказать:

«...не по своей воле я „военнослужащий", а на бетонную войну со всем живьем силою поставленный...»

Мы не смогли помочь своему сыну, спасти его, предотвратить несчастье, которое произошло. Это и наша вина — наша боль. Конечно, многого мы не знали, многое воспринимали с поправкой на юношеский максимализм и чрезмерную чувствительность сына. Только сейчас, оглядываясь назад, перечитывая еще и еще раз его письма, мы видим, насколько глубже и дальше видел он, как остро переживал непонимание, отсутствие поддержки, часто испытывая одиночество в поисках выхода...

«...военный, прости господи, строитель!»

Последнее письмо

26.05.89

«Вчера папино письмо получил из автобуса Печоры — Ленинград с вызывающими ликование и страх за грядущее листовками и печальной информацией о результатах „выбирания", еще более пугающей.

Какая у вас там немыслимая активность! Интересно, насколько естественна она для ее проявителей и вдохновителей? Все время ловлю себя на том, что, окажись там, забрался бы я под подушку и носа не казал до окончательной развязки. Не знаю почему, но в таких случаях мне вспоминается ситуация из „детства на Металлистов".

Все мы вчетвером собираемся на прогулку выходного дня. Одетые дети ждут на улице. Весна. Лужи. Воробьи и голуби. Освещенная солнцем пищевая помойка. Солнце светит между 87-м домом и „Обувным" прямо в лицо помойке. Мы в ожидании прогуливаемся в тени родного дома. Я ищу глазами что-нибудь новое и необычное, что приятно было бы положить в карман. Подшипник, непонятный обломок какого-то миниатюрного механизма. Зимние, подснежные вещи такого рода уже успели разобрать, а новых еще не накидали. Тем ценнее находка, хотя я почти уверен, что к концу Прогулки она выкинется либо в Неву со Свердловской набережной, либо в Невку, а может, я забуду, и она, объехав весь город, упадет почти на старое место. Встречаются знакомые, можно перекинуться парой слов, но увлекаться не желательно, ведь впереди Воскресная Прогулка. Все вместе. И там ждет нечто Большее и Неповторимое, чем все наземные находки. Увидеть, услышать... Между тем тень от крыши нашего дома сползает по стене 89-го. Кирилл исчез. Ну да, он ведь пошел в квартиру. Долгоожидание. Трава за оградой кустиков напротив нашего подъезда, через дорогу, уже освещена. Поребрик... Уже полдороги освещено, а к помойке крадется тень от „Обувного". Уж голод какой-то чувствуется... Сколько же можно... „Вы не подскажете, который час?" — „???" Черт, никак не могу привыкнуть, что надо кричать на всю улицу: „Скажите, пожалуйста (или просто — „дяденька"), сколькосейчасвремени" — одним словом с активным ударением на предпоследнее «е». Тогда сразу понимают. Повторяю. Понял, наконец... Ого! Еще бы живот не болел. Ничего, тем приятнее перекусить в центре, либо бутербродами в электричке. Может, они про часы забыли, надобно поторопить, и Кирилл что-то не выходит. Поднимаюсь... Обед почти готов. „Потерпи немного". Все заняты своими делами. Стирка. Кухня. Балкон. Письменяый стол. Может, еще и пылесос гудит, или музыка. „А прогулка?" — „Разве не нагулялся?.. Подумали, прости, и решили, что дел невпроворот, а времени уже много"... Вот это Тоска! Не помню точно, так было или несколько не так в деталях, но это величайшее разочарование детских лет и самое яркое воспоминание из „жизни на Металлистов", во дворе. Может, это сейчас так кажется.

30.05.89

Да. Тогдашняя отсидка на гауптвахте добром не кончилась. Маялись всю неделю плюс выходные — никуда не выходили.

Оруэлл кончился. Там же, в последнем номере, напоролся на Каледина, „Стройбат". Там 70-й, здесь 89-й — один к одному. Разве что разделение на блатных — не блатных у нас жестче, отсюда и отношения между людьми гораздо менее человеческие, чем в 70-м.

Надеялся, что получу переговоры, — черта с два — принесли только в понедельник. Помыкались мы по полку, да и выпили. Забавная получилась история, т. к. никто ничего не помнил и ход событий восстанавливался на следующий день с помощью очевидцев. Не буду описывать — долго, и вас вряд ли развеселит. Я вообще не стал бы сообщать об этом, если бы не финал всей истории. Когда собутыльники отправились на поиски очередной порции, я решил, что хватит, и отправился спать в роту, где меня выцепил старшина Б-н, и я оказался на гауптвахте. Окажись я там в будний день, все прошло бы гладко — утром меня забрали бы и никто ничего не узнал бы. Но в понедельник, неизвестно по чьему распоряжению, меня потащили на развод к трибуне. Это грозило семью сутками ареста, не окажись там К-о, который объяснил полкану, что в данном случае достаточно краткой беседы и письма родителям. Собственно, из-за чего я и написал про выпивку. Уверенности, что письмо дойдет, мало — год назад вы должны были получить хвалебное письмо со всяческими благодарностями за то, что меня таким на свет произвели, но, по-видимому, не получили, хотя оно даже было написано, как и всем остальным (тоже не получили). Но на случай, если оно все же дойдет, вы не верьте слову «систематически» — оно наверняка там будет, а также тому, что, совершивши УСН (употребление спиртных напитков), я сделал первый шаг на скамью подсудимых и на то, что демобилизуюсь в срок, надежды мало — это все лишь форма, точно так же, как и „честно выполняет свой долг, придерживаясь опыта старших поколений". Но я надеюсь получить-таки на следующие выходные переговоры и упредить лично...

На этом история закончилась, я написал очередную объяснительную, что мне было очень плохо и от самоубийства меня спас неизвестный, предложивший выпить. До того Е-в пожурил меня, напирая на то, что я не должен был попадаться Б-ну на глаза, в что не ожидал от меня такой глупости. Между делом, оказалось, что перепилась в воскресенье добрая половина личного состава роты. Трезвые чуть не до 11-ти стояли на плацу, ожидая остальных. А на гауптвахте сидел один Матюхин. Ладно, закончу на этом, хотя тему не исчерпать даже очень большим письмом — и реакция штабных офицеров и ротных, и сам факт, что у Б-на хватило свинства (?) повести меня на губу...

Прочитал сегодня заметку в „Литературке". Возмущенный отец получил от замполита сына письмо с вопросами касательно содержания сыновьих писем, набор которых может заинтересовать разве что охранку. Вплоть до того — „Как Ваш сын относится к армии". Отец переправил письмо в „Литературку", сообщив, что оскорблен. Я не обратил бы внимания на эту статейку, если бы в нашей роте не числился некий С-н, который, поторчав в гадюшнике пару месяцев, написал своей маме, что ему здесь порядком надоело, и просил подтвердить, если спросят, что он всегда был несколько не в себе (там было конкретнее, не знаю, что) и мочился в постель. Подурковал и лег в кризу. А мама, не будь дура, переправила это письмо полковому начальству!!!

Вот так бывает.

Трудно стало с тех пор, как я познакомился с губой. Туда больше не хочется, а на улицу выходить надо. И в баню. И постирать. И перевод получить — извещение уже неделю таскаю. И будильник в ремонт сдать. И две фотографии 3×4 надо сделать — вступили мы с Я. в военно-охотничье общество, которое дает право въезда в закрытые зоны (типа Приморской — за грибами), в заповедники и заказники. Заплатили по 5 р. вступительных взносов, теперь дело за фотографиями. А как? Через некоторое время угомонятся вокруг меня, придется тянуть из Них увольнительные... Канючить... Тьфу...

Целую. Дима».

Мы, родители Димы, ОБВИНЯЕМ не прораба-«стрелочника» Ч-ва, но:

— медкомиссию РВК;

— командира роты кап. ЕВГРАФОВА — пьяницу, не желавшего знать, что творится в полку и на производстве;

— зам. командира по производству п/п ОЛЕФИРЕНКО;

— зам. по технике безопасности п/п ТЫШКЕВИЧА;

— замполита п/п КРАВЧЕНКО, благодушного говоруна, не сдержавшего обещаний медобследования и отпуска за оформительскую работу;

— командира части 61376 (В) п/п ВЕЛИКАНОВА, под крылом которого расцветают дедовщина и землячество, за полтора года (описанных Димой в письмах домой) совершены были и убийства, и самоубийства, и побеги, и смерти на стройке;

— генерал-полковника МАКАШОВА, командующего Приволжско-Уральским военным округом, в котором служил наш сын. Его вы знаете в лицо;

— Генералитет МО, самодовольный, высокомерный и неподсудный, лукавый и профессионально нетребовательный, скрытый от народа и народных депутатов, пытающийся отказаться от ответственности имитацией перестройки в армии, глухой к призывам оторвать зубы от своих дач и привилегий и остановить маховик, калечащий молодежь физически и нравственно, раскручивающий беспредел и межнациональную вражду;

— Маршала ЯЗОВА — вожака этой команды, зашоренного от общественного мнения, глухого к призывам преобразовать армию хотя бы вдогонку свежим ветрам в стране, выдающего вынужденные уступки за собственные инициативы, перекрывшего (вместе с Чазовым) информацию о здоровье солдат-участников чернобыльских событий, попустительствующего произволу армии в Тбилиси и Прибалтике, организатора бойни в Баку и т. д., т. д., т. д.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Вадим ВАСИЛЬЕВ,
доктор технических наук, профессор

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

УМ И ЧИН

Не задумывались, какое из человеческих достоинств вы цените всего превыше? Трудно, не правда ли, дать единственный ответ. Ведь способность к сопереживанию, милосердие, честность, добропорядочность, трудолюбие, скромность, отвага, красота, чувство юмора и другие качества сразу начинают между собой соперничать. И все-таки отметим главное достоинство, выделяющее человека из животного мира — ум. Правда, в отличие от животных, люди еще умеют улыбаться! Для автора этих строк сочетание в человеке ума и доброты всего ценнее. Но ум, все же, достоин наибольшего уважения. Мысль эта не нова: именно ум почитался более всего в Древнем Риме, что, впрочем, не помешало ранее погубить Сократа.

К сожалению, никогда еще по этому главному качеству людскому не ранжировали общество. Из царствовавших особ вспоминается лишь математик и астроном, ставший жертвой заговора мусульманских духовников и феодалов,— Улугбек. Александр Македонский только двое суток слушал прямодушного Каллисфена, присланного к нему Аристотелем, и вскоре казнил смелого ученого. Такова судьба одного из первых научных консультантов. Правда, и два дня просвещения монарха принесли плоды: Каллисфеном было спасено множество жизней.

В Древней Руси родовитость ценилась явно выше ума. А что разум далеко не всегда ей сопутствовал, ясно из стремления бояр, в соответствии с претензиями на древность рода, сесть во время застолья как можно ближе к царю: пусть хоть на пол, но ни на полшага дальше!

Сквозная табель о рангах была введена в России Петром Великим: страной стал править чин. Следы этого чинопочитания ощущаются по сию пору. Чин давал не только деньги и власть, но и определенную независимость. Недаром и подлинное украшение Петербургской академии, да и всего рода человеческого, гениальный Леонард Эйлер, и неизмеримо менее значительный ученый, зато гораздо более известный сегодняшней отечественной (но не зарубежной!) публике поэт Михайло Ломоносов безуспешно просили Екатерину Вторую о чине статского советника: по петровской табели о рангах чин ученым не полагался вовсе, дабы избежать бюрократии в их среде. Мудрая царица, не жалевшая личных средств для величайшего ученого в мире, так мотивировала свой отказ: «Я дала бы ему, когда он хочет, чин, если бы не опасалась, что этот чин сравняет его со множеством людей, которые не стоят г. Эйлера. Поистине, его известность лучше чина для оказания ему должного уважения». И тем не менее уже в те времена корректор Барсов был арестован и переведен в копиисты за то, что в «Санкт-Петербургских ведомостях» по ошибке набрали графа Чернышева не «действительным камергером», а «действительным камердинером». Разница как между первым секретарем и секретарем канцелярии, и в наши дни за такую ошибку пострадал бы не только корректор.

Чинопочитание, разумеется, более всего характерно для огромной армии командно-бюрократического аппарата. Автору этих строк приходилось наблюдать, как пожилой ответственный работник министерства вставал навытяжку с трубкой около уха при телефонном звонке молодого инструктора ЦК КПСС! Простому смертному и не разобраться в нашей иерархии должностей партийных и советских органов. Но и его, простого смертного, с раннего, ясельного возраста приучают к почитанию власти и ее жрецов. Власть, только власть, как следствие проявления набора отрицательных черт, наличия связей и родства, пролетарского происхождения и других «ценных» факторов, легла в основу новой советской табели о рангах — худшей в истории человечества, если не считать африканских правителей-каннибалов. Худшей потому, что в других деспотически управляемых государствах высшие слои общества, включая высшее офицерство, обладали прежде всего более высоким в целом уровнем интеллектуального развития, чем низшие. Нет, мы отнюдь не разделяем целиком точку зрения А. С. Пушкина, что «Гений и злодейство — две вещи несовместные»: бывают и «злые гении». И все же интеллект и высокая нравственность не просто соседи по таблице человеческих достоинств,— более высокий интеллектуальный уровень общества, его культуры предполагает в среднем и более высокий уровень нравственности, общественной морали. Поэтому корни деформаций нашей шкалы человеческих достоинств, а по существу — деформации нравственных категорий, деформации морали, следует искать не только в сталинизме, но и в ле-

нинизме. Учение о диктатуре пролетариата, как обоснование кровавой гражданской войны и последовавших не менее кровавых репрессий, узаконивание классовой морали — вот первопричины политической уродливости нашего общества, его иерархии. Именно по этой причине объектами поклонения стали у нас вожди типа Берии, дипломаты типа Молотова, полководцы типа Ворошилова, ученые типа Лысенко, идеологи типа Жданова, юристы типа Вышинского, поэты типа Д. Бедного, писатели типа Маркова. Цвет же отечественной культуры, включая нобелевских лауреатов, в первые же годы советской власти оказался за рубежом. Невосполнимым для страны стал выезд в США В. К. Зворыкина, И. И. Сикорского, С. П. Тимошенко — величайших в мире представителей прикладных наук. Неуважение к науке, знанию, культуре проявилось во всем, начиная с уничтожения самой интеллигенции, памятников отечественной культуры, продажи шедевров Эрмитажа и кончая обучением студентов по бригадному методу, когда один, что-то знающий, обеспечивал диплом всей бригаде. Впрочем, поколение тех неучей уже почти ушло из жизни. А этих, сегодняшних? Антидемократизм и антигуманизм ленинского учения о диктатуре пролетариата неизбежно привел и к его антиисторизму. Исторической неизбежностью следует считать немедленную утрату пролетариатом взятой им власти,— в результате отслоения и обюрокративания его аппаратной верхушки. Почти сразу после революции были безжалостно подавлены подлинно народные демократические выступления в Кронштадте и Петрограде. И узурпация власти внутри единственной правящей партии, ее построение по принципу ордена меченосцев — прямое следствие ленинизма, его претензий на безоговорочную идеологическую монополию. Фанатическая, экстремистская, а потому антинаучная линия поведения Ленина в области политики и идеологии привела в итоге к результатам, которые он не мог бы себе вообразить: сама человеческая цивилизация оказалась под угрозой гибели из-за ядерного противостояния нашего тоталитарного строя и демократического мирового сообщества, что, впрочем, едва ли могло смутить Ильича,— в его глазах революция важнее цивилизации. Теперь все это понимают, хотя и не высказывают, а если говорят, то стыдливо стараются не упоминать имени Ленина. Почему? Во-первых, потому, что популярным все еще именем, как знаменем, прикрываются власть имущие и громадная армия профессиональных идеологов, в том числе — армейских, из боязни лишиться благ и той единственной, антинародной работы, которую они умеют делать. Пожалеем их. Во-вторых, потому, что нашему народу просто необходим идол, так не хочется его лишаться — мы с ним прошли детский сад, школу и весь дальнейший путь. Но чем впадать в язычество, ей-богу, лучше обратиться к Богу,— простите за каламбур. Лично для меня этого идола не существовало: я не верил и не верю в имидж Ленина, созданный придворными деятелями искусства, которые, кстати, и сами в него не верят, а художники прямо зовут вождя «кормильцем» за возможность зарабатывать на портретах, наносимых валиком! Убежден, что этот имидж столь же искажен, как и наша история в Кратком Курсе. Да и пишущие о Ленине признают, что мы о его личности знаем мало. Но, конечно, дело не в личности, а в ее делах. Поэтому даже В. Гроссман, разоблачая Ленина, считает нужным все же подчеркнуть, что из-за любви вождя к музыке его образ не становится для нас лучше. Между прочим, не только Ленин, но и другие наши тираны любили музыку — Иван Грозный ее сочинял и пел в хоре, Петр I свободно читал ноты. Но если Петр I в основном созидал, то Ленин «разрушал до основанья, а затем» метался, не зная, что делать. Нет, канонизировать Ленина, как ни стараются, не удастся,— это не Александр Невский. Уверен,— в будущем народ окончательно разберется, вспомнит всю пролитую им кровь, порушенные храмы и проклянет это имя. А мой великий город вернет свое историческое название.

Во времена застоя произошло дальнейшее смешение акцентов в табели о рангах, вполне соответствующее худшим моментам в «западной» морали: не просто власть, а деньги и власть — вот критерий уважения. Когда делишься с друзьями радостью очередной публикации, из них буквально выскакивает: «Сколько за нее заплатили?» Известен следующий анекдот. Мужчина в очках кричит на улице: «Я — мясник, я — мясник!» А сосед говорит: «Это доцент Петров сошел с ума — у него мания величия!» Так-то!

«ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?»

Авторитарная государственная власть подавляет, притупляет в человеке чувство собственного достоинства, искажает объективные критерии, на которых это чувство основано: самооценка, взгляд на самого себя зависят от принятой в обществе, точнее, в данной его социальной группе, шкалы ценностей. Зазнайство как ущербная форма выражения чувства собственного достоинства всегда — признак интеллектуальной и нравственной ограниченности. Чаще всего оно проявляется в отношении человека только к определенным, близким ему слоям общества, когда о своем подлинном месте в нем человек не задумывается или не способен его осмыслить. Например, если в основе чувства собственного достоинства рабочего лежит критерий равенства его зарплаты с окладом профессора и провозглашенная, на деле не реализуемая, власть рабочих, то мы понимаем всю ограниченность подобного чувства собственного достоинства. Иное дело, когда оно основано на профессиональном мастерстве и на понимании того факта, что материальные ценности создаются в конечном итоге им, рабочим. Мы говорим «в конечном итоге», ибо доля интеллектуального труда по сравнению с физическим в наиболее дорогостоящих, «наукоемких» продуктах труда гораздо выше. Уравниловка, искусственное занижение оплаты интеллектуального труда невольно сказывается на чувстве собственного достоинства. Интеллектуальные возможности людей подчас несоизмеримы, но чтобы это ощутить, надо работать в области точных наук. Передний фронт науки — сильно изрезанная ломаная, определяемая уровнями достижений только самых выдающихся ученых, каждого из которых нельзя заменить научным коллективом, количеством. Равенство людей может и должно быть только перед законом. Вместо этого мы имеем классовую мораль и насильственное уравнивание, противоречащее натуре человеческой. Ну скажите, разве мыслимо в какой-либо цивилизованной стране всерьез обсуждать кандидатуру ткачихи со средним образованием на пост заместителя председателя палаты парламента? А у нас это было, да еще сопровождалось «классовым воплем» депутата-рабочего в поддержку этой кандидатуры. А сколько депутатов-ученых осталось за бортом Верховного Совета! Явно переоценивая свои возможности и ориентируясь на искаженную шкалу достоинств, иные народные депутаты, не получившие трибуны, возмущались, что А. Д. Сахаров выступал на первом Съезде 7 раз.

Так кто же у нас в почете? Кого мы ценим? Кого чтим?..

Однажды в Кремле тогдашний чемпион мира по шахматам А. Карпов был удостоен высочайшей похвалы: сам Брежнев, похлопывая его по плечу, сказал: «Завоевал корону — держи!» Наблюдая эту сцену на телеэкране, я, во-первых, подумал: вот ничтожество фамильярно похлопывает и «тыкает» гениального человека, внесшего определенный вклад в мировую шахматную культуру. А во-вторых — вспомнил Роберта Фишера, который после завоевания им шахматной короны даже не удостоил президента Никсона вниманием: не принял приглашение, присланное из Белого дома на специальный прием в его честь, а потребовал сначала программу приема! Сегодня

все знают, что Никсон был с позором изгнан с поста президента в результате импичмента. Р. Фишер остается шахматной легендой, автором выдающихся шахматных шедевров, непобежденным чемпионом. Соотношение престижей Брежнева и Карпова сегодня примерно такое же, но какова разница в иерархиях и возможностях проявления чувства собственного достоинства, и, видимо, разница в остроте этого чувства у Р. Фишера и у А. Карпова. Это ли не пример попрания человеческого достоинства авторитарной властью.

А если оно, это попрание, умножено национальными предрассудками? Ведь мы лишились ценнейших умов в результате выезда интеллигентов еврейской национальности за рубеж, лишились в основном именно из-за протеста чувства собственного достоинства этих людей против неофициального, местечкового, но чуть ли не повсеместного, антисемитизма. Ибо растоптать чувство собственного достоинства в человеке высокого интеллекта не так-то просто!

ПРЕСТИЖ НАУКИ

В топонимике ленинградских улиц, площадей, переулков, проспектов, каналов отражена почти вся история отечественной литературы — более двух десятков славных имен писателей, поэтов, критиков! Есть даже проспект Шота Руставели и переулок Джамбула. А уж памятных литературных мест — не перечесть! И хотя перечень имен литераторов хочется пополнить, обращает на себя внимание несправедливость топонимики любимого города по отношению к выдающимся композиторам, жившим и творившим в нем. Например, П. И. Чайковский жил и умер (!) на улице Гоголя. В мировую культуру вклад композиторов, по-видимому, не меньше, ибо язык музыки — общечеловеческий: при переводах литературных произведений утраты обычно превалируют над приобретениями.

Язык науки тоже носит общий, вселенский характер,— как каждой из наук в отдельности, так и всепроникающий язык математики. Но большинству смертных он малодоступен. Поэтому популярность ученого создается только средствами массовой информации с учетом мнения ученых-коллег и без активного участия читающей или слушающей публики. Популярность самой науки зависит от степени ее сегодняшнего практического воздействия на жизнь людей. Но фундаментальные науки сиюминутного воздействия, как правило, не оказывают. Как же отразилась наука в топонимике родного автору города? Братья Н. И. и С. И. Вавиловы, И. П. Павлов, А. С. Попов, А. Н. Крылов, дважды М. В. Ломоносов

(будем считать, что один раз как ученый, а другой — как литератор), А. М. Бутлеров, С. В. Лебедев, Л. А. Орбели, А. П. Карпинский. Много это или мало,— может быть, не было в Санкт-Петербурге — Ленинграде других достойных имен? Подойдите только к одному трехэтажному «академическому» дому № 7 по набережной Лейтенанта Шмидта: он в два ряда опоясан двадцатью шестью мемориальными досками, на которых, в частности, имена почти всех русских всемирно известных математиков. Не найдете вы в Ленинграде улицы Л. Эйлера, хотя решение правительства об этом было давно принято к очередному юбилею ученого. Зато есть проспект имени бывшего мэра Смирнова! И это симптоматично.

Аппарат давно привык относиться к науке, как к служанке, мнением которой почти не интересуются. Только и слышишь — «ученые должны», «вузовская наука должна», «академическая наука должна». Да ничего и никому наука, равно как и литература, и искусство, не должны: она — часть общечеловеческой культуры, осмелюсь утверждать — главная часть, определяющая уровень самосознания человека в природе и отражающая естественную потребность человеческого ума к познанию. Основная движущая сила науки не практические потребности, а любознательность, жажда познания. Цивилизованное государство должно стремиться создавать условия для удовлетворения этой потребности своих граждан, осознавая, что нет ничего более выгодного и для его экономического процветания.

Сегодня отечественная наука опять-таки, как и искусство и литература, сверх всякой меры заидеологизированы. Один из моих друзей-ученых не без основания называет всех философов, историков, специалистов по политической экономии, по экономике, психологов, педагогов, литературоведов, искусствоведов единым словом — «марксисты»! Хорошо известно, как пострадала страна в результате идеологического вмешательства в кибернетику,— эту, по мнению хранящегося у меня краткого философского словаря, «буржуазную лженауку», в генетику и биологию. Социологию попросту ликвидировали, гуманитарные науки изуродовали. Говоря о престиже науки, необходимо поэтому выделить комплекс марксистско-ленинских «наук», престиж которых в нашем обществе резко упал. Следует выделить их из категории науки, как ничего с ней общего не имеющих. Марксистско-ленинские «науки» — это догматическая теория, опровергнутая кровавыми экспериментами на людях, не развивающаяся в течение столетия, не замечающая социальных изменений в других странах, не основанная на достижениях смежных наук и, прежде всего, математики, не терпящая даже такого научного метода, как «ревизионизм» имеющихся положений,— такая теория может быть отнесена только к религии. Это еще одно, причем далее не самое последнее и не самое привлекательное, религиозное течение, декретированное как официальная государственная религия. Со всеми ее атрибутами в виде портретов-икон, жесточайшей службы инквизиции и тому подобное.

Здесь уместно отметить, я являюсь представителем точных наук, а не общественных, и потому вынужден в чужой сфере чаще всего ограничиваться постановкой вопросов. И, как непрофессионалу, мне просто непонятно игнорирование нашими обществоведами крупных социальных достижений ряда капиталистических стран Европы. Если пособие по безработице выше оклада нашего инженера, если любому доступна высококвалифицированная медицинская помощь, гарантирована обеспеченная старость, если трудящиеся сами отказываются от права на забастовку как от общественно разрушительного средства, если государством обеспечена подлинная демократия, свобода слова, если милосердие, обращенность общества к человеку стали нормой — не это ли подлинный социализм? Добавим плановое хозяйство в сочетании с рынком, общественную собственность на средства производства: владельцев акций крупнейших компаний больше, чем рабочих, которые тоже являются держателями акций. Разве такое могли предположить в капиталистических странах классики марксизма? И почему вообще не допускали они возможность разумного и значительного совершенствования капитализмом своей общественной системы? Как согласовать учение об империализме с жестко контролируемым соблюдением антитрестовского закона? И все это на фоне наших печально-рекордных достижений в социальной сфере. Да, слово «классики» обретает ныне смысл и авторства классических ошибок утопических социальных прогнозов. Сегодня, если говорить на набившем оскомину языке «измов», даже для непрофессионала напрашивается формула: «Социализм и коммунизм, если, конечно, верить и в последний, есть две высшие стадии капитализма». Как же могут профессионалы позволить себе не исследовать научно, всесторонне такую возможность, поскольку и пока не могут они предложить альтернативы? Мы бы рады строить социализм и в другом варианте, но надо же сначала его обоснованно предложить и проверить, сравнив с достигнутым на Западе! А может быть, хватит проводить экономические опыты на живых людях? Вместо этого профессионалы все еще тупо цитируют столетней давности высказывания классиков марксизма, студенты бастуют и отказываются их изучать, а в экономике страны — чудовищная «централизованная вакханалия». Вот и приходится творчески мыслящим непрофессионалам, вроде незабвенного А. Д. Сахарова, браться за переустройство общества.

Требуя от науки немедленных дивидендов, практического внедрения результатов, вводя в науку хозрасчет (!), у нас опять-таки произвольно расширяют само понятие науки, относя к этой категории деятельность конструкторских бюро и прикладных институтов. Безусловно, инженеры трудятся в сфере интеллектуальной, много изобретая и кое-что из этого даже внедряя. Но технические науки можно относить к категории наук только тогда, когда они рождают не только новую технику, а новые методы исследования и создания новых видов техники, методы расчета и проектирования. И, заметим, изобретение — это далеко не открытие. А на открытия, в том числе рождающие и новые направления в технике, способны лишь представители фундаментальных наук. Слово «наука» наши газеты употребляют в значении жаргонном. Проблемы настоящей, фундаментальной науки от прессы вообще далеки. Такое забалтывание всуе святого слова само по себе тоже наносит престижу науки ущерб.

КТО ЕСТЬ КТО В НАУКЕ?

Казалось бы, на этот вопрос могут компетентно отвечать сначала только ученые в данной области науки, потом — опять-таки ученые, но уже смежных наук, если результаты оказываются интересными и с их точки зрения, имеют более общее значение. И только потом — средства массовой информации. У нас же в определение статуса ученого чересчур активно вмешивается государство — через общественные организации и аппарат. Далеко не последнюю роль играют анкетные данные, особенно партийность и национальность. В меньшей мере сказываются они при оценке крупнейших достижений, привлекающих внимание за рубежом: мировое признание, например, перевод книг на зарубежные языки, почетное членство в иностранных академиях, Нобелевская и другие виды международных премий, неизбежно выправляют и нашу отечественную табель о рангах, отличающуюся тем не менее от зарубежной. Не будем обольщаться на этот счет: перекосы в действующей у нас шкале достижений ученого начинаются с Академии наук СССР, республиканских и других академий. Упомянем наиболее «прославившуюся» необъективностью Академию медицинских наук СССР, отказавшую даже в звании своего члена-корреспондента выдающемуся хирургу-новатору всемирно известному Г. А. Илизарову. В нашей главной академии наук подавляющее число членов-корреспондентов и действительных членов — директора научных институтов, а научных сотрудников, действительно продолжающих самостоятельные научные исследования, в академии единицы. К сожалению, причинно-следственная связь обычно такова: «академик, потому что директор», а не «директор, потому что академик». У многих наших академиков вообще отсутствуют серьезные печатные работы, на которые можно сослаться, а ведь «индекс цитируемости» — один из показателей ранга ученого. Появилось неофициальное наименование — «профсоюзный доктор наук» и «профсоюзный академик», то есть человек, которому присуждена ученая степень без защиты диссертации — «по совокупности работ» или (и) выбранный в Академию наук за еще большую их совокупность. Обычно, к сожалению, это руководители, и речь идет о «совокупности чужих работ», то есть о работе всего руководимого коллектива. Порой назначенный по анкетному принципу руководитель только мешает работе, тормозит ее, хотя соавтором изобретений и публикаций оказывается непременно. Впрочем, это явление началом своим обязано, видимо, еще пифагорейской школе: даже после смерти Пифагора, который присваивал результаты всех своих учеников, ему продолжали приписывать их новые достижения! Будем надеяться, что практикуемые ныне выборы руководителей улучшат положение в нашей науке.

Прежний стереотип ученого как «рыцаря истины» — мудреца, пророка и мученика — к сожалению, устарел. Негативные явления в обществе не могут обойти науку. Ученые бывают и догматичны, и нетерпимы к альтернативным точкам зрения, могут «не замечать» объективных данных, которые им «не подходят», бывают чересчур уверены в собственных теориях, не всегда в полной мере обладают чувством собственного достоинства, а иногда встречаются и случаи недобросовестности в науке. Предстоит постепенно возрождать облик прежнего русского ученого-интеллигента, человека бескорыстного, высококультурного, владеющего иностранными языками, широкого эрудита, свободомыслящего патриота. То есть постепенно менять научную среду. И все-таки эта среда на фоне рабоче-мещанских изменений всего общества, на фоне воинствующей «массовой культуры» сохраняет и сегодня определенное превосходство над всеми слоями общества. Даже включая все творческие союзы, поскольку взаимоотношения ученых базируются на более объективной оценке реальных резуль-

татов,— такая оценка бывает затруднительна в других областях интеллектуальной деятельности. Действительно, разнообразие точек зрения, подходов и течений, а в недавнем прошлом — еще не добитая до конца официальная теория социалистического реализма, затрудняют ранжирование в мире искусства, литературы, архитектуры. У нас, например, были две советские музыки — одна тиражировалась для внутреннего потребления и награждалась премиями, другая (А. Шнитке, Э. Денисов и др.) — исполнялась за рубежом.

Не надо думать, что в науке легко сравнивать силу ума по полученным результатам — слишком уж дифференцировались и углубились различные направления в каждой науке. Хотя это и легче, чем сравнивать, скажем, силу ума математика Лобачевского, шахматиста Алехина, изобретателя Кулибина. Наиболее «чисто», объективно можно сравнивать результаты в математике. Не случайно так много молодых математиков — докторов наук, членов АН СССР. И никто их не «маринует» в «молодых», «подающих надежды»,— они разом обходят своих учителей, которым подчас годятся во внуки! Жаль, что в физике, кроме теоретической и в других точных науках столь рано выявить молодые таланты, и тем более быстро их продвинуть, куда труднее. И все же сама атмосфера взаимоотношений ученых, их постоянное общение на семинарах, открытое обсуждение хода работ и дружеская поддержка, подлинный демократизм при высказывании оценок способствуют развитию науки и самих ученых, выдвижению талантов. Необходимо только, чтобы государство защитило их в юности от оболванивания в полууголовной армии. А чувство собственного достоинства? В академических институтах не меньшим уважением, чем любой ученый, пользуются и высококвалифицированные рабочие-мастера, без уникального труда которых невозможны тончайшие эксперименты и открытия. И самоуважение и взаимоотношения в этой среде особого уровня. Только физики сумели в период репрессий и массированной атаки на науку дать отпор ведомству Берии и спасти физику от судьбы генетики. Вспомним мужественное поведение «папаши» — А. Ф. Иоффе или ответ П. Л. Капицы самому Берии на вызов на Лубянку: «Если Вам нужно, Вы и приезжайте!» Должен признаться, что авторитет носителей власти практически полностью отсутствует в глазах научных работников, зато в их среде существует особое взаимоуважение. И подлинный интернационализм. Помните, как ученые всего мира мгновенно откликнулись на несчастье с Л. Д. Ландау и помогли буквально собрать его по частям? Они бы и пальцем не шевельнули в случае катастрофы с какой-либо коронованной особой, включая и наших вождей. Я, никогда ни у кого не бравший автографов и всегда считавший профессию ученого лучшей в мире, позволял себе еще в школьных сочинениях, в эпоху обожествления Сталина, ставить в кавычки свои наиболее спорные высказывания, заключая их «ссылкой» — И. Сталин! И ни разу никто не осмелился даже спросить — из каких произведений «отца народов» взяты эти цитаты! Разумеется, с возрастом у меня не прибавилось уважения к авторитаризму. Иначе ведь ученый и не может существовать. Не случайно девиз в гербе лондонского королевского общества гласит: «Ничьих слов не принимать на веру». Любое обсуждение новой проблемы дает равные права корифею науки и младшему научному сотруднику,— прежние заслуги уже не в счет. Плохо, если это не так. Достаточно указать на сугубо отрицательное, сдерживающее влияние авторитета великого И. Ньютона после его смерти на развитие волновой оптики, длившееся вплоть до блестящих опытов Френеля и даже до еще более позднего измерения скорости света. А как тормозилось две тысячи лет, вплоть до Галилея, развитие механики из-за канонизации церковью поверхностных, ошибочных представлений величайшего философа древности Аристотеля! Аналогично и в медицине,— канонизация представления о человеке великого римлянина Клавдия Галена не допускала более тысячи лет, вплоть до Везалия, дальнейших анатомических исследований, имела пагубные для медицины последствия. Сколь плодотворен ревизионизм взглядов и теорий корифеев науки, лучше всего иллюстрирует пример пересмотра через две тысячи лет написанных еще в эпоху раннего эллинизма «Начал» Эвклида — самой тиражируемой, разве что после Библии и Евангелия, книги: даже в такой сверхконсервативной сфере, как математическая аксиоматика, ревизионизм привел к появлению геометрии Лобачевского — Больяйи. (Здесь умышленно опущено имя великого К. Гаусса, который, получив аналогичные результаты еще раньше, не осмелился их опубликовать).

Основатель александрийской математической школы Эвклид, автор первого дошедшего до нас трактата по математике, написавший также книги по астрономии, музыке, оптике, может служить ярчайшим примером того неоспоримого факта, что ранг ученого определяется только его трудами,— независимо от анкетных данных. Правда, через две тысячи лет! А если серьезно, то хотелось бы обладать хоть какими-либо сведениями об Эвклиде: о нем самом мы не знаем ничего! Зато в истории науки, более близкой к нам по времени, анкетные данные, увы, рассматриваются наравне с трудами, причем именно чисто анкетные данные, а не человеческие качества.

ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

Как и все историки, представители истории науки явно ощущали на себе идеологический пресс в годы советской власти: персоналия ученых тоже оценивалась с классовых позиций и под лозунгами типа — «Россия — родина слонов!». Наиболее ярко это можно проиллюстрировать на самом верху иерархии отечественной науки — сравнением сегодняшней популярности двух ученых, прах которых покоится почти рядом в некрополе XVIII века Александро-Невской лавры: М. В. Ломоносова и Л. Эйлера. Попробуйте спросить — как пройти к могиле Эйлера,— в ответ удивленно вскинут брови и ответят вопросом: «Кто это?» Но каждый объяснит вам маршрут, если добавить, что «это — рядом с Ломоносовым». Апофеоз несправедливости! По своим научным заслугам перед человечеством Ломоносов, как говорится, с Эйлером и близко не стоял, и вообще в мировой, а не отечественной, табели о рангах является ученым третьестепенным. Его известность при жизни определялась успехами в поэзии. Вся эта «ломоносовщина» началась с чрезмерной увлеченности им в начале нашего века профессором Б. Н. Меншуткиным, несколько перестаравшимся в оценках физико-химических достижений Михайлы Васильевича, и была доведена до нонсенса в советское время. У нас появились монографии типа «Ломоносов — основоположник современной аналитической химии», хотя в зарубежных книгах по истории химии его имя либо не упоминается вовсе (А. Азимов. Краткая история химии. М., 1983), либо упоминается под скромной рубрикой «Другие химики» (М. Джуа. История химии. М. 1966). Точные науки — это либо математически детально развитая теория, либо тщательный эксперимент. Теоретиком Ломоносов не был, поскольку математикой в должной мере не владел,— не в упрек нашему великому предку будет сказано. Тщетны попытки иных исследователей утверждать обратное на примере элементарных геометрических построений Ломоносова в горном деле. Напомним, что к тому времени Ньютоном и Лейбницем независимо уже был создан матанализ, основы высшей математики, блестяще развивавшиеся, в частности, в Петербурге Л. Эйлером и Д. Бернулли. Зато экспериментатором Ломоносов, если судить по его химическим опытам и наблюдениям прохождения Венеры по солнечному диску, а не по его плохим оптическим приборам, был незаурядным. Но эксперимент поглощает человека целиком, требует огромных затрат времени и сил, высокого уровня развития материальной базы, квалифицированных помощников. Ничего этого у Ломоносова не было. Он вынужден был сам изготавливать инструменты, его отвлекали чересчур широкие для экспериментатора интересы и увлечения, он оставался исследователем-одиночкой как по объективным причинам — из-за отсутствия равных ему русских ученых-экспериментаторов, так и по субъективным, связанным с очень непростым его характером и неприязнью к иностранцам. Его произведения — поток слов, он был изобретателем оригинальных гипотез, в которых мелькали и гениальные догадки, стоял на передовых для своего времени позициях примитивного атомизма. Но что стоят пусть остроумные, но не подтвердившиеся в дальнейшем гипотезы?

Смерть Л. Эйлера, несомненно, первого ученого XVIII века, была расценена в России как государственная утрата. Ломоносов тоже много сделал для русской отечественной науки как просветитель-энциклопедист и ученый с самыми передовыми, оригинальными воззрениями. Но не для науки мировой. Раскройте Большую Советскую Энциклопедию, и вы все поймете сами: ни одной статьи о научном явлении или термине, названном именем Ломоносова, и 15(!) статей, объединяющих теоремы, уравнения, функции, углы, константы, силы и пр., носящие имя Эйлера — из разных разделов математики и механики. Ни один ученый в мире не может похвастать чем-либо подобным. А рекордная цифра 72 тома Полного собрания сочинений Эйлера — по математике, включая все ее разделы, механике, физике, астрономии, философии, кораблевождению, теории музыки, демографии и тому подобное! А его знаменитые книги, переведенные на многие языки, книги, по которым, в частности, училась вся Россия! Только «интернационализм» жизненного пути этого гения, уроженца Швейцарии, прожившего 25 лет в Берлине и в общей сложности 31 год в России и, в отличие от своих потомков, так и не принявшего русского подданства, только это обстоятельство почему-то мешает и нашим, и зарубежным историкам науки в должной мере оценивать его место в истории человечества. А по таким объективным типологическим показателям оценки гения, как объем и непредсказуемость содержания трудов, индекс цитирования, долговечность результатов, возраст написания первой работы, Леонард Эйлер намного опережает всех смертных. Всех! Разумеется, показатели эти условны, и мы воздаем должное Ньютону, Эйнштейну, Галилею, Гауссу, Архимеду, ставя имя Эйлера рядом с ними.

А Ломоносов?.. Обратимся к досоветским историкам. Автор «Истории С.-Петербургской академии наук» академик П. П. Пекарский цитирует мнение профессора московского университета физика Любимова: «С именем Ломоносова не связано никаких особенно замечательных открытий; мы даже не встретим этого имени в истории науки. Разнообразие предметов, которыми занимался он с безграничною пытливостью, переносили его внимание от одного предмета на другой и не позволяли ему останавливаться на частном исследовании какого-нибудь отдельного явления; его ум всегда уносился в область теории... Ломоносову не суждено было внести какие-либо новые замечательные факты в науку; но немногие из современных ему ученых понимали явления природы так глубоко и ясно, как он. Ломоносов не был математиком, оттого его труды носят чисто физический характер. Такие теории забываются, остаются одни факты... Его труды имеют другое, для нас еще более важное значение: это блестящие страницы в истории русского образования». Сказано очень точно. А несколько ниже читаем: «И, конечно, никто лучше Ломоносова не писал по-русски о физических предметах». Интересна для нас точка зрения и самого П. П. Пекарского: «...не подтверждается мнение, что Ломоносов сделал в области естественных наук великие открытия, будто бы оставшиеся неизвестными до нашего времени только по равнодушию русских к отечественным гениям. Нашлось также немало опровержений тому, что великий наш писатель был постоянно тесним и угнетаем, отчего будто бы он и не успел осуществить все задуманное им. При всей гениальности и необыкновенных дарованиях у Ломоносова, как у всякого человека, были свои слабости, недостатки, и они вредили ему в жизни не менее его врагов.

Само собою разумеется, что, несмотря на все это, имя Ломоносова останется навсегда дорогим для России точно так же, как никогда не забудутся его заслуги русскому слову, нашей литературе и учености». Историк весьма корректно говорит о «слабостях и недостатках», более детальное знакомство с которыми не может не вызвать несколько более сильных чувств. Нет, мы не о пьяных дебошах, а о самомнении, высокомерии, тщеславии, об излишнем скептицизме к достижениям гораздо более крупных ученых, в частности, к Ньютону. Общеизвестно отношение Ломоносова к заведующему академической канцелярией Шумахеру, но менее известно, что в конце концов он сам занял место Шумахера. Цитируем Пекарского: «Ломоносов, часто жаловавшийся до поступления в канцелярию на деспотизм ее... поступал не менее самовластно, чем Шумахер и Тауберт». И вот еще — о деревнях, дарованных Ломоносову царицей: «Ломоносов, достигнув известности и случая воспользоваться ею, считал себя вправе добиваться закрепощения для своих выгод двухсот свободных людей из того самого сословия, из которого вышел он сам». Общеизвестно, что научный авторитет Ломоносова базируется главным образом на похвальном письменном отзыве Эйлера о его диссертациях. Но, во-первых, речь идет о тематике, которой сам Эйлер либо всерьез не занимался, либо тоже ограничивался неподтвердившимися гипотезами,— например, о природе света. Во-вторых, все остальные ученые того времени не разделяли Эйлеровой оценки Ломоносова, а будущий вице-президент Петербургской академии ученик Эйлера Степан Румовский категорически эту оценку оспаривал в письмах к своему учителю. В-третьих, надо учитывать благородное стремление Эйлера поддержать и благословить молодой талант. Стремление это кончилось плачевно. В письме к Эйлеру Ломоносов пожаловался, что его физико-химические работы, в том числе так любимая им теория света, очень низко оцениваются западным ученым миром. Напомню, что, несмотря на уже известные опыты Ньютона по дисперсии света — изучение им спектрального состава света, Ломоносов предлагал корпускулярно-волновую, что само по себе было прогрессивно, но трехцветную «малярную» (*В. В.*) гипотезу света, основываясь на возможности подобрать любой колер из трех цветов! Чтобы утешить, ободрить Ломоносова, Эйлер ответил примерно так: «Уже сам факт, что Вы занимаетесь столь сложными проблемами, делает Вам честь». Ломоносов это частное письмо опубликовал в печати. Эйлер сразу прекратил переписку с Ломоносовым: «Впредь, когда мне случится писать к таким людям, буду осторожнее и отложу в сторону всякую откровенность»,— говорится в одном из трех тысяч научных писем этого, по выражению академика А. Н. Крылова, «величайшего математика из когда-либо бывших».

Я умышленно так много цитирую других ученых, так как обладание куда более подробными сведениями о трудах Эйлера и Ломоносова делает мою собственную сопоставительную оценку и куда более резкой, а ее обоснование возможно лишь в объеме отдельной книги. Поэтому вновь возвращаемся к «Истории С.-Петербургской академии наук»: «При воспоминании первых ученых из природных русских, нельзя не сознаться, что ни один из них не успел достигнуть знаменитости в ученом свете и не оставил по себе заметных следов в науках, которым себя посвящал. Несмотря на это, в истории русского просвещения первым ученым из

русских без сомнения принадлежат самые почетные места». А чуть выше читаем: «Славу, приобретенную нашею Академиею в ученом мире в первые годы ее существования, поддерживал в описываемый период времени Эйлер гениальными статьями, которые продолжал высылать и из Берлина для помещения в академических Комментариях...» Позже, вернувшись в Россию, уже слепой гений только в год своего семидесятилетия продиктовал ученикам 100 статей! Вот как характеризует ученого во второй петербургский период его жизни энциклопедический словарь братьев Гранат: «Являясь в этот период первым математиком мира, Эйлер отличался крайней скромностью, добросовестностью и неизменным благожелательством к людям, что всегда вызывало к нему всеобщее уважение и любовь».

Наверное, даже без рассказа о содержании трудов Эйлера, читатель уже разобрался, кто есть кто в науке при оценке этих имен. Но не будем забывать о литературных заслугах М. В. Ломоносова и о его просветительской деятельности,— его «Истории», «Грамматике», пособии по металлургии и так далее. Жаль только, что не сумел он, в силу особенностей характера, создать своей научной школы, не вырастил учеников. А в одиночку, без постоянного творческого общения, в науке трудно чего-либо достичь.

Читатель вправе спросить,— а как же с законом сохранения вещества, открытие которого многие, начиная с Меншуткина, приписывали Ломоносову на основании более тщательного повторения им одного из многочисленных опытов Роберта Бойля (прокаливание свинца в стеклянной реторте)? Обыватель, по-видимому, считает, что Ломоносов более крупный химик, чем Бойль, хотя даже Петербургская Академия наук указала Ломоносову на недопустимость его тона в отношении к гораздо более значительному, действительно великому химику. Нет, сегодня уже и наши историки признали, что закон сохранения материи и движения Ломоносов понимал в общем виде, как чисто философский закон. И, отдадим ему должное, как всегда, настолько не сомневался в себе и в этом законе, что не видел смысла его доказывать опытным путем. А когда на втором этапе опыта откачал воздух из реторты плохим насосом (лучшего не было) и обнаружил увеличение веса окислившегося при нагреве свинца, то для объяснения этого непонятного ему факта пустил в ход собственную ошибочную теорию «ударного тяготения». И это после открытия закона всемирного тяготения Ньютоном! Более того, Ломоносов предложил академии провести конкурс на лучшее решение задачи о тяготении! Как обычно, запросили мнение Эйлера, оно, естественно, было отрицательным, после чего, вместо теории тяготения, объявили конкурс на тему: «О шевелении плода в чреве беременной матери»! Этот эпизод привожу с единственной целью — развлечь подуставшего читателя.

Ломоносова — энциклопедиста, ученого, поэта, патриота — мы пропагандируем, прежде всего, как человека русского. Это естественно. Но когда речь идет о таком гиганте, как Эйлер, прах которого покоится, к тому же, в нашей земле, нам следует вести себя приличней, интернациональней и безоговорочно ставить имя Эйлера в науке выше Ломоносова — первого заметного ученого русской национальности, и выше других наших представителей точных наук. Любое очередное увековечивание имени Ломоносова, личности исключительно творческой, автор этих строк воспринимает радостно и почти символически,— как гимн науке и поэзии, но с некоторой горчинкой несправедливости по отношению к другим именам. Да, перед нашим великим соотечественником, фигурой колоритной, сложной, мужественно преодолевшей огромные трудности, мы можем преклоняться. Но расшибать себе при этом лоб, как мы всегда любим делать, не стоит. Например, не стоит вручать выдающимся математикам современности медаль имени Ломоносова,— не знавал толком Михайло Васильевич науки этой. И уж явно не стоит так гордиться им перед другими народами,— для этого лучше выбрать иные имена, благо, есть из чего выбирать. Ведь Пафнутий Львович Чебышев был членом восьми академий мира. И он, и Александр Михайлович Ляпунов, и Андрей Андреевич Марков, и Николай Иванович Лобачевский оставили свои четкие следы в истории математики — царицы науки. В кристаллографии нет более крупного имени, чем петербуржец Евграф Степанович Федоров, причем его фундаментальные результаты проникают из геологии в физику и математику. Можно вспомнить и ряд советских физиков — нобелевских лауреатов, и всемирно известных советских математиков (нобелевские премии по математике не присуждаются), и наших великих физиологов — нобелевских лауреатов, Илью Ильича Мечникова и Ивана Петровича Павлова, и первого биолога мира Николая Ивановича Вавилова. Пожалуй, наиболее известное зарубежной науке русское имя — химик и физик Дмитрий Иванович Менделеев, восковую скульптуру которого вы встретите и в музее мадам Тюссо. Между прочим, Менделеев — единственный в истории почетный доктор и Кембриджа и Оксфорда одновременно — этих вечных научных и спортивных соперников! И... не член императорской академии в Петербурге! Имя Менделеева в мировой табели о рангах

несравненно выше имени Ломоносова. Как же можно было устанавливать очередной, самый монументальный памятник Михайле Васильевичу на Менделеевской линии в Ленинграде? Вот она, «ломоносовщина»!

Но вернемся в день сегодняшний, характерной чертой которого стали переоценка ценностей, пересмотр идеалов, ниспровержение идолов, пока, к сожалению, лишь на фоне политизации общества без заметного роста его культуры, что проявляется в уровне полемики и сопровождается наступлением «массовой культуры». По-прежнему наша ужасающая школа,— а я включаю в это понятие и дошкольное «воспитание», и полубандитские ПТУ, и даже полуокомсомоленные ВУЗы,— делают все, чтобы подавить в стране интеллектуальную деятельность, свести к нулю престиж знаний, вывернуть наизнанку иерархию общечеловеческих ценностей. Конечно, в определенных социальных слоях кумирами всегда останутся футбольные звезды, на худой конец — политические деятели, а не лучшие представители интеллигенции. Вспомним, что А. Эйнштейн, когда его поздравляли с торжественной многолюдной встречей в порту по прибытии в США, ответил с грустью, что чемпиона мира по боксу среди профессионалов встречала еще большая толпа. Чтобы эти слои неуклонно истончались, чтобы в экономике и культуре мы догоняли не только Африку, нужна культурная революция, нужна сегодня пока даже не планируемая коренная реформа системы образования, сопутствующая уже начатым, необходимым, но недостаточным революционным преобразованиям политико-экономической системы. Предстоит еще долго восстанавливать генофонд страны. Пока антинародные депутаты съезда способны хамить такому посланцу небес, как А. Д. Сахаров, пока секретарь, пусть даже генеральный, может перебивать ученого, даже всемирно известного В. А. Амбарцумяна, пока такие факты, вызывающие негодование всего цивилизованного мира, не приводят к аналогичной реакции у нас, мы с вами по-прежнему живем в антимире, окруженном нормальным человеческим обществом.

Владимир ЦУКАНИХИН

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРАЧИ, ИЛИ КАК РАБОТАЕТ «ЗАКОН О ЗЕМЛЕ»

В связи с уборкой «Урожая—90» на Смоленщине объявлено чрезвычайное положение. Наш начальник цеха, тяжело вздохнув, сказал:

— У самих положение — хоть «караул» кричи... а ехать надо. Хлеб все едим.

Наутро с пареньком, вчерашним дембелем отправляемся в соседний район — там наш подшефный совхоз. В конторе замещающая директора женщина смотрит на нас без тени приветливости, лишь взыскующе.

— Почему двое? Я звонила в ваш исполком, требовала шесть человек.

Пожимаем плечами: у завода тоже трудности. План вот... Не проявив ни малейшего интереса к нашему плану, женщина читает короткую, но внушительную нотацию на тему: «Хлеб — забота общая». Разумелось, только хлеб. Заходим в общежитие, чтобы оставить вещи, и отправляемся на сушилку в распоряжение заведующего током.

Сушилки — это большие дощатые сараи. Реечный пол их устлан металлической мелкоячеистой сеткой. Сверху насыпается зерно, а под сетку нагнетается горячий воздух. Зерно у сетки сохнет быстро; сверху — образуется тяжелый влажный наст. Наша задача лопатить зерно, чтобы сохло равномерно. Сырой слой вниз, сухое — наверх; стараемся поаккуратней, чтобы не повредить совковой лопатой тоненькую сетку, без того всю в латках. Ровно в двенадцать грохот четырех подогревающих установок за стенами сушилки смолкает, и приятно повисает тишина. Только от усталости шум в ушах. Появляется завтоком.

— Обед, ребята!

Еще немного работаем, чтобы закончить секцию. Пообедав в совхозной столовой, торопимся назад — неловко в первый день опаздывать. Все-таки приходим в пять минут второго. С облегчением видев, что никого нет — на складах замки, на сушилках тихо — беремся за лопаты. Когда через четверть часа заканчивали очередную секцию, появился завтоком Аркадий Федорович. В его глазах мне почудилось что-то вроде недоумения и даже робости. Уходя, сказал:

— Вы не слишком так уж... усердствуйте. С перекурами.

Посидели. Надоело, решили пройтись. В окружении сушилок и складов лежала асфальтированная площадка примерно 100 на 100 метров. В середине ее огромная лужа. По обе стороны лужи высились бурты ржи. У окончания одного из них Аркадий Федорович подчищал лопатой с асфальта грязь и отбрасывал к стенке склада.

— Федорыч! Чего дальше-то?

— Сейчас с обеда придет механик, будете зерно выпускать. Отдохните.

Дождя не было давно — с полчаса. Но воздух набух промозглой серой хмарью, от которой, казалось, душа сыреет. Постояли. Зябко... Я сунул руку внутрь бурта — горячо. Разгребли по гнезду и сели. Приятное тепло из хлебного вороха переливалось в тело. На второй сушилке застрекотала сортировочная машина — вернулись с обеда и начали работать совхозные рабочие. В просвете между складом и высоким, непонятного назначения сооружением показался грузовик. Оставляя на асфальте жирные следы грязи, развернулся и ссыпал зерно в конец бурта — туда, где Федорыч очистил место. Наконец (уже в начале третьего) справа от нас загрохотало реактивным двигателем — то вернулся с обеда и включил подогрев на нашей сушилке механик. Идем сгребать скребками сухое зерно на транспортер посреди сушилки.

Около пяти, когда выпустив вторую секцию зерна, мы подметали последние метры сетки, подошли завтоком и женщина, которую видели в директорском кабинете,— принялись уговаривать нас поработать во вторую смену.

— Понимаем, что вам тяжело,— говорила женщина,— но и вы войдите в положение: зерно горит.

У этой леди голос был уже не такой железный, как в конторе,— не требовала безоговорочно, но просила. Когда же пообещала вписать в справку за это день, мы сдались: ладно. Поужинав, вернулись — на открытом току две конторские женщины с помощью скребкового транспортера грузили рожь на грузовик. Присоединились к ним — подгребать лопатами зерно на движущиеся скребки. Женщины были молоды, приятны, а одна к тому же словоохотлива. Быстренько выгрузив машину, мы садились на горячий откос бурта и болтали о том о сем. Я пытался расспрашивать про дела совхозные, Валентина (словоохотливая) работала экономистом и была сведуща. Но еще охотней говорила о том, что город наш — сосредоточье мерзостей, что там никто работать не желает, а все только любят есть, пьянствовать и развлекаться. Что у нас от преступников нельзя пройти по улицам, что слишком мягкие в стране законы, будь ее воля, за малейшую провинность она бы горожан всех к стенке без суда

и следствия. Боже! Таких сталинистов я не встречал и среди знакомых мне пенсионеров. Убийц, насильников она бы к стенке — понять можно. Однако же и паркоманов — расстреливать, и алкоголиков. Тунеядцам-хулиганам-проституткам-спекулянтам — всем лепила приговоры звонким голосом, резво при этом жестикулируя. Но поскольку была Валентина молода и собою интересна, из-под каштановой челки озорно поблескивала глазами очень живыми и веселыми, то от своей категоричности она казалась еще привлекательнее и интереснее; и я, с ней споря, больше стремился блеснуть своим остроумием, нежели доказать ее неправоту. Тем более, что подруга, хотя была не столь словоохотлива, на удачную шутку чутко реагировала смехом.

Жаль, приятное общение скоро кончилось. Через два часа свободные секции сушилок были загружены, и Федорыч всех отпустил домой.

Когда на следующее утро шли на ток к восьми, я уже подозревал, что будем вовремя, но не ко времени. Точно: долго сидели, закопавшись от утренней сентябрьской стыни в жаркое нутро буртов. Под давлением молчаливой Игорьковой хмурости согласился ходить на работу утром и с обеда на треть часа с опозданием. Однако, и это оказалось рано. Когда местный рабочий — молодой, с вьющимися до плеч кудрями шатен — придя после нас, сказал: «Вы что — ночуете тут, что ли?» — мы исправно стали опаздывать не, менее, чем на полчаса. Сказал-то, вроде, в шутку, да шутка, бывает, жмет на психику больнее ультиматума.

Каждый день дважды туда и дважды обратно ходим между током и общежитием. Дорога по главной улице села, а также от развилки вправо до райцентра и влево до совхозного отделения заасфальтирована. По асфальту машины везут хлеб. Затем сворачивают к току и по ступицу ныряют в грязевую кашу. Через полторы сотни метров они выныривают из жирного, как сметана, месива на асфальт тока, сворачивая в просвет между складом и высоким почернелым зданием. В складе с висящей на одной петле воротиной виден холм окаменелого цемента. Высокое сооружение оказалось комплексной зерносушилкой — КЗС.

Я заглянул внутрь, там стояли две механические зерносушилки Брянского сельхозмаша. Огромное пространство над ними и рядом с ними было заполнено бункерами, зернопроводами, транспортерами, лотками... Зерносушилки выглядели совсем новыми; все пристроенные к ним конструкции из листовой стали сыпались ржавчиной — их никогда не касалась краска.

— Аркадий Федорович, почему вы КЗС не пустите? Ведь на ней не надо гробиться с лопатой и скребками. И сушит равномерно, а не так: где мокрое, где пережарилось. И на грязный асфальт не пришлось бы сыпать.

Завтоком наморщил лоб и почесал затылок.

— Чегой-то она у нас не пошла. Недели две поработала, не заладилась, с тех пор шесть лет стоит.

— А почему посреди тока лужа?

— Дак это... армяне асфальтировали. Давно уж.

— Почему, когда прошлый год строители вели мимо дорогу, сюда пару машин асфальта не завернули — середину поднять?

— Почему, проложив трассу в тридцать километров, не пробросили отросточек в полтораста метров, чтобы машины на ток въезжали с чистыми колесами?

— Почему вот ту щебенку,— я кивнул в сторону мастерских, где среди десятка новых бросовых комбайнов высилась гора щебенки,— не использовать? Машины есть, экскаватор и бульдозер есть — день повозил, готово!

— Почему над током не соорудите на столбах навес, чтобы не под дождь ссыпать зерно?..

Федорыч, чуть покряхтывая и застенчиво улыбаясь, терпеливо выслушал вопросы и признал:

— Да. Недоработки у нас еще имеют место.

То было в сентябре — через полгода после принятия Закона о земле. Я пристально искал следы его работы. Следов не оказалось никаких; искал причины их отсутствия — спрашивал разных людей: почему не берут землю? Вот несколько наиболее характерных ответов.

Мужчина тридцати с небольшим лет. Высшее образование, талантливый инженер — сконструировал и сделал аэросани, какую-то машину на воздушной подушке. Предлагали должность главного инженера — не согласился из-за огромного количества разукомплектованной новой техники. Несколько лет был начальником мастерских. Ушел, не умея прокормить семью на честные сто пятьдесят два рубля. Работает сейчас шофером:

— Землю во владение? Ну, во-первых, это возможно лишь на усмотрение администрации. А она не очень-то стремится дать волю частнику. Если и отдаст, например, в аренду, то с такими условиями, что как проклятый работать будешь и из долгов не выберешься. Во-вторых, кто ее возьмет — такую землю? Почвы истощены настолько, что надо лет тридцать восстанавливать. Кому это под силу? Разве что одним животноводством на ней есть смысл заниматься. Так для этого землю

брать не обязательно... Держи скотины сколько хочешь, коси, где пожелаешь.

Женщина — тоже с высшим образованием, экономист, то есть та самая Валентина-сталинистка:

— Кто? Арендаторы? Еще чего! Зачем они тут нужны? Считай им, пересчитывай — без них хлопот хватает. Вообще, от этих арендаторов из города одни беспорядки. Безобразия — и ничего больше. Самим брать в частное владение? Не понимаю, зачем?.. Вон земля — коси, паси, держи сколько кому надо.

Об арендаторах Валя говорила таким тоном, что было ясно: так же как взяточников, хулиганов и прочих негодяев она б их к стенке, но уже, пожалуй, не в шутку.

Механизатор, мужчина лет сорока или чуть больше, кряжистый, с лицом обветренным и грубоватым, с едким юморком в глазах. Он посмотрел на меня с сарказмом, мол, не дурак ли я — такие вопросы задаю:

— Кто ж даст землей распорядиться самому?! В райцентре — начальства, что мух на нашем коровнике. И все возле совхозов кормятся. Это же мафия — творят тут что хотят! А если я землю возьму? Увезет он от меня в багажнике? Х...

Ну, короче, объяснил он причину — исчерпывающе и доходчиво. Тогда я спросил: а если б дали? Землю и возможность на ней работать — взял бы он тогда?.. В неопределенной задумчивости повел по сторонам глазами, хмыкнул с непонятным мне смыслом. Потом сделал щекою и одновременно рукою, точней, мизинцем и безымянным пальцем пренебрежительное движение, что я расценил как «вряд ли». Нет, ну а почему: почвы негодные или еще что,— допытывался я, но он скучно отмахнулся от меня.

Как при раскопках археологов, вопросы «почему» шли за уровнем уровень, и я докопался до старухи с католически-суровым ликом. Она спросила у женщины, несшей из магазина мешок с буханками, не ожидают ли вино. Желая проверить или, скорей, продемонстрировать проницательность, я пошутил:

— Хороший зять, мамаша, в гости сам с бутылкой явится!

— Зять мой... нечего взять. Зима подходит, а дров еще нету. Привезть — бутылка, распилить — бутылка, поколоть — бутылка.

Мне стало неловко. Но было в голосе ровно-скрипучем, во всем ее строгом облике что-то очень истинное... Набрался решимости, спросил, почему мужики не хотят брать в аренду землю?

— Зачем? И так хорошо. Возьмешь в аренду — за технику плати, за землю плати, за горючее плати. А так — всем пользуются и ни за что платить не надо. Что им? За год бычка сдаст рублей на восемьсот, да кабанов пару, да овцы, гуси, куры... Чего еще?

Я завернул к общежитию, а старуха (звать, потом узнал, Михайловна) проследовала дальше по середине улицы — худая, высокая, неприлично-прямым укором всеобщему тут и полюбовному согласию.

Все в ее причинной формуле было логически законченно. Но надо признать, усредненно — именно для среднего возраста. Картину с возрастными поправками дал шофер, возивший в воскресенье зерно из бурта на сушилку. Он был на пенсии, подрабатывал, когда попросят; лицом приветлив, в разговоре грустно-мягок:

— Кто ж землю возьмет-то нынче... Нам не под силу. А молодые — ленивые, на огородах картошку в траве не видно. Для себя корову не хотят держать — ждут, когда мать им подоит, принесет. Порядку нет, народ избаловался. На тридцать механизаторов в совхозе числится сто пять тракторов. А до войны эти поля обрабатывали три ХТЗ. Еще колеса у них были железные — ты, наверное, не помнишь? — с шипами. И успевали! А автомашин нынче сколько? У каждого шофера по две, а то по три стоят около дома в распоряжении. Утром на наряд придет, возьмет путевку, потом с нею, куда ему надо, туда и едет. А то и никуда не едет — сам дома пролежит, а в конце месяца в бухгалтерию путевку сдал, и все равно оплачено.

По грустным словам этого человека выходило, что раздать землю в частное владение — нет, затея эта несостоятельна и попросту несерьезна. Но и смотреть на то, как все идет, сил больше нету. Что же на его взгляд нужно и единственно возможно сделать, чтобы был порядок? Косвенным образом свою модель решения он выразил мне так:

— В восемьдесят третьем году секретарь райкома — Кондратьев тогда у нас был — поехал в Москву. И там его задержала милиция. Прямо на улице. А когда после того он к нам приехал, то сразу собрал всех управляющих, бригадиров, всех механизаторов и сказал: «Ну, все, мужики. Беспорядку конец. Меня в Москве чуть не арестовали. Теперь держитесь». И знаешь,— доверительно трогает мое плечо, взгляд просветляется,— каждый на свое место сразу стал и за работу. Сразу люди как-то ожили, настроились на новый лад — на порядок. А потом... опять все по-старому.

Когда миловидная Валюша приговаривала озорно: расстреливать того-того-того — мне было лишь забавно. Когда в общежитии заводской механизатор Валера, второй месяц ремонтирующий тут комбайн, по вечерам, слушая радио, скрипит угрюмо: «Сталин этих армяшек-молдава-

шек враз успокоил бы. В двадцать четыре часа танки ввел — порядок! Недовольных нет»,— злобный шовинизм его был отвратителен и только. Но страшно по-настоящему стало мне лишь тогда, когда вот этот почти старый, с печальными и добрыми глазами человек говорил — не с ожесточением и не со злобой в душе, с болью не за себя, а за землю и за саму жизнь — совсем не в шутку говорил о надежде, промелькнувшей и угасшей быстро. Тот год помню — когда милиция высматривала на улице и в магазинах отлынивающих от работы. Огромным облегчением было как раз то, что «порядок», не развернувшись, кончился: иссяк, не набрав дыхания.

Сердце затосковало, будто в безвыходном лабиринте очутилось. Верней, в таком, что сколько ни блуждай и ни ищи — выход лишь в долину Зла и Крови. В рабство.

Что не пускает наше племя вперед — «в море солнечного света и чистого воздуха»? Ну, в общем, понятно: невыгодно. Каждому из нас в отдельности есть какая-нибудь выгода в абсурде, в самоедской экономике. Длиннокудрый шатен, например, когда я спросил, почему он не держит корову, ведь трое детей маленьких и как же без молока? — ответил с удивлением:

— Почему без молока? Жена на ферме работает — неужели молока не принесет?

Собственно, я об этом знал, как и о том, что с фермы парная телятина поступает в совхозную столовую, а оттуда, минуя котел, по символическим ценам в сумки совхозной номенклатуры; да еще, как просветил механизатор, в райцентровский рой... Все это половина ответа; завершающая часть его в разгадке фокуса «всем пользуются и ни за что не платят». Что обеспечивает ферме и в конечном счете совхозам их непотопляемость?

Исчерпывающую и окончательную часть ответа подарила симпатичная Валя во время той же — приятной, но очень насыщенной беседы на откосе горящей ржи. Ответила одним словом — емко и очень точно, видимо, потому, что нечаянно — вопрос прошел не в лоб. А лучше сказать так: Валя не умела лгать по-настоящему, ибо того, кто во лжи укрепился, врасплох не застанешь. Я спросил,— хороший ли урожай в этом году? «Зерновые — на круг двадцать центнеров». Это много? «Да. Прошлый год было двенадцать центнеров — тоже очень хорошо». Наверное, теперь-то с долгами совхоз рассчитается? — предположил я. Валя несколько секунд помолчала:

— Да-а... возможно,— и добросовестно сделала оговорку: — Если без учета дотаций.

Где-то я читал о новом виде птиц: железнодорожные грачи. Они на зиму никуда не улетают. Не ходят весной за пахарем по борозде, не выискивают личинок и жуков — грачи эти круглый год бесхлопотно находят пропитание вдоль дорог, по которым идут составы с зерном. Если предположить, что хозяева дорог вдруг вознамерятся изобрести и изготовить непросыпающиеся вагоны — будут ли грачи, коли сумеют, сопротивляться безпотерьным перевозкам? Наивный вопрос: разумеется! Будут крепкими клювами долбить по рукам изготовителей, выбивать глаза разработчикам, бить прямо в темечко заказчика таких вагонов — и непереставаемо кричать, что под угрозой ценности... ну и т. д. Иначе ведь придется делать перелеты? Ходить по пашне за сохой? Искать личинок и жуков?.. Придется ловить мух.

И все-таки про одного арендатора я разузнал. Живого и настоящего. Правда, не в этом совхозе. Рассказал про него шатен-кудри до плеч. Пенсионер из Москвы купил в тихой деревушке дом. Взял в аренду пастбище, покосы, трактор. Построил скотный двор. И отиармливает телят.

— Как же у него... Получается?

— Хм... Еще бы! У него спирт, самогонка — канистрами. Мужику, как выпить надо,— полмашины комбикорму свез, назад едет с трехлитровой банкой самогона. Чего же не получится?

Мда... Русский тип делового партнерства. Бутылевый — самый распространенный, хотя и примитивный уровень. Есть на сельской ниве и повыше. Многие-многие директора совхозов (да, видимо, и те, кто над и рядом с ними?) нагрели руки благодаря строительству-шабашничеству, немало спущенных на развитие Нечерноземья миллиардов осело в их карманах. Не говорил бы то, чего не знаю. В семьдесят восьмом я договаривался с главным инженером совхоза на Брянщине на сумму пять тысяч за строительство конторы. «Хорошо,— согласился он,— Только небольшая просьба. Выплатим вам пять тысяч, но в договоре напишем восемь». Шабашка наша по некоторым причинам не состоялась. Но разговор в его машине с глазу на глаз — был. Так что в отличие от железнодорожных, не могущих больше нормы съесть грачей, вместимость «зоба» агропромовских «птиц» беспредельна.

Место действия,— совхоз Дубровский Темкинского района,— не назвал потому, что он ничем от прочих не отличается. Имена, характеры, разговоры, факты и детали записаны один к одному — за исключением монолога механизатора. То есть он — лицо реальное, но в целях концентрации сделал его монолог собирательным.

СХЕМА, которую я набросал по дороге из совхоза в записную книжку и перепечатал в Вязьме на лист.

Дотации, направляемые на поддержание сельскохозяйственных структур, кроме целевого назначения, потребляются

Рабочими:

1) в виде использования общественной техники в личных целях;
2) на покрытие убытков от нерадивой, недобросовестной работы;
3) в виде хищений выработанной общественным хозяйством продукции;
4) на покрытие убытков от небрежного или, скажем, варварского обращения с совхоз. техникой.

Руководителями:

1) в виде покупки продукции по символическим ценам;
2) в виде бесплатного присвоения и последующего списания по различным статьям убытков;
3) в виде присвоения части сметы при строительстве общественных сооружений посредством фиктивных нарядов.

Вывод: Закон о земле не работоспособен, поскольку

«низы» по-новому жить не хотят

«верхи» по-новому жить, во-первых, не хотят; во-вторых, не могут, ибо с введением частной собственности на землю, или, правильней сказать, с упразднением общественной собственности они автоматически перестают быть «верхами». Последнее обстоятельство настолько существенно, что о прочем можно было и не вести речь, как о величине слишком малой.

Существует еще и третья сила, не заинтересованная в работе Закона — горожанин-потребитель и он же производитель. Административная система хозяйствования гарантирует ему низкие и стабильные цены на продукты, а так же возможность сбыта некачественной и морально устаревшей техники, производимой для сельского хозяйства,— это, кстати, еще два канала, по которым дотации отводятся в песок. Не беру на себя ответственность формулировать Закон о земле в жизнеспособном для него виде, но очевидно, что выработка такого Закона должна необходимо учитывать все перечисленные здесь обстоятельства. И еще. Видимо, нет смысла проводить по поводу Закона о земле референдум. Развращенное иррациональной практикой и семидесятилетним рабством общество вряд ли выберет здоровый, непаразитирующий, а следовательно, более трудный путь. Не спасет, видимо, и демократия. Правящий класс, лишенный этических принципов, а свято чтивший лишь правила иерархической непрекословности, всегда найдет способ сохранить позиции путем посулов, подачек, запугивания и попросту обмана. Вероятно, решение земельных вопросов не на усмотрение местных органов власти должно быть отдано, но в первую очередь необходимо полностью ликвидировать эти органы — райкомы, советы, исполкомы — как непреодолимый барьер для рационального преобразования, поскольку реформа противопоказана первейшим их функциям: распределению и распоряжению ценностями. Потом централизованным порядком предоставить повсеместную возможность покупать по доступным ценам землю всем, но оставляя приоритет за местными жителями. Потом — тут же, мгновенной реакцией — у новых собственников явится потребность в органах власти и правлении, они ее и сформируют, уже на подлинно демократической основе.

Эти временные хаос и доля анархии внизу возможны без катастрофических последствий лишь в случае очень сильной власти наверху. Тяжело признавать, но, кажется, пенсионер с печальными глазами прав: от диктатора — русского варианта Пиночета — нам никуда не деться. А раз не деться, то и нечего прятать голову в песок, надо говорить об этом. Его приход должен быть психологически подготовлен, чтобы: Он знал, что от него требует время и употреблял власть на меры адекватные, а не на анахронизмы вроде облав на «отлынивающего от работы мужика»; общество не оказалось шокировано, не впало в прострацию или, еще хуже, не проявило отторжения. Необходимо так настроиться, чтобы «сильная рука» для нашего цвета нации — демократически настроенных радикалов — стала надеждой и опорой в устремлениях их, а не врагом № 1, за которым, бросив все дела, начнут охоту.

Итак, программа «500 дней» провалится, придет диктатор. Белый полковник, президент с чрезвычайными полномочиямн и соответствующими для того личными качествами, православный царь — неважно. Суть в том, что «клин

клином» — Антисталин, явившийся демонтировать сталинизм под знаменем антикоммунизма. 5 лет назад поднимать его было рано. Сегодня умы подготовлены гласностью — коммунизм скомпрометирован. Провал программы Шаталина подготовит наши желудки — через 500 дней (или раньше) будет в самый раз.

Но с одним знаменем в бой не пойдешь — на какие силы он обопрется? На армию и КГБ — структуры, которым один черт, социалистическая в стране экономика или капиталистическая, лишь бы могла оплачивать работу по защите Родины извне и изнутри. Правда, там еще полно догматиков, которые непривычной мысли в собственной голове боятся больше вражеского танка... но быстробегущее время их проредит. И на антикоммунистические силы цивильные, потенция которых ныне так велика, а ненависть так горяча, что прежде, чем выпускать их из «бутылки», необходимо найти верное средство для обуздания страстей. На период реформирования властных структур и непосредственной приватизации, скорей всего, потребуется введение военного положения, но после Литвы об этом лучше не думать.

Очень и очень жаль, что церковь покуда слаба. Она бы помогла перенести мучительную операцию. Впрочем, возможно, когда явится в ней потребность, тогда и возродится?..

ПИСЬМА ИЗ ЭМИГРАЦИИ

Абрам ТЕРЦ

ОТЕЧЕСТВО. БЛАТНАЯ ПЕСНЯ...

Народ? Начинай сначала (поминай как звали). Где и что он такое — народ? Коллективная сила? Опора? Держава? Абстракция? Идеал? Патриотическая фикция? Эгоизм, путем родства возведенный в квадрат? Этнография?..

Сижу я це-е-льный день, скучаю,
В окно тюремная гляжу...

Пьяный пристает. За рублем. «Но я ж русский человек?!» Клянется и в рот и в нос, что он русский. Суешь ему рупь — отвяжись. А он свое: «Я — русский?!.. Я русским языком тебе говорю?!..»

Как спрашивает себя (и нас), удостоверяясь. И будто негодует или жалуется кому-то: русский!..

Окромя «русского», ничего за душой. Ни принадлежности к истории, к обществу, к семье, к собственности, к какому-нибудь селу или городу, к заводу или колхозу. Он мать и отца не помнит. Имя забыл. Жену и детей рассеял. Он совесть пропил. В Бога не верит и не чует под ногами земли, по которой ходит. Только повторяет угрюмо, заученно, как бы сомневаясь или надеясь на что-то: русский он все еще или не русский?..

Что-то похожее случается иногда со всеми нами. Потеряв все, мы спрашиваем тревожно: русские мы или не русские? Будто бы это главное... француз почему-то не спрашивает. И англичанин. Я проверял. Испанец не пристанет к прохожему: «нет, ты мне ответь — испанец я или не испанец?! тебе говорят испанским языком!..» Можно и на японском.

Только мы одни так себя окликаем. Чувство бесприютности, потерянности лица владеет нами, выливаясь в извечный вопрос, в единственное и последнее (телесное) определение души: русские или не русские?.. Как эхо. Терзаем себя, убиваем друг друга, оплакиваем... Выясняем, что значит быть русским и что не быть. Есть разные рецепты... Мне (за других не говорю) на память, на помощь обычно приходит песня. Увы, не старинная и не классическая, не дворянская и не крестьянская. Ничья. Без дома, без рода (и даже без паспорта).

Сижу я цельный день, скучаю,
В окно тюремная гляжу.
А слезы катятся, братишка, незаметно
По исхудалому мому лицу...

Можно и повеселее:

А поезд был набит битком,
А я, как курва, с котелком —
По шпалам, по шпалам!..

Блатная песня. Национальная, на вздыбленной российской равнине ставшая блатной. То есть потерявшей, кажется, все координаты: чести, совести, семьи, религии... Но глубже других современных песен помнит она о себе, что она — русская. Как тот пьяный. Все утратив, порвав последние связи, она продолжает оставаться «своей», «подлинной», «народной», «всеобщей». Когда от общества нечего ждать, остается песня, на которую все еще надеешься. И кто-то еще поет, выражая «душу народа» на воровском жаргоне, словно спрашивает, угрожая: русский ты или не русский?!..

Знаю — возразят: да разве ж это народ? Это же подонки, отбросы. Все самое подлое, гадкое, злое, что было и есть в России, воплотилось в этом жадном до чужого добра, зверином племени. Возможно. Допускаю. Но послушаем сначала, как и о чем они поют. И тогда, быть может, нам приоткроются окна и горизонты более широкие, нежели просто повесть о блатной преисподней, лежащие за пределами (как, впрочем, и в пределах) собственно-воровского промысла...

Посмотрите: тут все есть. И наша исконная, волком воющая, грусть-тоска — вперемежку с диким весельем, с традиционным же русским разгулом (о котором Гоголь писал, что, дескать, в русских песнях «мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унестись куда-то вместе с звуками»). И наш природный максимализм в запросах и попытках достичь недостижимого. Бродяжничество. Страсть к переменам. Риск и жажда риска... Вечная судьба-доля, которую не объедешь. Жертва, искупление... Словом, семена злачной песни упали, по-видимому, на благодатную, хорошо приготовленную народную почву и взошли, в конце концов, не одной лишь ядовитой крапивой и низкопробным чертополохом, но в полном объеме нашим песенным достоянием, чаще всего прекрасным в своих цветах и корнях, независимо от того, кто персонально автор и чем он промышляет в свободное от поэзии время.

Мало того, собственно блатной (воровской или хулиганский) акцент и позволил этой стихии на несколько десятилетий сделаться единственно национальной, всеобщей, оттеснив на задний план деревенский и пролетарский фольклор. И тот же постыдный акцент сообщает подчас поразительную живость традиционным

мотивам, казалось бы, вышедшим из моды с успехами прогресса. Скажем, любовный песенный диалог (амебейное пение: «А мы просо сеяли-сеяли! — А мы просо вытопчем-вытопчем!..») — возвращается на родину в виде нового состязания, где «он» и «она» как бы меняются местами.

Он:

Ты не стой на льду —
Лед провалится.
Не люби вора́ —
Вор завалится.
Вор завалится — станет чалиться,
Передачу носить — не понравится.

Она:

Д'я стояла на льду —
И стоить буду!
Д'я любила вора́ —
И любить буду!
Эх, знала бы — не давала бы
Черноглазому огольцу!..

...Или вспомним и утолим, наконец, страсть к быстрой езде («и какой же русский не любит быстрой езды?»), высказанную стольними тройками, бубенцами, ямщиками и подхваченную — трамваем.

Держась за ручки, словно ж... своей Раи,
Наш Костя ехал по Садовой на трамвае,
За ним гнался тридцать ме́нтов, два агента
И с ними щейна — рыжий пес!..

О том же (так притягательно!):

...По трамваям все сшакаешь,
Рысаков перегоняешь...

А русский максимализм («душа просит») — в требованиях парадоксальных, заносчивых, беззаконных!

Дрын дубовый я достану,
Всех чертей калечить стану:
Отчего нет водки на Луне?!..

И тут же, под боком,— прелестная воровская Утопия, как пародийное (невольно) развитие социалистической идеи, либо давней нашей мечты о земном рае, о сказочном царстве-государстве с молочными реками и кисельными берегами:

Там кодексов совсем не существует,
А кто захочет — тот идет ворует.
Рестораны, лавки, банки
Лишь открыты для приманки,
О ворах никто и не толкует...

Короче говоря, и не занимаясь специальным анализом, достаточно окинуть беглым взглядом этот заклятый вертоград, чтобы убедиться, насколько, с одной стороны, он укоренен в традиции, а с другой — как она препарируется здесь поновому, в высшей степени неожиданно и поэтически оригинально. И что-то сходное по остроте мы наблюдаем в схватывании внезапных примет современности или разительных, неповторимых жестов и движений человека. Когда, например, в избитую общую схему («любил — убил») вносятся замечании сугубо индивидуального опыта, необычные для фольклора в своей режущей конкретности:

Сижу я в несознанке, жду от силы пятерик,
Как вдруг случайно вскрылось это дело.
Пришел еврей Шапиро, мой защитничек-старик:
— Ну,— говорит,— не миновать тебе расстрела!..

Не следует забывать, что взгляд вора, уже в силу профессиональных навыков и талантов, обладает большей цепкостью, нежели наше зрение. Что своею изобретательностью, игрою ума, пластической гибкостью вор превосходит среднюю норму, отпущенную нам природой. А русский вор и подавно (как русский и как вор) склонен к фокусу и жонглерству — и в каждодневной практике, и тем более, конечно, в поэтике. Образ вора-художника, вора-артиста (и волшебника), так хорошо и прочно закрепленный в народных сказках, новое продолжение находит в песне, где тот уже поет о себе от собственного лица, выступая перед нами наподобие артиста, маэстро, знающего толк в ловкости рук и слова.

Я сын чародей, преступного мира.
Я вор. Меня трудно полюбить...

Полюбить, действительно, трудно, а вот «чародействами» его невольно восхищаетесь. Поскольку само искусство, сама эстетика дела становится здесь нередко центральным предметом поэзии, порождая массу нестандартных и дополнительных стилистических выходок, иной раз весьма рискованных, нескромных или мерзких по смыслу, но достойных удивления как художественный феномен. Быстрота, натиск, смелость и пружинистая внезапность решений, и явное, бьющее на эффект, на показ циркачество. Пускай ручается автор за правдивость повествования в духе «бескрылого реализма»: «вот об этом расскажу я просто — темой выбрал жизненную быль». Главное ему — зачаровать и ошеломить зрителя курьезной и лихой эскападой, заимствуя порою приемы из привычного арсенала, из воровского-хулиганского жаргона-обихода, что, однако, в поэтическом контексте звучит безобидно и празднично, как прекрасная для автора и его благодарной публики театральная программа-забава, готовая со сцены убогого, в общем-то, быта перекинуться разбойничьим посвистом на весь белый свет.

И перекидывается... Это мы видим в самой, наверное, известной и сравнительно ранней песне «Гоп-со-смыком», оказавшей такое влияние на блатную музыку. Едва ли не все мироздание обращается там в арену гиперболического воровского «я», представленного в основном цирковыми номерами, прыжками, акробатикой, клоунадой всякого рода, так что кличка героя Гоп-со-смыком, совпадая с образом всей песни, становится нарицательной — и не просто в социально-житейском аспекте, а даже, можно заметить, в стилистическом отношении. Беру не семантику, а экспрессию и звуковую инструментовку этого залихватского имени. «Гоп» — и мы в тюрьме, «гоп» — на воле, «гоп» — на Луне, «гоп» — в раю, и всюду — со «смыком», с ревом, с гиком, с мычанием, с песней, с добычей. Бросается в глаза подвижность композиции, как если бы она отвечала психофизической организации нашего молодца, чьи мысли и воображение прыгают, а тело ритмично движется, будто на шарнирах,— очевидно, из профессиональных задатков и ради высшего артистизма. Не зря, вероятно, на блатном жаргоне «скачок» или «скок» означает квартирную кражу, внезапную, без подготовки (набег, налет — по вдохновению). И тот же «скок» (или «гоп») мы наблюдаем постоянно, в сюжете, в языке, в нахождении метафор — во множестве похожих и не похожих на «Гоп-со-смыком» творений.

Сошлюсь на дурной вариант, в отличие от основного, классического источника получивший подзаголовок *дипломатического* «Гоп-со-смыком», где автор скакнул аж в советскую дипломатию и, надо признать, довольно ловко с точки зрения конъюнктуры, чего, однако, не скажешь о его литературных достоинствах (видимо, помешал сторонний «социальный заказ»). Перед нами обзор международной обстановки и советской внешней политики, как это тогда рисовалось по газетам,— в переводе на откровенный язык. Нетрудно установить дату сочинения: до войны с Гитлером, но после уже, либо в начале памятной финской кампании, о чем и поется в соответствии с патриотической версией: «Финляндия нам тоже приказала: отдайте нам всю землю до Урала...» (Это Финляндия-то!..)

Наиболее удачной в немудрящих этих куплетах представляется громкая отповедь (к сожалению, неудобочитаемая), адресованная иностранным державам от имени непреклонного Советского Правительства. Найдена универсальная формула дипломатического ответа на всевозможные каверзы, ультиматумы, и одновременно проясняется та роковая проблема, над которой столько бились великие философы, историки и поэты,— проблема странной загадочной миссии России между Востоком и Западом, между Азией и Европой. Об этом, мы знаем, писал в свое время Александр Блок в знаменитом стихотворении «Скифы», вуалируя наглую рифму поэтической инверсией:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!..

Ну а тут без инверсий. Таинственное «двуединое», «срединное» положение России решено одним махом, одним скачком, которым берется этот философский барьер:

Я... японца в...
И... на всю Европу!
Суйтесь — и вас мы разобьем!..

Кидня́к, скажете? Фуфло́? Туфта́? Кукла? Это фу́цан написал?!.. Не уверен. Ну, может, и не подлинный вор (вор в законе), а все же персонаж, причастный к этой материи, весьма обширной и текучей, которую, имея дело с песней (а не с кастой), мы не в силах распределить по мастям: где тут истинный, идущий от корня, от самого́ нутра, воровской голос, а где простой хулиган ввязался или какая-нибудь сявка. А то, что повсюду на первый план выпирает декорация, эффектный жест, акробатический номер, так это именно во вкусе блатной музыки, повествующей, помимо прочего, о себе самой, о художнике, о приверженности к эстетике, сопряженной в этих условиях с искусством воровства, а попутно с искусством вообще, как таковым, что и сплетается — *в песню.*

Взгляните, сколько места отводится тут одеянию, костюму — по контрасту с окружающей бедностью, с низкой действительностью. В этом сквозит безусловно остро пахнущая психология клана: вор на работе должен выглядеть респектабельно, а легкое обогащение и кратковременность, эфемерность свободного бытия порождают потребность хоть раз в жизни, коль повезло, блеснуть графом, шикануть по-княжески, разодеть дорогую маруху в пух и прах. Но это же свидетельствует другой своей стороною (вступает скрипка) о художественной натуре, ищущей прикоснуться «к чему-нибудь возвышенному»... Как сама песня: она тоже прикосновение где-то к небесной красоте и тоже исключение из общих правил: такое только раз в жизни бывает... И вот он спрашивает Мурку о мотивах ее предательства, искренне недоумевая: «что тебя заставило связаться с лягашами и пойти работать в Губчека?» Потому что это не только утрата нравственности, но и конец эстетики — была ангел, а чем стала?

Раньше ты носила туфли из торгсина,
Лаковые туфли на большой!
А теперь ты носишь рваные калоши,
Рваные калоши на босой!

«Рваные калоши», с точки зрения правды реализма, явно противоречат новому положению Мурки, которая ходит теперь, сказано, в кожанке и при нагане. Но как еще передать всю глубину ее падения, как лучше оплакать поруганную красоту?!.. Вот и слышим — из песни в песню:

...Костюмчик новенький, колесики
со скрипом...
...И шкары! и шкары!
...И вот меня побрили, костюмчик унесли...

Ах, этот костюмчик!.. «Там за столом сидел один угрюмый, одет изысканно, с растерзанной душой». Душа терзалась, как видим, воспоминанием о матери. Сваливается к ней на голову, в подвал, и мать спрашивает:

Ты, сын, пришел ко мне, изысканно одетый,
Зачем пришел больное сердце рвать?..

Затем ведь и пришел, чтобы — сверх переживаний, сверх «растерзанной души» — «изысканно одетым» явиться. Как в театре, занавес раздвигается и — !..

Вдруг стуки в дверь, и двери отворились,
Вошел в костюмчике и в кожаном пальто...

Нужен ему этот костюмчик! Да он его в карты просадит при первой же оказии. Красота нужна. А чем и как украшаться — это уже зависит от моды, от достатка и темперамента. Кому что наряднее. Одному, допустим, достаточно фонаря под глазом, чтобы радоваться жизни.

Фонарь ношу, а он мене не страшен:
Такой большой, как будто разукрашен!
Если морда не разбита,
Не достоин ты бандита,—
Так уж повелось в квартале нашем!

Другие между тем корчат великосветские рожи, извиваясь в «салонном танго».

...Две полудевы и один фартовый мальчик,
Который ездил развлекаться в город
Нальчик,
И возвращался на машине марки Форда,
И шил костюмы непременно как у лорда.

А третий выходит на сцену и в мир — налегке.

Когда я был мальчишкой,
Носил я брюки-клеш,
Соломенную шляпу
И острый финский нож.

Я мать свою зарезал,
Отца свово убил,
А младшую сестренку
В колодце утопил.

Не пугайтесь! Это он кокетничает. Список загубленных душ в данном случае всего-навсего продолжение костюма, изысканный шлейф, боевое оперение юного денди-индейца. Правда, подобная костюмерия на практике плохо кончается. Но в песне она сохраняет по преимуществу декоративный характер, юмористически или сентиментально окрашенный. То же относится к сценам убийства. Они лишены буквального содержания и воспринимаются, как яркий спектакль. Это как в жестоком, экзотическом романсе, с которым блатной жанр близко соприкасается: потребность в красоте берет верх над соображениями разума, утилитарности или морали.

...И убийца, бледнее, чем мел,
Труп схватил, с ним танцуя, запел...

За всем этим просвечивает распространенная философия: «Что наша жизнь? — Игра! (пусть неудачник плачет)». Но в среде, о которой речь, это высказано последовательнее и решительнее, чем где-либо. В итоге люди здесь уже как будто не живут, а непрестанно играют, выкладывая ставкой на стол свои и чужие жизни. Недаром карты составляют необходимый фон воровской судьбы, психологии, иконографии.

Но суд сказал, что карта ваша бита,
За проигрыш придется уплатить.

Это не обычные игроки-картежники, испытывающие риск в жизни лишь за карточным столом. В часы досуга вор садится за карты, с тем чтобы, отдыхая, продолжать пытать судьбу, построенную на острой интриге. Он пригубливает авантюрную фабулу, за которую в рабочее время рискует головой. Он не может от нее отвязаться. Не потому, что заядлый картежник, а потому, что — вор. И карты лишь безвредное (сравнительно), иносказательное сопровождение той крупной игры, которую он ведет наяву.

Примерно такую же функцию выполняет блатная песня. Она воспроизводит действительность в виде карточной игры. То есть в общем-то схоже, но в более условных или размытых контурах. Это игра, уже очищенная от жизни. В ней мы более или менее остаемся на уровне искусства, и, хотя создателем оказывается преступник, его позиция «игрока» в сочетании с «песней» перевешивают в эстетику, возбуждая наше бескорыстное любопытство.

Только я шамовки наберу,
Ищу себе партнера на «буру́»,
Целу ночь сижу-играю,
Краденое загоняю,
Утром от разводки убегаю.

Понятно, подмена жизни игрой не сулит ничего доброго человеку и его окружению. Играючи, можно ведь и зарезать, а уж обокрасть сам черт велел. Но тот же игровой элемент на заглавных ролях сообщает блатной песне облик театрального зрелища, снимая слишком прямые и близкие аналогии между вымыслом и действительностью. Все происходит не вполне серьезно, не совсем реально, а как бы в воображении автора, который сам же, случается, эти фантазии саркастически оценивает, играя душою и телом — напоказ — в любом переплете. Положение обязывает.

Сижу на нарах, как король на именинах,
И пайку серого мечтаю получить...

Чего он так веселится? чем бравирует? почему упивается контрастами зыбкого своего, ничтожного существования? Да потому скорее всего, что мнит себя артистом, а заодно и режиссером, и смотрит на свое прошлое уже со стороны, прокручивая его в уме на манер кинофильма, полного возвышенно-комических, игровых ситуаций.

Мне дама ноги целовала, как шальная,
Одна вдова со мной пропи́ла отчий дом,
А мой нахальный смех
Всегда имел успех,—
И наша юность полетела кувырком.

То, что все пропало, все погибло, компенсируется сознанием, что зато все летит кувырком, вроде какой-то карусели, фейерверка, балагана... И даже в минуты уныния, которые чередуются с приступами смеха, такой «остраненный» подход к собственной персоне и своей печальной судьбе преобладает, заставляя и самую смерть воспринимать как некий художественный аттракцион или коронный фокус, достойный замедленной съемки, который необходимо входит в состав увлекательной фабулы, демонстрируя миру тот же полет «кувырком».

...А если заметит тюремная стража,
Тогда я, мальчонка, пропал!
Тревога и выстрел, и вниз головою
С карниза я сорвался и упал.

Я буду лежать на тюремной кровати,
Я буду лежать и умирать...
А ты не придешь ко мне, милая мамаша,
Меня обнимать и целовать.

Как медленно, как нарочито медленно умирает мальчонка, позируя и продлевая страдания в картине злосчастного своего жребия, которым он откровенно любуется... Когда слышишь эти мелодии, закрадывается грустная мысль: какой громадный талант погибает в воровском употреблении! Но тут же спохватываешься: почему же погибает? Погибая, он проявляет себя — и в песне, и в афере. Без аферы песне, к сожалению, не обойтись. Приспособьте ее к полезному производству, и она умолкнет. Уж лучше — в тюрьму...

Центральная!
Ах, ночи, полные огня!
Центральная!
Зачем сгубила ты меня?
Центральная!
Я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант
В стенах твоих...

Если сама тюрьма похожа на консерваторию, на оперу, на эстраду, то можно представить, какие гастроли начнутся, выпусти актеров на волю... Огней! Вина! Женщин! Карты! Гитару! Карету! Трамвай! Король я или не король?.. И пошла писать. Что ни кража, смотришь,— высокое мастерство. Золотые руки. Глаз — ватерпас. Краснознаменный ансамбль. Комедия дель арте...

На мотив унылых заводских «Кирпичиков» сложены пародийные, бандитские «Кирпичики», забавные и приятные: заурядный грабеж «на гоп-стоп» разыгран по законам зажигательного спектакля. На сей раз перед нами костюмерия навыворот — раздевают шикарного фраера и его субтильную даму, соблюдая вежливый тон и пунктуальность деталей.

А как вынул он портсигарище —
В ем без мала на фунт серебра...

И вся комическая ситуация (богатый кавалер вдруг становится голым и жалким) решена исключительно средствами зрелищного воздействия, доставляя исполнителям в первую очередь художественное удовольствие — не оттого, что они так ловко облапали дельце, а собственно театральной эксцентрикой и картинностью происшедшего. Грабеж заканчивается живописным кадром:

Жаль, что не было там фотографа,
А то славный бы вышел портрет;
Дама в шляпочке и в сорочечке,
А на нем даже этого нет!..

Скажут злорадно: вы бы запели подругому, когда бы оказались на месте потерпевших. Не спорю. Запел бы подругому. Но это была бы уже не песня, а печальный факт моей биографии или, возьмем расширительно, «социальное бедствие», «мораль», «полиция», «борьба с преступностью», «юридический казус» и прочее и прочее, что прямого отношения к поэзии не имеет, а иногда и вступает с ней в неразрешимое противоречие. Это совсем не значит, что искусство «внесоциально» или «аморально». Просто социальные и нравственные критерии у него, по-видимому, несколько иные, чем в обычной жизни, более широкие, что ли. Поэтому, например, пушкинский «Узник», как художественный образ, не пройдет по разряду уголовников, хотя не приведи Господь встретиться с этим «орлом» в каком-нибудь темном лесу, где он клевал или клюет свою «кровавую пищу». И Пугачев у Пушкина в «Капитанской дочке» не очень-то похож на свой прообраз, на реального Пугачева, которого тот же Пушкин, в согласии с исторической правдой, непривлекательно описал в «Истории Пугачевского бунта». А без «выдуманного», «поэтического», пушкинского Пугачева (в «Капитанской дочке») нам не обойтись, доколе мы, допустим, ищем постичь и русский бунт, и русскую душу, и народ, и фольклор, и самого Пушкина (просто без Пугачева, как исторического лица, мы в принципе обойдемся).

Блатная песня тем и замечательна, что содержит слепок души народа (а не только физиономии вора), и в этом качестве, во множестве образцов, может претендовать на звание национальной русской песни, обнаруживая — даже на этом нищенском и подозрительном уровне — то прекрасное, что в жизни скрыто от наших глаз.

Более того, блатная песня (именно как песня) в своем зерне чиста и невинна, как малое дитя, и глубокой духовной, нравственной нотой, независимо от собственной воли, отрицает преступления, которые она, казалось бы, с таким знанием воспевает. Но в том-то и дело, что воспевает нечто другое. Мы не найдем здесь прославления злодейства в его подлинном, бесчеловечном образе, без каких-либо иных поворотов и обертонов, которые его подменяют, смягчают и уводят в сторону, например, «эстетики», «веселья», «несчастной доли», «геройского подвига», «верности», «любви» и т. д. Словно душа народа не может и не хочет признать себя злой, в корне, в основе злой, и жаждет добра на самых скользких путях...

Славен и велик народ, у которого злодеи поют такие песни. Но и как он, должно быть, смятен и обездолен, если ворам и разбойникам дано эту всеобщую песню сложить полнее и лучше, чем какому-либо иному сословию. До какой высоты поднялся! До каких степеней упал!..

Над лагерем склонился сон глубокий,
Луна, сверкая, вышла из-за туч...
А в эту ночь, мой милый, мой хороший,
Письмо тебе строчит родная дочь...

Поет воровайка, хриплым голосом беря пронзительно-высокую ноту, надрывая сердце себе и слушателям.

Но не жалей ты дочери несчастной,
За преступленье суд ее карал,
Волчицею безжалостной, опасной,
Я помню, прокурор меня назвал...

Мне, однако, довелось слышать эту же песню в несколько ином, странном варианте. Вопреки здравому смыслу, сюжету, логике текста и самой рифме, исполнительница вывела, как припечатала:

Волчицею безжалостной, опасной,
Я помню, прокурора назвала!

Я восхитился. Вот оно — отвержение зла. Да и метафизически прокурор злее и отвратительнее подсудимого, пускай и формально прав. Не с прокурорами же нам заодно поносить бедную грешницу. Она сама себя не щадит и рисует довольно точную картину своего падения:

Одна, одна во всем я виновата,
Одну прошу во всем и обвинить:
Хотела жить роскошно и богато —
Скачки́ лепить, мадеру, водку пить...

До чего просто, вульгарно и наивно предлагаемое нам миросозерцание. Хочется воскликнуть: вот и вся «роскошь», вся «красота», к которой мы так стремимся и которой недостает в этом бедном мире?!.. Нет, не вся. Песня-письмо увенчивается фигурой, в высшей степени внезапной и никак не вытекающей из предлагаемого рассказа. Соглашаясь покрыть долг и расплатиться за грех, за проигрыш, воровайка достигает в финале того «нарушения пропорций» (опять же логики, смысла, рифмы), той «потусторонней ноты», которые и выводят песню на иную орбиту нравственно-поэтического бытия. И это есть освобождение.

Я уплачу его в тайге далекой,
Я уплачу пилой и топором...
Ах, голубь, ты мой голубь сизокрылый,
Скажи, зачем отвергнута любовь?..

Какая любовь, если раньше о ней не было ни слова? Кто отверг? И что это за голубь? Совершенно не важно. Жизнь отвергла. Душа хочет голубя. И сизокрылый голубь (любви, свободы, нравственного оправдания) вылетает из песни, которая и становится его, голубя, телом, олицетворением...

На этой основе, возможно, и завязываются нежные отношения между песней блатной и песней традиционной, общенациональной, условно говоря (условно — поскольку блатная и сама по себе, безо всяких контаминаций, способна на общенациональную значимость). Происходит как бы братание песен, и старинные или общеупотребительные мотивы органически входят в состав нового существования.

Умер жульман, умер жульман,
Умерла надежда...
Лишь остался конь воро́ный,
Сбруя золотая...

Он не остался, этот конь, он сюда прискакал — чуть ли не из былины. Своих услышал.

Ой, да приведите коня мне вороного,
Крепче держите под уздцы...

Таким древним запевом начинается рассказ о вещах, не известных прошлому («А в лагерях конвойный кричит: — Не вертухайся!..» и т. д.). И это не просто сползание одного фольклорного пласта на другой, а родство душ, единство судьбы, позволяющие обняться так далеко отодвинутым друг от друга стихиям.

А теперь на мотив «Ямщика»
Пропою про себя, чудака:
Как я дожил, мальчишка блатной,
До позорной до жизни такой.
Рано в карты я начал играть,
Рано пьянствовать и воровать
По карманам различных людей...
Эх, ямщик, не гони лошадей...

Это в жизни все так разделено, что «воры» это одно, а «народ» — другое. В песне все — общее, все — свое... Когда это было?

Далеко, в земле Иркутской,
Там построен большой дом,
Он построен для народа,
Арестанты живут в нем...

Построен-то давно. Но в нашу эпоху этот дом охватил народ как будто в полном объеме. И наряду с очевидными акцентами современности в новом исполнении во всю силу зазвучала традиция, стирая исторические и социальные границы. Однако распавшаяся в истории «связь времен» восстанавливается в песне, можно заметить, несколько однобоко — по одной преимущественно генетической ветви:

Сижу я в камере, все в той же́ камере,
В которой, может быть, сидел мой дед,
И жду этапа я, этапа дальнего,
Как ждал отец его в семнадцать лет...

Преемственность поколений, единство народной жизни наново постигались в тюрьме. И здесь же встретились реки со всех концов России. В итоге, по поводу того или другого конкретного источника, мы не можем сказать со всей определенностью — блатная это мелодия или тюремная вообще, и кто ее сложил — «вор», «мужик» или «политик».

Суровый советский закон,
Он карает, как дракон...

Всех карает. Один хозяин.

Далеко там, на Севере дальнем,
Там есть лагеря ГПУ...
Вот об этом рассказ свой печальный
Я сегодня, друзья, поведу...

...Не жди, ненаглядная мама,
Твой сын не вернется домой,
Он схоронен на Севере дальнем,
Под высокой столетней сосной.

Вот оно, вечное древо — «среди долины ровныя»... Поют и те, и другие. Специфически воровской стиль и антураж то вдруг проглянет, то угаснет, сменившись иным колоритом, и это порой осуществляется на протяжении одного и того же песенного текста, мерцающего разными гранями народного сознания.

Я сижу в одиночке
И плюю в потолочек.
Пред людьми я виновен,
Перед Богом я чист.
Предо мною — икона.
И запретная зона.
А на вышке маячит
Ненавистный чекист.
По тундре, по широкой дороге...

А на воле тем временем, в «большой зоне», протекают другие процессы — в пользу «блатной отравы»[1]. Она, быть может, одна еще всех как-то объединяет и связывает в деклассированном мире, где все, однако, деклассированы по-разному. Ведь с некоторых пор всеобъемлющее слово «народ» звучит у нас, как пустая бочка, будто выудили содержимое (корень), компенсируя, в утешение, мнимым величием бочки — нестерпимым героическим треском вокруг «трудовых будней» (лишенных вкуса работать) да грохотом «пролетарских праздников» (с одним преимуществом — праздность). «Народ» исчез, превратившись в «массу», в кашу, выделив в отместку, как тучу пыли,— блатных... В истинно же блатном состоянии каждый сызнова сам себе господин, индивидуум, личность (можно позавидовать) — без привязанностей, без обязательств, кроме как перед бандой, без предрассудков, без целей, голый на голой земле. Люмпен, вор, хулиган возвращаются к природной, звериной жизни, но уже не в природе, а на улице, в подворотне, в толпе. И порою эта среда куда более полно, нежели безглазая масса, выражает черты русской самобытности — в разобществленном виде, в распыленной форме. Так же, как лицо у разбойника случается ярче, отчетливее (кристаллик пыли), привлекая романтиков от Горького до Байрона.

Перед нами, в увенчание, разъединенный человек — разъединенный с домом, с обществом, с прошлым, с самим собою, и в этой отделенности — злой (народ же, по идее, всегда добрый, как не бывает до конца разъединенного народа). Человек этот — Каин (Авель — еще народ): выродок, бунтовщик, отщепенец. Добрым он становится в песне, воссоединяясь с «народом», которого, возможно, и нет уже, но песня — грезит. Отсюда такой разрыв между блатной действительностью и ее же порождением, песней. В быту — ужас и грязь, в песне — очищение. Не бойтесь, когда пацаны бацают на гитаре, привалясь к забору, как заправдашная шпана. Не песня заражает: воздух кругом заражен. Хуже будет, когда они замолчат...

Итак, сходятся встречные потоки, с удаленных и противоположных сторон. Но если блатная песня под свое «голубиное крылышко» принимает весьма разноречивые мотивы и становится подчас по звучанию всенародной, то в собственно деревенском и городском фольклоре наблюдается своего рода «облатнение» песенной народной традиции. Воровская среда и жанр, сами по себе, в том не виновны. Все естественнее и страшнее. Это видно хотя бы по колхозным частушкам 30-х годов, где подводятся итоги социаль-

[1] Из песни:
А ты мне говорила, что ты меня любила,
Что жизнь блатная хуже, чем отрава.

ных переворотов, состоявших в повсеместном вырывании корней.

На кусту сидит ворона
И кричит «кара́-кара́».
Все колхозники подохли,
Председателю пора.

За такие песенки недолго было «по тундре, по широкой дороге» покатиться в лагерь — под любым соусом: кулака, кулацкого подголоска, и даже террориста, «политика». Ну чем не террорист?

С неба звездочка упала
Председателю в трубу.
Председатель, давай хлеба,
А то морду разобью!

Хулиган, тунеядец, отброс общества...

В давнее время (в 1913 г.) на бунтарские настроения в деревне Ленин реагировал так: «То, что называют хулиганством, есть последствие главным образом неимоверного озлобления крестьян и *первоначальных форм их протеста*». Позднее, лет через пять, через семь, этих протестантов либо приводили в «пролетарское сознание», либо стреляли. Тем не менее «первоначальные формы» достигли таких размеров, что уже в наши дни приходится иногда слышать мнение, будто массовая преступность у нас, воровство, хулиганство, спекуляция и даже пьянство — все это зачатки «революционного протеста» и «политической оппозиции». Лично я не склонен к столь оптимальным выводам. В подобной трактовке русский человек только и делает, что устраивает оппозицию и революцию у себя на дому. Но следует признать, что процессы разрушения «основ» и «устоев», упразднение почвы, структуры зашли так далеко, что само понятие «народ» в результате как бы расщепилось и выветрилось, давая одновременно возможность искать этот «народ» где угодно, повсюду, в том числе в преступной среде (так называемой или буквально преступной). И русская частушка, и песня об этом голосят.

Понятно, частушка по жанру и складу всегда отличалась удалью, гру́бостью, озорством. Неслучайно революцию как национальную стихию лучше всего воспроизвел Блок в «Двенадцати» — в образах и формах частушки. Какая, однако ж, нужна отчаянность в народе, какое злое терпение требуется, чтобы пройдя все, к концу 30-х годов, плоды социализма вновь осмыслить и воспеть в «первоначальной форме»:

Всю пшеницу — за границу,
Овес — в кооперацию.
Баб — на мясозаготовку.
Девок — в облигацию.

Что же потом ужасаться, если эта девка, попав «в облигацию», споет:

— Хоп-гоп, Зоя!
Кому дала стоя?
— Начальнику конвоя!
Не выходя из строя!

Это не влияние блатного фольклора на деревенскую непосредственность. Скорее — обратное: проникновение колхозной частушки в новую, блатную среду. Диффузия. Вода. Ветер. Пыль. Народ...

...Сергей Есенин, рассказывают, накануне самоубийства день-деньской тянул одну гамму — как волчий вой в ночи — песню тамбовских крестьян-повстанцев, прозванных «бандитами» и раздавленных войсками. Впрочем, песня и впрямь была блатная, русская, тоскующая. Что-то вроде:

На кусту сидит ворона.
Коммунист, заводи курок!
В час полночный похоронят,
Закопают под шумок...

Опять ворона на том же кусту? Nevermore? И мы угадываем канву, интонацию, которую воспроизводил Есенин следом за тамбовцами, в развитие и продолжение песни советских беспризорных (будущих воров и бандитов):

Вот умру я, умру я,
Похоронят меня.
И никто не узнает,
Где могилка моя.

И никто не узнает,
И никто не придет.
Только раннею весною
Соловей пропоет...

Ворона и соловей вместе, он прощался со стихией, его породившей, им воспетой. Это к ней он обращался под конец жизни и творчества:

Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,
Кто спит порой в сортире.
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.

(«Русь бесприютная»)

Никто в высокой лирике так полно не вместил этот смятенный народ, от мужика до хули́гана, от пугачевщины до Москвы кабацкой, как это сделал Есенин, ту стихию превзойдя в поэтической гармонии, но и выразив настолько, что остался в итоге самым нашим национальным, самым народным поэтом XX столетия. Слова «Есенин» и «Россия» рифмуются. Вряд ли это ему удалось бы без «блатной ноты».

Теперь Есенина чтут и любят все: первый партиец и ханыга, генерал и спекулянт, пожилой рабочий и юный студент-эстет. Но мало кто помнит, что «красногривый жеребенок», бегущий за поездом («милый, милый, смешной дуралей»), в реальном, социально-историческом истолковании был для автора «наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно». Деревня и Махно «в революции нашей,— продолжает Есенин в письме 1920 года,— страшно походят на этого жеребенка тягательством живой силы и железной». А кто такой Махно? — удивимся и спросим советских историков.— Бандит и анархист! — отвечают. У Есенина — об этом же находим другое. Крестьянская революционная вольница, использованная государством и государством же приконченная. «Конь стальной победил коня живого». «Железный гость», «город» вышел на всероссийский степной простор. «...Идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому...» (из того же письма — август 1920 г.).

В сущности, здесь уже, в есенинских стихах и поэмах, с 19-го года, предсказаны коллективизация, раскулачивание, хулиганство, лагеря — распыление жизни и личности. Не город — государство наступает на песню.

Жилист мускул у дьявольской выи,
И легка ей чугунная гать.
Ну да что же? Ведь нам не впервые
И расшатываться, и пропадать.

Не впервые. С Пугачева. Пропадай пропадом. Вразвалку. «И сколько много он вложил в свою походочку — все говорят, что он балтийский морячок...» Блатной? Все — блатные. «Сестры суки и братья кобели, я, как вы, у людей в загоне...». Наперекосяк. Раскачиваясь...

Это о ней, об остатках национальной России, свершавшей революцию, обманутой, преданной и ушедшей в подполье, в разбой, в кабак, писал Есенин, выражая свое «социальное нутро»:

Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Жалко им, что Октябрь суровый
Обманул их в своей пурге,
И уж удалью точится новый,
Крепко спрятанный нож в сапоге...

Нож в бок — как ответ на революцию и естественные ее последствия? Надежда на Смуту? На Третью Революцию — Духа? Вера в народ? Все вместе. Но революции — не будет. Дух мятежа выродился в бандитизм. Распался и расползся. Напрасно уповал Есенин:

Нет! Таких не подмять, не рассеять.
Бесшабашность им гнилью дана...

Подмяли и рассеяли. Только по лагерям, как по горам, перекатываются:

Ты, Рассея моя... Рас-сея...
Азиатская сторона!

Ой-ё-ёй, как отзовется это эхо: «рассеянная Рассея»! Скольких обворуют, убьют! Бесшабашность, заправленная гнилью, принесет потомство на помойке, какого еще не знала истории. И оно, потомство, не станет церемониться; однако и не подумает ниспровергать режим, в котором родилось, расцвело и воспиталось, чувствуя себя, как рыба в воде, в новом мире-море. И все же эта блатная советская семья благодарно ответит Есенину как своему пахану и первому поэту России. Ответит, перекладывая «такой красивый, красивый!» есенинский стих на жестокий, собственный опыт. Выйдет, разумеется, не так мелодично, не так умно и благородно, как нам хотелось бы,— не так, как у Сергея Есенина. Куда проще и ближе к подлиннику, к жизни, если хотите. Но есенинская печать лежит на этих бастардах его национальной лирики. Перелистываем его «Письмо матери» («Ты жива еще, моя старушка?..»), «Ответ» («Ну, а отцу куплю я штуки эти...»), «Письмо деду» («Но внук тебя этой не постиг...») и другие стихотворения Есенина того же сорта и сравним с блатными песнями — с воображаемыми письмами из лагеря старухе-матери в деревню. Как и что отвечает вор своей патриархальной крестьянской родине?

Ты пишешь, что корова околела
И не хватает в доме молока...
Ну ничего, поправим это дело:
Куплю тебе я дойного быка.

Цинично? Безжалостно? А что еще он может ей купить и прислать, загибаясь на каторге?..

С работой обстоит у нас недурно:
Встаем с утра, едва проглянет свет.
Наш Ленька только харкает по урнам,
А я гляжу, попал он или нет.

...Ты пишешь, чтоб прислал тебе железа,
Что крышу надо заново покрыть.
Железа у нас тоже не хватило,
И дырки хлебом придется залепить...

Если не смеиться, можно сойти с ума.

...Говори об успехах блатной песни и широком ее бытовании, ее заманчивости и резонансе, нельзя обойти стороною противоположный факт, факт холодного отчуждения и решительного неприятия, какое она возбуждает иногда, притом у искушенного слушателя. Бывшие политзаключенные сталинской поры (58-я статья), на собственном горьком опыте узнавшие цену блатным, всю эту воровскую поэтику подчас и на дух не выносят.

Слишком живо она облекается в плоть и кровь. Еще бы! Такая встреча «интеллигенции» с «народом», такая кошмарная правда, прущая на вас без стыда и жалости. «А ну тащи ке́шер! Скидай барахло! Лезь под нары! Пусть я сдохну завтра, а *ты* — сегодня!» Оба сдохнут. Вопрос — кто раньше?.. В 30-е и 40-е годы диктатуру в зоне, мы знаем, нередко удерживал, взимая дань, как татарская орда, этот бойкий и сплоченный народец, который страшно размножился, закалился, возвысился и, опоясавшись неписаным железным «законом», основал независимое государство в государстве. Его авторитарная власть бывала грознее лагерного начальства. А начальству нравилось («классовая борьба»), да и выгодно было стращать и стравливать, руководствуясь той же теорией, по Дарвину: ты сегодня сдохни, а ты — завтра...[1]

Справедливо пишет Солженицын: «Уголовники всегда были для советской власти „социально-близкими"...» Понятно. Что власть у нас блатная (народная), что она предпочитала блатных (народ) «социально-чуждым элементам» и, глядя сквозь пальцы, случалось, потакала ворам — понятно. Ну а сами воры, спросим, испытывали ответную преданность и царили над порабощенной толпой наподобие надзирателей, понукателей, нарядчиков?.. Нет, конечно. В гробу они видели всю эту иерархию. У них своя забота, свой кодекс — от него мертвым холодом несет на все наши «фраерские» понятия о морали, труде, хозяйстве. Но, как водится, воры хотели жить и, прибавим, «жить не по лжи» — в соответствии со своими представлениями о правде. Это означало, помимо прочего,— не работать. Не только по естественной лености или в силу привычки паразитировать на чужом горбу и кармане, но — из принципа, по убеждению, в знак собственного достоинства. Глядя с крыши на картину социалистического строительства, блатной гордо пел:

Стройка Халмер-Ю — не для меня!
На ней работать я не буду дня!..

Вы слышите, как он якает, как самоутверждается там, где все тянут лямку (а он — не как все, он — человек!). «Пусть на них работает медведь!» — продолжает он откровенно глумиться над начальством и отстаивать свое особое, высокое предназначение. Можно догадываться, что это не просто давалось — жить вопреки режиму, на чистой отрицаловке, опираясь на свое моральное превосходство, физическую силу, наглость, лагерный стаж и кастовую солидарность. Тут одной «социальной близостью» к власти — не обойтись...

Сколько сложено прибауток и поговорок на ту же тему («Пусть на них работает медведь!») среди честных рабочих и служащих. Типа: «Гудит, как улей, родной завод, а нам-то.........»; «Где бы ни работать — только б не работать!»; «Если водка мешает работе — брось работу!» и т. п. Поговорим и разойдемся по службам, по работам. Честно и до конца в приблатненном обществе эту идею выразили и подтвердили — блатные. Одни. Выполнили обет. Завоевали, обставили. Временно, конечно. До поры, до срока. Но сделали и спели!

Если ж на работу мы пойдем,
То костры большие разожгем,
Раскидаем рукавицы,
Перебьем друг другу лица,
На костре все валенки пожгем...

«Разожгем», «пожгем» — тавтология. Неумение рифмовать. Но жечь и жечь они умеют. Последнее слово нации: огнем и мечом, саранчой — пройдем (и пожрем). Кто скажет, чем кончится эта блатная экспансия на всемирно-историческом уровне?.. Нас, однако, интересуют частности — валенки (неужто пожгут?). Сиволапые мужики, удивляемся: не пустая ли это реклама, не романтика ли это вознесшегося в мечтах на морфии, на чифире́ ли афериста? Нет, практика: подтверждает «Архипелаг Гулаг» — эта великая энциклопедия лагерной России. «Блатные,— говорит Солженицын,— не только не могут „увлечься азартом труда", но труд им отвратителен и они умеют это театрально выразить. Например, попав на сельхозкомандировку и вынужденные выйти за зону сгребать вику с овсом на сено, они не просто сядут отдыхать, но соберут все грабли и вилы в кучу, подожгут и у этого костра греются. (Социально-чуждый десятник! — принимай решение...)».

Всё правильно, складно (как в песне). Единственная загвоздка (вопрос): а зачем «социально-чуждому» определяться в десятники и не он ли, в действительности, «социально-близок» начальству, если исходить, разумеется, не из теоретических воззрений последнего, но из самоощущения зеков разных категорий? В том-то и беда, что десятником и бригадиром на дьявольской стройке оказывался не вор, а бывало — наш брат, «фраер», «честный советский человек»[1]. Пусть и отверженный, социально-чуждый в глазах командования, сам он себя подчас таковым не считал, а лез вверх по служебной лестнице. С горькой иронией к себе и своему поколению Солженицын вспоминает, как первое время по инерции старался пристроиться в лагере на какой-нибудь руководящей работе, пользуясь армейской сноровкой. В Новом Иерусалиме, в августе 45-го, вместе с другим бывшим офицером Акимовым, его поставили сменным мастером глиняного карьера. И вот урок метящим на высокую должность:

«Как раз в эти дни из ШИзо на карьер, как на самую тяжелую работу, стали выводить штрафную бригаду — группу блатных, перед тем едва не зарезавших начальника лагеря... Ко мне в смену их привели под конец. Они легли на карьере в затишке, обнажили свои короткие руки, ноги, жирные татуированные животы, груди, и блаженно загорали после сырого подвала ШИзо. Я подошел к ним в своем военном одеянии и четко корректно предложил им приступить к работе. Солнце настроило их благодушно, поэтому они только рассмеялись и послали меня к известной матери. Я возмутился и растерялся и отошел ни с чем. В армии я бы начал с команды „Встать!" — но здесь ясно было, что если кто и встанет — то только сунуть мне нож между ребрами. Пока я ломал голову, что мне делать (ведь остальной карьер смотрел и тоже мог бросить работу),— окончилась моя смена. Только благодаря этому обстоятельству я и могу сегодня писать исследование Архипелага.

Меня сменил Акимов. Блатные продолжали загорать. Он сказал им раз, второй раз крикнул командно (может быть даже: „Встать!"), третий раз пригрозил начальником — они погнались за ним, в распаде карьера свалили и ломом отбили почки. Его увезли прямо с завода в областную тюремную больницу, на этом кончилась его командная служба, а может быть, и тюремный срок и сама жизнь...»

Надо пожалеть наших новичков в ложной ситуации между молотом и наковальней. Однако рисунок, набросанный Солженицыным, много сложнее в социально-психологическом смысле. Тут и растет с былыми порывами — плодами советской школы («с тридцатых годов жесткая жизнь обтирала нас только в этом направлении: добиваться и пробиваться»), и покаянный самоанализ, и затаенная обида непризнанного капитана Красной Армии, и классовая неприязнь «честного гражданина» к закоренелым уголовникам, офицера — к темному сброду, позабывшему о дисциплине, «трудящегося» — к «буржуям», не желающим работать, разлегшимся, как на пляже, толстыми животами под солнце (хотя после сырого подвала почему бы, в самом деле, штрафникам не позагорать?..)... Но легко за этой сценой представить и встречную ненависть урки к нахальному фраеру, лагерному выскочке, дутому начальнику, продолжающему и под стражей, во «врагах народа», держать трудовую вахту — по заведенному (не для воров) социалистическому уставу. Не себя, а его, погонялку, они мыслят паразитом, присосавшимся к карьеру, и доверенным властей...

Позднее, в наше время, мне и другим политическим случалось у блатных находить поддержку, интерес, понимание и неподдельное сожаление, что доброе знакомство не состоялось в прошлом. В ответ на упреки за старые надругательства, среди причин конфликта (хитрость чекистов, свой улов, воровское жлобство и проч.), высказывалось и нелестное о советской интеллигенции мнение: да какие же раньше, при Сталине, были политические?! — вчерашние комиссары, лизоблюды, придурки, кровососы с воли... Слышалась и застарелая каторжная вражда простолюдина к барину. Угодил барин в яму? — сквитаемся. Об этом рассказывал еще Достоевский в «Записках из Мертвого дома» — с болью, но без тени враждебности к своим гонителям: «На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагосклонно... Нет ничего труднее, как войти к народу в доверенность (и особенно к такому народу) и заслужить его любовь».

« — Да-с, дворян они не любят... особенно политических, съесть рады: немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий, а во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить-с?»

«...Мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти...»

Ста лет не прошло... Господа новой формации насолили и наследили, может быть, обиднее прежних. Барин-то в старые времена хотя бы не козырял рабоче-крестьянской закваской, не курил фимиам равенству и братству трудящихся, был привычнее, объяснимее и в вельможной заносчивости, и в брезгливом своем кровопийстве. Новые господа вылупились из того же «народа», что и воры; но вели себя, как «суки», лицемерно, криводушно, настырно, ненавистные вдвойне, в «социально-близкой» и вместе в «социально-чуждой» расцветке. Поди разберись, кто кому задолжал и куда клонились весы исторической немезиды. И классовая борьба, к концу 30-х на воле, казалось бы, завершенная, с хаотической яростью заполыхала по лагерям. Как встречали там коммунистов сталинского призыва,— читаем у Солженицына: «Вот они, кто носил

[1] В середине прошлого века, у Достоевского в каторжных записях («Сибирская тетрадь»), мы уже находим эту клейменную поговорку, получившую в новое время такую популярность: «Ты сегодня помри, а я завтра».

[1] Там же, в «Архипелаге», сказано о коммунистах, попавших в лагерь: «Вполне моральным считалось у них и быть нарядчиком, бригадиром, любым погонщиком и понукателем (тут они расходятся с «честными ворами» и сходятся с «суками»)».

с важным видом портфели! Вот они, кто ездил на персональных машинах! Вот они, кто в карточное время получали из закрытых распределителей! Вот они, кто обжирались в санаториях и блудили на курортах! — а нас по закону „семь восьмых“ отправляли на 10 лет в лагеря за кочан капусты, за кукурузный початок. И с ненавистью им говорят: „Там, на воле, вы — нас, здесь будем мы — вас!“».

Сейчас я живу во Франции «на уголке». Так по-домашнему, по-деревенски мы кличем ресторанчик под дряхлой вывеской «У Робера», расположенный на углу нашей милой улицы. Открыт до 2-х, до 3-х ночи. Сходняк. Толчея. Уютные французско-африканские (из Алжира что ли?) порядки. Завсегдатаи. Таинственные свои люди. Поздно вечером, слегка поддав, кто-то, случается, пляшет. Шлепает подошвами. «Бушмен», я думаю, перебирая дошкольную пряжу: «коричневый, а не черный — бушмен». Серый. Кожа да кости. В чем душа держится? Старый маленький негр. Но чечетка — умопомрачительна. Тулуз-Лотрек. «Шоколад». Сгорбленный. Летают локти, подметки. Джаз-банд разгорается. Очкарик танцует даму. Рядом, как самолет в штопоре, девица на шпильках. Д'Артаньян на каблуках. Славно. Купаюсь.

На Багартьяновской открылася пивная...

Фольклор — заразителен: краденое счастье, мячиком, от одного к другому. Пасовка. Народ — везде народ. Не нарадуюсь. И сказки, и танцы, и песни, и речь — все свободно и безымянно передается сигнализацией и действует безотказно, спонтанно. Не то, что у нас, писателей, будь то Чехов или Тургенев... Не есть ли, спрашиваю себя, вся наша литература придуманный прибавок к фольклору? Мы паразитируем на нем. Они танцуют, поют, а мы — пишем...

Там собиралася компания блатная,
Там были девочки — Маруся, Роза, Рая
И с ними Костя-шмаровоз.

Негр наяривает. Ноги — как шатуны у паровика. Посмотришь — и тянет туда же, в воронку. Не умею. Да и к здешнему раздолью примешиваются, перебивают, догоняя, не дают договорить — иные голоса, иные ритмы. Где он, тот, снабдивший «путевкой в жизнь»? Где Серега?

«Влад слышал, как они крутили его, как били сапогами, как тащили по цементу, а тот все кричал, все кричал:

— Суки, суки, суки! Рот я ваш мотал, на пацанах отыгрываетесь?.. Влад, Владик, Владька, не забывай, ничего не забывай! Слышишь, прошу тебя, все помни, за все посчитаемся, будет наше время!..

...И голос его канул, оборвался, стих, смятый надзирательским кляпом...» (Владимир Максимов, «Прощание из ниоткуда»).

А на скамейке мы не ахнем и не охнем —
Да и не друг твой, да и не я!
Хозяйка ждет, когда мы с мухами
подохнем,—
Сначала друг мой, а потом и я!..

А Солженицын обижается, что блатной песне своевременно рот не заткнули: «Как-то в 46-м году летним вечером в лагерьке на Калужской заставе блатной лег животом на подоконник третьего этажа и сильным голосом стал петь одну блатную песню за другой... В песнях этих воспевалась „легкая жизнь“, убийства, кражи, налеты. И не только никто из надзирателей, воспитателей, вахтеров не помешал ему — но даже окрикнуть его никому не пришло в голову. Пропаганда блатных взглядов, стало быть, вовсе не противоречила строю нашей жизни, не угрожала ему».

Угрожать-то, быть может, и не угрожала. Однако собирать и записывать блатной фольклор (по официальному параграфу — «кулацкий») почему-то запрещалось, как меня, студента, в том же 46-м предупреждали по-тихому бывалые старики-фольклористы. Грозило сроком до 10 лет («антисоветская агитация и пропаганда»).

Пишет сыночку мать:
— Милый, хороший мой,
Помни, Россия вся —
Это концлаг большой...

А какая там агитация?! Ни одна настоящая песня не примет этот вражий навет. Пусть таким баловством у себя большевики занимаются. Агитпроп. Партаппарат. Гулаг. Блатной же человек просто ищет выразить словами струны, мелодию, которая, однако, все равно разойдется с текстом, так что в итоге и не поймешь, о чем, собственно, поется. О наркотиках? О воровстве? Пропаганда воровства и наркотиков?..

Ой, планичик, ты, планичик!
Ты, Божия травка!
Зачем меня мать родила?
Как планчик закуришь,
Все горе забудешь
И снова пойдешь воровать...

Поется, между прочим, на грустный-грустный мотив. Ничего себе «горе забудешь»! Плачешь. Мечтательство. Существенности нет. Отсутствие смысла. Пустой звук один. Дымок из козьей ножки. А ведь тоже мать родила. Как всех. Зачем, спрашивается? Курить-воровать? (почему-то это связано)? Ответь, Божия травка. Опиум для народа. Разрыв-трава. Ты виновата. Ты одна во спасение нам (...«все упование на тя»... «прежде век преднареченная Матерь»). А все из-за нее, из-за тебя, мать — Божия травка... Зачем? Ради чего? За что?.. («Моли Бога за нас...»).

Никакой другой народ, как русский, не задается так настойчиво и нелепо отвлеченным вопросом: зачем? Для того ведь и революцию сделали. И мировую тюрьму строим. Зачем меня мать родила? Зачем солнце светит, люди живут? Зачем — всё?.. Ответ (эхо): «вотще». А всё не унимаемся... Это как песня о свободе и застенке. О побеге. Зачем? Что за притча? Известно же: тюрьмы вору не миновать. Да и на свободе не такое уж раздолье. И все-таки, окунаясь в песню, как в собственное родовое бессмертие, повторяем с надеждой, словно возможен какой-то иной исход:

Это было весною, в зеленеющем мае,
Когда тундра проснулась...

Много вариантов. А сводятся к одному маршруту: тюрьма — свобода, свобода — тюрьма. По кругу (по тундре). Сюжет вращается, не давая освобождения, никогда не кончаясь. Но сколько перипетий вы успеете пережить, следуя по заведенной стезе, знающей лишь два направления — туда и обратно...

Достоевский писал, вспоминая о каторге: «...Вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в действительности».

Естественно, арестант переоценивает свободу, пускай и знает наперед (бежал, освобождался не раз и вновь, тоскуя, лез в тенета), какова она из себя в обыденной скаредной жизни. И все-таки, преувеличивая, он в ней не ошибается, но постигает, не побоюсь сказать, ее подлинную, трансцендентную стоимость, о чем другие люди и понятия не имеют. Она «свободнее настоящей свободы», свободнее, нежели мы, привыкнув к ней, как к воздуху, можем рассуждать и догадываться. Как тот же воздух становится поистине *воздухом* для больного туберкулезом, а вода — *водой* для того, кто жаждет. В тюремном квадратике, сквозь решетку небо, говорят, голубее: а значит оно — реальнее затрапезных небес. Может быть, только там оно и реально (и в этом значение, в частности, блатной песни)...

Попробую, братишечки, еще раз оборваться,
Выйти на волю погулять.
Встречу я там Муру — стройную фигуру,
И будем фраеров с ней штурмовать.

Скоро я надену ту майку голубую,
Скоро я надену брюки-клеш.
Две пути-дороженьки — выбирай любую...
А все же ты, братишка, не уйдешь!

Не уйдет далеко. Нет выбора. Слышу: «Опять он за свое! в крытку его! в закрытку! Не успел добраться и туда же, скот,— штурмовать! Ведь снова поймают!»... Все правильно. Поймают (на то и бежит). Но как же иначе вобрать и вообразить — свободу? Свобода — необъятна, непередаваема в сияющей реальности и, значит, ищет каких-то очень широких, могучих и точных определений. Здесь они даны. Видим два оборота, два ее образа (выбирайте любую дорогу, и все они сойдутся за проволокой, откуда и доносится голос). Величайшие координаты: *разбой* (в сочетании с фигурой прекрасной незнакомки еще более завлекательный) и — «голубая майка» (?!)

Кто-то помнится, в революционном восторге призывал «штурмовать небеса». («Свобода, бля, свобода, бля, свобода...»). Не лучше ли «штурмовать фраеров»? По крайней мере — нагляднее как художественный прием. Но вот беда (выясняется): свобода — агрессивна. Всегда она стремится к чему-то недоступному и рвется напролом, на штурм последних крепостей и запреток. В поэтическом языке это великолепно: гиперболы, агрессивная образность, всплеск эмоций... В жизни — пожары, погромы, убийства, изнасилования... Аврал, авария — и назад, в лагерь. Свобода влечет агрессию в любой форме как собственное свое беспредельное и беспредметное продолжение. Не потому ли всех нас на свете и держат в застенке? До срока, до выхода из тела мы так и не узнаем, какова же свобода в полном своем объеме, в истинном виде. Лишь вспоминаем и радуемся: «Скоро я надену» и т. п. Ведь у каждого из нас, господа, хотя бы в детстве, во сне, была голубая майка. Клочок неба дивной голубизны. Оденемся и — в побег (воровать и резать)!

Рано утром проснешься и раскроешь газету,
И на первой странице — золотые слова:
Это Клим Ворошилов даровал нам свободу,
И теперь на свободе будем мы воровать...

Амнистии не будет — не бойтесь. Действительность немилосердна. Смерклось. Одно остается:

Квадратик неба синего, и звездочка вдали
Сияет мне, как слабая надежда...

Это — перед расстрелом. Пора уходить с «уголка». Я знаю. Но сижу в растерянности, перебирая в уме запятые, доставшиеся в наследство по воровской цепочке. Да. Что поделаешь! Начав с запретных путей, и и кончу тем же. В противном случае незачем писать. Неинтересно. Мы сойдем со сцены — Генка Темин, Мишка Ко́нухов (о, как он пел «Пацанку»!), мужественный Коля Николаенко и я меж ними, грешной тенью. Нелегкое это дело на прощание созвать гостей, если тот уже в крытке, другой неизвестно где, а третий попал под колеса, не доехав по назначению до нового надзора. Должно быть, его скинуло с поезда: он

имел обыкновение, путешествуя по стране, горланить песни с крыши вагона... А в свое время как было весело, когда мы сходились вместе!

Абрашка Терц собрал большие деньги,
Таких он денег сроду не видал,
На эти деньги он справил именинки
По тем годкам, которые он знал.

Купил он водки, водки и селедки,
Созвал гостей и сам напился пьян,
И кто с гитарой, кто с пустой рукою...

— Не плачь! — говорю я себе. Они еще вернутся, твои друзья. Съедутся. Помиишь, как писал в письмах жене — всегда одно и то же:

...Еще прошу: сходи вечор к Егорке,
Он мне остался должен шесть рублей:
На два рубля купи ты мне махорки,
На остальное черных сухарей.

Привет из дальних лагерей,
От всех товарищей-друзей,
Целую крепко-крепко.
Твой Андрей.

Сколько их там сейчас, твоих друзей-товарищей! Всех увидишь. А не увидишь, так услышишь...

АБРАМ ТЕРЦ — Синявский, Андрей Донатович — родился в 1925 году в Москве. Окончил Московский университет. Кандидат филологических наук. Работал в Институте мировой литературы АН СССР. Печатался в журнале «Новый мир». С 1955-го года под именем Абрама Терца начинает писать и печататься за границей. В 1965 году исключен из Союза писателей, арестован и осужден. Шесть лет провел в Мордовских лагерях строгого режима. Работал грузчиком. В 1973 году выехал во Францию.

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

Вадим ЛИНЕЦКИЙ

АБРАМ ТЕРЦ: ЛИЦО НА МИШЕНИ

Для начала — факт: как бы ни менялись времена, а заодно с ними и мы, Абрам Терц был и остается фигурой явно неудобной, несолидной для великой русской литературы, от лица коей врио великих русских писателей в который уже раз объявляют его персоной нон грата.

Когда родных берегов достигли первые слухи о том, что где-то на туманном Западе объявился некий Абрам Терц, примечательной была реакция коллеги Синявского по ИМЛИ, как выяснилось, раньше других сформулировавшего то, что потом повторялось не раз: «Нельзя представаить, чтобы автор, живущий в Союзе, виающий нашу страну, историю, психологию, и вдруг приписал Сталину — „мистические усы“. Менталитет не тот! Ляпсус иностранца. Вам, например, не пришло бы в голову... Какой советский допустит подобную оплошность?» («Спокойной ночи»). А вскоре, как известно, эта «догадка» приняла однозначный вид обвинения, звучавшего о ту пору страшновато: советский человек написать такое не мог!

Положим, что так: советский — в смысле штампованный продукт нашей системы — и вправду не мог. Однако в наши странные времена вопрос этот в несколько измененной редакции, но все с той же обличительной интонацией повторяется снова: как подобное мог написать русский?!

И отмахнуться от такого вопроса вроде бы уже неудобно.

А ведь вопрос, кроме шуток, интересный — если бы его задать в спокойной академической обстановке, располагающей к вдумчивому теоретическому обсуждению. Но, с другой стороны, ясно — имей мы возможность спокойно этот вопрос обсудить, необходимость бы в том отпала, больше того: он вряд ли был бы поставлен. А следовательно, уже сам факт неприятия прозы Абрама Терца, причем агрессивного, причем и «там» и «здесь», и тогда и теперь, лишний раз подчеркивает своевременность появлеиия «зтого терпкого злодея» («Спокойной ночи») и острую потребность в нем русской литературы.

Времена же у нас, как всегда, странные: одни «шьют» Терцу русофобское дело, другие — вроде бы и защищают его, но делают это как-то неуклюже, вяло, с какой-то застенчивостью, словно думают в сердцах примерно так: «И сдался вам, Андрей Донатович, этот Терц! Ну, на что он вам? Бросьте вы его, похороните — и нас перестанут каждый раз тыкать этим Солженицыным».

Конечно, эти вторые делают благородное дело. А теми, первыми, двигают чувства отнюдь не высокие. Но странно, что и те, и другие — нет, не то что не любят Терца, а стараются, отождествив его с Синявским, как бы задвинуть, забыть, сделать вид, словно Терца и нет вовсе. Так что, когда бы не боязнь патетики, и бы прямо спросил: кто боится Абрама Терца?

И так же прямо ответил: не знаю, как насчет — «боится», а вот что мешает он почти всем — это точно.

Почему?

Выяснить это я, собственно, и собираюсь, а интересно это, кажется, еще и потому, что попутно придется порассуждать на темы, актуальные для искусства вообще, а для русской литературы в особенности, как-то: о соотношении лица и маски, жизни и творчества и прочих замечательных вещах, которые можно соединить союзом «и».

В самых общих чертах манеру Терца описать, казалось бы, несложно, тем более, что это не раз делал и сам Синявский. Конечно, склонность к иронии, эпатажу, запретным или рискованным темам — объясняет многое, ио отнюдь не все, поскольку нарушение всяческих конвенций, хотя и редко, но все же «смазывало карту будня» русской литературы. Как не вспомнить Маяковского, вообще — футуристов, органично сочетавших эпатаж эстетический с эпатажем поведенческим. Но, с другой стороны, ведь именно благодаря своему тотальному нежеланию считаться с «правилами хорошего тона», в том числе с отличием жизни от творчества, футуристы, нарушившие вроде бы все каноны русской литературы, сохранили верность ее главному завету: «Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась». Будет ли литература подчиняться жизни или жизнь — литературе, но все это — всерьез, а главное — со смертельным исходом для художника.

Желтая блуза была прощена Маяковскому, а иронии не сходит с рук Терцу, надо думать, по той простой причине, что там нужно было что-то простить человеку (мы, как известно, народ отходчивый, незлопамятный), а тут кому прощать — сразу и не ясно: Синявскому — Терца? Терцу — Синявского? Или и того, и другого — кому-то третьему? Разбери-пойми.

По ряду фундаментальных причин (о них речь ниже) русскому сознанию труд-

но примириться с тем, что все свойственное Терцу — вовсе не характерно для Синявского, который скорее полная противоположность своего двойника, «склонного идти запретными путями и совершать различного рода рискованные шаги» (Синявский: «Как человек, я склонен к спокойной, мирной кабинетной жизни и вполне ординарен» — «Диссидентство как личный опыт»). Отсюда и возникает тенденция: приписывать книги Терца — Синявскому (сплошь и рядом!), либо, наоборот, утверждать, что «Прогулки с Пушкиным» — «чисто литературоведческое эссе» (Т. Иванова — Огонек, 1990, № 16; сам Синявский определяет их жанр как «фантастическое литературоведение»). Или, еще лучше, советовать Синявскому по примеру Салтыкова-Щедрина соединить свою фамилию с псевдонимом дефисом, вот так: Синявский-Терц (Вл. Новиков — Знамя, 1990, № 3). Все это — характерные примеры сегодняшнего читательского восприятия, впрочем, объяснимого психологически: по крайней мере с Синявским как обращаться — известно, но — с Терцем?

И в самом деле: кто такой этот Терц? Все было бы гораздо проще и пристойнее, будь Терц — просто псевдонимом, взять который заставили обстоятельства, если бы дело обстояло, скажем, так: надо было как-то подписать рукописи, переправляемые на Запад, подвернулось — Терц, ну, Терц так Терц. В таком случае мы сразу попадали бы в знакомый идеологический контекст, ориентироваться в котором нам не привыкать: оппозиционный писатель из соображений, совершенно посторонних литературе как таковой, вынужден скрыть свое имя. Ситуация — стандартная, можно даже сказать — перманентная для отечественной словесности. В этом случае псевдоним навязан писателю, и, если от него удается освободиться, это идет только на пользу тексту. Другое дело — Абрам Терц. Есть все основания полагать, что псевдоним этот не был механически приставлен к уже готовым вещам, и, если Синявский и не сразу открыл имя своего двойника, то его облик и манера должны были предсуществовать тексту. Если серьезно, то у меня порой возникают сомнения, кому из них принадлежит первородство: Синявскому или Терцу? Разумеется, в творческом смысле, то есть кому принадлежат первые прозаические опыты?.. О том, что образ Абрама Терца, как и написанные от его лица «фантастические повести»,— является самостоятельным фактом литературы, по сути, говорит и сам Синявский в статье «Диссидентство как личный опыт», которую я тут уже цитировал: «Мне представляется, однако, что это „раздвоение личности“ не вопрос моей индивидуальной психологии, а скорее проблема художественного стиля, которого придерживается Абрам Терц,— стиля ироничного, утрированного, с фантазиями и гротеском». В то же время наречение двойника именем вполне могло происходить и так, как это описано в романе «Спокойной ночи» («...он, мой черный герой, для пущей вздорности, на потеху, ради того, собственно, чтобы было заранее интересней и смешнее, и прозванный по-свойски „Абрамом“, с режущим закреплением „Терц“»).

Это важно иметь в виду, ибо от того, признаем ли мы Абрама Терца простым псевдонимом или маской,— зависит многое. Если псевдоним «не меняет логической формы, но на нее водружает новую форму» (Г. Шпет, «Эстетические фрагменты»), то литературная маска, будучи, по терминологии того же Шпета, сама по себе «поэтической формой», требующей соответствующего восприятия, создает принципиально новый — даже по сравнению с традиционным, условно говоря, «лесковским» сказом — контакт повествователя с читателем.

Абрам Терц и есть такая маска, потребность в которой давно давала себя знать в русской литературе, а ее отсутствие осложняло творчество не одного писателя. Попытки же создать таковую, если они предпринимались, регулярно проваливались или не доводились до конца. Впрочем, виноват. Был у нас, разумеется, Козьма Прутков. Но характерно, что для создания этой единственной в своем роде маски потребовались соединенные усилия трех литераторов, тогда как одному задача эта оказывалась не по силам. А нужда в полноценной литературной маске, повторяю, была и особенно остро ощущалась теми писателями, чье творчество так или иначе шло вразрез с главным направлением русской литературы, писателями, принадлежавшими к линии, названной Синявским «утрированной прозой», традицию которой продолжает Абрам Терц.

Бердяев в свое время писал об устремленности русской культуры «к последнему и окончательному, к абсолютному во всем. Но в природно-историческом процессе царит относительное и среднее... Для русских характерно какое-то бессилие, какая-то бездарность во всем относительном и среднем. А история культуры и общественности вся ведь в среднем и относительном» («Судьба России»). Этим объясняется пророчественность русской литературы, не только обусловившая ту ее особенность, которую Д. Лихачев назвал «небрежением словом», но и систематически превращавшая самого писателя в «кровавую пищу». Трагический исход особенно характерен для тех писателей, которые в своем творчестве как раз склонялись к гротеску, «утрированной прозе». В этой ситуации маска могла бы помочь литератору удержаться в «срединном царстве культуры», закрепив лицо писателя как писателя. Однако маска предполагает некий элемент дуализма, а потому русское — по преимуществу монистическое — сознание склонно стирать границу между человеческим лицом художника и его творческим образом, между писателем и пророком, между жизнью и творчеством. В этом смысле пример всему XIX веку показал Гоголь, на протяжении своего творчества разрушавший литературную маску Рудого Панька, под которой вошел в литературу. Смешение функций писателя и пророка привело к тому, что образ первого нашего пророка в культурном сознании сливается с образом юродивого.

Имя Гоголя обозначает как бы «начало» дореволюционного этапа в развитии «утрированной прозы». «Конец» этого этапа связан с именем Андрея Белого, прямого наследника Гоголя.

Эстетические потенции юродства были осознаны Белым, пытавшимся перенести их в «грамматическое пространство». Однако жизнетворческая установка («Искусство есть искусство жить»,— писал Белый в статье «Искусство», 1908) делала невозможным установление четкой границы между этим пространством и пространством поведенческим. Уже в выборе псевдонима, оформившегося постепенно в маску, цели жизнетворческие неотделимы от целей эстетических. Но основной задачей, которую должна решить маска, было: построить новую личность, призванную заменить «природную» личность Б. Н. Бугаева, подлежащую уничтожению как последний неразложимый «остаток» культурной среды, пренебрежительно названной им в мемуарной трилогии «бытиком», к коему он принадлежал по рождению и воспитанию и неприязнь к коему была доминантой его поиска. План этот на поверку оказался, естественно, невыполнимым, попытки же его реализовать вели к тому, что писатель — «даже собственным ни Борисом, ни Андреем себя не ощутил, ни с одним из них себя не отождествил, ни в одном из них себя не узнал, так и прокачался всю жизнь между нареченным Борисом и сотворенным Андреем» (М. Цветаева, «Плененный дух»). Ясно, что при таких условиях учительство, элементы которого появляются в творчестве Белого уже в «Пепле» я «Урне», существенно затруднялось. С этим, видимо, связано то, что Пророк в произведениях Белого постоянно оказывается лжепророком — фигурой не столько трагической, сколько комической, безумно смешной.

Все это, конечно, не ново и сводится, в сущности, к следующему: обидно, что у нас такая «идеологизированная» литература и, хотя понятно, что только благодаря этому мы имеем Толстого и Достоевского, но все же пускай бы лучше наши писатели почаще небрегли своими «пророческими», а не писательскими обязанностями. Повторяя это слишком часто, мы по привычке продолжаем чего-то от литературы требовать, сетуя при этом, что она «не отвечает» нашим о ней представлениям. Поэтому, в частности, имеет смысл посмотреть, насколько сильны в самой литературе тенденции, шедшие «против течения». Есть все основания полагать, что именно они вышли на поверхность в усилиях создать литературную маску, каковая задача осталась так до конца и не осуществленной веком реализма.

Правда, для русской культуры характерно настороженное, подозрительное отношение к маске. Сказывалось влияние византийской традиции (противоположной в этом плане католической), в русле которой маска должна была означать уничтожение личности, пустую форму, фикцию, пустоту, прикрывшуюся застывшей личиной. Иное дело — культура советская, как и ее идеологический базис, сама по себе являющаяся онтологической фикцией, окаменевшей в грандиозных формах соцреализма, производящая впечатление застывшей маски, карикатуры на культуру русскую (но, как и любая карикатура, мыслимая лишь в постоянном соотнесении с предметом отображения). Маска и в ней станет элементом чужеродным, но уже не семантически, а функционально: в контексте советской культуры маска будет означать привнесение в регламентированный, не подлежащий изменениям порядок начала движения, игры (и а этой своей функции соотноситься уже не с традицией мимов, под влиянием православия негативно воспринимавшейся русской культурой, но как раз с традицией юродства — феномена чисто русского, не известного европейскому Западу). В контексте советской культуры маска, следовательно, уже не будет означать уничтожения личности, поскольку личность — категория динамическая. Не случайно от Терца остается не столько визуальное, сколько акустическое впечатление: жесты, интонация, голос. Но голос не Синявского, а Терца — голос из хора.

Таким образом, маска, существовавшая как задание, конкретизируется, чтобы между ней и общим состоянием культуры возникли напряженные отношения. Состояние советской культуры на момент появления на свет Абрама Терца отлично описано им самим в эссе «Что такое социалистический реализм».

По иронии, русский писатель, испытывавший склонность к описанию униженных и обойденных, мало-помалу оказывался на их месте сам, ибо в результате

социально-профетической ориентации принижалось собственно писательство вне этой его миссии. И побиваем камнями он был как пророк, а не как писатель. Отличие новой эпохи от старой с наглядностью выявила судьба Максима Горького: последний дореволюционный пророк был признан, но это признание обернулось окончательным унижением литературы, став прецедентом, позволившим обрядить писатели в мундир, в котором его заставили проделывать строго ограниченное число эволюций на плацу соцреализма. Тем самым русский, пардон, уже советский писатель, строго говоря, стал лишним для литературы персонажем, так же, как лишними для новой, взыскавшей определенности эпохи, оказались и традиционные герои XIX века — колеблющиеся, постоянно сомневающиеся «лишние люди». Сопоставление двух реализмов через сопоставление их центральных героев сделано Терцем в названном эссе. «Лишний человек девятнадцатого столетия, перейдя в двадцатое еще более лишним, был чужд и непонятен положительному герою новой эпохи... лишний человек — какое-то сплошное недоразумение, существо иных психологических измерений, не поддающихся учету и регламентации... В то время как весь мир, определив себя по отношению к Цели, четко разделился на две враждебные силы, он прикидывался непонимающим и продолжал смешивать краски в двусмысленно-неопределенную гамму, заявляя, что нет ни красных, ни белых, а есть просто люди, бедные, несчастные, лишние люди» (Абрам Терц, «Что такое социалистический реализм»). Представляется, что это — одна из возможных характеристик авторской позиции самого Абрама Терца. «Разногласия» с реализмом социалистической эпохи вели Синявского к реабилитации старого героя, но, чтобы вырваться из замкнутого круга, роль «лишнего человека» взяла на себя маска. В ней были заложены как стилистическая программа, так и биографический «сюжет».

Абрам Терц — звучит, конечно, шокирующе — и не только для извращенного нынешнего слуха. Не потому, конечно, что Терц, разумеется, еврей. Шокирует то, что в роли русского писателя выступил бродяга, вор, преступник, полуфольклорный персонаж — одесский жулик Абрашка Терц. Тем самым подчеркивалось, что автор — аутсайдер, отщепенец, изгой. Уже одно это, понятно, резко контрастировало с традиционными представлениями о высокой миссии писателя, вообще — литературы.

Фактическую канву событий — как Синявский стал Терцем — я воспроизводить здесь не буду: это отлично сделал сам Терц в романе «Спокойной ночи» — своеобразном «романе без вранья». Я же здесь попытаюсь объяснить значение этого превращения, в понимании коего мы, боюсь, не слишком далеко ушли от уважаемых граждан судей, на процессе Синявского и Даниэля героически защищавших соцреализм от посягательства Абрама Терца.

В то время как Синявский активно участвовал в текущем литпроцессе как критик и литературовед, его двойник вел подпольное, ночное существование, и напряжение, возникавшее между «официальной» и «неофициальной» ипостасью, оказывалось творчески продуктивным, устанавливая то «разделение труда», которое будет сохранено и в эмиграции. Охарактеризовав это разделение как жанрово-стилистическое, продолжим разговор о том, какое значение оно имеет для русской литературы.

Перевоплощение Синявского в Терца было своего рода ниспадением — и с высот официальной литературы, и с высот традиционных представлений о миссии писателя. Так что в этом плане Терца можно сопоставить, пожалуй, с такими польскими писателями и поэтами, как Анджей Бурса, Марек Хласко или Эдвард Стахура, примерно в то же время пошедших на разрыв с официальной литературой своей страны и названных известным польским критиком Я. Брудницким «каскадерами литературы». Вспомнив о том, что французское слово cascade как раз и означает «ниспадение», «падение вниз», и учтя неизбежную для современного сознания ассоциацию с кинематографом, можно сказать, что Абрам Терц — первый каскадер русской литературы, выполнивший за нее рискованный, но необходимый трюк и — что не менее важно — уцелевший, выдержавший, пожалуй, самое трудное испытание — разоблачение своего «нетождественного тождества» с Синявским.

С сугубо литературоведческой точки зрения отходят на второй план чисто человеческие мотивы, побудившие Синявского сохранить Абрама Терца. Собственно говоря, мотивы эти сливаются с совершенно естественной реакцией писателя, осужденного за искусство (примерно так: «Вы меня посадили за Терца, а Терц жив и пишет. Что, выкусили?»). В принципе, любой художник, уничтоженный советской властью за время ее существования, мог бы сказать о себе — главная его вина в том, что он художник. Понятно, разумеется, и то, что с точки зрения этой власти наказуема сама непокорность — пересылка рукописей на Запад вне зависимости от содержания этих рукописей. Как должен был поступить советский человек, написав нечто, хотя бы просто сомнительное с точки зрения самого передового учения? Прежде всего: советский человек вообще не должен был писать что-либо подобное. А уж коли написал, по всей видимости, обязан был сам прийти в родное ка-гэ-бэ, а не ждать, пока его туда «пригласят». Все так, все так. И все же именно тот факт, что Абрам Терц — не политический диссидент, а «диссидент главным образом по своему стилистическому признаку» («Диссидентство как личный опыт»), превратил процесс над Синявским и Даниэлем фактически в суд идеологии над искусством, сделав этот процесс логическим концом того, что начиналось в середине прошлого века, когда на сцене появилась оппозиционная интеллигенция, в массе своей — нигилистическая. 17-й год ознаменовался окончательным торжеством по крайней мере одного ее принципа, в соответствии с которым искусство на иерархической лестнице стоит ниже идеологии. Принцип этот, как известно, лег в основание теории и практики соцреализма. Эстетический нигилизм, возведенный в ранг государственной политики, привел к тому же результату, к какому привел и нигилизм политический, быстро выродившийся, по замечанию Лескова (смотри его роман «На ножах»), в самый заурядный гилизм, то есть пошлость. А посему, как ни крути, разногласия с социализмом периода расцвета заданы художнику именно на почве эстетической — как с оскорбительной пошлостью. И эти разногласия оказываются глубже идеологических, ибо эстетический бунт, в отличие от бунта идеологического, имеющего целью заменить существующую идеологию — своей, оказывается бунтом именно человеческого в человеке, ведь, как красиво говорят французы, человек есть стиль.

Оставаясь на чисто литературоведческой точке зрения, я бы даже сказал: провал процесса особенно ярко подчеркнуло даже не то, что ни Даниэль, ни Синявский не признали себя виновными, а вот именно сохранение раздвоения между Абрамом Терцем и его создателем. Ведь именно оно указало на поражение идеологии, почему (в конечном счете, ретроспективно) мы и не имеем права говорить о процессе как о реализации метафоры — результате насилующего искусство прямолинейного его восприятия, прагматической его оценки, чем, будем откровенны, всегда грешило русское сознание. Уже Г. Шпет писал о том, что многие российские беды воспоследовали из буквального понимания фигуральных и метафорических выражений, и видел в событиях революционного года реализацию целого ряда метафор, составляющих «золотой фонд» интеллигентской мифологии. Закономерно, что Синявский как литературовед и культуролог проявляет особый интерес к этому феномену, многократно наблюдаемому и в нашей истории, и в литературе. Смешение жизни и искусства в той или иной форме всегда оканчивается

поражением искусства, ибо гибель писателя есть его творческое поражение. И в этом смысле для русской литературы имеет особый вес и значение тот факт, что Абрам Терц продолжает существовать, не слившись со своим создателем.

Реализация метафоры — дает «картину чудовищную и фантастическую» (А. Синявский, «Сталин — герой и художник сталинской эпохи»). Бердяев — тот прямо писал, что в истории России действует «темное иррациональное начало», превращающее «нашу историю в фантастику, в неправдоподобный роман» («Судьба России», глава «Темное вино»). Эти строки написаны Бердяевым в 1915 году, но не менее остро действие этого иррационального начала ощущалось во все последующие годы. Но именно поэтому стилистически конгениальными советской эпохе в большей степени, чем проза Солженицына или даже Шаламова, оказываются фантазии и гротеск Абрама Терца, основанные на смешении будничного и фантасмагорического, трагического и смешного, рационального и иррационального, ибо, как писал все тот же Бердяев, «это смешение и переплетение трагического и комического есть и в русской революции. Она вся основана на смешении и подмене, и поэтому в ней многое имеет природу комедии. Русская революция есть трагикомедия. Это — финал гоголевской эпопеи». Но — добавил бы я — в нашем доме все так смешалось не в последнюю очередь потому, что «Россия, страна прилежных учеников, стала сразу же старательно подражать вымыслам Гоголя» (Набоков). Прилежные ученики — старательны и серьезны. Но ни сами ученики, ни их замечательные качества не нужны искусству. Так, может, от подражаний нас отучит Абрам Терц? Быть может, маска — наконец-то научит нас быть самими собой? Ведь это, кажется, единственный урок, который искусство способно преподать...

Не следует ли, однако, из всего сказанного, что Абрам Терц — это как бы «лучшее „я“» Синявского? Думаю, что один из смыслов маски в том и состоит, чтобы сделать невозможным окончательный однозначный ответ на этот вопрос, а тем самым напомнить о невозможности ухватить рациональной дефиницией иррациональную многомерность искусства как такового, природу которого проще всего понять, сопоставляя противоположные, а еще лучше — взаимоисключающие определения. Оставаясь в пределах прозы Терца, сопоставим несколько разбросанных по ней определений искусства. Так, с одной стороны: «Вот говорят: „запечатлеть себя“, „выразить свою личность“. А по-моему, всякий писатель за-

нят одним: само-ус-тране-ни-ем! Для того и трудимся в поте лица, вагоны бумаги исписываем — с надеждой: устраниться, пересилить себя, дать доступ мыслям из воздуха. Они возникают сами, помимо нас... И вдруг!.. становится ясно: вот это ты сам сочинил и потому никуда не годится, а это вот — не твое, и ты уже не смеешь, не имеешь права ничего с этим поделать — ни изменить, ни улучшить. Не твоя собственность!» («Графоманы»). Однако, с другой стороны: «Я уверен: большая часть книг — это письма, брошенные в будущее с напоминанием о случившемся. Письма до востребования, за неимением точного адреса. Попытки задним числом восстановить отношения с самим собой и со своими бывшими родственниками и друзьями» («Гололедица»). И все же, в итоге: «...я не знаю другого определения прозы, кроме как дрожание какого-то колокольчика в небе, не говоря уже о стихах. Знаете, как бывает, все кончено, но дрожит колокольчик, и это необъяснимо, но доносится издалека, с того конца света...» («Крошка Цорес»). И думаю, последнее определение — самое точное.

В самом общем виде отношения лица (Синявского) и маски (Абрама Терца) напоминают те неуловимые отношения, которые в повести «Любимов» связывают Самсона Самсоновича Проферансова, знатного барина, который жил лет за сто до необычайных событий, потрясших захолустный городишко Любимов, с историографом их, коим довелось стать Савелию Кузьмичу Проферансову, не то однофамильцу, не то отдаленному потомку Самсона Самсоновича — мистика, по смерти своей продолжающего принимать участие в земных делах. Как, например, в данном случае, когда он диктует Савелию Кузьмичу его труд, о чем последний не сразу догадывается:

«— Зачем мне вас видеть, когда я вами пишу?

— Вы мною пишете?! А что же и делаю?

— Ах, Савелий Кузьмич, какой вы, право, несносный... Ну, хорошо, хорошо, мы с вами пишем совместно, слоями.

— Слоями?!

— Да, слоями. Фокусы русской истории требуют гибкости, многослойного письма...»

Еще раз отметив характерное требование соответствия стиля «письма» — «стилю эпохи», выделим ключевое здесь слово «гибкость», напоминающее о том, что отношения лица и маски каждый раз осмысливаются заново. Это создает тот же эффект подвижности, свободы, игры смыслами, который характерен для эстетики символизма, девизом коей для Андрея Белого служили слова Ницше: «Заратустра плясун. Заратустра легкий... всегда готовый к полету... готовый и проворный, блаженно-легко-готовый... любящий прыжки и вперед, и в сторону». Напряжение, возникающее в силу неуловимости, подвижности отношений, связывающих Синявского с Терцем, соответствует природе искусства, гениально явленной в творчестве Пушкина, что мы и видим в «Прогулках с Пушкиным» Абрама Терца:

«Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Ландшафт меняется, дорога петляет. В широком смысле пушкинская дорога воплощает подвижность, неуловимость искусства, склонного к перемещениям и поэтому не придерживающегося твердых правил насчет того, куда и зачем идти. Сегодня к вам, завтра к нам. Искусство гуляет... Искусство зависит от всего... Но от всего на свете оно склонно освобождаться. Оно уходит из эстетизма в утилитаризм, чтобы быть чистым, и, не желая никому угождать, принимается кадить одному вельможе против другого, зовет в сражения, строит из себя оппозицию, дерзит, наивничает и валяет дурака. Всякий раз это — иногда сами же авторы — принимают за окончательный курс... и говорят: искусство служит, ведет, отражает и просвещает. Оно всё это делает — до первого столба, поворачивает и —

Ищи ветра в поле».

Но ведь это —

«Свобода! Писательство — это свобода» («Диссидентство как личный опыт»).

Да, свобода — но при условии, что выбор между человеком и писателем сделан в пользу последнего и верность такому выбору удается сохранить. А это требует уже чисто человеческого мужества. То, что это удалось Синявскому,— бесспорный факт. И факт этот мы можем констатировать с окончательностью — в отличие от того, с которого я начал эту статью.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Евгений Рейн. Береговая полоса. Стихотворения. М.: Современник, 1989; Евгений Рейн. Темнота зеркал. Стихотворения и поэмы. М.: Советский писатель. 1990.

В этих строчках сюжет образован мыслью, но слово важнее и талантливее ее. Оно стоит в начале, как метафора — раньше предмета. И потому говорит больше, чем может и хочет сказать.

Эти строчки — как надпись немого кино. Интимной своей мелодией озвучивай, читатель, промелькание прожитой жизни. Всегда за тобой а поднебесье полетит силок: время кончается смертью, пространство кончается географической картой, трагедия кончается слезами и той готовностью к любви и тоске, которая заменяет счастье. «Никто не хочет жить и умереть не хочет». Длится и длится прошлое, и важно, чтобы не исчезнуть, все обозначить, поименовать, отметить: было именно так в той коммуналке, в том деревянном доме, на том речном вокзале, с тем именем, с той папироской. О Господи, да не важно вовсе, ибо никто не спрашивает о правильности, никто не сверяет, и когда на резкость наведен заплаканный глаз, то это только прозрение, которое не имеет отношения к искусству. И жизнь отношения к искусству не имеет. А как же? Он же пишет хронику — самый страшный жанр двадцатого века. Летописец безымянный, безымянно упорядочивающий вечность? Но что же тогда со сквозняком — отчаянием, одиночеством, бесприютностью — и все на людях, на годах, на углах, со страстью погублять, растерять... А-а, не в этом дело — «Я подумал о такой свободе, о которой песенки поют». Ерничает, все обман. А на самом деле — не до людей, не до жизни, не до себя; таперское яаше бренчание по клавишам примет понять не поможет, музыка, даже та, что «душит Шубертом»,— не поможет, ибо есть только простодушный в своей силе вал стиха, синтаксис, затягивающий в воронку, звук, зазывающий в бездну; вал накрывает с головой, переворачивает, бьет по камням и уже никогда не отпустит на берег.

И предаешься

Тому, кто назначает нам пайку и судьбу,
Тому, кто обучает бесстыдству и стыду,
Кто учит нас терпенью и душу каменит,
Кто учит просто пенью и пенью аовид,
Тому, кто посылает нам дом или развал
И дальше посылает белоголовый вал.

Е. СКУЛЬСКАЯ

Карабчиевский Ю. Незабвенный Мишуня. Повесть. Октябрь. 1990. № 7.

Первое, что бросается в глаза при чтении Карабчиевского,— это почти детское стремление протаранить предмет изучения до донышка. Чтоб понять. Разглядеть. Оценить — во всех измерениях одинакоао четко, не наспех, не в общих чертах. И — любовь. Иначе ведь не назвать то чувство, которое подвигло его написать «Воскресение Маяковского». Вот уж кто смыл хрестоматийный глянец с лучшего и талантливейшего! И, обличая, воскресил, извлек образ поэта из-под груд литературоведческого лома.

Книга о Маяковском трудно определима по жанру. «Незабвенный Мишуня» — просто повесть. Уже название неоднозначно. Это и надпись на могильном камне (незабвенному...), это и пародия на нее (незабвенному — но не мужу, не отцу, а — Мишуне), это и далекая перекличка с Ивлином Во, это и сочувственное вторение вздоху вдовы, это и собственные детские воспоминания. Мишуня не был ни героем, ни светочем ума, ни даже тем, что принято называть скромным незаметным тружеником. И скромным он не был, и тружеником не стал. Он был лодырь, и враль, и выпивоха, и грубиян. Но! — и мальчик, от чьего лица писана повесть, и затурканная жена, и многочисленные женщины, любившие Мишуню,— они его не забыли. Почему? Потому, отвечает нам повесть, что бессмертно драгоценное вещество жизни, сверкнувшее в этой горсточке праха.

По своей художнической природе Карабчиевский — традиционалист. Он очень современен по решительности суждений, но откровенно человечен. При всей своей саркастичности, при отточенности характеристик он не стыдится взволнованности, не боится быть опечаленным или растерянным, не подменяет разрушением все прочее. Словом, не может быть отнесен к так называемой «другой литературе» с ее назойливым стремлением, разложив мир на составные, не соединить их, а так и оставить. Карабчиевскому дорог человек, пусть хоть и Мишуня, с его вздорностью, враньем и наивной, здоровой чувственностью. Ведь он один был, такой Мишуня, он неповторим! А Карабчиевский и Маяковскому не прощает отсутствия нежности к человеку, с обидой не прощает, с болью сердечной. Потому что сам-то он любил Маяковского — великого. И Мишуню — не великого. И Александра Зильбера — просто Зильбера.

При своей кажущейся тихости повесть не нейтральна, она для одних — победа самых светлых сил в искусстве, а для других враждебна или вовсе недопустима. Но бог с ними, с другими! Для читателя встреча с писателем Юрием Карабчиевским — это удача, и радость, и обретение.

И. ПРУССАКОВА

Борис Хазанов. Час короля. Повесть. Химия и жизнь. 1990. № 7—8.

...И когда был получен приказ о регистрации евреев, чтобы затем отправлять их в лагеря смерти, Его Величество Седрик Десятый, король аннексированного рейхом крошечного клочка суши, совершил свой Главный поступок: нришив к своим одеждам желтые шестиконечные звезды, он вместе с супругой вышел на прогулку...

Повесть писателя, живущего ныне в Мюнхене, находится в пограничной области между собственно художественной прозой, тонкой, умной, глубокой, и не менее глубоким и интеллектуально насыщенным философским трактатом. Если в центре повествования — полгода жизни короля некоего обобщенного скандинавского государства, то Хазанов-философ исследует проблему нравственного противостояния. Противостояния мыслящей личности уродливой громаде тоталитарного механизма, в котором человек изначально обречен быть крошечным нерассуждающим винтиком. Гитлеровский рейх для автора — ядовитый цветок, выросший на почве мифа, продукт временного помешательства человечества, образование бесплодное, лишенное будущего, как и все генетические аномалии, но от этого не менее — а, может быть, и еще более — опасное для окружающих. Писатель подчеркивает, что в поединке мыслящего индивидуума и параноидального Левиафана сила, бесспорно, будет на стороне последнего, зато человек, нроигравший этот поединок, одержит победу моральную, останется честным перед своей совестью...

Но вот какая мысль невольно возникает по ходу чтения: поступок Седрика красив, благороден, самоотвержен, однако не спасает евреев страны от концлагерей. И по странной ассоциации вспоминается реальный болгарский царь Борис III, который, если верить историкам, не обладал многими из тех замечательных качеств, которые были присущи Седрику из повести: перед Гитлером вел себя не слишком-то достойно, лавировал, шел на компромиссы сомнительного нравственного свойства... но не допустил депортации евреев, которой требовал от него фюрер. Кажется, это удалось в единственной из воюющих стран Европы. Не знаю, справедливо ли бросать на чашки весов благородное донкихотство и малопривлекательный прагматизм, но если речь идет о жизни людей... Эта мысль, вызванная повестью Бориса Хазанова, мучает меня, не дает мне покоя.

Р. АРБИТМАН

Бейтс Г. Э. В разрыве облаков. Повести и рассказы. Перевод с английского. Л.: Художественная литература. 1988; Бейтс Г. Пикник. Рассказы. М.: Известия (Библиотека журнала «Иностранная литература»). 1990.

Обращением к творчеству известного английского прозаика Герберта Эрнеста Бейтса (1905—1974) ликвидирована еще одна лакуна из тех довольно многочисленных, которыми пестрит наша карта новейшей зарубежной литературы. Хотя наследие Бейтса обширно, его высокая писательская репутация в большой степени определяется новеллистикой: рассказы автора стали в английской литературе классическими, удостаивались литературных премий, экранизировались.

Поэтика рассказов Бейтса соответствует зрелому этапу развития современного рассказа, то есть рассказа в русле новой «традиции» XX века, основоположником которой в значительной мере стал А. П. Чехов. Многие произведения писателя лаконичны, бессюжетны, окрашены определенным настроением, посвящены незначительному, на первый взгляд, событию в жизни персонажа, происходящему зачастую не в сфере действия, а в сфере чувства. Умение создавать емкий подтекст — это то, что еще больше сближает Бейтса с Чеховым.

В ленинградский сборник вошли лучшие произведения писателя, раскрывающие его любимые темы. Автор, как-то в шутку назвавший себя «обыкновенной земляной картофелиной», тосковал по изживающим себя естественности и непритязательности деревенской жизни («Лучший в мире дядюшка Кроу»), по первозданности природы и утраченной взрослым человеком непосредственности детского восприятия («Александр», «На поле первоцветов»). Однако «серьезный» Бейтс прекрасно сочетается с Бейтсом-юмористом, герои которого забавны и эксцентричны («Слаще ягодки»).

Московский сборник дает более цельное представление о художественных особенностях бейтсовской прозы и используемых автором стилистических приемах. Предисловие М. Зинде «Искусство недоговаривать» — это удачный этюд, интонационно перекликающийся с рассказами самого Бейтса, объединенными присущим им чеховским настроением.

Отрадно, что наше знакомство с Бейтсом — этим большим мастером «малого» жанра — состоялось. Читатели почувствовали его задушевность, осознали его редкий дар понимания людей. Еще один образ Англии — Англии Герберта Бейтса — стал неотъемлемой частью нашей культуры.

Н. ПОПОВА



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Изыскания

А. М. ЭТКИНД

ЛЕВ ТРОЦКИЙ И ПСИХОАНАЛИЗ

Есть в нашем сознании миф о демоническом персонаже в пенсне — черной силе революции: именно таким изображают и видят Троцкого сегодня многие. Есть партийная историография, а которой Троцкий выглядит как двойник Сталина, уступивший тому в тактике, но опередивший его в стратегии. Есть Троцкий — кровавый диктатор революции и гражданской войны, предреввоенсовета и наркомвоенмор; о нем, кроме варварских аббревиатур, мы почему-то знаем одни поездные истории — салон-вагон, виселицы на платформе... Есть еще Троцкий в Мексике: автоматные очереди Сикейроса, ледоруб под плащом наемного убийцы.

А что мы знаем о троцкизме? И это слово двоится или даже троится в сознании: одно доносится к нам то с московских процессов 36-го года, то с парижских баррикад 68-го, то вдруг сегодня откуда-нибудь из Перу... Сталин пережил Троцкого. А основанные ими «измы» (во всяком случае то, что под ними понимает сегодня мир) умирают в обратном порядке. Зато о сталинизме мы знаем все больше, о троцкизме — ничего. Я проверил: французский школьник больше расскажет вам о Троцком и троцкизме, чем его советский сверстник.

Я не историк, а психолог, и меня интересовал один узкий и довольно экзотический аспект: связь Троцкого с психоанализом.

Читая Троцкого (а я должен честно признаться, что это не скучное, а местами и увлекательное чтение), я ощутил во многих его работах 10-х и 20-х годов прямое сходство с определенными психоаналитическими идеями. Интеллектуальные заимствования или родство идей, восходящих к общим корням — социальным, культурным, да хоть и национальным? Опубликованные гарвардским хранителем архива Троцкого Ю. Фельштинским документы об А. А. Иоффе позволили увидеть эти связи в совершенно новом свете.

Адольф Абрамович Иоффе — профессиональный подпольщик, организатор октябрьского восстания, впоследствии крупный дипломат. Член ЦК РСДРП (по другим источникам — кандидат) с июля 1917, председатель российской делегации при заключении Брестского мира, участник генуэзских переговоров, посол в Германии, Китае, Японии, Австрии... Покончил с собой в 1927 году.

Такова биография. Из автобиографии, опубликованной в Словаре Гранат, можно почерпнуть более подробные сведения. В 1908 году, ко времени встречи с Троцким в Вене, где они вместе организовали газету «Правда», Иоффе уже в пятый раз бежит от ареста в эмиграцию. За свои 25 лет он успел, кажется, много: пропагандистская работа в разных городах России, организация побега товарища из севастопольской военной тюрьмы, транспорт нелегальной литературы в Баку, высылка из Германии особым постановлением имперского канцлера... Но оставим автобиографию и послушаем Троцкого.

У Иоффе, пишет Троцкий, «уже было к этому времени маленькое политическое прошлое». Но вообще-то в Вене он проживал в качестве студента медицины и... пациента. Цитируем: «Несмотря на чрезвычайно внушительную, слишком внушительную для молодого возраста внешность, чрезвычайное спокойствие тона, терпеливую мягкость в разговоре и исключительную вежливость, черты внутренней уравновешенности,— Иоффе был на самом деле невротиком с молодых лет». Клинические наблюдения Троцкого состояли в следующем: «Во взгляде его, как бы рассеянном и в то же время глубоко сосредоточенном, можно было прочесть напряженную и тревожную внутреннюю работу». Более поразительно — но зато как! — другое: «Даже необходимость объясняться с отдельными лицами, в частности, разговаривать по телефону, его нервировала, пугала и утомляла».

Вена этих лет — мировая столица психоанализа. Встречи невротиков со своими психоаналитиками планируются, наверно, на небесах. Аналитиком Иоффе стал Альфред Адлер. Ближайший ученик Фрейда, как раз во время интересующих нас событий, он вынашивал собственную версию психоанализа. В отличие от Фрейда, утверждавшего в то время, что человеком движет лишь один основной метод — эротическое влечение, а все остальные являются его производными, Адлер считал нужным признать столь же первичный характер другого фундаментального мотива: влечения к власти. Надо думать, что опыт общения с молодыми русскими марксистами весьма пригодился Адлеру а развитии этих мыслей. Фрейд не признал новаций Адлера, и тому со своими сторонниками пришлось выйти из Венского психоаналитического общества.

Троцкий был в курсе его проблем, но понимал их на свой лад. Цитируем: Иоффе «лечился у прославившегося впоследствии „индивидуал-психолога" Альфреда Адлера, вышедшего из школы Зигмунда Фрейда, но к тому времени уже порвавшего с учителем и создавшего свою собственную фракцию». Случилось это в конце 1911 года. Иоффе в этом году производил объезд российских партийных организаций от имени редакции «Правды».

Троцкий «время от времени» встречался с Адлером в близкой, видимо, им обоим семье старого революционера Клячко (позже Троцкий произнесет а Москве речь на его могиле). В 1923 году Троцкий охарактеризует эти встречи так: «В течение нескольких лет моего пребывания в Вене я довольно близко соприкасался с фрейдистами, читал их работы и даже посещал тогда их заседания». С самим Фрейдом Троцкий, видимо, не встречался, иначе обязательно упомянул бы об этом в письме к Павлову. Речь идет именно о кружке Адлера, которого Троцкий характеризует то как фракционера, то как еретика. В воспоминаниях об Иоффе читаем: «Первое посвящение, очень, впрочем, суммарное, в тайны психоанализа я получил от этого еретика, ставшего первоучителем новой секты. Но подлинным моим гидом в область тогда еще мало известного широким кругам еретизма был Иоффе. Он был сторонником психоаналитической школы в качестве молодого медика, но в качестве пациента он оказывал ей необходимое сопротивление и в свою психоаналитическую пропаганду вносил поэтому нотку скептицизма».

Противоречиво относился к «фрейдистам» и сам Троцкий: «Меня всегда поражало в их подходе сочетание физиологического реализма с почти беллетристическим анализом душевных явлений». Троцкий вспоминает все это со знанием дела — этим он обязан Иоффе. Естественно, он не оставался в долгу у младшего друга: «В обмен на уроки психоанализа я проповедовал Иоффе теорию перманентной революции и необходимость разрыва с меньшевиками».

Психоаналитическое лечение было в те аремена чрезвычайно интенсивным — пациент приходил к аналитику 5—6 раз в неделю — и, конечно, дорогим. Платила Адлеру, наверно, не партийная касса; Иоффе обходился собственными средствами — его отец был богатым крымским купцом.

Мы не знаем, сколько длилось лечение. Во всяком случае в 1912 году Иоффе был арестован и до самой февральской революции находился на сибирской каторге. Потом, после 7 лет перерыва, он снова встретился с Троцким. Тот рассказывает: «Выбранный а Петербургскую городскую думу, Иоффе стал там главою большевистской фракции. Это было для меня неожиданностью, но в хаосе событий вряд ли я успел порадоваться росту своего венского друга и ученика. Когда я стал уже председателем Петроградского совета, Иоффе явился однажды в Смольный для доклада от большевистской фракции Думы. Признаться, я волновался за него по старой памяти. Но он начал речь таким спокойным и уверенным тоном, что всякие опасения сразу отпали. Многоголовая аудитория Белого зала в Смольном видела на трибуне внушительную фигуру брюнета с окладистой бородой с проседью, и эта фигура должна была казаться воплощением положительности и уверенности в себе». Глубокий бархатный голос... Правильно построенные фразы... Округленные жесты... Атмосфера спокойствия... Возможность естественно подняться с разговорного тона до настоящего пафоса... Троцкий знал в этом толк, он дает ораторским талантам 34-летнего Иоффе наивысшую оценку. Вспоминая все это в далекой Мексике, Троцкий бережет память о друге и вместе с тем не упускает случая подчеркнуть факт поразительной человеческой метаморфозы. «Это приятно удивило меня: революция справилась с его нервами лучше, чем психоанализ... Революция его подняла, выправила, сосредоточила сильные стороны его интеллекта и характера. Только иногда в глубине зрачков я встречал излишнюю, почти пугающую сосредоточенность».

Иоффе, проходя тяжелейшие для любого человека испытания, уверенно переходил с одной высокой должности на другую. «Мягким голосом, с дружелюбной улыбкой он выдвигал всегда самые решительные доводы за необходимость вооруженного восстания. В трудные дни и часы... оставался всегда наиболее сдержанным, не выходил из себя, не терялся в хаосе...»

«Самые трудные дни и часы» были у них после вооруженного восстания. Мы знаем о них по предсмертному письму, которое Иоффе послал Троцкому. Письмо было предназначено для распространения среди товарищей и размножено в количестве 300 экземпляров.

Идейный и организационный разгром оппозиции в данном случае заключался, по формулировке Иоффе, в «партийной линии не давать работы оппозиционным элементам». После отстранения Иоффе решением Политбюро от всякой партийной и советской работы его здоровье резко ухудшилось. Кремлевские врачи нашли у него туберкулезный процесс, миокардит, колит с апендицитом, воспаление желчного пузыря... Больше всего мучил полиневрит, приковавший его к постели. «Проф. Давиденко полагает, что причиной, вызвавшей рецидив острого моего заболевания полиневритом, являются волнения последнего времени». Профессора сообщили Иоффе, что работать ему нельзя, российские санатории ему не помогут, надо ехать лечиться за границу минимум на полгода. В ЦК этот вопрос «все время откладывался рассмотрением». Одновременно кремлевская аптека перестала выдавать ему лекарства... Иоффе вспомнил тут и о том, что «отдал не одну тысячу рублей в нашу партию, во всяком случае больше, чем я стоил партии с тех пор, как революция лишила меня моего состояния». Теперь лечиться за свой счет он не мог.

Более 30 лет назад, пишет он Троцкому, «я усвоил себе философию, что человеческая жизнь лишь постольку и до тех пор имеет смысл, поскольку и до какового момента является служением бесконечному, которым для нас является человечество, ибо, поскольку все остальное конечно, постольку работа на это лишена смысла». Более 30 лет назад Адольфу Абрамовичу было лет 10. «Я — думается мне — имею право сказать, что *всю* свою сознательную жизнь оставался верен своей философии... Кажется, я имею право сказать, что я ни одного дня своей жизни, в этом понимании, не прожил без смысла».

Затрудняюсь оценить, в какой мере философия Иоффе, большевистская и иудаистская одновременно, была близка, скажем, Адлеру. Скорее, мне кажется, что психоаналитик попытался бы выявить все жизненные последствия этой философии бесконечного, а затем стремился бы приблизить пациента к бренной и конечной, зато человеческой реальности. Если Адлер связывал клинические симптомы невроза Иоффе с его философией,— думаю, он убедился: этот пациент неизлечим. Троцкому философия эта была знакома и понятна, и все же на могиле друга, понимая, как заразителен этот пример теперь для всех его сторонников, он предостерег их: «Пусть никто не смеет подражать этому старому борцу в его смерти — подражайте ему в его жизни!»

Итак, Иоффе приходит к выводу, что «смерть теперь может быть полезнее дальнейшей жизни». Вместе со свершившимся исключением Троцкого из партии мое самоубийство, надеется Иоффе, станет «именно тем толчком, который пробудит партию». Под конец он решается высказать Троцкому то, что не говорил, похоже, никогда. «Вам недостает ленинской непреклонности, неуступчивости... Вы политически всегда были правы, но Вы часто отказывались от своей правоты... Теперь Вы более правы, чем когда-либо... Так не пугайтесь же теперь»...

Над могилой Иоффе Троцкий сказал: «Умственную силу, ее напряжение он сохранил до самого последнего момента, когда пуля оставила, как мы видели еще сегодня, темное пятно на его правом виске».

Я не отношу себя к людям, отравленным советской идеологией. Но никуда не денешься: приходилось сдавать зачеты и экзамены, читать так называемые источники... Так что у меня, как и многих моих сверстников, кончавших вузы а 70-х годах, большевизм вызывает аллергию.

Но в текстах Троцкого есть особый мотив, далеко уклоняющийся от знакомых всем нам с детства интонаций. Этот мотив, мне кажется, был очень важен для него. И я, например, услышал в нем созвучие своим юношеским увлечениям. Именно этим своим мотивом он остается, наверно, привлекателен для своих безусых или бородатых последователей в разных концах этой планеты. Этот мотив, как догадывается читатель, я склонен связывать с влиянием психоанализа.

Вслушаемся. «Человек примется, наконец, всерьез гармонизировать себя самого. Он поставит себе задачей ввести а движение своих собственных органов — при труде, при ходьбе, при игре — высшую отчетливость, целесообразность, экономию и тем самым красоту. Он захочет овладеть полубессознательными, а затем и бессознательными процессами, в собственном организме: дыханием, кровообращением, оплодотворением — и, в необходимых пределах, подчинит их контролю разума и воли. Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной. Человеческий род, застывший хомо сапиенс, снова поступит в радикальную переработку и станет — под собственными пальцами — объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки. Это целиком лежит на линии развития...».

Мечтатель во френче наркомвоенмора собрался идти дальше своих коллег. Он хочет осознать и сознательно регулировать не только то, что происходит на заводе, на рынке или в семье, но и то, что делается в супружеской постели и даже внутри организма человека. Отчетливость и целесообразность — высшие для него ценности — достигаются одним путем: осознанием. Красота для него равна сознательности. И наоборот, все бессознательное, стихийное и спонтанное — уродливо и отвратительно. Ничто не должно происходить само собой, как в заклятом прошлом. Лишь обдуманное, осознанное, планомерное достойно существования.

«Повышаясь, человек производит чистку сверху вниз: сперва очищает себя от бога, затем основы государственности от царя, затем основы хозяйства от хаоса и конкуренции, затем внутренний мир — от бессознательности и темноты». Как плавно, почти незаметно переходит перо Троцкого от атеизма и социализма — к психоанализу, от большевистских банальностей — к совершенно необычным идеям, куда более утопическим, чем сама коммунистическая утопия! И все вместе укладывается у него в такое понятное: чистка сверху вниз.

Во всем этом юношеская романтика переплетается с революционным прагматизмом: старая жизнь ненавистна, а новая должна быть подконтрольна. «Коммунистический быт будет слагаться не слепо, как коралловые рифы, а строиться сознательно, проверяться мыслью, направляться и исправляться. Перестав быть стихийным, быт перестанет быть застойным».

Чем, спрашивается, плохи коралловые рифы? Но для Троцкого не существует природы, в которой прекрасное совершается само собой. Человек может и должен ее переделать. Он уже ее переделывает. А переделав природу вещей, неужели он не возьмется за свою собственную? «Мы можем провести через всю Сахару железную дорогу, построить Эйфелеву башню и разговаривать с Нью-Йорком без проволоки. А человека улучшить неужели не сможем? Нет, сможем! Выпустить новое, „улучшенное издание“ человека — это и есть дальнейшая задача коммунизма».

Все так, но марксизма для этого не хватает. Марксизм учит, как переделать производственные отношения, а человек якобы изменится автоматически. Но этого не происходило, к тому же для революционера «автоматически» вообще ничто не должно происходить. Поэтому многие в то время смотрели на сторону, озирались в поисках адекватной новым задачам «надстройке» над марксизмом. Крупская, например, рекомендовала совслужащим американскую систему Тейлора: конвейерная организация труда, регламентация всех операций и движений... Енчмен выступил с безумным проектом всеобщего органического катаклизма, рассчитанного на тотальное отключение сознания, «массовое производство организованных движений». Путь Троцкого на этом фоне выглядит не так уж плохо. В его логике фрейдизм оказывается прямым продолжением и даже вершиной марксизма так же, как последний — продолжение и вершина науки вообще. Из базиса стихия изгоняется марксизмом, из надстройки — психоанализом! «...Это целиком лежит на линии развития. Человек сперва изгонял темную стихию из производства и идеологии, вытесняя варварскую рутину научной техникой и религию — наукой. Он изгнал затем бессознательное из политики, опрокинув монархию и сословность демократией, рационалистическим парламентаризмом, а затем насквозь прозрачной советской диктатурой. Наиболее тяжело засела слепая стихия в экономических отношениях, но и оттуда человек вышибает ее социалистической организацией хозяйства. Этим делается возможной коренная перестройка традиционного семейного уклада. Наконец, в наиболее глубоком и темном углу бессознательного, стихийного, подпочвенного затаилась природа самого человека. Не ясно ли, что сюда будут направлены величайшие усилия исследующей мысли и творческой инициативы?»

Ясно потому, что они сюда уже направляются. И только пошляки и мещане испытывают по этому поводу сомнения. Никаких нравственных проблем переделка человека не ставит. Проблемы Троцкий видит всего две. Во-первых, смелость, напор на этом важном направлении. С этой проблемой бывшему предреввоенсовета все ясно. Во-вторых, наука. Троцкий понимает и грамотно формулирует проблему: «Нужно первым делом человека знать со всех сторон, знать его анатомию, его физиологию и ту часть физиологии, которая называется психологией». Нужно-то нужно...

Иван Петрович Павлов был человек для властей неудобный, позволял себе много такого, что никому другому не простилось бы. В 1920 году Павлов попросился в эмиграцию. Вопрос обсуждался на самом высоком уровне — Лениным, Горьким, Луначарским... Пообещав снабжать павловскую лабораторию дровами и мясом, вернув кое-что из конфискованного, ученого уговорили остаться. Примерно в это же время готовилась известная сегодня высылка ученых, коснувшаяся многих из тех, кто был знаменит и находился в несогласии с новой властью. К Павлову относились иначе.

Возможно, потому, что его область рассматривалась большевиками как стратегически важная.

Понадобилось личное обращение Ленина в ЧК, чтобы Павлов смог выехать с лекциями на Запад. Вернулся из поездки он настроенным еще более скептически. Известна его лекция, прочитанная студентам сразу по возвращении, 25 сентября 1923 года. Она интересна и сама по себе, и тем, что на нее сразу же и совсем по-разному откликнулись два человека, определявшие тогда судьбу страны: Троцкий и Бухарин.

Павлов говорил о том, что как ни думай, а невозможно понять, на каком основании большевики так уверены в скорой победе мировой революции; о том, что «сейчас на что-нибудь даются огромные деньги, например, на Японию в расчете на мировую революцию, а рядом с этим наша академическая лаборатория получает три рубля золотом в месяц»; и, наконец, о том, что «люди вообразили, что они, несмотря на заявление о своем невежестве, могут переделать все образование нынешнее». Ученому непонятно, как высокие цели, которые ставят большевики, могут быть достигнуты рабочими, чье невежество очевидно даже самим большевикам. Ему непонятно даже и то, как могут большевики ставить в таких обстоятельствах такие цели.

Н. И. Бухарин ответил Павлову в двух объемистых, не поместившихся в одном номере статьях «Красной нови»: «*Переделаем* — так, как нам нужно, обязательно переделаем! Так же переделаем, как переделали самих себя, как переделали государство, как переделали армию, как переделываем хозяйство, как переделали „расейскую“ „Федорушку-Варварушку“ в активную, волевую, быстро растущую, жадную до жизни народную массу». Переделать можно все, причем именно так, как нам нужно; и презрительное (разделяемое, впрочем, и Павловым, которого в русофобии не упрекнешь) восприятие «расейского» невежества не подавляет в Бухарине веру в возможность «переделки», а, наоборот, вызывает в нем еще больше энтузиазма.

Наука большевикам нужна, и по отношению к Павлову, к примеру, Бухарин не призывает к наказанию за ошибки. Но и наука нужна переделанная, новая, такая, которая сможет обосновать и помочь осуществить переделку небывалого масштаба. «Обычная ошибка очень крупных людей (в первую очередь ученых) „старого мира“ состоит... в том, что при оценке катастрофы всего старого уклада они тщетно тщатся приложить масштабы... спокойного, „нормального“, капиталистического бытия. Это все равно, что Гулливеру натягивать штанишки младенца-лилипута». Есть новая наука Гулливеров — и павловская наука лилипутов. «Нужно знать, что в нашу эпоху необходимо выбирать критерии не совсем обычного или, вернее, совсем не обычного типа».

Новая наука о человеке — это и есть наука его переделки. Вопрос «Что это?» отныне и надолго вперед заменяется вопросом «Как это переделать?». Все внутреннее, стабильное, недоступное влиянию извне объявляется несуществующим или отжившим, неважным, лилипутским; главным и единственно важным признается процесс развития под влиянием внешних условий. В речи на I Педологическом съезде Бухарин говорил: «Вопрос о социальной среде и влиянии социальной среды мы должны решить в таком смысле, что влияние социальной среды играет большую роль, чем это обычно предполагается, изменения могут совершаться гораздо быстрее, и та глубокая реорганизация, которую мы называем культурной революцией, имеет свой социально-биологический эквивалент вплоть до физиологической природы организма». В этом нет ничего методологически специфического, это лишь распространение на гуманитарные проблемы всеобщего принципа «нет таких крепостей, которые не могут взять большевики»: в природе и обществе, в ребенке и его развитии нет ничего такого, на что нельзя влиять; переделать можно все, вплоть до физиологической природы организма. А «что касается наших руководящих кругов, то — смеем уверить профессора Павлова — они в биологии и физиологии понимают много больше, чем проф. Павлов в области общественных наук».

Тогда же, сразу после лекции Павлова, ему шлет личное письмо Троцкий. Хоть оно и личное, письмо будет помещено в Собрании сочинений, подготовленном сотрудниками Троцкого незадолго до его высылки, и окажется там едва ли не единственным произведением эпистолярного жанра: тема и адресат письма имели для Троцкого принципиальное значение.

Повод обращения наркомвоенмора к академику неожиданен: речь идет о предложении объединить павловскую физиологию условных рефлексов с фрейдовским психоанализом. Троцкий пишет Павлову с уважением, отмечает свой дилетантизм в обсуждаемых вопросах, но не забывает отметить факт своего личного знакомства с венскими фрейдистами, что должно оправдать его инициативу. Троцкий пишет: «Ваше учение об условных рефлексах, как мне кажется, охватывает теорию Фрейда как частный случай». Согласись с этим Павлов — и психоанализ в России был бы поддержан силой его авторитета. Убеждая в совместимости двух (в общем, никогда не пришедших в согласие между собой) крупнейших научных доктрин века, Троцкий находит сильный образ, который повторит еще не раз: «И Павлов,

и Фрейд считают, что „дном“ души является ее физиология. Но Павлов, как водолаз, спускается на дно и кропотливо исследует колодезь снизу вверх. А Фрейд стоит над колодцем и проницательным взглядом старается сквозь толщу вечно колеблющейся, замутненной воды разглядеть или разгадать очертания дна». Та же логика относится и к связям марксизма и фрейдизма. «Попытка объявить психоанализ „несовместимым“ с марксизмом и попросту повернуться к фрейдизму спиной слишком проста или, вернее, простовата. Но мы ни в коем случае не обязаны и усыновлять фрейдизм».

На призыв Троцкого 74-летний Павлов, насколько известно, не ответил. А Бухарин сумел-таки добиться его расположения. Сохранился такой отзыв о нем Павлова: «Николай Иванович — прекрасной души человек, настоящий интеллигент. Но как он может быть при этом революционером? Он же настоящая русская интеллигентская сопля!»

Новая наука начала свое существование с разрушения старой, наполненной смыслом картины мира, которая все строилась на основе разума — не человеческого, высшего, но все же подобного человеческому и потому в принципе постижимого человеком. Ньютоново-дарвиновский мир предоставил разуму совсем иную функцию. Человек может понять, как движутся планеты, как развивались обезьяны, но смысл этого остается ему неведом. Непонятен ему и смысл броуновского движения людей, товаров, идей в новом обществе. Он имеет в этом обществе свое место, жизнь учит его ценить это место и бороться за него; но духовная система его взглядов, мнений и вкусов не определяет его собственную роль и предназначение. Его место в жизни не является больше логическим, постижимым следствием из смысла его жизни. Смысл исчезает, остается место и потерянный в нем человек.

Марксизм принципиально изменил эти соотношения. У истории, в отличие от дарвиновской эволюции, есть смысл, и его можно постичь. Более того. На основе нового понимания человек может изменить мир! Изменение мира объявляется главной задачей самого престижного института нового общества — науки. В соответствии с новой системой смыслов строится новая система мест.

Человек вновь обрел веру в верховенство разума, в постижимость жизни, в финальную рациональность бытия. Невыносимая, бедная, косная жизнь, в которой разума не больше, чем в банке с пиявками, может и должна быть переустроена на новых, сознательных началах. Разум реализуется теперь не отдельным от человека Богом, не абстрактным и отчужденным Абсолютом; разум осуществляется прямо и непосредственно, руками самого человека и его товарищей. Для Троцкого это и было самым важным: «Социалистическое строительство есть... сознательное плановое строительство... стремление рационализировать человеческие отношения... подчинить их разуму, вооруженному наукой». Условия для этого созрели в общемировом масштабе: «Производительные силы уже давно созрели для социализма... Что еще отсутствует, так это последний субъективный фактор: сознание отстает от жизни».

Ленин сказал, а Сталин множество раз повторял: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Кажется, обычно это воспринимается как тавтология. Но это глубочайшая, воистину философская формулировка. Достаточно найти истину — и мир станет иным. Он преобразится волшебно, революционно, в одночасье. Революция и мыслилась как разовый акт всеобщего понимания и просветления. В психоанализе есть похожее понятие — инсайт: мгновенный акт понимания и переструктурирования пережитого опыта, которому придается решающее значение в психоаналитическом лечении.

Впрочем, ни один самый увлеченный психоаналитик не ставил задачей добиться осознания процессов, происходящих в каждой клеточке организма. Действительное искусство психоанализа заключается в поиске тончайшего равновесия между тем, что действительно подлежит осознанию и, соответственно, произвольному регулированию — и тем, что можно и нужно оставить в бессознательном. В человеке происходит великое множество процессов, которые в принципе не могут быть осознаны и, значит, не могут регулироваться сознательно; но есть и такие, которые доступны сознанию, но куда лучше протекают без его помощи. Попробуйте осознать, что вы делаете, когда едете на велосипеде: ручаюсь — вы либо не сумеете этого сделать, либо сумеете, но свалитесь. Сложная информационная работа по балансу тела, руля и так далее происходит автоматически — и пусть происходит. Любой артист или оратор, любой человек, который умеет танцевать, знает, что стоит задуматься о том, что делаешь — и обязательно собьешься. Сознание подключается на одних этапах — более всего при освоении новой деятельности или нового материала — и отключается, когда эта деятельность автоматизируется. Теперь ее могут улучшить уже другие факторы, эмоциональные или интуитивные — заинтересованность, возбуждение, вдохновение. Все это выходит за рамки сознания и никак не может быть им заменено. Удивительной особенностью

коммунистических теоретиков было то, как настойчиво, в течение десятилетий стремились они отрицать значение этих факторов во всем — в организации труда, в школьном обучении, в философских рассуждениях о мышлении, в психотерапии.

Психоанализ сочетал разработку практических приемов перевода бессознательного в сознание с подробнейшим изучением самого бессознательного. Мгновенные акты осознания могут последовать только после длительной, часто многолетней работы по анализу бессознательного. Марксизм начинает с другого конца. Бессознательное, стихийное лишается всякой ценности. Достойно существовать лишь то, что осознает себя в соответствии с единственно верной научной теорией.

Все это, как мне кажется, является последовательным выводом из главной идеи большевизма — огосударствления собственности. В самом деле, частной собственностью можно управлять и «бессознательно» на основе традиций, жизненного опыта, интуиции. Коллективной собственностью, скажем, акционерной, можно управлять на основе демократии, суммирующей те же источники. Но государственной собственностью можно управлять только на основе или от имени науки.

В таком мироустройстве идея — бо́льшая реальность, чем сама реальность. Большевистская наука всем похожа на настоящую, только на самом деле это ее зеркальное перевернутое отражение: место фактов в ней занимают планы, место гипотез — реальности. Если реальность не соответствует плану-идее, она будет переделана или уничтожена со столь же малым сожалением, с каким ученый изменяет или отвергает неподтвердившуюся гипотезу. Что ж, ученый в своем бестелесном мире идей может творить, что хочет. Отвергнутые гипотезы не сгнивают живьем от дистрофии и пеллагры, не переполняют братские могилы, их кости не торчат в котлованах начатых через полвека строек.

Так называемый военный коммунизм партийная история трактует как вынужденную меру, затянувшийся период чрезвычайного положения. Более соответствует большевистскому духу иная интерпретация: это был полный коммунизм, сознательно и планомерно осуществляемый вопреки любым ответам изумленной реальности. Гражданская, то есть народная, война была самым главным из этих ответов. Вне всякой зависимости от военных действий коммунизм означал тотальный контроль государства не только над материальным и духовным производством, но и над распределением, и над потреблением. Все это отныне должно было подчиняться не жалким индивидуалистическим потребностям, а разуму. Каждому — его пайку; меньше — неразумно, и больше — неразумно. Пайку хлеба, если он есть, отвесить, правда, легче, чем определить разумную меру в сфере культуры или, скажем, в половой жизни. Вот для этого и нужны разные области науки. К началу 20-х годов относятся героические попытки создания норм научной организации труда, быта, отдыха, питания, воспитания и вообще всего, чем жив человек. В научном плане эти попытки вовсе не были бездарны; напротив, из них родились крупнейшие достижения советской науки, признанные в мире. К примеру, к работам по составлению научно выверенных инструкций по элементарным трудовым действиям (как держать молоток, как двигаться при ходьбе и так далее) восходит известная в мировой физиологии концепция Н. А. Бернштейна. Работами по научной организации труда ведал Центральный институт труда, руководил которым А. Гастев, экстремистски настроенный поэт и теоретик Левого фронта; но и там велись вполне серьезные, опережавшие свое время работы по психотехнике. Беспрецедентная по своему масштабу работа педологов была посвящена внедрению научных принципов в воспитание подрастающего поколения. Один из главных теоретиков «строительства нового массового человека» А. Б. Залкинд написал научное руководство по половой жизни партийцев. К работе бурно разраставшихся плановых органов привлекались среди массы полуобразованных людей и действительно крупные ученые, такие, например, как гениальный богослов и математик П. Флоренский; Бог знает, был ли от него прок в такой работе. Даже ГПУ и Прокуратура стремились быть на уровне: Вышинский, например, организовал научные эксперименты по разработке детектора лжи (который должен был, правда, работать не на электрических, а на пневматических датчиках) и привлекал к этому делу А. Р. Лурию, впоследствии крупнейшего советского психолога, добившегося другими своими работами мирового признания.

Перед людьми, сделавшими революцию, стала одна главная проблема, включавшая все остальные: новое общество создано, но люди в нем жить не могут, не умеют и, главное, не хотят. Вряд ли стоит перечислять доказательства того, что это было именно так: они общеизвестны, а мы с вами отличаемся от остального мира тем, что пережили их на себе. Задумаемся лучше о вариантах выхода из этой ситуации, которые были у людей, столкнувшихся с нею впервые и имевших власть над ней.

Один вариант был — отступление. Дать людям жить так или почти так, как они хотят, могут и умеют. Этот путь связывают у нас с Лениным и нэпом.

Был другой вариант: искусственный отбор тех, кто готов жить в новом обществе, и устранение всех остальных. Нам знаком и этот путь, он ассоциируется у нас со Сталиным и ГУЛАГом.

Кажется, Троцкий искал третий путь — самый амбициозный и романтический, самый логический и несбыточный. Люди не способны жить в новом обществе — значит, надо переделать людей. Переделать природу человека! Но как? Марксизм здесь помочь не мог, он сложившейся ситуации не предусматривал. Приходилось совершать рискованные броски в сторону...

Читая работы Троцкого 20-х годов, начинает казаться, что кремлевский мечтатель искренне верил — вот сейчас он найдет в самой современной науке философский камень, который позволит людям быть счастливыми в созданном им и его коллегами обществе, и тем самым оправдает все. Потому он, наверно, и был так пассивен в решающие для истории и для него лично годы, что его ставка была больше, чем власть. Помирить Павлова с Фрейдом; заключить с ними союз от имени победившей партии и взять, наконец, в практическую работу уважаемого хомо сапиенс... Как тут не выглядеть высокомерным!

А между тем профессиональный психоанализ, интенсивно развивавшийся в России «серебряного века», получает второе рождение. В 1923 году в Москве возобновляет свою работу Психоаналитическое общество и создается Государственный психоаналитический институт. Главой и того, и другого стал И. Д. Ермаков, ученым секретарем — А. Р. Лурия.

До нас дошел ряд документов Института и состоявшего при нем Детского дома-лаборатории (они сохранились в архиве М. И. Ермаковой). В них говорится, в частности, что большинство детей, воспитывавшихся в этом заведении,— «дети партийных работников, отдающих все свое время ответственной партийной работе и не могущих воспитывать детей». Институт получил в свое распоряжение замечательное помещение — особняк Рябушинского. Потом этот дом был передан А. М. Горькому; сейчас там находится его музей. С марта 1922 года Детский дом получал финансовую и продовольственную помощь от Германского союза работников ума и рук «Унион»...

А. Р. Лурия, которому был 21 год, имел там, как вспоминал он много позже, «великолепный кабинет, оклеенный шелковыми обоями, и страшно торжественно заседал в этом кабинете, устраивал раз в две недели, кажется, заседания психоаналитического общества». На втором этаже, в психоаналитическом Детском доме-лаборатории, воспитывались, по словам Лурии, дети высокопоставленных персон, в том числе сын Сталина (Яков?). Согласно программе работы этого Дома-лаборатории, «для того, чтобы ребенок мог свободно обнаруживать себя, должна создаться атмосфера полного доверия и уважения как со стороны взрослого к ребенку, так и наоборот... Рост ребенка происходит путем ограничения значения для него „Принципа удовольствия" перед „Принципом реальности". Однако такое ограничение должно проводиться самим ребенком и вести его не к чувству слабости, а к чувству овладения, сознательного достижения».

Свои гуманные цели Институт-лаборатория смог осуществлять недолго: он был ликвидирован, видимо, в 1925 году.

Активным членом Психоаналитического общества и руководителем Детского дома являлась Вера Шмидт, жена О. Ю. Шмидта, бывшего в то время директором Государственного издательства (ГИЗа), а впоследствии — одним из организаторов советской науки. Большевик и редактор «Красной нови» А. К. Воронский, критически относившийся к психоанализу, оценивал в 1925 году его популярность так: особенно легко, писал он, этому соблазну «поддаются марксиствующие и марксистскообразные беспартийные круги интеллигенции». Партийные тоже. По словам А. Р. Лурии, «интересовались этими проблемами такие люди, как Карл Радек и ряд других». Под этими «другими» осторожный Лурия, вполне возможно, подразумевал Троцкого.

В течение послереволюционного десятилетия И. Д. Ермаков успел издать в ГИЗе многотомную «Психоаналитическую и психологическую библиотеку», и сейчас являющуюся основным сводом источников по психоанализу для русскоязычного читателя. (Сегодня она постепенно переиздается.) А в изданном в 1925 году официозном сборнике «Психология и марксизм» психоаналитические или, скорее, фрейдомарксистские идеи доминируют над другими подходами...

Свертывание деятельности советских психоаналитиков совпало по времени с политическим поражением Троцкого: из трех путей был выбран один. В конце 20-х годов на страницах партийных журналов антифрейдистская пропаганда соседствует с антитроцкистской. Именно тогда на психоаналитиков были навешаны известные сегодня каждому школьнику идеологические бирки. Именно тогда в спецхраны были переведены ермаковские переводы Фрейда — и до самых последних лет их не возвращали читателям. История продолжала свои странные шутки. Когда я учился на психологическом факультете университета, заслуженно носившего имя Жданова, книги Фрейда оставались почти столь же недоступными, как и сочинения его неудачливого советского покровителя Троцкого.

Совсем недавно. Совсем давно

Александр КРЕЙЦЕР

ИЗ ДОМА НА МАЛОЙ МОРСКОЙ

В этом доме на бывшей Малой Морской Гоголь жил с лета 1833 года до лета 1836 года. Его квартира (ныне № 10) из двух комнат находилась во дворе, а нее надо было подниматься по темной лестнице.

Дом 17 (по современной нумерации) — очень старое здание, некогда оно принадлежало купцу Юге (Гуге). Еще в эпоху Павла I в нем жил Максимилиан Нессельроде, отец известного канцлера. Здесь же в павловские времена квартировала семья С. С. Апраксина (сына фельдмаршала), «преотменного ферлакура, циника, покорителя женских сердец». Жена его, Екатерина Владимировна, была дочерью Пиковой дамы — Н. П. Голицыной, дом которой находился неподалеку (нынешний адрес: ул. Гоголя, 10). Он сохранился в перестроенном виде.

После Гуге, уже в 20-х годах XIX века, дом его (тогда он числился под № 97 в первой Адмиралтейской части) перешел во владение придворного музыканта Лепена, которому и принадлежал, когда здесь поселился Гоголь. Любопытно, что к 1917 году дом все еще оставался собственностью Лепенов. Виноторговец Генрих Лепен последний его владелец.

Именно в этом старинном петербургском доме написаны четыре из пяти «Петербургских повестей», в том числе «Невский проспект». Невский проспект был рядом.

Как известно, Гоголь в связи с «Мертвыми душами» писал о том, что за границей Россия предстает ему «вся», «во всей громаде». Отсюда — возникшее уже у современников Гоголя желание сравнить «Мертвые души» с величественным древним эпосом, а Гоголя — с Гомером. Смог ли Гоголь постичь глубину жизни «всеобщей коммуникации Петербурга» вблизи от нее, а не на необходимом духовном и географическом отдалении?

Безусловно. Но какой ценой? В «Невском проспекте» встречаются картины, которые трудно обнаружить в других произведениях Гоголя, а особенно — в поэме «Мертвые души» с ее эпической цельностью. Изображения в повести Гоголя зачастую «раздроблены» на отдельные куски в результате разрушения ближних кругов видения, оказавшихся слишком тесными, и попыток прорваться в дальние сферы, увидеть Петербург «издалека»: «Ему (Пискареву.— *А. К.*) казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе»,— пишет Гоголь. Или: «Тротуар несся под ним, Пискаревым, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз». А вот «мириады карет валятся с мостов». Гоголевский город «гнетущей прозы и чарующей фантастики» (Н. Анциферов) предстает словно разломанным на части. В известной повести нос разгуливает отдельно от тела и воплощает его собой. На Невском проспекте «происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольский сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстук, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление». Господин на Невском проспекте «весь состоит из своего сертучка» и прочее.

Такое изображение Петербурга было получено в творческой лаборатории писателя на Малой Морской рядом с Невским проспектом. Пространство этого дома словно замкнуто в петербургской истории и петербургском мифе. Поэтому освоение петербургской действительности в таком пространстве не могло дать достаточного удаления, необходимого для создания цельной картины. Пробиваясь к ней, Гоголь оставил нам великолепные живописные осколки.

И кто знает, если бы писатель жил в это время в другом городе империи, а тем более — за границей, выглядел бы Невский проспект таким, каким он предстал Гоголю в близкой к чердаку двухкомнатной квартире старинного петербургского дома рядом с главной магистралью столицы.

Мемуары

Ив. ТХОРЖЕВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ПЕТЕРБУРГ

Из воспоминаний камергера

Иван Иванович Тхоржевский родился в 1878 году в Ростове-на-Дону и умер в 1951 году в Париже. О нем знают, прежде всего, как о поэте-переводчике, известны его переводы четверостиший Омар Хайяма, а также французской поэзии (Верлена, Сюлли-Прюдома, Гюйо и других). В Париже двумя изданиями вышла его книга критических очерков «Русская литература».

Незадолго до смерти он успел написать две главы из будущей книги воспоминаний. Машинопись первых глав — «Мариинский дворец» и «Витте» — с авторской правкой, сохраняется у сына автора, Георгия Ивановича Тхоржевского, который ныне живет в Женеве. Прочие мемуарные очерки печатались в парижской газете «Возрождение».

В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ

В 1901 году я окончил Петербургский университет и был при нем оставлен: для подготовки к профессорскому званию, по кафедре русского государственного права.

Еще в университете я подружился с бароном Борисом Нольде, будущей большой знаменитостью в области международного права. Но в дни своего студенчества барон над международным правом слегка подсмеивался; увлекался больше государственным правом и историей политических учений. На этом мы и сошлись: оба писали сочинения (о Руссо, о Бенжамене Констане), получали золотые медали и спорили до хрипоты на студенческих диспутах. А потом стали бывать друг у друга, сблизились. Через несколько лет мы и породнились, женившись на двух родных сестрах (Искрицких).

Отец Нольде был видный петербургский чиновник, товарищ Главноуправляющего Собственной Его Величества Канцелярией (Танеева). Человек небольшого роста, с длинннейшей, прославленной на всю столицу рыжей выхоленной бородой, делавшей его похожим на пушкинского «карлу Черномора». Он вел свое происхождение от немцев-крестоносцев. Гордился тем, что в его фамильном гербе был изображен побежденный сарацин (мы непочтительно его дразнили, уверяя, что это «негритянка»). Но немецкого в его характере осталось уже очень мало: это был простой, умный и либеральный рязанский помещик, очень живой и очень веселый, слегка даже беспечный. Мне казалось иногда, что я дружу собственно с ним, а не с его сыном; сын был и тогда уже не по возрасту серьезен и практичен,— вышел скорее в мать, умную и добрую женщину, в юности петербургскую курсистку из купеческой семьи, племянницу Елисеевых.

Старый Нольде — впрочем, он только казался нам стариком в свои 45 лет — решительно повлиял тогда на всю будущую судьбу, и мою, и своего сына. Сыну он настойчиво посоветовал, прежде всего, «переменить» государственное право на международное и непременно, сверх подготовки к ученой кафедре, причислиться к министерству иностранных дел. «У нас в дипломаты,— говорил он,— идут только знатные и богатые молодые люди, желающие блистать в обществе, а не работать. Яркое тому доказательство — успех профессора Мартенса: не было у него ни связей, ни особых способностей, а какую блистательную он сделал карьеру. Представляет теперь Россию на всех международных конференциях, все только потому, что у него одного были и терпение и охота корпеть над изучением международных договоров. Тебе легко будет, со временем, там и заменить, и затмить Мартенса» (так оно впоследствии и оказалось). «А кроме того,— добавил «старик»,— есть и ближайший практический расчет. Вскоре открывается новое учебное заведение: петербургский политехникум, детище министра финансов Витте. Витте практичен и позаботился о том, чтобы „его" профессора были хорошо обставлены. Там предполагается, на экономическом отделении, и кафедра международного права, в серьезных кандидатах для ее замещения — ни одного. Мне говорил это будущий декан, профессор Посников. Приналяг, позаймись, поторопись с магистерским экзаменом — и можешь сразу выскочить на кафедру» (сбылось и это).

«А вам, юноша,— это уже было сказано мне,— очень советую — и, если хотите, помогу — причислиться, кроме университета, к канцелярии Комитета министров. Там вы увидите русское государственное право в его живом действии, в самом процессе его образования. Это будет для вас и как для ученого гораздо поучительнее любых книжных справок...».

Совет был слишком соблазнителен, чтобы ему не последовать. Но хотя, следуя ему, тогда я имел в виду только свою «науку», практически государственная служба постепенно увела меня далеко от университетской кафедры. Зато «русское государственное право» я не только увидел живым и воочию, но и принял деятельное участие в главных его преобразованиях начала двадцатого века. Участие мое было, конечно (по молодости моих лет), негласным, но зато прямым — в ближайшем окружении людей, «делавших тогда историю»: Витте и Горемыкина, Столыпина и Кривошеина. Были и непосредственные, изредка, соприкосновения у меня с самим Государем Николаем II. Об этом-то правительственном Петербурге, столь недавнем, но уже невозвратном, а главное — мало кому знакомом в его подлинном былом воплощении, я и хочу рассказать, пока жив. Нас, живых обломков этого Петербурга, почти уже не осталось.

Комитет министров и его канцелярия помещались тогда в Мариинском дворце, у Синего моста. Дворец этот принадлежал ранее любимой дочери императора Николая I, красавице Марии Николаевне, ставшей женою герцога Лейхтенбергского. Величественный, но сумрачный и темный снаружи, дворец этот считается поздним и скорее заурядным произведением николаевской архитектуры, построен он был тогдашним казенным архитектором Штакеншнейдером, и я тщетно искал о нем каких-нибудь восторгов или хотя бы подробностей в «историях русского искусства». Зато внутри дворец блистал роскошной отделкой: мое воображение особенно пленяли чудесные двери с художественными инкрустациями и замечательно своеобразными дверными ручками. А фрески под потолком, в зале заседаний министров, были так эффектны, что великий князь Константин Константинович, президент Академии наук, поэт, знаток и любитель всех видов искусства, так подолгу засматривался на эти фрески — когда ему случалось присутствовать на заседаниях министров, что я мысленно спрашивал себя: «Полно, да интересуется ли он речами министров?»

В этом-то здании, представлявшем резкий контраст с моей скромной студенческой комнатой, прошел, можно сказать, весь первый год моей службы: я проводил там не только дни, но и долгие вечера, иногда далеко за полночь, к немалому удивлению придворных служителей в белых чулках и золоченых ливреях и заведывавшего дворцом генерала Шевелева. Вышло так вот почему: приближался юбилейный год — столетие со дня учреждения при Александре I Комитета министров. И управляющий делами Комитета, статс-секретарь Анатолий Николаевич Куломзин, решил ознаменовать юбилей напечатанием подробной, не канцелярской, а настоящей, научно разработанной истории всего сделанного Комитетом за сто лет существования. Работа эта была поручена заправскому историку, профессору университета С. М. Середонину, и он занимался ею (ко времени моего поступления на службу) уже несколько лет. Но по мере приближения сроков выяснилось, что Середонин успеет закончить только историю царствования Александра I, Николая I и Александра II, то есть до 1881 года. Как быть дальше? Надо сказать, что в позднейшие, еще свежие политические архивы даже Куломзин, при всей смелости и просвещенности его либерализма, все-таки побаивался пускать человека, правительству вовсе чуждого. А тут подвернулся в его распоряжение я, начинающий ученый; запросив обо мне юридический факультет Петербургского университета и получив добрый отзыв, Куломзин отважился поручить очерк истории Комитета за годы царствования Александра III мне, приняв, разумеется, на себя всю личную ответственность и, главное, редактирование этого тома. Очерк же деятельности Комитета за самое последнее время, то есть за годы царствования императора Николая II, был сведен к сокращенной, чисто фактической справочной части и поручен ближайшему помощнику Куломзина по канцелярии, камергеру Н. И. Вуичу, женатому, кстати, на дочери ультраправого сановника В. К. Плеве, государственного секретаря, а вскоре и министра внутренних дел. Так это и было утверждено Государем.

А. Н. Куломзин состоял уже много лет управляющим делами Комитета и статс-секретарем Его Величества, то есть имел право личного доклада у Государя. Через несколько лет Государь назначил его председателем Государственного Совета и дал ему высшую орденскую ленту — Андрея Первозванного (ее носили только великие князья и очень мало кто из сановников). Председателем Комитета министров был тогда человек очень старый, бесцветный и равнодушный — Ив. Ник. Дурново; он без всякой ревности предоставлял Куломзину орудовать всею подготовкой к юбилею, как тому хотелось. Не возражал Дурново и в данном случае — против поручения ответственной работы

новичку, мне. Выразил только пожелание, чтобы подлинные, прекрасно переплетенные по годам тома подлинных старых «журналов» Комитета министров (рукописные, но очень четкие) отвозились не ко мне на дом, в а помещение нашей канцелярии. Здание Государственного архива снаружи напоминало мне, по архитектуре, небольшой, плотно набитый и наглухо закрытый сундучок, очень элегантный и «аппетитный», но внутри там было слишком тесно, и там работать, как мне сказали, нельзя. При этом Дурново любезно — уже от себя — предложил Куломзину уступить мне для этой работы свой «председательский» служебный кабинет — по вечерам или даже и днем, в часы его отсутствия (а Дурново приезжал редко и ненадолго, только в дни заседаний; через полтора года он скончался).

Так и вышло, что я сразу же «засел» в Мариинском дворце очень плотно. Это произошло для меня, 23-летнего юнца, тем более неожиданно, что при первом моем представлении начальству тот же Куломзин принял меня довольно холодно, хотя барон Нольде, рекомендуя ему меня, очевидно, не поскупился на похвалы. Куломзин быстро назначил мне прием, но, когда я явился (во фраке и белом галстуке, как полагалось), между нами произошел следующий разговор:

«Вы готовитесь к ученой дороге, а хотите у нас служить. Это что же? Погоня за двумя зайцами? Ничего не выйдет. Поехали бы лучше в заграничные университеты доучиваться, как сделал мой племянник, князь Тенишев...»

Я хотел было возразить, что Тенишев несметно богат, а я беден, но сдержался и только сказал: «Я думал, что служба у вас будет очень полезна и для расширения моих знаний...»

«Ну, это уже ваше дело. А мое дело — предупредить вас, что никаких надежд на служебную карьеру здесь у вас быть не может. У меня причисленных к канцелярии хоть пруд пруди, хоть печи ими топи, а платных должностей почти нет. Впрочем, какая именно у вас наука?»

При этом вопросе я сразу приободрился и, думая, что я стою уже на твердой почве, с гордостью объявил: «Русское государственное право».

Но реплика была ошеломляющей: «Ну, что же... Юриспруденция, формальное право — это не так уж важно... Вот если бы вы занимались историей экономического развития России — это было бы куда нам нужнее, да и вам полезнее. А впрочем, у вас отличные рекомендации — и я согласен зачислить вас в Сибирское отделение канцелярии».

Обескураженный, вечером того же дня я поехал, помню, к Нольде благодарить за хлопоты, но сказать, что я отказываюсь, после такого приема, от мысли служить, «да еще по сибирской части». Но мой покровитель расхохотался. «Куломзин — взбалмошный начальник, и резкость — в его манере. Но это прекрасный, умный человек и с хорошим сердцем, вы это увидите и оцените! А Сибирское отделение — самое боевое и видное, туда труднее всего попасть. Председатель Комитета Сибирской железной дороги — сам Государь; он лично проехал всю Сибирь на лошадях, возвращаясь — еще как Наследник — из Японии. Он очень интересуется Сибирью, ее колонизацией и всем, что для этого делается. Там будет вам легче всего выдвинуться на работе. Не делайте же глупостей и не отказывайтесь».

Я сдался, решил сделать еще один опыт. Поехал назавтра, теперь уже утром (то есть в 11 часов) в Канцелярию и прошел прямо в «сибирское» отделение. Начальник отделения Петерсон, земляк Куломзина по Костроме и его любимец, протянул мне тоненькую книжку, бывшую у него в руках: «Это отчет Кривошеина, помощника начальника переселенческого управления. Так как в Сибири нет выборного земства, то переселенческое управление занимается всем, чем придется. Устроило и склады земледельческих орудий, и льготно снабжает ими переселенцев; Кривошеин говорит подробно об этих складах; прочтите внимательно; не будет ли у вас вопросов, замечаний, возражений? Какие там у них неувязки, как денежная сторона? Впрочем, само по себе дело — прекрасное, мешать нельзя».

Брошюра оказалась очень интересной, я сразу в нее въелся. К вечеру были готовы и мои «замечания». Бегло их просмотрев и кое-что сгладив, Петерсон отправил их в государственную типографию для отпечатания в виде безымянной канцелярской «справки» к заседанию «Подготовительной Комиссии при Комитете Сибирской железной дороги». Через несколько дней меня взяли и а заседание этой Комиссии. Куломзин председательствовал, а Кривошеин, слегка волнуясь, давал объяснения по всем вообще, обращенным к нему Комиссией, вопросам.

Так, по иронии судьбы, случилось, что я дебютировал на государственной службе критическими нападками, впрочем, вполне дружественными, на того самого Кривошеина, который вскоре стал моим многолетним министром и многолетним моим личным и политическим другом! Зато начальство — и Петерсон, и Куломзин — остались довольны. Поручили мне даже составить «журнал» этого заседания — уже для поднесения Государю, и очень удивились, что я «умею писать».

Первый маленький шаг был сделан. Но самым приятным для меня было то, что и люди, и те дела, которыми они занимались, не только не заключали в себе ничего неприятного или «мракобесного», но мне положительно нравились.

Комитет министров занимал левое крыло Мариинского дворца. Весь центр и правое крыло были заняты Государственным Советом — высшим законодательным учреждением империи — и многолюдной при нем Государственной Канцелярией, в которой у меня довольно скоро завязались служебные связи. Государственная Канцелярия пополнялась главным образом людьми с громкими русскими фамилиями, с высшим образованием, а иногда уже и с учеными именами и с наследственной прочной культурностью. Я хорошо знал раньше среду русской либеральной интеллигенции: мой отец был видный провинциальный адвокат и писатель, да я и сам, уже на школьной скамье, сотрудничал не только в тифлисских газетах, но и в лучших петербургских журналах («Вестнике Европы», «Русском Богатстве»). Знал я и профессорский мир, и артистический: сестры мои были студентками Академии Художеств, в мастерской Репина, и в Петербурге я дружил с множеством молодых художников. Сам я был скрипачом и вечно вращался в среде литературно-артистической. Но те круги высшей бюрократии, с которыми я соприкоснулся впервые, сразу показались мне самыми культурными, самыми дисциплинированными и *наиболее европейскими* изо всего, что было тогда в России. При этом убеждении я остаюсь и теперь.

В Государственной Канцелярии, кроме представителей русской знати, было уже немало и людей моего типа, то есть прошедших высшую научную школу и приобретших в ней, кроме знаний, привычку быстро и объективно разбираться в сложных вопросах. Служилый Петербург, как бы предчувствуя предстоящую ему преобразовательную работу, уже запасался людьми: стягивал к себе, обирая профессуру, свежие умственные силы.

Канцелярия Комитета министров была, наоборот, малочисленной, и в ней я оказался «первой ласточкой» ⟨из⟩ людей нового типа. Состав служащих, очень замкнутый, пополнялся людьми, не нуждавшимися ни в жалованье, ни в быстрой карьере. Приманки там были другие: 1) сравнительно легко было получить придворное звание и 2) так как все министры, проводившие свои дела через канцелярию, быстро становились знакомыми, то через несколько лет иным из канцелярии удавалось попадать в то или другое министерство уже на видное положение: так, из канцелярии вышел будущий министр финансов Шипов и министр иностранных дел Покровский. В петербургском обществе нас, чинов канцелярии Комитета, звали полушутя «штатскими гусарами». А в былые времена, как мне сказывал старший помощник Куломзина сенатор Брянчанинов, «никто даже не отваживался приходить на службу в Мариинский дворец пешком или приезжать туда на извозчике. Полагалось держать собственных лошадей. Это только теперь пошли нищие...»

Хотя я и был в этой среде «иного поля ягодой», но встретили меня мои сослуживцы скорее доброжелательно. «Тон» в канцелярии задавала тогда сплоченная группа бывших питомцев Пушкинского лицея (официально он именовался Александровским Дипломатическим лицеем). Это было замечательное учебное заведение, с хорошими профессорами и отличными «пушкинскими» традициями; оно выпускало людей образованных, прекрасно воспитанных и с широкими взглядами. Правда, лицеисты склонны были держаться несколько особняком от «нелицеистов», и в карьере старшие лицеисты всегда поддерживали младших по выпуску. Но я заметил вообще, что общность школьных традиций играла большую, если не главную роль в тогдашней петербургской службе. Эта школьная близость далеко перевешивала прежнее закулисное влияние знатных «тетушек»; она отступала только перед началом личной годности к службе, полезности оказываемых данным чиновником деловых услуг. Насколько я могу судить, впрочем, и за границей, в Европе или в Америке, такая общность школьных воспоминаний чрезвычайно помогает служебным карьерам.

Лицеистом я не был, но с лицеистами всегда как-то ладил. Среди них в канцелярии Комитета министров наиболее уверенно держался тогда Михаил Иванович Горемыкин, сын бывшего министра внутренних дел и будущего премьера. Он-то и подружился со мной раньше всех остальных: нас сближала общая страсть к поэзии и кое-какие светские общие увлечения. Когда он через несколько лет женился (на баронессе Черкасовой), то просил именно меня — через головы своих родственников — быть старшим шафером на его свадьбе. Дружба эта держалась, несмотря на наши позднейшие политические расхождения, до самой смерти Горемыкина, уже в эмиграции.

Поручая мне работу по составлению «Исторического обзора», Куломзин прежде всего свел меня с профессором Середониным, работу которого я должен был продолжать, а Середонин показал мне то, что им было уже сделано раньше, и посоветовал мне усвоить несколько использованных уже им самим приемов архивной работы. Кроме того, Куломзин дал мне, как он выразился, «нить Ариадны, чтобы вы не запутались в мелочах»: секретную записку о царствовании и делах

Александра III, составленную бывшим министром финансов, а потом и либеральным председателем Комитета министров Н. Х. Бунге. С нею я и погрузился в море архивной работы.

Через год, к заказанному мне сроку, большой нарядно изданный том, в несколько сот страниц, с моим именем и «под главной редакцией статс-секретаря Куломзина», был отпечатан и поднесен Государю, лично приехавшему в день юбилея вместе со всеми великими князьями к нам в Мариинский дворец.

Не все вошло в этот том из того, что я узнал о России за время работы: я был осторожен, и Куломзину не пришлось быть ни моим редактором, ни даже цензором, он ничего не изменил и не вычеркнул. Но одно вошло, и крепко вошло в мою юную голову: насколько в исторической перспективе царствование императора Николая II было обусловлено обоими предыдущими царствованиями, столь резко различными: 1) преобразовательным, двинувшим Россию вперед, но и разволновавшим ее временем императора Александра II и 2) властно националъным, охранительным царствованием, «паузой» императора Александра III, «паузой» неизбежной, во многом спасительной, но во многом очень опасной, ибо затянулась она слишком надолго. После Царя-Освободителя и Царя-Миротворца нужен был Царь-Устроитель.

Александр II был убит революционерами; естественной первой задачей его преемника было подавить революцию; но эта задача была достигнута уже в первые 7—8 лет его царствования; между тем внутренняя «закупорка», остановка всех реформ продолжалась, и наиболее пострадала при этом самая важная и наименее повинная в гибели Царя-Освободителя реформа: крестьянская.

Забегая вперед, скажу, что позднее, уже в 1910 году, мне пришлось сопровождать премьера П. А. Столыпина в его поездке по Сибири. Во время этого путешествия — когда мы плыли на пароходе по Иртышу — я услышал из уст Столыпина, разговорившегося при мне с Кривошеиным, определенное подтверждение — справа! — этого моего юношеского, либерального вывода. «Царя Александра II убили, надо было обуздать революцию, пришлось остановить реформы, все это понятно,— говорил Столыпин.— Но успокоение было уже достигнуто в первые годы царствования Александра III. И когда в 1889 году министр граф Дмитрий Андреевич Толстой вводил в деревне земских начальников, сохраняя крестьянскую общину и юридическую обособленность крестьянского земельного строя — обособленность, граничившую с крестьянским бесправием,— вот тогда, в 1889 году, вместо земских начальников или вместе с ними (говорил Столыпин) надо было бы нам начать нынешнюю работу по крестьянскому землеустройству: создать из местных людей нынешние землеустроительные комиссии. Вот если бы так случилось,— продолжал Столыпин,— тогда я был бы теперь спокоен за будущее России. А то мы потеряли, с устройством крестьян, 20 лет, драгоценных лет, и надо уже лихорадочным темпом наверстывать упущенное. Успеем ли наверстать? Да, если не помешает *война*».

Война, как мы знаем теперь, пришла уже через 4 года. А Столыпин был убит через год после этого разговора. Но из-за нашего проклятого запоздания с устройством крестьян на основе мелкой земельной *собственности*,— что и было конечной целью реформы Александра II,— произошли два основных парадокса русской предреволюционной эпохи, так поражавшие иностранцев: 1) в России, при ее земельных просторах и редком населении, крестьянство всегда жаловалось на малоземелье и 2) крестьянство, которое везде в других странах обычно считается устоем порядка, элементом консервативным,— в России было пороховым погребом, так как оно легко поддавалось революционной пропаганде.

Прав поэтому Троцкий в своей «Истории русской революции», когда он утверждает (подтверждение Столыпину, идущее слева!), что если бы русская буржуазия сумела разрешить земельный вопрос, то ни за что революционный пролетариат не пришел бы к власти над Россией в 1917 году!

Недаром и правый политический деятель В. И. Гурко, сын фельдмаршала, знаток земельного вопроса, всегда отстаивавший необходимость для России не только мелких, но и крупных сельских хозяйств, как «фабрик зерна», работающих на города и на вывоз, признавался тем не менее в своей книге, вышедшей в самом начале двадцатого века: «Когда в России говорят „аграрный вопрос“, эхо отвечает: „Крестьянские беспорядки“».

С русским земельным вопросом, узловым вопросом всей нашей жизни, я очень скоро связал свою государственную службу и об этом расскажу кое-что далее. Но хронологически моей «крестьянской» работе (около Витте и потом около Столыпина) предшествовали другие служебные поручения, такие характерные для начинавшихся переломных лет царствования Николая II,— для новых веяний, возвращавших Россию от «паузы» Александра III к «творчеству» Александра II.

Никакой критики на политику императора Александра III я в своей юбилейной истории, понятно, не наводил, был осторожен; в моей книге были четко сгруппированы и показаны только события восьмидесятых годов...

Куломзин остался досален моей «историей» и находил, что она «читается легче, чем середонинские тома». Государь, вряд ли ее читавший, но наверное перелиставший (перед своим отцом он благоговел), тоже вынес одобрительное впечатление; так, по крайней мере, меня любезно уверял близкий к нему человек, командующий главной императорской квартирой, генерал граф А. В. Олсуфьев, обворожительный старый чудак — с серьгой в ухе. К Олсуфьеву меня ввел друг моих студенческих лет художник П. И. Нерадовский (впоследствии директор петербургского Художественного музея имени Александра III). Нерадовский и его сестра Леля, подруга моей сестры Шуры, одно время даже снимали вместе с нами, вчетвером, одну маленькую квартирку на Васильевском острове, поближе к университету и Академии художеств. Нерадовские были сироты, и Олсуфьевы были их опекунами, сердечно о них заботившимися, вследствие чего олсуфьевское отношение и ко мне оказалось дружески покровительственным, чуть ли не родственным.

Прочное основание моей карьеры было, таким образом, положено уже тогда, а первый год службы. Но ближайшие результаты для меня были, конечно, неизбежно скромными, и для моей молодой гордости они показались чуть ли не унизительными. Меня тогда же произвели в следующий чин — *титулярного советника* — и дали, обгоняя всех других причисленных, первое *штатное* место в канцелярии: *письмоводителя*, с окладом полторы тысячи рублей в год. С высот моих расширившихся «исторических» горизонтов все это показалось мне таким мизерным, что я в душе снова решил было плюнуть на службу («Меня даже не показали Государю на юбилее... Вернусь к науке, туда, где меня ценили»).

Экземпляр своей книги («Исторический обзор деятельности Комитета министров», том 4-й, «царствование императора Александра III, 1881—1894») я отвез своему профессору государственного права И. А. Ивановскому. Прием был любезный, а через несколько недель Ивановский сообщил мне, что моя работа («по первоисточникам») произвела хорошее впечатление на весь факультет, что факультет склонен даже зачесть ее мне, как магистерскую диссертацию. «Так что сдавайте поскорее магистерский экзамен — вы ведь были к нему почти готовы уже год назад — и легко получите ученую степень». Подготовка к экзамену была у меня, и в правду, сильно подвинута потому, что я еще на третьем курсе университета, после получения золотой медали в 1899 году, остался на курсе, потерял лишний год, и Ивановский тогда уже стал меня готовить к ответам на возможные темы, обычно ставившиеся на экзамене магистрантам. Остался же я на лишний год студентом потому, что 1899 год был отмечен в Петербурге рядом студенческих манифестаций, причем полиция, разгоняя толпы студентов, пускала в ход нагайки. Ни в каких манифестациях я не участвовал, им не сочувствовал, но нагайки студентам императорского университета (в форме!) казались мне оскорбительными, и я, повинуясь общестуденческому настроению, не держал очередных экзаменов весной, сейчас же после нагаек, а подал прошение об отложении этих экзаменов (очень легких на 3-м курсе) на осень. Профессора обнадеживали, что разрешение держать осенью будет легко дано, и отказ министерства, связанный с решением оставить всех нас на второй год, был резким и неожиданным.

Что не я один считал тогда нагайки неоправданными, показывает следующий случай. Когда студентов на Невском проспекте, после манифестации у Казанского собора, разгоняли, то есть били нагайками, проходивший мимо свитский генерал, очень близкий к Государю, начальник Главного управления уделов, член Государственного Совета князь Л. Д. Вяземский так был возмущен, что высказал свое возмущение полицейскому офицеру. Правда, за это, по жалобе градоначальника Клейгельса, Вяземский был на короткое время выслан из Петербурга в свое имение, но общественное мнение столицы было тогда не за Клейгельса.

В самих правительственных кругах тоже было ощущение неловкости. Студенческие беспорядки, начавшиеся в Петербурге 8 февраля, в день университетского праздника, быстро перекинулись в другие города и в другие высшие учебные заведения столицы. И уже через неделю, 14 февраля, Государь назначил генерал-адъютанта Ванновского, бывшего военного министра своего отца, старого и тактичного человека, расследовать причины студенческих волнений. Ванновский занял примирительную позицию, лично опросил многих студентов и быстро приобрел популярность. Но министр народного просвещения Боголепов, человек, не имевший ни достаточного авторитета, ни опыта, продолжал делать ошибки. Одной из худших была придуманная им мера — сдавать исключенных за беспорядки студентов в солдаты, привлекая их немедленно к отбыванию воинской повинности. Через два года один из таких исключенных, Карпович, выстрелом из револьвера убил Боголепова на приеме у него в министерстве. Но так как преемником Боголепова был назначен Ванновский, то понемногу университетская жизнь вошла в спокойную колею (а Карпович бежал через несколько лет с каторги).

Убедившись из разговора с проф. Ивановским, что петербургский университет

не только не считает составление мною официальной истории «изменой науке», а, напротив, хотел бы сохранить со мною связь, я тогда настроился на полное возвращение к науке и, помню, в тот же день вытащил из сундука свои ученические тетрадки с русскими моими конспектами немецких фолиантов юридической мудрости (Лабанд, Еллинек, Блунчли).

Но у А. Н. Куломзина оказались на меня другие виды.

С окончанием юбилейных торжеств возврат к будничной работе его больше не привлекал, и он решил выдвинуть свою кандидатуру в министры, а именно — в министры народного просвещения. Ясно было, что престарелый Ванновский долго не проживет и, во всяком случае, долго министром не останется. И Куломзин, горячий патриот и либерал по убеждениям (он и начал свою карьеру женитьбой на дочери либерального министра юстиции при Александре II Замятнина),— Куломзин решил связать свое назначение с получением согласия Государя на быстрый подъем в России начального народного образования: подать Государю записку о введении у нас всеобщего обучения.

Озаглавил он свою записку так: «Доступность начальной школы в России». А писать ее поручил мне, откомандировав в мое распоряжение для цифровых расчетов еще трех сослуживцев по канцелярии.

«Во многих губернских земствах,— сказал мне Куломзин,— такие проекты уже составлены: сделан и подсчет, сколько денег и времени, и новых учителей, и новых школьных зданий на это потребуется. Соберите все эти земские проекты, проверьте их, сцементируйте и изготовьте готовый печатный проект введения общедоступной начальной школы по всей России так, как если бы вы изготовляли уже окончательное постановление об этом для Комитета министров. Чтобы было ясно: сколько именно денег и времени потребуется для практического осуществления этого великого дела».

Труд был большой, но меня увлек. Записка, отпечатанная в виде небольшой книжки, через несколько месяцев была изготовлена и Куломзиным представлена. Она лежала на столе у Государя на видном месте довольно долго, в я льщу себя надеждой, что она все-таки повлияла на решение Государя, хотя и позднее — уже в думский период, горячо взяться за народную школу. А в думских и земских кругах записка Куломзина о народном образовании (он ее потом рассылал) стала известной и пользовалась почетом: так говорили мне потом видные члены Думы. Во всяком случае, к концу последнего царствования свыше 90 % детей уже обучалось в народных школах.

Но Куломзин тогда, в 1903 году, назначен министром не был, хотя иные, близкие ко Двору люди его уже поздравляли, видя явный интерес Государя к записке Куломзина. Министром народного просвещения был назначен тогда — неведомыми мне путями — Зенгер, человек порядочный и серьезный, но стоявший очень далеко вообще от русской жизни. Сам Зенгер увлекался классицизмом, древними языками; в Петербурге говорили, что он прекрасно перевел *стихами* на латинский язык пушкинского «Евгения Онегина». Огромный, но до чего бессмысленный труд: с живого языка переводить на мертвый — для кого?!

Лично я был скорее доволен тогда неуспехом Куломзина, так как боялся, что он в случае назначения потащит меня за собой в министерство просвещения — на должность, конечно, второстепенную (в 24 года!) — и это меня никак уже не прельщало.

Но вернуться к науке мне все-таки не удалось, и я, по совести, никогда не жалел в России о том, что не стал «писаться» профессором. Только в Европе, уже в эмиграции, я понял, какую этот профессорский титул, уже просившийся в руки, принес бы мне здесь и рекламу, и пользу. Но меня ожидало другое — и гораздо более меня привлекавшее.

Вырос я, провел детство, отрочество и первые годы юности на Кавказе (уже как петербургский студент я проводил немало месяцев дома, в Тифлисе, или в небольшом имении моего отца в Горийском уезде). Там русская власть переживала период «затмения». Годы вооруженной борьбы с горцами Кавказа и первоначальное управление этим чудесным краем (находилось оно в руках людей с широкими взглядами эпохи Александра II: Воронцова, князя Барятинского, вел. кн. Михаила Николаевича, брата Государя) сменились тусклыми буднями: чиновники, приезжавшие служить на Кавказ, отбирались не из лучших. Горцы Кавказа, как мне рассказывал видный чеченец Чермоев, постоянно спрашивали: «Где же теперь те русские, которые нас покорили? Те были замечательные люди, а эти, теперешние,— совсем другие». Последний же главноначальствующий на Кавказе, князь Г. С. Голицын, затеял поскорее обрусить край, потеснив туземцев; он внес в управление узость и самодурство, со всеми ссорился и, как острили в Тифлисе люди судейские, управлял краем в состоянии запальчивости и раздражения, но «без заранее обдуманного намерения». Все изменилось к лучшему с назначением его преемника, графа И. И. Воронцова-Дашкова, бывшего раньше министром Двора при Александре III и получившего теперь звание Наместника Его Императорского Величества на Кавказе.

Граф Воронцов, красавец и рыцарь, отличался нравственным благородством и широтою политических взглядов. Мне сказывали люди знающие («злейший» петербуржец А. А. Половцев, «свой человек» для всей русской аристократии, богач и дипломат, товарищ министра иностранных дел), что именно Воронцова изобразил Толстой в «Анне Карениной» под именем Вронского, как себя — под именем Левина. Но если это так, в чем я не могу сомневаться, то Лев Толстой был крайне несправедлив к Воронцову: у Вронского в романе нет и в помине того патриотизма и той жизненной мудрости, какую проявил Воронцов, правда, уже на склоне лет, умудренный знанием людей и неисчерпаемым ⟨...⟩ опытом.

Итак, кавказским наместником стал в 1903 году старый граф Воронцов-Дашков, а представителем Воронцова в Петербурге в Комитете министров, в Государственном Совете (впоследствии и в Государственной Думе) был сделан не кто иной, как мой давний покровитель барон Нольде, одновременно сменивший Куломзина и на посту управляющего делами Комитета министров. Куломзин же стал членом Государственного Совета.

Своим директором канцелярии Воронцов пригласил в Тифлис Петерсона, хорошо меня уже знавшего по канцелярии Комитета министров. В составе же своей петербургской канцелярии Нольде, по соглашению с Петерсоном, образовал особое кавказское отделение, где вскоре сосредоточилась вся переписка Воронцова с министерствами и представление важнейших кавказских дел на решение Государя. Это кавказское отделение поручили всецело мне. Помощником к себе я устроил моего товарища по университету князя З. Д. Авалова, автора книги «Присоединение Грузии к России», впоследствии видного грузинского политического деятеля. Скажу в скобках, что чиновником Авалов, человек одаренный, оказался небрежным и до того ленивым, что помощи от него не было, а сослуживцы встретили его недружелюбно, и часть их досады была перенесена на меня. Но это были уже мелочи жизни, а самая деятельность стала давать мне полное удовлетворение. Дела проходили серьезные. Воронцов сразу вернул армянской церкви несправедливо отобранные у нее его предшественником, князем Г. С. Голицыным, церковные имущества. Мера эта тем более ударила по армянам, всегда верным русской власти на Кавказе, что армянский народ был, волею великих держав, разрезан на две части: между Россией и Турцией, и единственной носительницей армянского единства была церковь, возглавлявшаяся, в Эчмиадзине, католикосом всех армян — и турецких, и живших на российской территории.

Следующим шагом Воронцова было упразднение на Кавказе последних остатков туземного крепостного права. Вообще Воронцов явился в крае русским вельможей, который в полном созвучии с Государем вел там широкую, вполне либеральную, но и подлинно имперскую политику. Он поднял на прежнюю высоту покорившее Кавказ при Александре II русское имя.

Прекрасным шагом власти при Воронцове было еще орошение бесплодной Муганской степи, быстро ставшей из недавней пустыни лучшим районом русского заселения и русского хлопководства.

«Господи, сколько еще полезного — и совершенно бесспорного — может сделать царская власть в России»,— думалось мне. Особенно усилилось это ощущение с назначением, ранней осенью 1903 года, С. Ю. Витте председателем Комитета министров, на место скончавшегося бездеятельного И. Н. Дурново.

Политически это назначение было для Витте опалой. Государю, увлекавшемуся большой «азиатской» политикой и только что учредившему Особый Комитет по делам Дальнего Востока, наскучило вечное сопротивление Витте его дальневосточным планам. Витте же, побывавший сам на Дальнем Востоке и имевший там отличную финансовую агентуру, предвидел и боялся, что планы эти неизбежно приведут к войне с Японией. Как министр финансов, он держал в руках большую силу и влияние. Комитет же министров, при Дурново, сошел почти на нет. Определенной компетенции у него не было, так как все министры сохраняли отдельный доклад у Государя и вносили на разрешение Комитета только то, что сами хотели. Но при Витте все завертелось иначе. Комитет ожил. Множество дел, и крупных, и мелких, стали в него поступать, и все эти дела оказывались при Витте спешными.

Канцелярия Комитета всегда была малочисленной, а подлинное ее рабочее ядро было еще теснее, так как и там большинство чиновников только числилось, а дела поручались только немногим испытанным работникам, от кого не ждали, не боялись недосмотров и промахов, так как все прошедшее через Комитет немедленно публиковалось и всякие «поправки вдогонку» становились невозможными или, во всяком случае, были скандальными.

И вот тут, в этой суровой и беспокойной школе Комитета министров, у меня скоро сложилось основное политическое впечатление: после всех столкновений и бурь в совещании министров, когда наши тщательно составленные доклады обычно превращались в Высочайшие повеления, они сразу же начинали жить, становились частицею русской жизни, русской были. Но отвергнутые Государем, точно такие же, ничем не хуже, министерские доклады оставались лежать в ящиках столов

мертвой буквой. Государь ставил на всем сияющую, животворящую точку. Он благословлял или не благословлял своим именем все в России к жизни и действию (чудесное старинное выражение «быть по сему»,— ainsi soit-il!). По русской народной психологии, только царская власть, кто бы ей ни помогал, Дума или чиновники, была *источником* права. В той, царской, России имя Государя было поистине Архимедовым рычагом власти и всех перемен к лучшему или к худшему. *Не он опирался на государственные учреждения, а они им держались.*

Поэтому впоследствии, когда Государь был свергнут, вынужденно отрекся,— мгновенно был как бы выключен электрический ток, и вся Россия погрузилась во тьму кромешную.

Оставалось принуждение, сила, переходившая из рук в руки, оставался властный или безвластный приказ, но не стало власти, как источника права. Ни Временное правительство, ни Учредительное собрание, так бесславно закрытое простым матросом, ни, наконец, совдеп, одолевший всех своим грубым зажимом,— никто первое время не обладал в сознании народа исторической «благодатью» творить русское право.

Но я забегаю вперед. До революции было тогда еще далеко, и в эти начальные годы службы моей в Мариинском дворце я только раз ощутил своей «кожей», а не только рассудком, ее возможность и приближение ⟨...⟩

Омрачилась за эти годы моя душа только один раз. В день 2 августа 1902 года, войдя в подъезд Комитета министров, я неожиданно увидел там смертельно раненного, умирающего министра внутренних дел Сипягина и бледного, как полотно, убийцу Балмашева в военном мундире. Одетый в адъютантскую форму, он подъехал в карете к Мариинскому дворцу и, войдя в швейцарскую, просил вызвать к нему министра, чтобы вручить ему «в собственные руки» спешный пакет, будто бы от московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича. Ничего не подозревая, Сипягин спустился в швейцарскую и был сражен револьверною пулей. Балмашев сказал только: «Помнит он свои циркуляры». Я вошел в первые же минуты общего смятения (писал тогда еще историю Комитета министров и не знал, что прихожу как раз в день и час заседания Комитета министров, да еще такого трагического!). В этот день на моих глазах в русскую жизнь внезапно проснулось из тьмы что-то жестокое и зловеще непримиримое — то самое, что я иногда уже и раньше, но в меньшей степени, ощущал на студенческих сходках: проснулась «она», русская революция! Сипягин был очень консервативным министром, а назначенный ему преемником Плеве решил быть еще правее. Судить Балмашева Плеве поручил военному суду, был вынесен смертный приговор. Балмашев отказался подать просьбу о помиловании и был казнен. Но Плеве через два года был сам убит революционной бомбой. Путь к примирению власти с интеллигенцией лежал не сквозь эти взаимные убийства, а сквозь реформы. К счастью, правящий Петербург становился уже на этот реформаторский путь (к несчастью, *поздно*!).

Имя графа Воронцова-Дашкова должно быть с благодарностью названо в самом начале этого *реформаторского* пути. И главною историческою заслугою графа было даже не все то благодетельное, что сделал он на Кавказе, а то, что он, как министр Александра III, имевший непререкаемый авторитет в глазах его сына, Николая II, первый сказал молодому царю, что надо изменить крестьянскую политику его отца, отказаться от охранения крестьянской общины и позаботиться о мелкой крестьянской собственности.

За общину всегда стояли русские интеллигенты-революционеры, увлекавшиеся социализмом,— и это было понятно. Но почему ее оберегали, с нелегкой руки Победоносцева, русские консерваторы — это можно понять и объяснить только как слепое пристрастие к старому, косное желание сохранить все, что уже было в России, без внимания к тому, было ли оно вредно или полезно. Интересы России и прямой интерес русской власти требовали, наоборот, спешного развязывания узлов крестьянского бесправия и общины. В России надо было поднимать сельскохозяйственную культуру, увеличивать урожайность земель. Земельный же коммунизм в деревне плодил только всеобщую, равную, но зато и явную *нищету*. В крестьянстве русском вечно жил, как в подполье, затаенный бунт нищих, бунт голодных, вечно зарившихся на чужие, помещичьи, земли. И замечательно, что в западной полосе России, где не было общины, а подворное владение, урожайность земель была выше и крестьянские голодовки были гораздо реже, хотя самые земли по качеству были там хуже, чем на востоке России. Об этом, при самом восшествии на престол Николая II, граф Воронцов, сам сельский хозяин, подал новому Государю докладную записку. Но практически сдвинуть Государя на этот *новый* путь суждено было другому министру Александра III, Витте,— правда, при деятельной помощи и под прямым влиянием Воронцова.

1951

Публикация **С. С. ТХОРЖЕВСКОГО**

Продолжение следует

Вернисаж «Седьмой тетради»

Алла КОНОНОВА
искусствовед

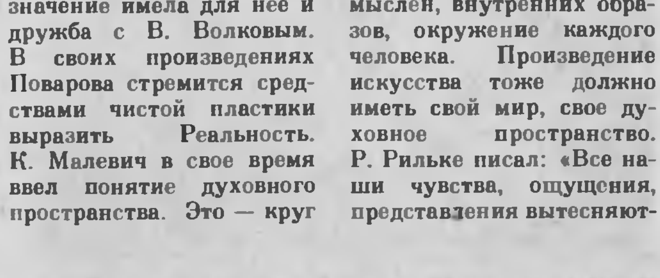
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ МЫСЛИ

Мастера аналитического искусства воспринимают любое явление мира в его внутренней значимости, стремясь, поскольку это возможно, к максимальному владению и наивысшему изучению и постижению объекта...

Интересен не только циферблат, а механизм и ход часов.

Павел ФИЛОНОВ

«Нереален субъект, нереален объект, реальны лишь отношения между элементами» — этот философский принцип во многом определяет творчество ленинградского живописца Николая Теплого. Художник родился в 1948 году в г. Уральске. Учился в Ленинграде в Серовском училище и параллельно посещал занятия по рисунку в Мухинском училище, которые вела Валентина Поварова. Наш город — удивителен. Несмотря на запрет и гонения, в недрах его культуры сохранилась живая нить от классического советского авангарда к современности. Почти совсем не осталось в живых тех, кто приходил когда-то в мастерские К. Малевича, М. Матюшина, П. Филонова, но работают их ученики, посвоему траитуя и переосмысливая открытое ими направление. Пути их жизненные и творческие пересекаются не случайно. Через несколько лет после окончания училища судьба сведет Теплого с Н. Коваленко — одним из наиболее талантливых последователей Филонова. Это поможет ему окончательно сформироваться и определиться как самостоятельному и самобытному художнику. Но подготовили его к этому занятия и беседы с Поваровой. Высокая художественная культура, аналитический склад ума, широкая эрудиция отличают Валентину Петровну как человека и художника. За плечами ее хорошая профессиональная школа. Это и Академия художеств и долгие годы общения с П. Кондратьевым, учеником М. Матюшина и К. Малевича, и серьезное самообразование, направленное к творческому совершенствованию. Большое значение имела для нее и дружба с В. Волковым. В своих произведениях Поварова стремится средствами чистой пластики выразить Реальность. К. Малевич в свое время ввел понятие духовного пространства. Это — круг мыслей, внутренних образов, окружение каждого человека. Произведение искусства тоже должно иметь свой мир, свое духовное пространство. Р. Рильке писал: «Все наши чувства, ощущения, представления вытесняют-





Н. Теплый. Африканская маска — «Ма». 1985



Н. Теплый. На смерть Е. С. 1986



Н. Теплый. Автопортрет. 1986

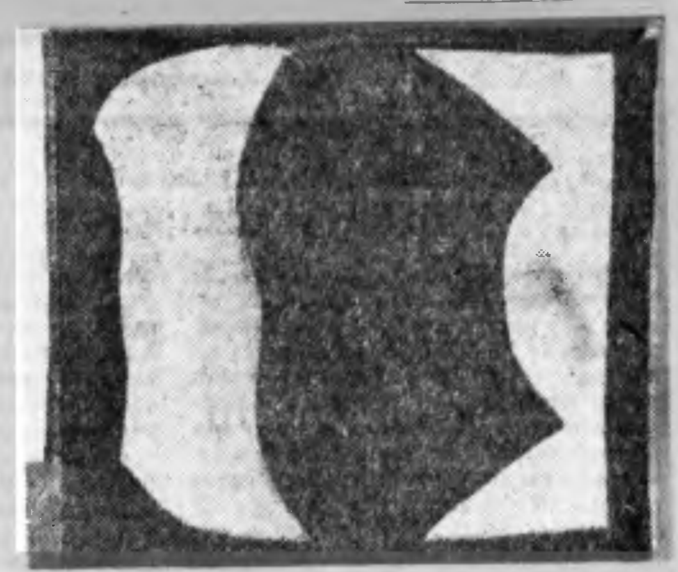
ся в область невидимого». Но живопись может противостоять этому, сделав попытку облечь их в видимые формы новой реальности. Создаваемое пространство работ Поваровой — область пластического выражения мысли художника. В ее искусстве форма тождественна понятию содержания. В изобразительной культуре XX века значительная роль принадлежит топологии — математической науке о наиболее общих свойствах пространства. П. Клее часто использует в своем творчестве «замкнутую кривую». В нашей стране В. Волков работал с «лентой Мебиуса». В. Поварову более привлекает изобразительный эквивалент другого объекта топологии «бутылка Клейна», у которого внутренний и внешний объемы тождественны. В какой-то мере и отсюда идет увлечение художника неоднозначными пространствами.

Творческие позиции педагога и бывшего ученика ныне несколько различны. Поварова склонна считать, что объект и субъект едины и реально существуют. Но, вместе с тем, «в одном и том же сознании об одном и том же предмете в одно и то же время может быть множество противоположных мнений, и все они истинны»,— так писал философ Э. Гуссерль, и с его утверждением согласны оба художника. В их работах есть много точек соприкосновения, и дружба между ними продолжается. Летом в библиотеке на Васильевском острове была открыта совместная выставка Поваровой и Теплого. Произведения их по-своему дополняют друг друга.

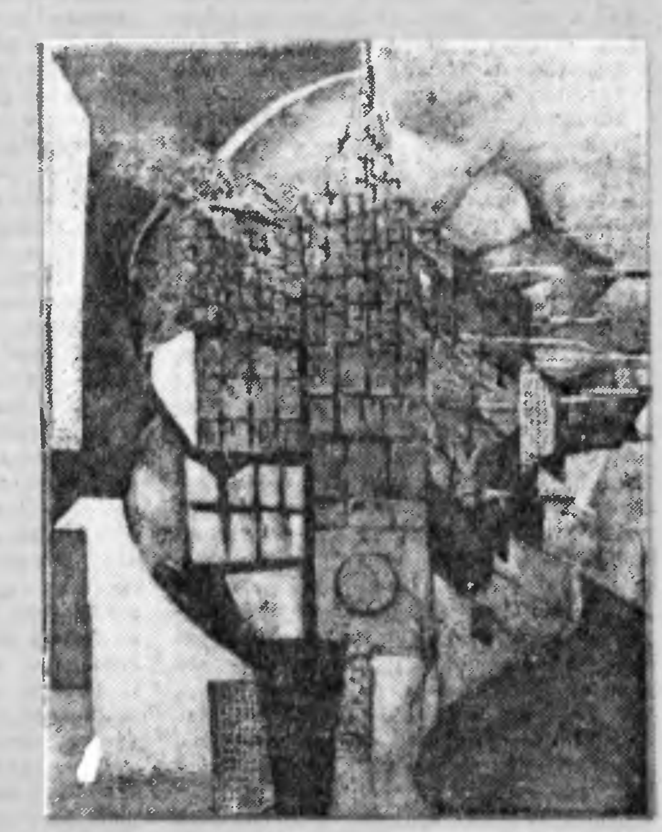
В основе творчества Николая Теплого лежит филоновский принцип «биологической сделанности». Широкий круг увлечения художника: математика, дзен-буддизм, музыка конца XIX — начала XX века (Г. Малер, А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн) — оказывают влияние на его искусство. Если Поварова полностью абстрагируется от видимого мира, то Теплый во многих работах сохраняет связь с ним. Но главным для него всегда остается создание художественного образа, эмоционально воздействующего на подсознание человека. Мысли и чувства автора заключает в себе форма, то плавно текучая, прорастающая, то быстро меняющаяся, динамичная и живая. Она — как символ материи, основы основ, разнообразной, вечной и бесконечной. Во многих работах Теплого причудливо изгибающиеся, зигзагообразные темные линии расположены на первый взгляд в кажущемся беспорядке, но это не так. Они подчинены тонким внутренним структурам, декоративному изяществу внешнего и глубинного художественного пространства.

Николай Теплый — еще и театральный художник. Им оформлено несколько спектаклей, но декорации к любимому им музыкальному театру, к операм Берга и Шенберга, к сожалению, остались не осуществленными. Система додекафонии Шенберга, в которой все произведение построено на 12 неповторяющихся звуках, в какой-то мере эквивалентна «изобретаемой форме» Филонова. От этих принципов во многом отталкивается в своих работах Теплый.

В последнее время в культуре Ленинграда — изобилие дилетантов. Видимая легкость повторения некоторых давно найденных приемов левого искусства и интерес к ним западных покупателей породили огромную толпу внешних подражателей. Конечно, талантливые самоучки встречаются, но редко. «А искусство вообще не есть бесцельное создание вещей, растекающихся в пустоте, но есть сила и власть, полная целей, и должно служить развитию и утончению человеческой души...» Эти слова Василия Кандинского можно в полной мере отнести к творчеству Валентины Поваровой и Николая Теплого.



В. Поварова. Зеркало. 1978



В. Поварова. Становление. 1979

Дом, в котором я живу

Мария БЛОК

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ВЕЩИ

Обыкновенный дом (улица Марата, 8) пока спасается от капитального ремонта — у него какие-то особые «железные балки». Мозаика пола в соседней парадной (в нашей разбита) сообщает, что он выстроен в 1883 году, а я сюда приехала лишь в 1933 году и живу в части большой квартиры, которую делили и перестраивали, начиная с 1920 года. Сначала отделили целую квартиру с «черного хода», потом ставили перегородки — возникла библиотека, еще комнаты внутри бывшей столовой, гостиной и т. д. Но столовая долго оставалась столовой, хоть и стала кухней, ибо сохранялся овальный огромный стол, за которым все собирались по вечерам, буфет с цветными стеклами и лампа. Часть стола сожгли в блокаду, остальное потом убрали, а буфет и лампа целы, только бисер когда-то оборван мною на бусы.

Но лучше расскажу про свою комнату. Когда-то здесь был кабинет отца моего мужа, стол, во всяком случае, его — Павла Петровича Гершунина, издателя и владельца типографии, которая помещалась неподалеку. Об этом было сообщено в не столь давние годы «Блокнотом агитатора», а до той поры информацию эту тщательно скрывали даже от меня. Сейчас в большом книжном шкафу в коридоре лежат остатки изданий, странички «Задушевного слова» и научно-популярных книжек. В этой семье с глубоким уважением относились к памяти брата хозяина — революционера Григория Гершуни, эсера, прошедшего Шлиссельбург и Акатуй. Он бежал оттуда в бочке с капустой и умер в Париже в 1907 году. Похоронен на Монпарнасском кладбище. На могиле памятник работы Гинзбурга, а отливка стояла у нас в квартире. Здесь же висел большой портрет Григория. Все, что связано с его именем, передано в музеи, так же, как и архив семьи. Остались случайные «пустяки», напоминающие о том, что было до меня и при мне в этой квартире.

Пишу за огромным столом, за которым работал и муж мой Евгений Павлович Гершуни, после войны восстановивший фамилию дяди. Отец его был крещен в раннем детстве усыновителями, изменившими написание фамилии.

В темно-красном сукне стола горелая дырка. Это я прилепила тут в блокаду свечку, придя сюда по серьезной надобности, и забыла о ней. Когда-то на столе высился малахитовый чернильный прибор. Продали. Чудесно выполненный стальной паровозик, подаренный к юбилею Путиловским заводом, где Павел Петрович работал после 1917 года, достался кому-то из детей. Жаль этот макет паровоза — таких теперь нет.

Передо мною два перекидных календаря. Один 1970 года со всякими семейными датами. Его страницы дополняла я. Свадьбы, рождения, кончины и... отъезды. В сегодняшнем моем календаре перечень дел, в основном хозяйственных.

Стол — главная вещь в комнате. «Мой письменный верный стол!.. Лбом, ло́ктем, узлом колен испытанный,— как пила в грудь въевшийся — край стола!» — обращалась Цветаева к своему столу.

За этим работали три поколения. Писали на нем письма, деловые бумаги, статьи... Стихов не писали, разве что в шуточную семейную газету, экземпляр которой 1960 года хранится среди бумаг Там же — перевязанный шелковой лентой нарядный пригласительный билет на детский праздник, состоявшийся здесь в 1912 году. На веленевой бумаге изображен Пьеро. На празднике в балетном дивертисменте танцевали Леля и Женн Гершунины и их друзья. Хорошо жилось этим детям!

На лепном потолке бывшего кабинета — люстра, уцелевшая потому, что она без хрусталя, и спекулянт не дал за нее хлеб в блокаду. С ней гармонирует сейчас лишь камин с зеркалом, который иногда топят на Новый год. А в блокаду возникло сооружение, называвшееся «Три эпохи» (был когда-то такой фильм). В камин вставили трубу унтер-марковской печи в 1920 году, а в блокаду прибавили трубу жестяной времянки, которая быстро нагревалась и еще быстрее остывала. С люстры долго свисал шнур с голой лампочкой... Впрочем, в «самую блокаду» тут не жили, все перебрались в маленькую комнату на «необстрельной стороне».

Но вообще-то тогда, помнится, мы уверяли друг друга, что бомба в наш дом не попадет. Сестра мужа считала, что его охраняет Петр Ильич Чайковский, музыку которого она очень любила. А у свекрови в переднем углу была икона Параскевы Пятницы, которой ее благословили родители. Икона, по ее мнению, чудотворная. Помню, как известная артистка Домашева, жившая на улице Марата, приходила прикладываться. И не одна она. Бомба угодила в соседний дом, а «наша» упала где-то во дворе и не разорвалась.

Сейчас эпоха четвертая: на месте несмываемого черного пятна — там, где стояла блокадная печурка, стоит телевизор — он чуть-чуть больше нее.

Основная часть книг на открытых полках. Они многослойны во времени — как Троя. Под потолком «Брокгауз и Ефрон», энциклопедия хозяина дома, рядом несколько уцелевших ровесников — издания классиков. Пониже — книги о Петербурге—Ленинграде, среди них портативные наставления 1942 года: «Кофе из одуванчиков», «Правила уличного движения» 1943-го. Остальное читается часто: Кони, Альберт Швейцер и другие. Хорошие люди. С ними соседствуют книги по цирку, эстраде. Попробуйте перечитать то, что когда-то казалось неинтересным. Все, что вы за это время прочли, поняли,— наполнит их совсем новым содержанием. Но хватит беседовать перед книжными полками! Конца этому не будет.

Очень красивый у меня эркер. В 20-е годы он для тепла был отделен от комнаты деревянной со стеклами перегородкой и завешан тяжелыми гобеленовыми портьерами. Первой блокадной осенью, когда предполагалась возможность уличных боев в городе, военные нашли, что эркер имеет хороший обзор. Солдаты заложили проемы кирпичом, устроили в эркере пулеметное гнездо. Мы приняли это спокойно, с полным пониманием. Когда положение на фронте улучшилось, солдаты унесли кирпичи, все стало чисто. Мы и это приняли буднично, просто. В послевоенные годы двери сняли, в комнате посветлело, здесь много цветов. Более полный обзор из эркера требует некоторого воображения и перемещения во времени. Хорошо видна Стремянная, Марата и часть Невского. В блокаду во все стороны простиралась пустыня, кое-где темнели развалины, а сейчас все запружено машинами, и прохожие, опрометчиво перебегающие улицу, имеют затравленный вид. Некоторые бредут по тротуарам с палочкой, отягощенные авоськами — это по большей части блокадницы, населяющие дома с бывшими барскими, теперь же коммунальными квартирами.

Посмотрим в окно, вглядимся в мир улицы Марата, которая раньше называлась Николаевской, а до того Грязной и еще Преображенской. За нее вступился Кони, сказав, что она чистая и красивая. Но какая же она все-таки?

Когда-то я была на выставке французского художника Марке, и меня удивили картины, которые он писал в конце жизни, глядя из окна. Оказывается, разнообразие, очарование мира доступно и человеку, не покидающему комнаты. Однако каждый видит свое, и пейзаж города меняется не только по сезонам...

Стояла я когда-то у своего окна, заклеенного бумажными полосками накрест. Видела вспышки, всполохи. Наверное, это было весной 1943 года, потому что я думала: «Это искры от трамвайных дуг» (тогда пошли уже трамваи). Мне не приходило почему-то в голову, что это отблеск близкого боя или обстрела. Я думала: «Какое счастье, когда не стреляют! Вот если бы еще сколько хочешь каши — был бы настоящий покой, радость».

Вот вижу в окно мою улицу, похожую на беспорядочный гараж.

Существует ли экология улицы? Если да, то она постоянно нарушается. Когда-то перед окном был красивый храм, праздничный, нарядный. Он был сложен из цветных кирпичиков, изразцов, чудесная мозаика радовала глаз. Храм выстоял в блокаду, получив незначительные повреждения. Потом там устроили склад и спортивный зал. Жизнь теплилась. Однажды открылось оконце, выходящее на улицу. Его обрамляла цветная надпись: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз успокою вы». Окно открылось, чтобы торговать пивом, и многие подходили за утешением. Было грустно и смешно. Но цветочки впереди. Красивый храм не относили к памятникам старины, его выстроили в 1893 году и потому не считали ценным. Еще бы годик-другой его не заметиля — выжил бы, иные наставали времена, сочли бы ценным просто за красоту.

Стали в 60-х годах церковь Святой Троицы сносить. Сначала пытались взорвать, на одну ночь мы переселились в гостиницу. Разрушилась квартира в первом этаже нашего дома, а церковь мало пострадала — на совесть построили. Стали бить «бабой». Долгое и унылое зрелище, неприятно было смотреть. Будущие дачевладельцы растаскивали беспрепятственно цветные изразцы, сказочная мозаика исчезла. Заодно снесли очаровательные небольшие дома, стоявшие рядом. «Эх, шкатулочки были!» — сожалели прохожие. Помнится, где-то неподалеку жила мать Шостаковича, мы встречали его на улице Марата.

Сейчас от церкви уцелело лишь одно робкое, неистребленное воспоминание: на одном из домов по Стремянной улице мозаичная надпись: «Троицкая школа и книжный склад общества распространения нравственного просвещения в духе православной церкви».

А перед окном теперь многоэтажное здание бани, закрывающее полнеба, оно намного выше всех домов улицы, что как будто противоречит правилам и никак не гармонирует с архитектурой улицы, на которой немало свидетельств истории. Совсем близко от нашего дома помещалась типография Радищева, где-то здесь жили предки Блока и, говорят,— Арина Родио-

иовна, няня Пушкина. Бесконечно можно смотреть в окно, разглядывать проблески истории сквозь сегодняшний день.

О жизни дома в Петербурге и Петрограде я знала по рассказам родных, которые любили свой город и дом. Однажды я попросила мужа записать его рассказ. Сейчас извлекаю записки из стола и слышу его голос: «Дом, в котором я живу уже 70 лет, находится на улице Марата, бывшей Николаевской, а еще ранее Грязной. Принадлежал он владельцу банкирской конторы Алферову, у которого в Петербурге было несколько доходных домов и прекрасная дача на углу Каменноостровского проспекта и набережной Большой Невки.

В нашем доме сперва было немного квартир. Потом вместо деревянного флигеля во дворе вырос шестиэтажный каменный дом, а по фасаду надстройки пятый этаж. В первом этаже жил некий Симанович, по профессии ювелир, а по занятиям сводник. Он был неофициальным секретарем Григория Распутина и предоставлял свою квартиру для свиданий с многочисленными поклонницами придворному старцу.

Весь второй этаж занимал богач Орловский. У него был свой выезд, лошади и купленный им целиком поселок Тюресево по Финляндской железной дороге, который он поделил на участки и продавал по дорогой цене (теперь Ушково).

На третьем этаже жили мы, а через площадку помещался Скобелевский комитет, почему-то ведавший прокатом кинофильмов — русских и иностранных. Родители познакомились с дирекцией этой конторы, и нас часто по вечерам приглашали на просмотры новых картин. Там был очень уютный небольшой зал, и, сидя за чаем с пирожными, мы смотрели видовые фильмы, драмы и Патэ-журнал, который „все видит и все знает". Над нами на четвертом этаже жила семья присяжного поверенного Чистякова. Его сын был со мной одного возраста, но учился в казенной гимназии.

Гимназия наша особенная. Она была основана родителями учеников, исключенных в 1905 году за революционные выступления. С правами для учащихся, но без прав для учителей. Это значило, что все выпускные экзамены принимала специальная комиссия от учебного округа. Называлась гимназия Н. В. Столбцова. Директором был известный в то время общественный деятель, член партии трудовиков, историк Д. М. Одинец. Математику преподавал молодой (ныне академик) В. И. Смирнов. Он был тогда одержим математикой. Все ему казалось так просто, что на нерадивых учеников он не обращал никакого внимания. Учителем географии был известный скульптор А. Н. Жуков. Он интересовался всем. Это он повез нас в 1915 году в Соловки в действовавший монастырь. Вообще наша гимназия все время была под подозрением и негласным надзором. Однажды даже Пуришкевич в одной из своих речей в Государственной Думе назвал гимназию Столбцова рассадником революционных идей. Революцией там не пахло, но бунтарский дух чувствовался во всем. От одежды (формы у нас не было), состава педагогов и свободного поведения учащихся.

На Невском против Николаевской, в доме 104, где сейчас булочная, помещалась кондитерская Конради. Заходим. Мама выбирает коробку для конфет. На сколько? Фунт, пожалуйста. На открытом прилавке в вазочке выложены все сорта, в основном, шоколадных конфет. Продавщица тщательно укладывает каждую конфетку и, глядя на меня, несколько раз повторяет: „Кушайте, мальчик". Я не теряюсь и, не обращая внимания на укоризненные взгляды мамы, выбираю самые большие плиточки „миньон". Продавщица вновь повторяет: „Кушайте, мальчик". Наконец, коробка уложена, перевязана розовой шелковой ленточкой и мы уходим. На углу Невского и Николаевской — винный магазин Шитта. Этот виноторговец занимал в разных районах города только угловые помещения. На другом углу, там, где сейчас станции метро „Маяковская", молочный магазин Сумакова. Заходим туда, и мама просит прислать домой яйца, масло и сметану. Молоко каждое утро привозит молочница со станции Ушаки. В магазине молоко почему-то не покупают. В доме № 102 по Невскому помещается моя гимназия. Там же счетоводные курсы Побединского, а внизу магазин канцелярских принадлежностей Башкова. В соседнем доме № 100 — театр Валентины Лин, а еще через дом — булочная и кондитерская Шмарова и Иванова. Там вкусные пирожки и пирожные, которые мы поглощаем во время большой перемены. Это в низочке, а там, где сейчас молочное кафе „Ленинград", помещался магазин экипажей и карет.

Парадный подъезд был по-настоящему парадным. Внизу сидел швейцар, живший с семьей из 5 человек в каморке под лестницей, где сейчас дворники хранят метлы, скребки и лопаты. Круглые сутки дежурил наш швейцар Иван Иванович у своей конторки, освещавшейся газовым рожком и обогревавшейся большой чугунной печью, дававшей тепло на всю лестницу. По ступеням лежала красная ковровая дорожка, покрытая для чистоты белой полотнянкой. Внизу в нише стояла вешалка, где гости оставляли пальто. На первой площадке большое зеркало. Окна лестницы сделаны из цветных стекол с узорами, нечто вроде входивших в моду витражей».

Сейчас о дорожке напоминают лишь петли для прутьев, которыми она прикреплялась к ступеням. На месте вешалки сохранилась ниша. В подвале, где когда-то жил Иван Иванович, в блокаду оборудовали бомбоубежище, куда мы спускались по тревоге. Дворника Ивана Ивановича с семьей я помню уже в нормальной квартире, но до войны он продолжал убирать двор и лестницу, носить нам дрова и справедливо корить за плохое поведение нашего дога.

Сейчас лестница имеет вид печальный. Она очень грязная. Окна плохо ее освещают, ибо их вдвое меньше из-за установленного тут лифта. На оставшихся почти все цветные стекла выбиты. Чугунные опоры перил выломаны «просто так», кое-где вместо них вставлены железные прутья. В блокаду, как ни странно, здесь, вероятно, по традиции, было чисто. По лестнице поднимались дежурные на чердак, иногда дрожа от страха: с неба сыпались зажигалки и даже бомбы. Остальные жильцы спускались в бомбоубежище. Комендантом его была назначена сестра моего мужа — хрупкая, истощенная женщина. Она ежедневно тщательно осушала подвал, вычерпывая воду игрушечным ведром.

Документы, награды (не мои), фотографии, письма... Рука не поднимается выбросить, и самое нужное, сегодняшнее, лежит лишь в одном ящике письменного стола. Ничего не разобрано — архивом, как ни старайся, не назовешь.

Еще застала я то кресло на колесиках, в котором отец провел семь лет. Помогала перенести испытанье любовь, объединявшая всех. Это сила, еще не понятая людьми.

В обыкновенном старом доме жили люди. Не все же о вещах говорить. Впрочем, и они хранят тепло. Хранит его и улица, и дом, и комната, и стол, и папка, и конверт.

Эхо

В «Седьмой тетради» («Нева», 1990, № 7) была напечатана подборка карикатур на Николая II, опубликованных европейскими газетами и журналами в 1903—1906 годах. Эта подборка вызвала отклики читателей. Один из таких откликов мы сегодня и публикуем.

М. КАБАНОВА

БЕЗ ВИНЫ ЛИ ВИНОВАТЫЙ?

В последнее время у нас в стране все шире распространяются промонархические настроения. Конечно, личное дело каждого, как к этому относиться.

Я не могу согласиться с теми, кто твердит о непричастности последнего русского царя к тому, что произошло в России в 1917 году, к тем событиям, которые в конечном итоге привели к расстрелу царя и его семьи. Сегодня раздаются даже призывы объявить Николая II мучеником и канонизировать его. Но жертва ли Николай II?

Газетные и журнальные публикации, посвященные событиям 1917 года, Николая Романова оставляют как бы вне критики. Зато факту зверского уничтожения царской семьи большевиками уделяется исключительно большое внимание. По-видимому, эта то тайная расправа и создает вокруг имени Николая некую ауру неприкасаемости. Вероятно, это является и причиной призывов к его канонизации как «невинноубиенного». Останься монарх в живых — его деятельность обсуждалась бы иначе и, разумеется, строго в контексте событий 1917 года.

Все, что происходило в России после февраля и Октября, связывается с именами Ленина и Сталина, Хрущева и Брежнева, а теперь — Горбачева. И это правильно. Первое лицо государства ответственно за все, что происходит в государстве. Николай II правил Россией целых 22 года, следовательно, и его деятельность оказала влияние на последующие события.

По моему убеждению, именно недальновидная политика Николая II как главы государства явилась чуть ли не главной причиной того, что произошло в 1917-м и позднее. Я далека от мысли обвинять во всех бедах России только Николая, но оставлять его вне вины тоже нельзя. Попытка же объявить царя мучеником, забыв о мучениях народа, стремление канонизировать его, забыв о миллионах действительно невинноубиенных, является, на мой взгляд, кощунством.

Уважаемые читатели!

С июньского номера журнал продолжает публикацию романа А. Солженицына «Март Семнадцатого»

Сдано в набор 27.12.90. Подписано к печати 05.03.91. Формат бумаги $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 25,04 уч.-изд. л. Тираж 255 000 экз. Заказ № 766.
Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15